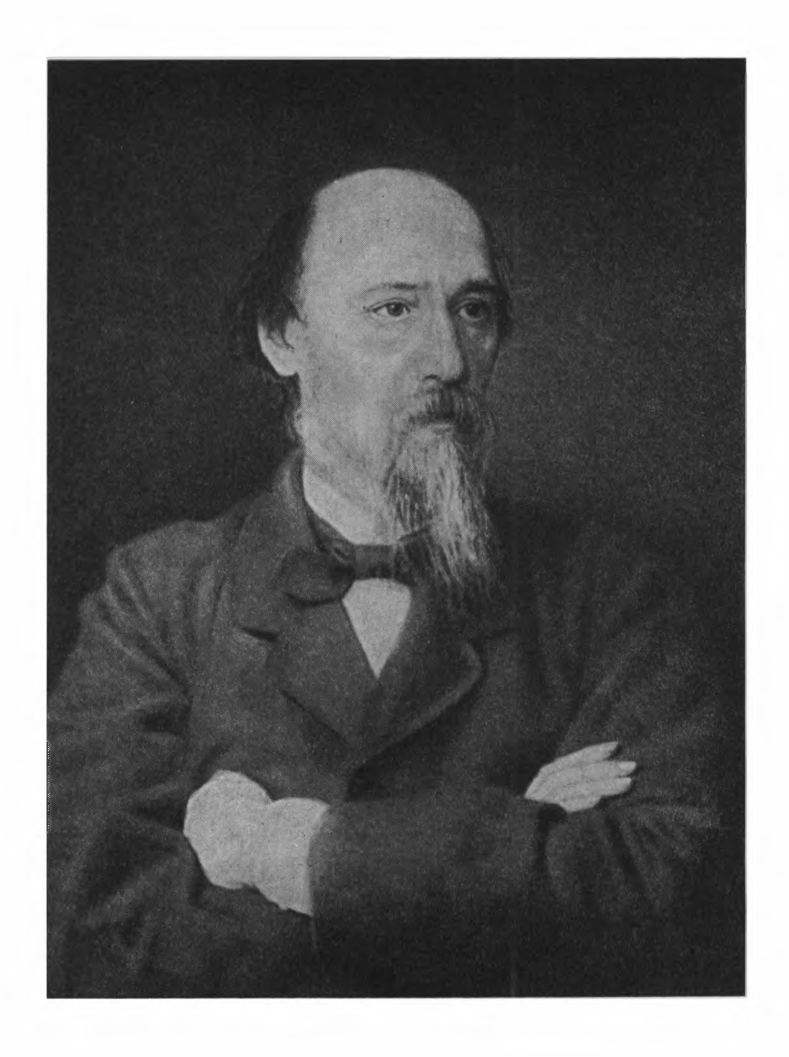
НЕКРАСОВ

2





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ

ЛЕНИНГРАД, 1949

Н. А. НЕКРАСОВ

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ
ВТОРОЙ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Подготовка текста,
статья и примечания
К. И. Чуковского

ДЕДУШКА

(ПОСВЯЩАЕТСЯ З—Н—Ч—Е)

I

Раз у отца, в кабинете,
Саша портрет увидал,
Изображен на портрете
Был молодой генерал.
«Кто это? — спрашивал Саша, —
Кто? ..» — Это дедушка твой. —
И отвернулся папаша,
Низко поник головой.
«Что же не вижу его я?»
Папа ни слова в ответ.
Внук, перед дедушкой стоя,
Зорко глядит на портрет:
«Папа, чего ты вздыхаешь?
Умер он... жив? говори!»
— Вырастешь, Саша, узнаешь. —
«То-то... ты скажешь, смотри! ..»

II

«Дедушку знаешь, мамаша?» —
Матери сын говорит.
— Знаю, — и за руку Саша
Маму к портрету тащит,
Мама идет против воли.
«Ты мне скажи про него,
Мама! недобрый он, что ли,
Что я не вижу его?

Ну, дорогая! ну, сделай
Милость, скажи что-нибудь!»
— Нет, он и добрый и смелый,
Только несчастный. — На грудь
Голову скрыла мамаша,
Тяжко вздыхает, дрожит —
И зарыдала... А Саша
Зорко на деда глядит:
«Что же ты, мама, рыдаешь,
Слова не хочешь сказать?»
— Вырастешь, Саша, узнаешь.
Лучше пойдем-ка гулять...

III

В доме тревога большая.
Счастливы, светлы лицом,
Заново дом убирая,
Шепчутся мама с отцом.
Как весела их беседа!
Сын подмечает, молчит.
— Скоро увидишь ты деда! —
Саше отец говорит...
Дедушкой только и бредит
Саша, — не может уснуть:
«Что же он долго не едет?..»
— Друг мой! Далек ему путь! —
Саша тоскливо вздыхает,
Думает: «Что за ответ!»
Вот наконец приезжает
Этот таинственный дед.

IV

Все, уж давно поджидая,
Встретили старого вдруг...
Благословил он, рыдая,
Дом, и семейство, и слуг,
Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого бога
И, покрестившись, сказал:
«Днесь я со всем примирился,

Что потерпел на веку!»...
Сын пред отцом преклонился,
Ноги омыл старику;
Белые кудри чесала
Дедушке Сашина мать,
Гладила их, целовала,
Сашу звала целовать.
Правой рукою мамашу
Дед обхватил, а другой
Гладил румяного Сашу:
— Экой красавчик какой! —
Дедушку пристальным взглядом
Саша рассматривал, — вдруг
Слезы у мальчика градом
Хлынули, к дедушке внук
Кинулся: «Дедушка! где ты
Жил-пропадал столько лет?
Где же твои эполеты,
Что не в мундир ты одет?
Что на ноге ты скрываешь?
Ранена, что ли, рука? ..»
— Вырастешь, Саша, узнаешь.
Ну, поцелуй старика! ..

V

Повеселел, оживился,
Радостью дышит весь дом.
С дедушкой Саша сдружился,
Вечно гуляют вдвоем.
Ходят лугами, лесами,
Рвут васильки среди нив;
Дедушка древен годами,
Но еще бодр и красив,
Зубы у дедушки целы,
Поступь, осанка тверда,
Кудри пушисты и белы,
Как серебро борода;
Строен, высокого роста,
Но как младенец глядит,
Как-то апостольски-просто,
Ровно всегда говорит...

VI

Выйдут на берег покатый
К русской великой реке —
Свищет кулик вороватый,
Тысячи лап на песке;
Барку ведут бичевою,
Чу, бурлаков голоса!
Ровная гладь за рекою —
Нивы, покосы, леса.
Легкой прохладою дует
С медленных дремлющих вод...
Дедушка землю целует,
Плачет — и тихо поет...
«Дедушка! что ты роняешь
Крупные слезы, как град? ..»
— Вырастешь, Саша, узнаешь!
Ты не печалься — я рад...

VII

Рад я, что вижу картину,
Милую с детства глазам.
Глянь-ка на эту равнину —
И полюби ее сам!
Две-три усадьбы дворянских,
Двадцать господних церквей,
Сто деревенек крестьянских
Как на ладони на ней!
У лесу стадо пасется —
Жаль, что скотинка мелка;
Песенка где-то поется —
Жаль — неисходно горька!
Ропот: «Подайте же руку
Бедным крестьянам скорей!»
Тысячелетнюю муку,
Саша, ты слышишь ли в ней? ..
Надо, чтоб были здоровы
Овцы и лошади их.
Надо, чтоб были коровы
Толще московских купчих, —
Будет и в песне отрада,

Вместо унынья и мук.
Надо ли? — «Дедушка, надо!»
— То-то! попомни же, внук!..

VIII

Озими пышному всходу,
Каждому цветику рад,
Дедушка хвалит природу,
Гладит крестьянских ребят.
Первое дело у деда
Потолковать с мужиком;
Тянется долго беседа,
Дедушка скажет потом:
«Скоро вам будет нетрудно,
Будете вольный народ!»
И улыбнется так чудно,
Радостью весь расцветет.
Радость его разделяя,
Прыгало сердце у всех.
То-то улыбка святая!
То-то пленительный смех!

IX

— Скоро дадут им свободу, —
Внуку старик замечал: —
Только и нужно народу.
Чудо я, Саша, видал:
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,
Мельницу выстроят скоро.
Уж запаслись мужики
Зверем из темного бора,
Рыбой из вольной реки.
Вновь через год побывали,

Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежде бесплодной земли.
Дома одни лишь ребята
Да здоровенные псы,
Гуси кричат, поросята
Тычут в корыто носы...

X

Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!
Все принялось, раздобрело!
Сколько там, Саша, свиней,
Перед селением бело
На полверсты от гусей;
Как там возделаны нивы,
Как там обильны стада!
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда,
Видно — ведется копейка!
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка, —
Из соболей воротник!

XI

Дети до возраста в неге,
Конь хоть сейчас на завод,
В кованой, прочной телеге
Сотню пудов увезет...
Сыты там кони-то, сыты,
Каждый там сыто живет,
Тесом там избы-то крыты,
Ну, уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай,

«Где ж та деревня?» — Далеко,
Имя ей: *Тарбагатай*,
Страшная глушь, за Байкалом...
Так-то, голубчик ты мой,
Ты еще в возрасте малом,
Вспомнишь, как будешь большой...

XII

Ну... а покуда подумай,
То ли ты видишь кругом:
Вот он, наш пахарь угрюмый,
С темным, убитым лицом:
Лапти, лохмотья, шапчонка,
Рваная сбруя; едва
Тянет косулю клячонка,
С голоду еле жива!
Голоден труженик вечный,
Голоден тоже, божусь!
— Эй! отдохни-ко, сердечный!
Я за тебя потружусь! —
Глянул крестьянин с испугом,
Барину плуг уступил;
Дедушка долго за плугом,
Пот отирая, ходил;
Саша за ним торопился,
Не успевал догонять:
«Дедушка! где научился
Ты так отлично пахать?
Точно мужик, управляешь
Плугом, а был генерал!»
— Вырастешь, Саша, узнаешь,
Как я работником стал!

XIII

Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг;
Счастье умов благородных
Видеть довольство вокруг.
Нынче полегче народу:
Стих, притаился в тени

Барин, прослышав свободу...
Ну, а как в наши-то дни!
. . . .
Словно как омут, усадьбу
Каждый мужик объезжал.
Помню ужасную свадьбу,
Поп уже кольца менял,
Да на беду помолиться
В церковь помещик зашел:
«Кто им позволил жениться?
Стой!» — и к попу подошел...
Остановилось венчанье!
С барином шутка плоха —
Отдал наглец приказанье
В рекруты сдать жениха,
В девичью — бедную Грушу!
И не перечил никто!..
Кто же имеющий душу
Мог это вынести?.. кто?..

XIV

Впрочем, не то еще было!
И не одни господа,
Сок из народа давила
Подлых подьячих орда.
Что ни чиновник — стяжатель,
С целью добычи в поход
Вышел... а кто неприятель?
Войско, казна и народ!
Всем доставалось исправно.
Стачка, порука кругом:
Смелые грабили явно,
Трусы тащили тайком.
Непроницаемой ночи
Мрак над страною висел...
Видел — имеющий очи
И за отчизну болел.
Стоны рабов заглушая
Лестью да свистом бичей,
Хищников алчная стая
Гибель готовила ей...

XV

Солнце не вечно сияет,
Счастье не вечно везет:
Каждой стране наступает
Рано иль поздно черед,
Где не покорность тупая, —
Дружная сила нужна;
Грянет беда роковая —
Скажется мигом страна.
Единодушье и разум
Всюду дадут торжество,
Да не придут они разом,
Вдруг не создашь ничего, —
Красноречивым воззваньем
Не разогреешь рабов,
Не озаришь пониманьем
Темных и грубых умов.
Поздно! Народ угнетенный
Глух перед общей бедой.
Горе стране разоренной!
Горе стране отсталой!
Войско одно — не защита.
Да ведь и войско, дитя,
Было в то время забито,
Лямку тянуло кряхтя... —

XVI

Дедушка кстати солдата
Встретил, вином угостил,
Поцеловавши, как брата,
Ласково с ним говорил:
— Нынче вам служба не бремя —
Кротко начальство теперь...
Ну, а как в наше-то время!
Что ни начальник, то зверь!
Душу вколачивать в пятки
Правилом было тогда.
Как ни трудись, недостатки
Сыщет начальник всегда:
«Есть в маршировке старанье,

Стойка исправна совсем,
Только заметно дыханье...»
Слышишь ли?.. дышут зачем!

XVII.

А недоволен парадом,
Ругань польется рекой,
Зубы посыплются градом,
Порет, гоняет сквозь строй!
С пеною у рта обрыщет
Весь перепуганный полк,
Жертв покрупнее приищет
Остервенившийся волк:
«Франтики! подлые души!
Под караулом сгною!»
Слушал — имеющий уши,
Думушку думал свою.
Брань пострашней караула,
Пуль и картечи страшней...
Кто же, в ком честь не уснула,
Кто примирился бы с ней?.. —
«Дедушка! ты вспоминаешь
Страшное что-то?.. скажи!»
— Вырастешь, Саша, узнаешь,
Честью всегда дорожи... —

XVIII

Дед замолчал и уныло
Голову свесил на грудь.
— Мало ли, друг мой, что было!..
Лучше пойдем отдохнуть. —
Отдых недолог у деда —
Жить он не мог без труда:
Гряды копал до обеда,
Переплетал иногда;
Вечером шилом, иголкой
Что-нибудь бойко тачал,
Песней печальной и долгой
Дедушка труд сокращал.
Внук не проронит ни звука,
Не отойдет от стола;

Новой загадкой для внука
Дедова песня была...

XIX

Пел он о славном походе
И о великой борьбе;
Пел о свободном народе
И о народе-рабе;
Пел о пустынях безлюдных
И о железных цепях;
Пел о красавицах чудных
С ангельской лаской в очах;
Пел он об их увяданьи
В дикой, далекой глуши
И о чудесном влияньи
Любящей женской души...
О Трубецкой и Волконской
Дедушка пел — и вздыхал,
Пел — и тоской вавилонской
Келью свою оглашал...
«Дедушка, дальше! .. А где ты
Песенку вызнал свою?
Ты повтори мне куплеты —
Я их мамаше спою.
Те имена поминаешь
Ты иногда по ночам...»
— Вырастешь, Саша, узнаешь —
Все расскажу тебе сам:
Где научился я пенью,
С кем и когда я певал... —
«Ну! приучусь я к терпенью!» —
Саша уныло сказал...

XX

Часто каталися летом
Наши друзья в челноке,
С громким, веселым приветом
Дед приближался к реке:
— Здравствуй, красавица Волга!
С детства тебя я любил. —
«Где ж пропадал ты так долго?» —

Саша несмело спросил.
— Был я далеко, далеко... —
«Где же? ..» Задумался дед.
Мальчик вздыхает глубоко,
Вечный предвидя ответ.
«Что ж, хорошо ли там было?»
Дед на ребенка глядит:
— Лучше не спрашивай, милый!
(Голос у деда дрожит):
— Глухо, пустынно, безлюдно,
Степь полумертвая сплошь.
Трудно, голубчик мой, трудно!
По году весточки ждешь,
Видишь, как тратятся силы —
Лучшие божьи дары,
Близким копаешь могилы,
Ждешь и своей до поры...
Медленно-медленно таешь... —
«Что ж ты там, дедушка, жил? ..»
— Вырастешь, Саша, узнаешь! —
Саша слезу уронил...

XXI

«Господи! слушать наскучит.
Вырастешь! — мать говорит,
Папочка любит, а мучит:
Вырастешь — тоже твердит!
То же и дедушка... Полно!
Я уже вырос — смотри! ..»
(Стал на скамеечку чолна)
«Лучше теперь говори! ..»
Деда целует и гладит:
«Или вы все заодно? ..»
Дедушка с сердцем не сладит,
Бьется, как голубь, оно.
«Дедушка, слышишь? хочу я
Все непременно узнать!»
Дедушка, внука целуя,
Шепчет: — Тебе не понять.
Надо учиться, мой милый!
Все расскажу, погоди!

Пособерись-ка ты с силой,
Зорче кругом погляди.
Умник ты, Саша, а все же
Надо историю знать
И географию тоже. —
«Долго ли, дедушка, ждать?»
— Годик, другой, как случится —
Саша к мамаше бежит:
«Мама! хочу я учиться!» —
Издали громко кричит.

XXII

Время проходит. Исправно
Учится мальчик всему —
Знает историю славно
(Лет уже десять ему),
Бойко на карте покажет
И Петербург, и Читу,
Лучше большого расскажет
Многое в русском быту.
Глупых и злых ненавидит,
Бедным желает добра,
Помнит, что слышит и видит...
Дед примечает: пора!
Сам же он часто хворает,
Стал ему нужен костыль...
Скоро уж, скоро узнает
Саша печальную быль...

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РУССКИМ ДЕТЯМ

I

ДЕДУШКА МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ

1

В августе, около «Малых Вежей»,
С старым Мазаем я бил дупелей.

Как-то особенно тихо вдруг стало,
На небе солнце сквозь тучу играло.

Тучка была небольшая на нем,
А разразилась жестоким дождем!

Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзались струи дождевые

С силой стремительной... Я и Мазай,
Мокрые, скрылись в какой-то сарай.

Дети, я вам расскажу про Мазая.
Каждое лето домой приезжая,

Я по неделе гощу у него.
Нравится мне деревенька его:

Летом ее убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво.

Вся она тонет в зеленых садах;
Домики в ней на высоких столбах

(Всю эту местность вода понимает,
Так что деревня весною всплывает,

Словно Венеция). Старый Мазай
Любит до страсти свой низменный край.

Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
Торной дорогой ходить ему — скука!

За сорок верст в Кострому прямиком
Сбегать лесами ему нипочем:

«Лес не дорога: по птице, по зверю
Выпалить можно». — А леший? — «Не верю!

Раз в кураже я их звал-поджидал
Целую ночь, — никого не видал!

За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину;

Вечером пеночка нежно поет,
Словно как в бочку пустую удод

Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точены, рисованы очи.

Ночью... ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам.

Тихо как в церкви, когда отслужили
Службу и накрепко дверь затворили,

Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит...»

Дня не проводит Мазай без охоты.
Жил бы он славно, не знал бы заботы,

Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять.

Впрочем, в отчаянье он не приходит:
Выпалит дедушка — заяц уходит,

Дедушка пальцем косому грозит:
«Врешь — упадешь!» — добродушно кричит.

Знает он много рассказов забавных
Про деревенских охотников славных:

Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,

Сядет за кустом — тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит — и грянет!

Ходит с ружьишком другой зверолов,
Носит с собою горшок угольков.

«Что ты таскаешь горшок с угольками?»
— Больно, родимой, я зябок руками;

Ежели зайца теперь прослежу,
Прежде я сяду, ружье положу,

Над уголечками руки погрею,
Да уж потом и палю по злодею!

«Вот так охотник!» — Мазай прибавлял.
Я, признаюсь, от души хохотал.

Впрочем, милей анекдотов крестьянских
(Чем они хуже, однако, дворянских?)

Я от Мазая рассказы слыхал.
Дети, для вас я один записал...

2

Старый Мазай разболтался в сарае:
«В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, — их жалко до слез!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, —
Нет! еще мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть? .. Я раз за дровами
В лодке поехал — их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет —
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой —
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверкам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
  Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, — ничего!
Только уселась команда косая,

Весь островочек пропал под водой:
«То-то! — сказал я, — не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»
Этак гуторя, плывем в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его — тягота не велика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха —
Еле жива, а толста как купчиха!
Я ее, дуру, накрыл зипуном —
Сильно дрожала... Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло;
Сидя, и стоя, и лежа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нем.
«Взял бы я вас — да потопите лодку!»
Жаль их, однако, да жаль и находку —
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...

Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
«Глянь-ко, что делает старый Мазай!»
Ладно! любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились:
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил — и «с богом» сказал...
И во весь дух
Пошли зайчишки.
А я им: «у-х!
Живей, зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А, чур, зимой
Не попадайся!
Прицелюсь — бух!
И ляжешь... Ууу-х!..

Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось —
Сильно измокли, ослабли; в мешок
Я их поклал — и домой приволок.
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул — и дали стречка!
Я проводил их все тем же советом:
«Не попадайтесь зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая, — линяет косой».

II

СОЛОВЬИ

Качая младшего сынка,
Крестьянка старшим говорила:
«Играйте, детушки, пока!
Я сарафан почти дошила;

Сейчас буренку обряжу,
Коня навяжем травку кушать,
И вас в ту рощицу свожу —
Пойдем соловушек послушать.

Там их, что́ в кузове груздей,
(Да не мешай же мне, проказник!)
У нас нет места веселей;
Весною, дети, каждый праздник

По вечерам туда идут
И стар, и молод. На поляне
Девицы красные поют,
Гуторят пьяные крестьяне.

А в роще, милые мои,
Под разговор и смех народа
Поют и свищут соловьи
Звончей и слаще хоровода!

И хорошо, и любо всем...
Да только (Клим, не трогай Сашу!)
Чуть-чуть соловушки совсем
Не разлюбили рощу нашу:

Ведь наш-то курский соловей
В цене, — тут много их ловили,
Ну, испугалися сетей,
Да мимо нас и прокатили!

Пришла, рассказывал ваш дед,
Весна, а роща, как немая,
Стоит — гостей залетных нет!
Взяла крестьян тоска большая.

Уж вот и праздник наступил
И на поляне погуляли,
Да праздник им не в праздник был!
Крестьяне бороды чесали.

И положили меж собой —
Умел же бог на ум наставить —
На той поляне, в роще той
Сетей, силков вовек не ставить.

И понемногу соловьи
Опять привыкли к роще нашей,
И нынче, милые мои,
Им места нет любей и краше!

Туда с сетями сколько лет
Никто и близко не подходит,
И строго-настрого запрет
От деда к внуку переходит.

Зато весной весь лес гремит!
Что̀ день, то новый хор прибудет...
Под песни их деревня спит,
Их песня нас поутру будит...

Запомнить надобно и вам,
Избави бог, тут ставить сети!

Ведь надо ж бедным соловьям
Дать где-нибудь и отдых, дети...»

Середний сын кота дразнил,
Меньшой полз матери на шею,
А старший с важностью спросил,
Кубарь пуская перед нею:

— А есть ли, мама, для людей
Такие рощицы на свете? —
«Нет, мест таких... без податей
И без рекрутчины нет, дети.

А если б были для людей
Такие рощи и полянки,
Все на руках своих детей
Туда бы отнесли крестьянки...»

1871

НЕДАВНЕЕ ВРЕМЯ

А. Н. ЕР[АКО]ВУ

I

Нынче скромен наш клуб именитый,
Редки в нем и не громки пиры.
Где ты, время ухи знаменитой?
Где ты, время безумной игры?
Воротили бы, если б могли мы,
Но, увы! не воротишься ты!
Прежде были легко уловимы
Характерные клуба черты:
В молодом поколении — фатство,
В стариках, если смею сказать,
Застарелой тоски тунеядства,
Самодурства и лени печать.
А теперь элемент старо-барский
Вытесняется быстро: в швейцарской
Уж лакеи не спят по стенам;
Изменились и люди, и нравы,
Только старые наши уставы
Неизменны, на зло временам.
Да Крылов роковым переменам
Не подвергся (во время оно
Старый дедушка был у нас членом,
Бюст его завели мы давно)...

Прежде всякая новость отсюда
Разносилась в другие кружки;
Мы не знали, что думать, покуда
Не заявят тузы-старики,

Как смотреть на такое-то дело,
На такую-то меру; ключом
Самобытная жизнь здесь кипела,
Клуб снабжал всю Россию умом...

Не у нас ли впервые раздался
Слух (то было в тридцатых годах),
Что в Совете вопрос обсуждался:
Есть ли польза в железных путях?
— Что ж, признали? — до новостей лаком,
Я спросил у туза-старика:
«Остается покрытая лаком
Резолюция втайне пока...»

Крепко в душу запавшее слово
Также здесь услыхал я впервой:
«Привезли из Москвы Полевого...»
Возвращаясь в тот вечер домой,
Думал я невеселые думы
И за труд неохотно я сел.
Тучи на небе были угрюмы,
Ветер что-то насмешливо пел.
Напевал он тогда, без сомненья:
«Не такие еще поощренья
Встретишь ты на пути роковом»,
Но не понял я песенки спросту,
У Цепного бессмертного мосту
Мне ее пояснили потом...

Получив роковую повестку,
Сбрил усы и пошел я туда.
Сняв с седой головы своей феску
И почтительно стоя, тогда
Князь Орлов прочитал мне бумагу...
Я в ответ заикнулся сказать:
— Если б даже имел я отвагу
Столько дерзких вещей написать,
То цензура... — «К чему оправданья?
Император помиловал вас,
Но смотрите! !. Какого вы званья?»
— Дворянин. — «Пробегал я сейчас
Вашу книгу: свободы крестьянства

Вы хотите? На что же тогда
Пригодится вам ваше дворянство? ..
Завираетесь вы, господа!
За опасное дело беретесь,
Бросьте! Бросьте! .. Ну, бог вас прости!
Только знайте: еще попадетесь,
Я не в силах вас буду спасти...»

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Вряд ли были тогда демагоги,
Но сказать я обязан, что все ж
Приговоры казались нам строги,
Мы жалели тогда молодежь.

А война? До царя не скорее
Доходили известья о ней:
Где урон отзывался сильнее?
Кто победу справлял веселей?
Прискакавшего прямо из боя
Здесь не раз мы видали героя
В дни, как буря кипела в Крыму.
Помню, как мы внимали ему:
Мы к рассказчику густо теснились
И героев войны имена
В нашу память глубоко ложились.
Впрочем, нам изменила она!
Замечательно странное свойство
В нас суровый наш климат развил —
Забываем явивших геройство,
Помним тех, кто себя посрамил:
Кто нагрел свои гнусные руки,
У солдат убавляя паек,
Кто, внимая предсмертные муки,
Прятал русскую корпию впрок
И потом продавал англичанам, —

Всех, и мелких, и крупных воров,
Отдыхающих с полным карманом,
Не забудем во веки веков!

Все, кем славилась наша столица,
Здесь бывали: куда ни взгляни —
Именитые, важные лица.
Здесь, я помню, в парадные дни
Странен был среди знати высокой
Человек без звезды на груди.
Гость-помещик из глуши далекой
Только рот разевай да гляди:
Здесь посланники всех государей,
Здесь банкиры с тугим кошельком,
Цвет и соль министерств, канцелярий,
Откупные тузы, — и притом
Симметрия рассчитана строго:
Много здесь и померкнувших звезд,
Говоря прозаичнее: много
Генералов, лишившихся мест...

Зажигалися сотнями свечи,
Накрывалися пышно столы,
Говорились парадные речи...
Говорили министры, послы,
Наши Фоксы и Роберты Пили
Здесь за благо отечества пили,
Здесь бывали интимны они...

Есть и нынче парадные дни,
Но пропала их важность и сила.
Время нашего клуба прошло,
Жизнь теченье свое изменила,
Как река изменяет русло...

II

Очень жаль, что тогдашних обедов
Не могу я достойно воспеть, —
Тут бы нужен второй Грибоедов...
Впрочем, Муза! не будем робеть!
Начинаю.

— *Москва. День субботний.*
(Петербург не лишен едоков,
Но в Москве грандиозней, животней
Этот тип). Среди полных столов
Вот рядком старики-объедалы:
Впятером им четыреста лет,
Вид их важен, чины их немалы,
Толщиною же равных им нет.
Раздражаясь из каждой безделки,
Порицают неловкость слуги,
И от жадности, вместо тарелки,
На салфетку валят пироги;
Шевелясь как осенние мухи,
Льют, роняют; беспамятны, глухи;
Взор их медлен, бесцветен и туп.
Скушав суп, старина засыпает
И, проснувшись, слугу вопрошает:
«Человек! подавал ты мне суп? ..»
Впрочем, честь их чужда укоризны:
Добывали места для родни
И в сенате на пользу отчизны
Подавали свой голос они.
Жаль, уж их потеряла Россия
И оплакал москвич от души:
Подкосила их «ликантропия»,
Их заели подкожные вши...

— *Петербург.* Вот питух престарелый,
Я так живо припомнил его!
Окружен батареею целой
Разных вин, он не пьет ничего.
Пить любил он; я думаю, море
Выпил в долгую жизнь; но давно
Пить ему запретили (о горе! ..)
Старый грешник играет в вино:
Наслажденье его роковое
Нюхать, чмокать, к свече подносить
И раз двадцать вино дорогое
Из стакана в стакан перелить.
Перельет — и воды подмешает,
Поглядит — и опять перельет.
Кто послушает, как он вздыхает,

Тот мучения старца поймет.
«Выпить, что ли?» — Опаснее яда
Вам вино! — закричал ему врач...
«Ну, не буду! не буду, палач!»
Эта сцена из Дантова «Ада»...

Рядом юноша стройный, красивый,
Схожий в профиль с великим Петром,
Наблюдает с усмешкой ленивой
За соседом своим чудаком.
Сын отца, больше четверти века
Наполнявшего ужасом Русь.
С ним усатые два человека
(Игроки-шулера, побожусь).
Этот юноша сам возбуждает
Много мыслей; он так еще млад,
Что в приемах большим подражает:
Приправляет кайеном салат,
Портер пьет, объедается мясом;
Наливая с эффектом вино,
Замечает искусственным басом, —
Отчего перегрето оно?

Очень мил этот юноша свежий!
Меток нá слово, в деле удал,
Он уж был на охоте медвежьей,
И медведь ему ребра помял,
Но Сережа осилил медведя.
Кстати тут он узнал и друзей:
Убежали и Миша, и Федя,
Не бежал только егерь — Корней.
Это в нем скептицизм породило:
«Люди — свиньи!» — Сережа решил
И по-своему метко и мило
Всех знакомых своих окрестил.

Знаменит этот юноша русский:
Отчеканено имя его
На подарках всей труппы французской!
(Говорят, миллион у него).
Признак русской широкой природы —

Жажду выдвинуть личность свою
Насыщает он в юные годы
Удальством в рукопашном бою,
Гомерической, дикой попойкой,
Приводящей в смятенье трактир,
Да игрой, да отчаянной тройкой.
Он своей молодежи кумир,
С ним хорошее общество дружно,
И он счастлив, доволен собой,
Полагая, что больше не нужно
Ничего человеку. Друг мой!
Маловато прочесть два романа
Да поэму «Монго» изучить
(Эту шалость поэта-улана),
Чтоб разумно и доблестно жить!
Недостаточно ухарски править,
Мчась на бешеной тройке стремглав,
Двадцать тысяч на карту поставить
И глазком не моргнуть проиграв —
Есть иное величие в мире,
И не торный ведет к нему путь, —
Человеку прекрасней и шире
Можно силы свои развернуть!

Если гордость, похвальное свойство,
Ты насытишь рутинным путем
И недремлющий дух беспокойства
Разрешится одним кутежом;
Если с жизни получишь ты мало, —
Не судьба тому будет виной:
Ты другого не знал идеала,
Не провидел ты цели иной!

Впрочем, быть генерал-адъютантом,
Украшенья носить на груди —
С меньшим знанием, с меньшим талантом
Можно... Светел твой путь впереди!
Не одно, целых три состоянья
На своем ты веку проживешь:
Как нехватит отцов достоянья,
Ты жену с миллионом возьмешь;

А потом ты повысишься чином —
Подоспеет казенный оклад.
По таким-то разумным причинам
Твоему я бездействию рад!

Жаль одно: на пустые приманки,
Милый юноша! ловишься ты,
Отвратительны эти цыганки,
А друзья твои — точно скоты.
Ты, чей образ в порыве желанья
Ловит женщина страстной мечтой,
Ищешь ты покупного лобзанья,
Ты бежишь за продажной красой!
Ты у старцев, чьи икры на вате,
У кого разжиженье в крови,
Отбиваешь с оркестром кровати!
Ты — не знаешь блаженства любви? ..

Очень милы балетные феи,
Но не стоят хороших цветов,
Украшать скаковые трофеи
Годны только твоих кучеров.
Те же деньги и то же здоровье
Мог бы ты поумнее убить,
Не хочу я впадать в пустословье
И о честном труде говорить.
Не ленив человек современный,
Но на что расточается труд?
Чем работать для цели презренной,
Лучше пусть эти баловни пьют...
. . . .

Знал я юношу: в нем сочетались
Дарованье, ученость и ум,
Сочиненья его покупались,
А одно даже сделало шум.
Но, к несчастию, был он помешан
На комфорте, — столичный недуг, —
Каждый час его жизни был взвешен,
Вечно было ему недосуг:
Чтоб приставить кушетку к камину,

Чтоб друзей угощать за столом,
Он по месяцу, сгорбивши спину,
Изнывал за постылым трудом.
«Знаю сам, — говорил он частенько, —
Что на лучшее дело гожусь,
Но устроюсь сперва хорошенько,
А потом и серьезно займусь».
Суетился, спешил, торопился,
В день по нескольку лекций читал;
Секретарствовал где-то, учился
В то же время; статейки писал...
Так трудясь неразборчиво, жадно,
Раздробившись на тысячу дел,
Ничего он не сделал изрядно,
Да и сам-то пожить не успел,
Не потешил ни бога, ни чорта,
Не увлекся ничем никогда,
И бессмысленной жертвой комфорта
Пал — под игом пустого труда!

Знал я мужа: командой пожарной
И больницею он заправлял,
К дыму, к пламени в бане угарной
Он нарочно солдат приучал.
Вечно ревностный, вечно неспящий,
Столько делал фальшивых тревог,
Что случится пожар настоящий —
Смотришь, лошади, люди без ног!
«Смирно! кутай башку в одеяло!» —
В лазарете кричат фельдшера:
Настежь форточки — ждут генерала, —
Вся больница в тревоге с утра.
Генерал на минуту приедет —
Смотришь, к вечеру в этот денек
Десять новых горячечных бредит,
А иной и умрет под шумок...

Знал я старца: в душе его бедной
Поселился панический страх,
Что погубит нас Запад зловредный.
Бледный, худенький, в синих очках,
Он недавно еще попадался

В книжных лавках, в кофейных домах,
На журналы, на книги бросался,
С карандашиком вечно в руках:
Поясненья, заметки, запросы
Составлял трудолюбец-старик,
Он на вывески даже доносы
Сочинял, если не было книг.
Все его инстинктивно дичились,
Был он грязен, жил в крайней нужде,
И зловещие слухи носились
Об его бескорыстном труде.

Взволновался Париж беспокойный,
Наступили февральские дни, —
Сам ты знаешь, читатель достойный,
Как у нас отразились они.
Подоспело удобное время,
И в комиссию мрачный донос
На погибшее блудное племя
В три приема доносчик принес.
И вещал он властям предержащим:
«Многолетний сей труд рассмотри
И мечом правосудья разящим
Буесловия гидру сотри!..»
Суд отказом его не обидел,
Но старик уже слишком наврал:
Демагога в Булгарине видел,
Робеспьером Сенковского звал.
Возвратили!.. В тоске безысходной
Старец скорбные очи смежил,
И Линяев, сатирик холодный,
Эпитафию старцу сложил:
«Здесь обрел даровую квартиру
Муж злокачествен, подл и плешив,
И оставил в наследие миру
Образцовых доносов архив».
Так погиб бесполезно, бесследно
Труд почтенный; не правда ли, жаль?
«Иногда и лениться не вредно», —
Такова этих притчей мораль...

III

Время в клуб воротиться, к обеду...
Нет, уж поздно! Обед при конце,
Слишком мы протянули беседу
О Сереже, лихом молодце.
Стариков полусонная стая
С мест своих тяжело поднялась,
Животами друг друга толкая,
До диванов кой-как доплелась.
Закурив дорогие сигары,
Неиграющий люд на кружки
Разделился; пошли тары-бары...
(Козыряют давно игроки).

Нынче множество тем для витийства,
Утром только газеты взгляни —
Интересные кражи, убийства,
Но газеты молчали в те дни.
Никаких «современных вопросов»,
Слухов, толков, живых новостей,
Исключенье одно для доносов
Допускалось. Доносчик Авдей
Представлялся исчадием ада
В добродушные те времена,
Вообще же в стенах Петрограда,
По газетам, была тишина.
В остальной необъятной России
И подавно! Своим чередом
Шли дожди, бунтовали стихии,
А народ... мы не знали о нем.
Правда, дикие, смутные вести
Долетали до нас иногда
О мужицкой расправе, о мести,
Но не верилось как-то тогда
Мрачным слухам. Покой нарушался
Только голодом, мором, войной,
Да случайно впросак попадался
Колоссальныйворище порой —
Тут молва создавала поэмы,
Оживало все общество вдруг...

А затем, обиходные темы
Сокращали наш мирный досуг.

Две бутылки бордо уничтожа,
Не касаясь общественных дел,
О борзых, о лоретках Сережа
Говорить бесподобно умел:
Берты, Минны и прочие... дуры
В живописном рассказе его
Соблазнительней самой натуры
Выходили. Но лучше всего
Он дразнил петербургских актеров
И жеманных французских актрис.
Темой самых живых разговоров
Были скачки, парад, бенефис.
В офицерском кругу говорили
О тугом производстве своем
И о том, чьи полки победили
На маневрах под Красным Селом:
— Верно, явится завтра в приказе
Благодарность войскам, господа;
Сам фельдмаршал воскликнул в экстазе:
«Подавайте Европу сюда!..»
Тут же шли бесконечные споры
О дуэли в таком-то полку
Из-за Клары, Арманс или Лоры,
Да шептались стихи в уголку
На игривые, милые темы...
(Может быть, вам знакомы они?..)

Интересами личными все мы
Занималися больше в те дни.
Впрочем, были у нас руссофилы
(Те, что видели в немцах врагов),
Наезжали к нам славянофилы,
Светский тип их тогда был таков:
В Петербурге шампанское с квасом
Попивали из древних ковшей,
А в Москве восхваляли с экстазом
Допетровский порядок вещей,
Но, живя заграницей, владели
Очень плохо своим языком

И понятья они не имели
О славянском призваньи своем.
Я однажды смеялся до колик,
Слыша, как князь NN говорил:
«Я, душа моя, славянофил».
— А религия ваша? — «Католик».

Не задеты ничем за живое,
Всякий спор мы бросали легко,
Вот за картами, — дело другое! —
Волновались мы тут глубоко.
Чу! какой-то игрок крутонравный,
Проклиная несчастье, гремит.
Чу! наш друг, путешественник славный,
Монотонно и дерзко ворчит;
Дух какой-то враждой непонятной
За игрой омрачается в нем;
Человек он весьма деликатный,
С добрым сердцем, с развитым умом,
Несомненным талантом владея,
Он прославился книгой своей,
Он из Африки негра-лакея
Вывез (очень хороший лакей,
Впрочем, смысла в подобных затеях
Я не вижу: по воле судеб
Петербург недостатка в лакеях
Никогда не имел)... Но свиреп
Он в игре, как гиена: осадок
От сибирских лихих непогод,
От египетских злых лихорадок
И от всяких житейских невзгод
Он бросает в лицо партенера
Так язвительно, тонко и зло,
Что игра прекращается скоро,
Как бы жертве его ни везло...

Генерал с поврежденной рукою
Также здесь налицо; до сих пор
От него еще дышит войною,
Пахнет дымом Федюхиных гор.
В нем героя война отличила,

Но игрок навсегда пострадал:
Пуля пальцы ему откусила...
Праздно бродит седой генерал!
В тесноте, доходящей до давки,
Весь в камнях, подрумянен, завит,
Принимающий всякие ставки
За столом миллионщик сидит:
Тут идут смертоносные схватки.
От надменных игорных тузов
До копеечных трех игроков
(Называемых: *терц от девятки*)
Все участвуют в этом бою,
Горячась и волнуясь не мало...
(Тут и я, мой читатель, стою
И пытаю фортуну, бывало...)
При счастливой игре не хорош,
Жаден, дерзок, богач-старичишка
Придирается, спорит за грош,
Рад удаче своей, как мальчишка,
Но зато при несчастьи он мил!
Он, бывало, нас много смешил...
При несчастьи вздыхал он нервически,
Потирал раскрасневшийся нос
И певал про себя иронически:
«Веселись, храбрый Росс! ..»

Бой окончен, старик удаляется,
Взяв добычи порядочный пук...
За три комнаты слышно: стук! стук!
То не каменный гость приближается...
Стук! стук! стук! равномерно стучит,
Словно ступа, нога деревянная:
Входит старый, седой инвалид,
Тоже личность престранная...
. . . .
Муза! ты отступаешь от плана!
Общий очерк затеяли мы,
Так не тронь же, мой друг, ни Ивана,
Ни Луки, ни Фомы, ни Кузьмы!
Дорисуй впечатленье — и мирно
Удались, не задев единиц!

Да, играли и кушали жирно,
Много было типических лиц, —
Но приспевшие дружно реформы
Дали обществу новые формы...

IV

Благодатное время надежд!
Да! прошедшим и ты уже стало!
К удовольствию диких невежд
Ты обетов своих не сдержало.
Но, шумя и куда-то спеша
И как будто оковы сбивая,
Русь! была ты тогда хороша!
(Разуметь надо: Русь городская).
Как невольник, покинув тюрьму,
Разгибается, вольно вздыхает
И, не веря себе самому,
Богатырскую мощь ощущает,
Ты казалась сильна, молода,
К Правде, к Свету, к Свободе стремилась,
В прегрешениях тяжких тогда,
Как блудница, ты громко винилась,
И казалось нам в первые дни:
Повториться не могут они...

Приводя наше прошлое в ясность,
Проклиная бесправье, безгласность,
Произвол и господство бича,
Далеко мы зашли сгоряча!
Между тем как народ неразвитый
Ел кору и молчал, *как убитый*,
Мы сердечно болели о нем,
Мы взывали: «Даруйте свободу
Угнетенному нами народу,
Мы прошедшее сами клянем!
Посмотрите на нас: мы обжоры,
Мы ходячие трупы, гробы,
Казнокрады, народные воры,
Угнетатели, трусы, рабы!»
Походя на толпу сумасшедших,
На самих себя вьющих бичи,

Сознаваться в недугах прошедших
Были мы до того горячи,
Что превысили всякую меру...
Крылось что-то неладное тут,
Но не вдруг потеряли мы веру...
Призывая на дело, на труд,
Понял горькую истину сразу
Только юноша-гений тогда,
Произнесший бессмертную фразу:
«В настоящее время, когда...»

Дело двинулось... волею власти...
И тогда-то во всей наготе
Обнаружились личные страсти
И послышались речи — не те:
«Это яд, уж давно отравлявший
Наше общество, силу забрал!» —
Восклицал, словно с неба упавший,
Суясь всюду, сморчок-генерал
(Как цветы, что в ночи распускаются,
Эти люди в чинах повышаются
В строгой тайне — и в жизни потом
С непонятным апломбом являются
В роковом ореоле своем).
«Со времен Петрашевского строго
За развитьем его я следил,
Я наметил поборников много,
Но... напрасно я труд погубил!
Горе! горе! Имею сынишку,
Тяжкой службой, бессонным трудом
Приобрел я себе деревнишку...
Что ж... пойду я теперь нагишом?
Любо вам рисоваться, мальчишки!
А со мной-то что сделали вы? ..»

Если б только такие людишки
Порицали реформу... увы!
Радикалы вчерашние тоже
Восклицали: «Что будет?.. о боже! ..»
Уступать не хотели земли...
(Впрочем, — надо заметить, — не много,
Разбирая прошедшее строго,

Мы бы явных протестов начли:
По обычаю мудрых холопов,
Мы держалися больше подкопов
Или рабски за временем шли...)

Некто, слывший по службе за гения,
Генерал Фердинанд фон дер Шпехт
(Об отводе лесов для сечения
Подававший обширный проект)
Нам предсказывал бунты народные
«Что, не прав я!..» — потом он кричал.
— Всё они! всё мальчишки негодные! —
Негодующий хор повторял.

Та вражда к молодым поколеньям
Здесь печальные корни взяла,
Что впоследствии диким явленьем
В нашу жизнь так глубоко вошла.
Учрежденным тогда комитетам
Потерявшие ум старики
Посылали, сердясь не по летам,
Брань такую: «Мальчишки! щенки!..»
(Там действительно люди засели
С средним чином, без лент и без звезд,
А иные тузы полетели
В то же время с насиженных мест.)
Не щадя даже сына родного,
Уничтожить иной был готов
За усмешку, за резкое слово
Безбородых, безусых бойцов;
Их ошибки встречались шипеньем,
Их несчастье — скаканьем и пеньем:
«Ну! теперь-то припрут молодцов!
Лезут на стену, корчат Катонов,
Посевают идеи Прудонов,
А пугни — присмиреет любой,
Станет петь превосходство неволи...»

Правда, правда! народ молодой
Брал подчас непосильные роли.
Но молчать бы вам лучше, глупцы,
Да решеньем вопроса заняться:

Таковы ли бывают отцы,
От которых герои родятся? . .

—

Клубу нашему тоже на долю
Неприятностей выпало вволю.
Чуть тронулся крестьянский вопрос
И порядок нарушился древний,
Стали «плохо писать из деревни».
— Не сыграть ли в картишки? — «На
что-с? —
Отвечал вопрошаемый грубо. —
Своротили вы, сударь, с ума! . .»
Члены мирно дремавшего клуба
Разделились; пошла кутерьма:
Крепостник, находя незаконной,
Откровенно реформу бранил,
А в ответ якобинец салонный
Говорил, говорил, говорил. . .

Сам себе с наслажденьем внимая,
Формируя парламентский слог,
Всем недугам родимого края
Подводил он жестокий итог;
Человеком идей прогрессивных
Не без цели стараясь прослыть,
Убеждал старикашек наивных
Встрепенуться и Русь полюбить!
Все отдать для отчизны священной,
Умереть, если так суждено! . .
Ты не пой, соловей современный!
Эту песню мы знаем давно!
Осуждаешь ты старое смело,
Недоволен и новым слегка,
Ты способен и доброе дело
Между фразами сделать пока;
Ты теперь еще шуткою дерзкой
Иногда подлеца оборвешь,
Но получишь ты ключ камергерский
И уста им навеки запрешь!
Пуще тех «гуртовых» генералов,
Над которыми ныне остришь,

Станешь ты нажимать либералов,
С ними всякую связь прекратишь, —
Этим ты стариков успокоишь,
И помогут тебе старики.
Ловко ты свое здание строишь,
Мастерски расставляешь силки!..

Словом, мирные дни миновали,
Много выбыло членов тогда,
А иные ходить перестали,
Остальных разделяла вражда.
Хор согласный — стал дик и нестроен,
Ни игры, ни богатых пиров!
Лишь один оставался спокоен —
Это дедушка медный Крылов:
Не бездушным глядел истуканом,
Он лукавым сатиром глядел,
Игрокам, бюрократам, дворянам
Он, казалось, насмешливо пел:

«Полно вам — благо сами вы целы —
О наделах своих толковать,
Смерть придет — уравняет наделы!
Если вам мудрено уравнять...

Полно вам враждовать меж собою
За чины, за места, за кресты —
Смерть придет и отнимет без бою
И чины, и места, и кресты!..

Пусть вас минус в игре не смущает,
Игроки! пусть не радует плюс,
Смерть придет — все итоги сравняет:
Будет, будет у каждого *плюс!*..»

Губернаторы, места лишенные,
Земледельцы-дворяне стесненные,
Откупные тузы разоренные,
Игроки, прогоревшие впрах,
Генерал, проигравший сражение,
Адмирал, потерпевший крушение, —
Находили ли вы утешение
В этих кратких и мудрых словах?..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

С плеч упало тяжелое бремя,
Написал я четыре главы.
«Почему же не новое время,
А недавнее выбрали вы? —
Замечает читатель, живущий
Где-нибудь в захолустной дали: —
Сцены, очерки жизни текущей
Мы бы с бо́льшей охотой прочли.
Ваши книги расходятся худо!
А зачем же вчерашнее блюдо,
Вместо свежего, ставить на стол?
Чем в прошедшем упорно копаться,
Не гораздо ли лучше касаться
Новых язв, народившихся зол?»

Для людей, в захолустьи живущих,
Мы действительно странны, смешны,
Но, читатель! в вопросах текущих
Права голоса мы лишены,
Прикасаться к ним робко, несмело,
Значит пуще запутывать их;
Шить на мертвых — нетрудное дело,
Нам желательно шить на живых.
Устарелое вымерло племя,
Вообще устоялись умы,
Потому-то недавнее время,
Государь мой! и тронули мы
(Да и то с подобающим тактом)...
Погоди, если мы поживем,
Дав назад отодвинуться фактам,
И вперед мы рассказ поведем, —
Мы коснемся столичных пожаров
И волнений в среде молодой,
Понесенных прогрессом ударов
И печальных потерь... Да и той
Злополучной поры не забудем,
Что прогресс повернула вверх дном,
И всегда по возможности будем
Верны истине — *задним числом*...

1871—1872

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ
ПОЭМА

Часть первая
КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ
(1826 год)

Часть первая

Покоен, прочен и лего́к
Надиво слаженный возок.

Сам граф-отец не раз, не два
Его попробовал сперва.

Шесть лошадей в него впрягли,
Фонарь внутри его зажгли.

Сам граф подушки поправлял,
Медвежью полость в ноги стлал,

Творя молитву, образок
Повесил в правый уголок

И — зарыдал... Княгиня-дочь...
Куда-то едет в эту ночь...

I

«Да, рвем мы сердце пополам
Друг другу, но, родной,
Скажи, что ж больше делать нам?
Поможешь ли тоской!
Один, кто мог бы нам помочь
Теперь... Прости, прости!
Благослови родную дочь
И с миром отпусти!

II

Бог весть, увидимся ли вновь,
Увы! надежды нет.
Прости и знай: твою любовь,
Последний твой завет
Я буду помнить глубоко
В далекой стороне...
Не плачу я, но нелегко
С тобой расстаться мне!

III

О, видит бог!.. Но долг другой,
И выше, и трудней,
Меня зовет... Прости, родной!
Напрасных слез не лей!
Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя,
Но сталью я одела грудь...
Гордись — я дочь твоя!

IV

Прости и ты, мой край родной,
Прости, несчастный край!
И ты... о город роковой,
Гнездо царей... прощай!
Кто видел Лондон и Париж,
Венецию и Рим,
Того ты блеском не прельстишь,
Но был ты мной любим —

V

Счастливо молодость моя
Прошла в стенах твоих.
Твои балы любила я,
Катанья с гор крутых,
Любила плеск Невы твоей
В вечерней тишине,
И эту площадь перед ней
С героем на коне...

VI

Мне не забыть... Потом, потом
　　Расскажут нашу быль...
А ты будь проклят, мрачный дом,
　　Где первую кадриль
Я танцовала... Та рука
　　Досель мне руку жжет...
Ликуй . . . .
. . . .

*

Покоен, прочен и легóк,
Катится городом возок.

Вся в черном, мертвенно бледна,
Княгиня едет в нем одна,

А секретарь отца (в крестах,
Чтоб наводить дорогой страх)

С прислугой скачет впереди...
Свища бичом, крича: «пади!»

Ямщик столицу миновал...
Далек княгине путь лежал,

Была суровая зима...
На каждой станции сама

Выходит путница: «Скорей
Перепрягайте лошадей!»

И сыплет щедрою рукой
Червонцы челяди ямской.

Но труден путь! В двадцатый день
Едва приехали в Тюмень.

Еще скакали десять дней,
«Увидим скоро Енисей, —

Сказал княгине секретарь: —
Не ездит так и государь! ..»

*

Вперед! Душа полна тоски,
Дорога все трудней,
Но грезы мирны и легки —
Приснилась юность ей.
Богатство, блеск! Высокий дом
На берегу Невы,
Обита лестница ковром,
Перед подъездом львы,
Изящно убран пышный зал,
Огнями весь горит.
О радость! нынче детский бал,
Чу! музыка гремит!
Ей ленты алые вплели
В две русые косы,
Цветы, наряды принесли
Невиданной красы.
Пришел папаша, — сед, румян, —
К гостям ее зовет.
«Ну, Катя! чудо сарафан!
Он всех с ума сведет!»
Ей любо, любо без границ.
Кружится перед ней
Цветник из милых детских лиц,
Головок и кудрей.
Нарядны дети, как цветы,
Нарядней старики:
Плюмажи, ленты и кресты,
Со звоном каблуки...
Танцует, прыгает дитя,
Не мысля ни о чем,
И детство резвое шутя
Проносится... Потом
Другое время, бал другой
Ей снится: перед ней
Стоит красавец молодой,
Он что́-то шепчет ей...
Потом опять балы, балы...
Она — хозяйка их,
У них сановники, послы,
Весь модный свет у них...

«О милый! что ты так угрюм?
    Что нá-сердце твоем?»
— Дитя! мне скучен светский шум,
    Уйдем скорей, уйдем! —

И вот уехала она
    С избранником своим.
Пред нею чудная страна,
    Пред нею — вечный Рим...
Ах! чем бы жизнь нам помянуть —
    Не будь у нас тех дней,
Когда, урвавшись как-нибудь
    Из родины своей,
И скучный север миновав,
    Примчимся мы на юг.
До нас нужды, над нами прав
    Ни у кого... Сам-друг
Всегда лишь с тем, кто дорог нам,
    Живем мы, как хотим;
Сегодня смотрим древний храм,
    А завтра посетим
Дворец, развалины, музей...
    Как весело притом
Делиться мыслию своей
    С любимым существом!

Под обаяньем красоты,
    Во власти строгих дум,
По Ватикану бродишь ты
    Подавлен и угрюм;
Отжившим миром окружен,
    Не помнишь о живом.
Зато как странно поражен
    Ты в первый миг потом,
Когда, покинув Ватикан,
    Вернешься в мир живой,
Где ржет осел, шумит фонтан,
    Поет мастеровой;
Торговля бойкая кипит,
    Кричат на все лады:
Кораллов! раковин! улит!
    Мороженой воды!

Танцует, ест, дерется голь,
Довольная собой,
И косу черную, как смоль,
Римлянке молодой
Старуха чешет... Жарок день,
Несносен черни гам,
Где нам найти покой и тень?
Заходим в первый храм.

Не слышен здесь житейский шум,
Прохлада, тишина
И полусумрак... Строгих дум
Опять душа полна.
Святых и ангелов толпой
Вверху украшен храм,
Порфир и яшма под ногой
И мрамор по стенам...

Как сладко слушать моря шум!
Сидишь по часу нем,
Неугнетенный, бодрый ум
Работает меж тем...
До солнца горною тропой
Взберешься высоко —
Какое утро пред тобой!
Как дышится легко!
Но жарче, жарче южный день,
На зелени долин
Росинки нет... Уйдем под тень
Зонтообразных пинн...

Княгине памятны те дни
Прогулок и бесед,
В душе оставили они
Неизгладимый след.
Но не вернуть ей дней былых,
Тех дней надежд и грез,
Как не вернуть потом о них
Пролитых ею слез!..

Исчезли радужные сны,
Пред нею ряд картин

Забытой богом стороны:
Суровый господин
И жалкий труженик-мужик
С понурой головой...
Как первый властвовать привык,
Как рабствует второй!
Ей снятся группы бедняков
На нивах, на лугах,
Ей снятся стоны бурлаков
На волжских берегах...
Наивным ужасом полна,
Она не ест, не спит,
Засыпать спутника она
Вопросами спешит:
«Скажи, ужель весь край таков?
Довольства тени нет?..»
— Ты в царстве нищих и рабов! —
Короткий был ответ...

Она проснулась — в руку сон!
Чу, слышен впереди
Печальный звон — кандальный звон!
— Эй, кучер, погоди! —
То ссыльных партия идет,
Больней заныла грудь,
Княгиня деньги им дает —
«Спасибо, добрый путь!»
Ей долго, долго лица их
Мерещатся потом,
И не прогнать ей дум своих,
Не позабыться сном!
«И та здесь партия была...
Да... нет других путей...
Но след их вьюга замела.
Скорей, ямщик, скорей!..»

*

Мороз сильней, пустынней путь,
Чем дале на восток;
На триста верст какой-нибудь
Убогий городок,

Зато как радостно глядишь
    На темный ряд домов,
Но где же люди? Всюду тишь,
    Не слышно даже псов.
Под кровлю всех загнал мороз,
    Чаек от скуки пьют,
Прошел солдат, проехал воз,
    Куранты где-то бьют.
Замерзли окна... огонек
    В одном чуть-чуть мелькнул...
Собор... на выезде острог...
    Ямщик кнутом махнул:
«Эй вы!» и нет уж городка,
    Последний дом исчез...
Направо — горы и река,
    Налево — темный лес...
Кипит больной, усталый ум,
    Бессонный до утра,
Тоскует сердце. Смена дум
    Мучительно быстра;
Княгиня видит то друзей,
    То мрачную тюрьму,
И тут же думается ей,
    Бог знает почему,
Что небо звездное — песком
    Посыпанный листок,
А месяц — красным сургучом
    Оттиснутый кружок...
Пропали горы; началась
    Равнина без конца.
Еще мертвей! Не встретит глаз
    Живого деревца.
«А вот и тундра!» — говорит
    Ямщик, бурят степной.
Княгиня пристально глядит
    И думает с тоской:
Сюда-то жадный человек
    За золотом идет!
Оно лежит по руслам рек,
    Оно на дне болот.

Трудна добыча на реке,
    Болота страшны в зной,
Но хуже, хуже в руднике,
    Глубоко под землей!..
Там гробовая тишина,
    Там безрассветный мрак...
Зачем, проклятая страна,
    Нашел тебя Ермак?..

Чредой спустилась ночи мгла,
    Опять взошла луна.
Княгиня долго не спала,
    Тяжелых дум полна...
Уснула... Башня снится ей...
    Она вверху стоит;
Знакомый город перед ней
    Волнуется, шумит;
К Сенатской площади бегут
    Несметные толпы:
Чиновный люд, торговый люд,
    Разносчики, попы;
Пестреют шляпки, бархат, шелк,
    Тулупы, армяки...
Стоял уж там Московский полк,
    Пришли еще полки,
Побольше тысячи солдат
Сошлось. Они «ура!» кричат,
    Они чего-то ждут...

Народ галдел, народ зевал,
Едва ли сотый понимал,
    Что́ делается тут...
Зато посмеивался в ус,
    Лукаво щуря взор,
Знакомый с бурями француз,
    Столичный куафер...

Приспели новые полки:
    «Сдавайтесь!» — тем кричат.
Ответ им — пули и штыки,
    Сдаваться не хотят.

Какой-то бравый генерал,
Влетев в каре, грозиться стал —
С коня снесли его.
Другой приблизился к рядам:
«Прощенье царь дарует вам!» —
Убили и того.

Явился сам митрополит
С хоругвями, с крестом:
«Покайтесь, братия! — гласит, —
Падите пред царем!»
Солдаты слушали, крестясь,
Но дружен был ответ:
«Уйди, старик! молись за нас!
Тебе здесь дела нет...»

Тогда-то пушки навели,
Сам царь скомандовал: па-ли!..
...О милый, жив ли ты?
Княгиня, память потеряв,
Вперед рванулась и стремглав
Упала с высоты.

Пред нею длинный и сырой
Подземный коридор,
У каждой двери часовой,
Все двери на запор.
Прибою волн подобный плеск
Снаружи слышен ей;
Внутри — бряцанье, ружей блеск
При свете фонарей;
Да отдаленный шум шагов
И долгий гул от них,
Да перекрестный бой часов,
Да крики часовых...

С ключами старый и седой,
Усатый инвалид —
«Иди, печальница, за мной! —
Ей тихо говорит. —
Я проведу тебя к нему,
Он жив и невредим...»

Она доверилась ему,
Она пошла за ним...

Шли долго, долго... Наконец
Дверь визгнула, — и вдруг
Пред нею он... живой мертвец...
Пред нею — бедный друг!
Упав на грудь ему, она
Торопится спросить:
«Скажи, что делать? Я сильна,
Могу я страшно мстить!
Достанет мужества в груди,
Готовность горяча,
Просить ли надо?..» — Не ходи,
Не тронешь палача! —
«О милый! что сказал ты? Слов
Не слышу я твоих.
То этот страшный бой часов,
То крики часовых!
Зачем тут третий между нас?..»
— Наивен твой вопрос. —

«Пора! пробил урочный час!» —
Тот, «третий», произнес...

*

Княгиня вздрогнула, — глядит
Испуганно кругом,
Ей ужас сердце леденит:
Не все тут было сном!..

Луна плыла среди небес
Без блеска, без лучей,
Налево был угрюмый лес,
Направо — Енисей.
Темно! Навстречу ни души,
Ямщик на козлах спал,
Голодный волк в лесной глуши
Пронзительно стонал.
Да ветер бился и ревел,
Играя на реке,

Да инородец где-то пел
    На странном языке.
Суровым пафосом звучал
    Неведомый язык,
И пуще сердце надрывал,
    Как в бурю чайки крик...

Княгине холодно; в ту ночь
    Мороз был нестерпим,
Упали силы; ей невмочь
    Бороться больше с ним,
Рассудком ужас овладел,
    Что не доехать ей.
Ямщик давно уже не пел,
    Не понукал коней,
Передней тройки не слыхать,
    «Эй! жив ли ты, ямщик?
Что ты замолк? не вздумай спать!» —
    — Не бойтесь, я привык...

Летят... Из мерзлого окна
    Не видно ничего,
Опасный гонит сон она,
    Но не прогнать его!
Он волю женщины больной
    Мгновенно покорил
И, как волшебник, в край иной
    Ее переселил.
Тот край, — он ей уже знаком, —
    Как прежде, неги полн,
И теплым солнечным лучом,
    И сладким пеньем волн
Ее приветствовал как друг...
    Куда ни поглядит:
«Да, это юг! да, это юг!» —
    Все взору говорит...

Ни тучки в небе голубом,
    Долина вся в цветах,
Все солнцем залито, на всем,
    Внизу и на горах, —

Печать могучей красоты,
Ликует все вокруг;
Ей солнце, море и цветы
Поют: «да — это юг!»

В долине между цепью гор
И морем голубым
Она летит во весь опор
С избранником своим.
Дорога их — роскошный сад,
С деревьев льется аромат,
На каждом дереве горит
Румяный, пышный плод;
Сквозь ветви темные сквозит
Лазурь небес и вод;
По морю реют корабли,
Мелькают паруса,
А горы, видные вдали,
Уходят в небеса.
Как чудны краски их! За час
Рубины рдели там,
Теперь заискрился топаз
По белым их хребтам...
Вот вьючный мул идет шажком,
В бубенчиках, в цветах,
За мулом — женщина с венком,
С корзинкою в руках.
Она кричит им: «Добрый путь!» —
И, засмеявшись вдруг,
Бросает быстро ей на грудь
Цветок... да! это — юг!
Страна античных, смуглых дев
И вечных роз страна...
Чу! мелодический напев,
Чу, музыка слышна!..

«Да, это юг! да, это юг!
(Поет ей добрый сон)
Опять с тобой любимый друг,
Опять свободен он..»

Часть вторая

Уже два месяца почти
Бессменно день и ночь в пути

На диво слаженный возок,
А все конец пути далек!

Княгинин спутник так устал,
Что под Иркутском захворал,

Два дня прождав его, она
Помчалась далее одна...

Ее в Иркутске встретил сам
Начальник городской;

Как мощи сух, как палка прям,
Высокий и седой.

Сползла с плеча его доха,
Под ней — кресты, мундир,

На шляпе — перья петуха.
Почтенный бригадир,

Ругнув за что-то ямщика,
Поспешно подскочил

И дверцы прочного возка
Княгине отворил...

Княгиня

(входит в станционный дом)

В Нерчинск! Закладывать скорей!

Губернатор

Пришел я — встретить вас.

Княгиня

Велите ж дать мне лошадей!

Губернатор

Прошу помедлить час.
Дорога наша так дурна,
Вам нужно отдохнуть...

Княгиня

Благодарю вас! Я сильна...
    Уж недалек мой путь...

Губернатор

Все ж будет верст до восьмисот,
    А главная беда:
Дорога хуже тут пойдет,
    Опасная езда!..
Два слова нужно вам сказать
    По службе, — и притом
Имел я счастье графа знать,
    Семь лет служил при нем.
Отец ваш редкий человек,
    По сердцу, по уму;
Запечатлев в душе навек
    Признательность к нему,
К услугам дочери его
    Готов я... весь я ваш...

Княгиня

Но мне не нужно ничего!

(отворяя дверь в сени)

    Готов ли экипаж?

Губернатор

Покуда я не прикажу,
    Его не подадут...

Княгиня

Так прикажите ж! Я прошу...

Губернатор

    Но есть зацепка тут:
С последней почтой прислана
    Бумага...

Княгиня

            Что же в ней:
Уж не вернуться ль я должна?

Губернатор

Да-с, было бы верней.

Княгиня

Да кто ж прислал вам и о чем
Бумагу? что же — там
Шутили, что ли, над отцом?
Он все устроил сам!

Губернатор

Нет... не решусь я утверждать...
Но путь еще далек...

Княгиня

Так что же даром и болтать!
Готов ли мой возок?

Губернатор

Нет! Я еще не приказал...
Княгиня! здесь я — царь!
Садитесь! Я уже сказал,
Что знал я графа встарь,
А граф... хоть он вас отпустил
По доброте своей,
Но ваш отъезд его убил...
Вернитесь поскорей!

Княгиня

Нет! что однажды решено —
Исполню до конца!
Мне вам рассказывать смешно,
Как я люблю отца,
Как любит он. Но долг другой,
И выше, и святей,
Меня зовет. Мучитель мой!
Давайте лошадей!

Губернатор

Позвольте-с. Я согласен сам,
Что дорог каждый час,
Но хорошо ль известно вам,
Чтó ожидает вас?

Бесплодна наша сторона,
А та — еще бедней,
Короче нашей там весна,
Зима — еще длинней.
Да-с, восемь месяцев зима
Там — знаете ли вы?
Там люди редки без клейма,
И те душой черствы;
На воле рыскают кругом
Там только варнаки;
Ужасен там тюремный дом,
Глубоки рудники.
Вам не придется с мужем быть
Минуты глаз-на-глаз:
В казарме общей надо жить,
А пища: хлеб да квас.
Пять тысяч каторжников там,
Озлоблены судьбой,
Заводят драки по ночам,
Убийства и разбой;
Короток им и страшен суд,
Грознее нет суда!
И вы, княгиня, вечно тут
Свидетельницей... Да,
Поверьте, вас не пощадят,
Не сжалится никто!
Пускай ваш муж — он виноват...
А вам терпеть!.. за что?

Княгиня

Ужасна будет, знаю я,
Жизнь мужа моего.
Пускай же будет и моя
Не радостней его!

Губернатор

Но вы не будете там жить:
Тот климат вас убьет!
Я вас обязан убедить,
Не ездите вперед!
Ах! вам ли жить в стране такой,
Где воздух у людей

Не паром — пылью ледяной
Выходит из ноздрей?
Где мрак и холод круглый год,
А в краткие жары
Непросыхающих болот
Зловредные пары?
Да... страшный край! Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Повиснет над страной...

Княгиня

Живут же люди в том краю,
Привыкну я шутя...

Губернатор

Живут? Но молодость свою
Припомните... дитя!
Здесь мать — водицей снеговой,
Родив, омоет дочь,
Малютку грозной бури вой
Баюкает всю ночь,
А будит дикий зверь, рыча
Близ хижины лесной,
Да пурга, бешено стуча
В окно, как домовой.
С глухих лесов, с пустынных рек
Сбирая дань свою,
Окреп туземный человек
С природою в бою,
А вы?..

Княгиня

Пусть смерть мне суждена —
Мне нечего жалеть!..
Я еду! еду! я должна
Близ мужа умереть.

Губернатор

Да, вы умрете, но сперва
Измучите того,
Чья безвозвратно голова
Погибла. Для него

Прошу: не ездите туда!
    Сноснее одному,
Устав от тяжкого труда,
    Притти в свою тюрьму,
Притти — и лечь на голый пол
    И с черствым сухарем
Заснуть... а добрый сон пришел —
    И узник стал царем!
Летя мечтой к родным, к друзьям,
    Увидя вас самих,
Проснется он к дневным трудам
    И бодр, и сердцем тих,
А с вами? .. с вами не знавать
    Ему счастливых грез,
В себе он будет сознавать
    Причину ваших слез.

Княгиня

Ах! .. Эти речи поберечь
    Вам лучше для других.
Всем вашим пыткам не извлечь
    Слезы из глаз моих!
Покинув родину, друзей,
    Любимого отца,
Приняв обет в душе моей
    Исполнить до конца
Мой долг, — я слез не принесу
    В проклятую тюрьму —
Я гордость, гордость в нем спасу,
    Я силы дам ему!
Презренье к нашим палачам,
    Сознанье правоты
Опорой верной будет нам.

Губернатор

    Прекрасные мечты!
Но их достанет на пять дней.
    Не век же вам грустить?
Поверьте совести моей,
    Захочется вам жить.
Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор,
    Нужда и вечный гнет,

А там балы, блестящий двор,
Свобода и почет.
Как знать? Быть может, бог судил...
Понравится другой,
Закон вас права не лишил.

Княгиня

Молчите!.. Боже мой!..

Губернатор

Да, откровенно говорю,
Вернитесь лучше в свет.

Княгиня

Благодарю, благодарю
За добрый ваш совет!
И прежде был там рай земной,
А ныне этот рай
Своей заботливой рукой
Расчистил Николай.
Там люди заживо гниют —
Ходячие гробы,
Мужчины — сборище Иуд,
А женщины — рабы.
Что там найду я? Ханжество,
Поруганную честь,
Нахальной дряни торжество
И подленькую месть.
Нет, в этот вырубленный лес
Меня не заманят,
Где были дубы до небес,
А нынче пни торчат!
Вернуться? жить среди клевет,
Пустых и темных дел?..
Там места нет, там друга нет
Тому, кто раз прозрел!
Нет, нет, я видеть не хочу
Продажных и тупых,
Не покажусь я палачу
Свободных и святых.
Забыть того, кто нас любил,
Вернуться — все простя?

Губернатор

Но он же вас не пощадил?
    Подумайте, дитя:
О ком тоска? к кому любовь?

Княгиня

    Молчите, генерал!

Губернатор

Когда б не доблестная кровь
    Текла в вас — я б молчал.
Но если рветесь вы вперед,
    Не веря ничему,
Быть может, гордость вас спасет...
    Достались вы ему
С богатством, с именем, с умом,
    С доверчивой душой,
А он, не думая о том,
    Что́ станется с женой,
Увлекся призраком пустым
    И — вот его судьба!..
И что ж?.. бежите вы за ним,
    Как жалкая раба!

Княгиня

Нет! я не жалкая раба,
    Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба —
    Я буду ей верна!
О, если б он меня забыл
    Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
    Не быть его рабой!
Но знаю: к родине любовь
    Соперница моя,
И если б нужно было, вновь
    Ему простила б я!..

*

Княгиня кончила... Молчал
    Упрямый старичок.
— Ну, что ж? Велите, генерал,
    Готовить мой возок? —

Не отвечая на вопрос,
Смотрел он долго в пол,
Потом в раздумьи произнес:
«До завтра» — и ушел...

—

Назавтра тот же разговор.
Просил и убеждал,
Но получил опять отпор
Почтенный генерал.
Все убежденья истощив
И выбившись из сил,
Он долго, важен, молчалив,
По комнате ходил
И наконец сказал: «Быть так!
Вас не спасешь, увы!..
Но знайте: сделав этот шаг,
Всего лишитесь вы!..»

— Да чтó же мне еще терять? —

«За мужем поскакав,
Вы отреченье подписать
Должны от ваших прав!»

Старик эффектно замолчал,
От этих страшных слов
Он, очевидно, пользы ждал.
Но был ответ таков:
— У вас седая голова,
А вы еще дитя!
Вам наши кажутся права
Правами — не шутя.
Нет! ими я не дорожу,
Возьмите их скорей!
Где отреченье? Подпишу!
И живо — лошадей!..

Губернатор

Бумагу эту подписать!
Да что вы?.. Боже мой!
Ведь это значит нищей стать
И женщиной простой!

Всему вы скажете прости,
Что вам дано отцом,
Что по наследству перейти
Должно бы к вам потом!
Права имущества, права
Дворянства потерять!
Нет, вы подумайте сперва —
Зайду я к вам опять!..

*

Ушел и не был целый день...
Когда спустилась тьма,
Княгиня, слабая как тень,
Пришла к нему сама.
Ее не принял генерал:
Хворает тяжело...
Пять дней, покуда он хворал,
Мучительных прошло.
А на шестой пришел он сам
И круто молвил ей:
«Я отпустить не вправе вам,
Княгиня, лошадей!
Вас по этапу поведут
С конвоем...»

Княгиня

Боже мой!
Но так ведь месяцы пройдут
В дороге?

Губернатор

Да, весной
В Нерчинск придете, если вас
Дорога не убьет.
Навряд версты четыре в час
Закованный идет;
Посередине дня — привал,
С закатом дня — ночлег,
А ураган в степи застал —
Закапывайся в снег!
Да-с, промедленьям нет числа,
Иной упал, ослаб...

Княгиня

Не хорошо я поняла —
Чтó значит ваш этап?

Губернатор

Под караулом казаков
С оружием в руках,
Этапом водим мы воров
И каторжных в цепях,
Они дорогою шалят,
Того гляди сбегут,
Так их канатом прикрутят
Друг к другу — и ведут.
Трудненек путь! Да вот-с каков:
Отправится пятьсот,
А до нерчинских рудников
И трети не дойдет!
Они, как мухи, мрут в пути,
Особенно зимой...
И вам, княгиня, так итти?!.
Вернитесь-ка домой!

Княгиня

О нет! я этого ждала...
Но вы, но вы... злодей!..
Неделя целая прошла...
Нет сердца у людей!
Зачем бы разом не сказать...
Уж шла бы я давно...
Велите ж партию сбирать —
Иду! мне все равно!..

—

«Нет! вы поедете!.. — вскричал
Нежданно старый генерал,
Закрыв рукой глаза. —
Как я вас мучил... Боже мой!..»
(Из-под руки на ус седой
Скатилася слеза.)
«Простите! да, я мучил вас,
Но мучился и сам,

Но строгий я имел приказ
Преграды ставить вам!
И разве их не ставил я?
Я делал все, что мог,
Перед царем душа моя
Чиста, свидетель — бог!
Острожным жестким сухарем
И жизнью взаперти,
Позором, ужасом, трудом
Этапного пути
Я вас старался напугать.
Не испугались вы!
И хоть бы мне не удержать
На плечах головы,
Я не могу, я не хочу
Тиранить больше вас...
Я вас в три дня туда домчу...

(Отворяя дверь, кричит)

Эй! запрягать, сейчас! ..»

Часть вторая

КНЯГИНЯ М. Н. ВОЛКОНСКАЯ

Бабушкины записки

(1826—27 г.)

Глава I

Проказники внуки! Сегодня они
С прогулки опять воротились:
«Нам, бабушка, скучно! В ненастные дни,
Когда мы в портретной садились
И ты начинала рассказывать нам,
Так весело было! .. Родная,
Еще что-нибудь расскажи! ..» По углам
Уселись. Но их прогнала я:
«Успеете слушать; рассказов моих
Достанет на целые томы,
Но вы еще глупы: узнаете их,
Как будете с жизнью знакомы!

Я все рассказала доступное вам
По вашим ребяческим летам.
Идите гулять по полям, по лугам!
Идите же... пользуйтесь летом!»
И вот, не желая остаться в долгу
У внуков, пишу я записки;
Для них я портреты людей берегу,
Которые были мне близки,
Я им завещаю альбом — и цветы
С могилы сестры Муравьевой,
Коллекцию бабочек, флору Читы
И виды страны той суровой;
Я им завещаю железный браслет...
Пускай берегут его свято:
В подарок жене его выковал дед
Из собственной цепи когда-то...

—

Родилась я, милые внуки мои,
Под Киевом, в тихой деревне;
Любимая дочь я была у семьи.
Наш род был богатый и древний;
Но пуще отец мой возвысил его:
Заманчивей славы героя,
Дороже отчизны — не знал ничего
Боец, не любивший покоя.
Творя чудеса, девятнадцати лет
Он был полковым командиром,
Он мужеством добыл и лавры побед,
И почести, чтимые миром.
Воинская слава его началась
Персидским и шведским походом,
Но память о нем нераздельно слилась
С великим 12-м годом:
Тут жизнь его долгим сраженьем была.
Походы мы с ним разделяли,
И в месяц иной не запомним числа,
Когда б за него не дрожали.
«Защитник Смоленска» всегда впереди
Опасного дела являлся...
Под Лейпцигом раненный, с пулей в груди,
Он вновь через сутки сражался,

Так летопись жизни его говорит:[1]
В ряду полководцев России,
Покуда отечество наше стоит,
Он памятен будет! Витии
Отца моего осыпали хвалой,
Бессмертным его называя;
Жуковский почтил его громкой строфой,
Российских вождей прославляя:
Под Дашковой личного мужества жар
И жертву отца-патриота
Поэт воспевает.[2] Воинственный дар

---

[1] См. «Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею в 1812—1815 годах». С.-Петербург. 1822. Часть 3, стр. 30—64: Биография генерала-от-кавалерии Николая Николаевича Раевского.

[2] См. соч. Жуковского, изд. 1849 года, том 1. «Певец в стане русских воинов», стр. 280.

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый — грудь против мечей
С отважными сынами...

Факт, о котором здесь упоминается, в «Деяниях» рассказан следующим образом (часть 3, стр. 52).

«В сражении при Дашкове, когда храбрые Россияне, от чрезвычайного превосходства в силах и ужасного действия артиллерии неприятеля, несколько поколебались, генерал Раевский, зная, сколько личный пример начальника одушевляет подчиненных ему воинов, *взяв за руки двух своих сыновей, не достигших еще двадцатилетнего возраста, бросился с ними вперед на одну неприятельскую батарею*, упорствовавшую еще покориться мужеству героев, вскричал: *«Вперед, ребята, за царя и отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!..»* и что могло после сего противостоять усилиям и рвению предводимых таким начальником войск. Батарея была тотчас взята».

Этот факт рассказан и у Михайловского-Данилевского (т. I, стр. 329, изд. 1839 года), с тою разницею, что, по рассказу Данилевского, дело происходило не под *Дашковой*, а при *Салтановке*, и при этом случае упомянут подвиг шестнадцатилетнего юнкера, ровесника с Раевским и несшего впереди полка знамя, при переходе через греблю, под убийственным огнем, и когда младший из Раевских (Николай Николаевич) просил у него знамя, под предлогом, что тот устал: «Дайте мне нести знамя», юнкер, не отдавая оного, отвечал: «Я сам умею умирать!» Подлинность всего этого подтверждает и генерал Липранди, заметка которого (из дневника и воспоминаний И. П. Липранди) помещена в «Архиве» г. Бартенева (1866 года, стр. 1, 214).

Являя в сраженьях без счета,
Не силой одною врагов побеждал
Ваш прадед в борьбе исполинской:
О нем говорили, что он сочетал
С отвагою гений воинский.

Войной озабочен, в семействе своем
Отец ни во что́ не мешался,
Но крут был порою; почти божеством
Он матери нашей казался,
И сам он глубоко привязан был к ней.
Отца мы любили — в герое.
Окончив походы, в усадьбе своей
Он медленно гас на покое.
Мы жили в большом, подгородном дому.
Детей поручив англичанке,
Старик отдыхал.[1] Я училась всему,
Что нужно богатой дворянке.
А после уроков бежала я в сад
И пела весь день беззаботно;
Мой голос был очень хорош, говорят,
Отец его слушал охотно;
Записки свои приводил он к концу,
Читал он газеты, журналы,
Пиры задавал: наезжали к отцу

---

[1] Наша поэма была уже написана, когда мы вспомнили, что генерал Раевский и по возвращении из похода, окончившегося взятием Парижа, продолжал служить. Мы не сочли нужным изменять нашего текста, так как это обстоятельство чисто внешнее, притом Раевский, командовавший корпусом, расположенным близ Киева, под старость, действительно, часто живал в деревне, где, по свидетельству Пушкина, который хорошо знал Н. Н. Раевского и был другом с его сыновьями, занимался, между прочим, домашнею медициной и садоводством. Приводим кстати свидетельство Пушкина о Раевском в одном из писем брату:

«Мой друг, счастливейшие минуты в жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Седые, как он, генералы,
И шли бесконечные споры тогда;
Меж тем молодежь танцовала.
Сказать ли вам правду? была я всегда
В то время царицею бала:
Очей моих томных огонь голубой
И черная с синим отливом
Большая коса, и румянец густой
На личике смуглом, красивом,
И рост мой высокий, и гибкий мой стан,
И гордая поступь — пленяли
Тогдашних красавцев: гусаров, улан,
Что́ близко с полками стояли.
Но слушала я неохотно их лесть...
Отец за меня постарался:
«Не время ли замуж? Жених уже есть,
Он славно под Лейпцигом дрался,
Его полюбил государь, наш отец,
И дал ему чин генерала.
Постарше тебя... а собой молодец,
Волконский! Его ты видала
На царском смотру... и у нас он бывал,
По парку с тобой все шатался!»
— Да, помню! Высокий такой генерал... —
«Он самый!» — Старик засмеялся...
— Отец! он так мало со мной говорил! —
Заметила я, покраснела...
«Ты будешь с ним счастлива!» — круто решил
Старик, — возражать я не смела...

Прошло две недели, — и я под венцом
С Сергеем Волконским стояла;
Не много я знала его женихом,
Не много и мужем узнала, —
Так мало мы жили под кровлей одной,
Так редко друг друга видали!
По дальним селеньям, на зимний постой,
Бригаду его разбросали,
Ее объезжал беспрестанно Сергей.
А я, между тем, расхворалась;
В Одессе потом, по совету врачей,

Я целое лето купалась;
Зимой он приехал за мною туда,
С неделю я с ним отдохнула
При главной квартире... и снова беда!
Однажды я крепко уснула,
Вдруг слышу я голос Сергея (в ночи,
Почти на рассвете то было):
«Вставай! поскорее найди мне ключи!
Камин затопи!» Я вскочила...
Взглянула: встревожен и бледен он был.
Камин затопила я живо.
Из ящиков муж мой бумаги сносил
К камину — и жег торопливо.
Иные прочитывал бегло, спеша,
Иные бросал, не читая.
И я помогала Сергею, дрожа
И глубже в огонь их толкая...
Потом он сказал: «Мы поедем сейчас»,
Волос моих нежно касаясь.
Все скоро уложено было у нас,
И утром, ни с кем не прощаясь,
Мы тронулись в путь. Мы скакали три дня,
Сергей был угрюм, торопился,
Довез до отцовской усадьбы меня
И тотчас со мною простился.

Глава II

«Уехал... Что значила бледность его —
И все, что в ту ночь совершилось?
Зачем не сказал он жене ничего?
Недоброе что-то случилось!»
Я долго не знала покоя и сна,
Сомнения душу терзали:
«Уехал, уехал! опять я одна!..»
Родные меня утешали,
Отец торопливость его объяснял
Каким-нибудь делом случайным:
«Куда-нибудь сам император послал
Его с поручением тайным.
Не плачь! Ты походы делила со мной,

Превратности жизни военной
Ты знаешь; он скоро вернется домой!
Под сердцем залог драгоценный
Ты носишь: теперь ты беречься должна!
Все кончится ладно, родная:
Жена муженька проводила одна,
А встретит, ребенка качая! ..»

Увы! предсказанье его не сбылось!
Увидеться с бедной женою
И с первенцем-сыном отцу довелось
Не здесь — не под кровлей родною!
Как дорого стоил мне первенец мой!
Два месяца я прохворала.
Измучена телом, убита душой,
Я первую няню узнала,
Спросила о муже. — «Еще не бывал!»
— Писал ли? — «И писем нет даже».
— А где мой отец? — «В Петербург ускакал».
— А брат мой? — «Уехал туда же».

— Мой муж не приехал, нет даже письма,
И брат, и отец ускакали, —
Сказала я матушке: — Еду сама!
Довольно, довольно мы ждали! —
И как ни старалась упрашивать дочь
Старушка, я твердо решилась;
Припомнила я ту последнюю ночь
И все, что́ тогда совершилось,
И ясно сознала, что с мужем моим
Недоброе что-то творится...

Стояла весна, по разливам речным
Пришлось черепахой тащиться.

Доехала я чуть живая опять.
— Где муж мой? — отца я спросила.
«В Молдавию муж твой ушел воевать».
— Не пишет он?.. — Глянул уныло
И вышел отец... Недоволен был брат,
Прислуга молчала, вздыхая.
Заметила я, что со мною хитрят,

Заботливо что-то скрывая;
Ссылаясь на то, что мне нужен покой,
Ко мне никого не пускали,
Меня окружили какой-то стеной,
Мне даже газет не давали!
Я вспомнила: много у мужа родных,
Пишу — отвечать умоляю.
Проходят недели — ни слова от них!
Я плачу, я силы теряю...

Нет чувства мучительней тайной грозы.
Я клятвой отца уверяла,
Что я не пролью ни единой слезы, —
И он, и кругом всё молчало!
Любя, меня мучил мой бедный отец;
Жалея, удвоивал горе...
Узнала, узнала я все наконец!..
Прочла я в самом приговоре,
Что был заговорщиком бедный Сергей:
Стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей.
В вину ему ставилось тоже,
Что он... Закружилась моя голова...
Я верить глазам не хотела...
«Ужели? ..» в уме не вязались слова:
Сергей — и бесчестное дело!

Я помню, сто раз я прочла приговор,
Вникая в слова роковые;
К отцу побежала, — с отцом разговор
Меня успокоил, родные!
С души словно камень тяжелый упал.
В одном я Сергея винила:
Зачем он жене ничего не сказал?
Подумав, и то я простила:
«Как мог он болтать? Я была молода.
Когда ж он со мной расставался,
Я сына под сердцем носила тогда:
За мать и дитя он боялся!» —
Так думала я. — «Пусть беда велика.
Не все потеряла я в мире.

Сибирь так ужасна, Сибирь далека,
Но люди живут и в Сибири!..»

Всю ночь я горела, мечтая о том,
Как буду лелеять Сергея.
Под утро глубоким, крепительным сном
Уснула, — и встала бодрее.
Поправилось скоро здоровье мое,
Приятельниц я повидала,
Нашла я сестру, — расспросила ее
И горького много узнала!
Несчастные люди!.. «Все время Сергей
(Сказала сестра) содержался
В тюрьме; не видал ни родных, ни друзей...
Вчера только с ним повидался
Отец. Повидаться с ним можешь и ты:
Когда приговор прочитали,
Одели их в рубище, сняли кресты,
Но право свиданья им дали!..»

Подробностей ряд пропустила я тут...
Оставив следы роковые,
Доныне о мщеньи они вопиют...
Не знайте их лучше, родные.

Я в крепость поехала к мужу с сестрой.
Пришли мы сперва к «генералу»,
Потом нас привел генерал пожилой
В обширную, мрачную залу.
«Дождитесь, княгиня! мы будем сейчас!» —
Раскланявшись вежливо с нами,
Он вышел. С дверей не спускала я глаз,
Минуты казались часами.
Шаги постепенно смолкали вдали,
За ними я мыслью летела.
Мне чудилось: связку ключей принесли,
И ржавая дверь заскрипела,
В угрюмой каморке с железным окном
Измученный узник томился.
«Жена к вам приехала!..» Бледный лицом,
Он весь задрожал, оживился:

— Жена! . . — Коридором он быстро бежал,
Довериться слуху не смея. . .

— Вот он! — громогласно сказал генерал,
И я увидала Сергея. . .
Недаром над ним пронеслася гроза:
Морщины на лбу появились,
Лицо было мертвенно бледно, глаза
Не так уже ярко светились,
Но больше в них было, чем в прежние дни,
Той тихой, знакомой печали;
С минуту пытливо смотрели они,
И радостью вдруг заблистали,
Казалось, он в душу мою заглянул. . .
Я горько, припав к его груди,
Рыдала. . . Он обнял меня и шепнул:
«Здесь есть посторонние люди».
Потом он сказал, что полезно ему
Узнать добродетель смиренья,
Что, впрочем, легко переносит тюрьму,
И несколько слов ободренья
Прибавил. . . По комнате важно шагал
Свидетель: нам было неловко. . .
Сергей на одежду свою показал:
«Поздравь меня, Маша, с обновкой, —
И тихо прибавил: — *Пойми и прости*».
Глаза засверкали слезою,
Но тут соглядатай успел подойти,
Он низко поник головою.
Я громко сказала: «Да, я не ждала
Найти тебя в этой одежде»,
И тихо шепнула: *«Я все поняла,*
Люблю тебя больше, чем прежде. . .»
— Что делать? И в каторге буду я жить
(Покуда мне жизнь не наскучит). —
«Ты жив, ты здоров, так о чем же тужить?
(Ведь каторга нас не разлучит?)»

— Так вот ты какая! — Сергей говорил,
Лицо его весело было. . .
Он вынул платок, на окно положил,
И рядом я свой положила,

Потом, расставаясь, Сергеев платок
Взяла я — мой мужу остался...
Нам после годичной разлуки часок
Свиданья короток казался,
Но что ж было делать! Наш срок миновал —
Пришлось бы другим дожидаться...
В карету меня подсадил генерал,
Счастливо желал оставаться...

Великую радость нашла я в платке:
Целуя его, увидала
Я несколько слов на одном уголке;
Вот что я, дрожа, прочитала:
«Мой друг, ты свободна. Пойми — не пеняй!
Душевно я бодр — и желаю
Жену мою видеть такой же. Прощай!
Малютке поклон посылаю...»

Была в Петербурге большая родня
У мужа; все знать — да какая!
Я ездила к ним, волновалась три дня,
Сергея спасти умоляя.
Отец говорил: «Что ты мучишься, дочь?
Я все испытал — бесполезно!»
И правда: они уж пытались помочь,
Моля императора слезно,
Но просьбы до сердца его не дошли...
Я с мужем еще повидалась,
И время приспело: его увезли!..
Как только одна я осталась,
Я тотчас послышала в сердце моем,
Что надо и мне торопиться,
Мне душен казался родительский дом,
И стала я к мужу проситься.

Теперь расскажу вам подробно, друзья,
Мою роковую победу.
Вся дружно и грозно восстала семья,
Когда я сказала: «Я еду!»
Не знаю, как мне удалось устоять,
Чего натерпелась я... Боже!..
Была из-под Киева вызвана мать,

И братья приехали тоже:
Отец «образумить» меня приказал.
Они убеждали, просили,
Но волю мою сам господь подкреплял,
Их речи ее не сломили!
А много и горько поплакать пришлось...
Когда собрались мы к обеду,
Отец мимоходом мне бросил вопрос:
— На что ты решилась? — «Я еду!»
Отец промолчал... промолчала семья...
Я вечером горько всплакнула,
Качая ребенка, задумалась я...
Вдруг входит отец, — я вздрогнула...
Ждала я грозы, но, печален и тих,
Сказал он сердечно и кротко:
— За что обижаешь ты кровных родных?
Что будет с несчастным сироткой?
Что будет с тобою, голубка моя?
Там нужно не женскую силу!
Напрасна великая жертва твоя,
Найдешь ты там только могилу! —
И ждал он ответа, и взгляд мой ловил,
Лаская меня и целуя...
— Я сам виноват! Я тебя погубил! —
Воскликнул он вдруг, негодуя. —
Где был мой рассудок? Где были глаза!
Уж знала вся армия наша... —
И рвал он седые свои волоса:
— Прости! Не казни меня, Маша!
Останься!.. — И снова молил горячо...
Бог знает, как я устояла!
Припав головою к нему на плечо,
«Поеду!» — я тихо сказала...
— Посмотрим!.. — И вдруг распрямился старик,
Глаза его гневом сверкали:
— Одно повторяет твой глупый язык:
Поеду! Сказать не пора ли,
Куда и зачем! Ты подумай сперва!
Не знаешь сама, что болтаешь!
Умеет ли думать твоя голова?
Врагами ты, что ли, считаешь

И мать, и отца? Или глупы они...
Что споришь ты с ними, как с ровней?
Поглубже ты в сердце свое загляни,
Вперед посмотри хладнокровней,
Подумай! .. Я завтра увижусь с тобой...

Ушел он, грозящий и гневный,
А я, чуть жива, пред иконой святой
Упала — в истоме душевной...

Глава III

«Подумай!»... Я целую ночь не спала,
Молилась и плакала долго.
Я божию матерь на помощь звала,
Совета просила у бога,
Я думать училась: отец приказал
Подумать... нелегкое дело!
Давно ли он думал за нас — и решал,
И жизнь наша мирно летела?

Училась я много; на трех языках
Читала. Заметна была я
В парадных гостиных, на светских балах,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всем,
Я музыку знала, я пела,
Я даже отлично скакала верхом,
Но думать совсем не умела.

Я только в последний, двадцатый мой год
Узнала, что жизнь не игрушка.
Да в детстве, бывало, сердечко вздрогнет,
Как грянет нечаянно пушка.
Жилось хорошо и привольно; отец
Со мной не говаривал строго;
Осьмнадцати лет я пошла под венец
И тоже не думала много...

В последнее время моя голова
Работала сильно, пылала;

Меня неизвестность томила сперва.
Когда же беду я узнала,
Бессменно стоял предо мною Сергей,
Тюрьмою измученный, бледный,
И много неведомых прежде страстей
Посеял в душе моей бедной.

Я все испытала, а больше всего
Жестокое чувство бессилья.
Я небо и сильных людей за него
Молила — напрасны усилья!
И гнев мою душу больную палил,
И я волновалась нестройно,
Рвалась, проклинала... но не было сил,
Ни времени думать спокойно.
Теперь непременно я думать должна —
Отцу моему так угодно.
Пусть воля моя неизменно одна,
Пусть всякая дума бесплодна,
Я честно исполнить отцовский приказ
Решилась, мои дорогие.
Старик говорил: — Ты подумай о нас,
Мы люди тебе не чужие:
И мать, и отца, и дитя, наконец, —
Ты всех безрассудно бросаешь,
За что же? — «Я долг исполняю, отец!»
— За что ты себя обрекаешь
На муку? — «Не буду я мучиться там!
Здесь ждет меня страшная мука.
Да, если останусь, послушная вам,
Меня истерзает разлука.
Не зная покоя ни ночью, ни днем,
Рыдая над бедным сироткой,
Все буду я думать о муже моем
Да слышать упрек его кроткий.
Куда ни пойду я — на лицах людей
Я свой приговор прочитаю:
В их шопоте — повесть измены моей,
В улыбке укор угадаю:
Что место мое не на пышном балу,
А в дальней пустыне угрюмой,

Где узник усталый в тюремном углу
Терзается лютою думой,
Один... без опоры... Скорее к нему!
Там только вздохну я свободно.
Делила с ним радость, делить и тюрьму
Должна я... Так небу угодно!..

Простите, родные! Мне сердце давно
Мое подсказало решенье.
И верю я твердо: от бога оно!
А в вас говорит — сожаленье.
Да, ежели выбор решить я должна
Меж мужем и сыном — не боле,
Иду я туда, где я больше нужна,
Иду я к тому, кто в неволе!
Я сына оставлю в семействе родном,
Он скоро меня позабудет.
Пусть дедушка будет малютке отцом,
Сестра ему матерью будет.
Он так еще мал! А когда подрастет
И страшную тайну узнает,
Я верю: он матери чувство поймет
И в сердце ее оправдает!

Но если останусь я с ним... и потом
Он тайну узнает и спросит:
«Зачем не пошла ты за бедным отцом?..»
И слово укора мне бросит?
О, лучше в могилу мне заживо лечь,
Чем мужа лишить утешенья
И в будущем сына презренье навлечь...
Нет, нет! не хочу я презренья!..

А может случиться — подумать боюсь! —
Я первого мужа забуду,
Условиям новой семьи подчинюсь
И сыну не матерью буду,
А мачехой лютой?.. Горю со стыда...
Прости меня, бедный изгнанник!
Тебя позабыть! Никогда! никогда!
Ты сердца единый избранник...

Отец! ты не знаешь, как дорог он мне!
Его ты не знаешь! Сначала,
В блестящем наряде, на гордом коне,
Его пред полком я видала;
О подвигах жизни его боевой
Рассказы товарищей боя
Я слушала жадно — и всею душой
Я в нем полюбила героя...

Позднее я в нем полюбила отца
Малютки, рожденного мною.
Разлука тянулась меж тем без конца.
Он твердо стоял под грозою...
Вы знаете, где мы увиделись вновь —
Судьба свою волю творила! —
Последнюю, лучшую сердца любовь
В тюрьме я ему подарила!
Напрасно чернила его клевета:
Он был безупречней, чем прежде,
И я полюбила его, как Христа...
В своей арестантской одежде
Теперь он бессменно стоит предо мной,
Величием кротким сияя.
Терновый венец над его головой,
Во взоре — любовь неземная...

Отец мой! должна я увидеть его...
Умру я, тоскуя по муже...
Ты, долгу служа, не щадил ничего,
И нас научил ты тому же...
Герой, выводивший своих сыновей
Туда, где смертельней сраженье, —
Не верю, чтоб дочери бедной своей
Ты сам не одобрил решенье!»

—

Вот что́ я продумала в долгую ночь,
И так я с отцом говорила...
Он тихо сказал: «Сумасшедшая дочь!»
И вышел; молчали уныло
И братья, и мать... Я ушла наконец...

Тяжелые дни потянулись:
Как туча ходил недовольный отец,
Другие домашние дулись.
Никто не хотел ни советом помочь,
Ни делом; но я не дремала,
Опять провела я бессонную ночь,
Письмо к государю писала.
(В то время молва начала разглашать,
Что будто вернуть Трубецкую
С дороги велел государь. Испытать
Боялась я участь такую,
Но слух был неверен). Письмо отвезла
Сестра моя, Катя Орлова.
Сам царь отвечал мне... Спасибо, нашла
В ответе я доброе слово!
Он был элегантен и мил (Николай
Писал по-французски). Сначала
Сказал государь, как ужасен тот край,
Куда я поехать желала,
Как грубы там люди, как жизнь тяжела,
Как возраст мой хрупок и нежен;
Потом намекнул (я не вдруг поняла)
На то, что возврат безнадежен;
А дальше — изволил хвалою почтить
Решимость мою, сожалея,
Что, долгу покорный, не мог пощадить
Преступного мужа... Не смея
Противиться чувствам высоким таким,
Давал он свое позволенье;
Но лучше желал бы, чтоб с сыном моим
Осталась я дома...
                    Волненье
Меня охватило. «Я еду!» Давно
Так радостно сердце не билось...
«Я еду! я еду! Теперь решено! ..»
Я плакала, жарко молилась...

В три дня я в далекий мой путь собралась,
Все ценное я заложила.
Надежною шубой, бельем запаслась,
Простую кибитку купила.

Родные смотрели на сборы мои,
Загадочно как-то вздыхая;
Отъезду не верил никто из семьи...
Последнюю ночь провела я
С ребенком. Нагнувшись над сыном моим,
Улыбку малютки родного
Запомнить старалась; играла я с ним
Печатью письма рокового.
Играла и думала: «Бедный мой сын!
Не знаешь ты, чем ты играешь!
Здесь участь твоя: ты проснешься один,
Несчастный! Ты мать потеряешь!»
И, в горе упав на ручонки его
Лицом, я шептала, рыдая:
«Прости, что тебя, для отца твоего,
Мой бедный, покинуть должна я...»
А он улыбался; не думал он спать,
Любуясь красивым пакетом;
Большая и красная эта печать
Его забавляла...
С рассветом
Спокойно и крепко заснуло дитя,
И щечки его заалели.
С любимого личика глаз не сводя,
Молясь у его колыбели,
Я встретила утро...
Я вмиг собралась.
Сестру заклинала я снова
Быть матерью сыну... Сестра поклялась...
Кибитка была уж готова.

Сурово молчали родные мои,
Прощание было немое.
Я думала: «Я умерла для семьи,
Все милое, все дорогое
Теряю... нет счета печальных потерь!..»
Мать как-то спокойно сидела,
Казалось, не веря еще и теперь,
Чтоб дочка уехать посмела,
И каждый с вопросом смотрел на отца.
Сидел он поодаль понуро,
Не молвил словечка, не поднял лица,—

Оно было бледно и хмуро.
Последние вещи в кибитку снесли,
Я плакала, бодрость теряя;
Минуты мучительно медленно шли...
Сестру наконец обняла я
И мать обняла. «Ну, господь вас храни!» —
Сказала я, братьев целуя.
Отцу подражая, молчали они...
Старик поднялся, негодуя;
По сжатым губам, по морщинам чела
Ходили зловещие тени...
Я молча ему образок подала
И стала пред ним на колени:
«Я еду! Хоть слово, хоть слово, отец!
Прости свою дочь, ради бога!..»
Старик на меня поглядел наконец
Задумчиво, пристально, строго,
И, руки с угрозой подняв надо мной,
Чуть слышно сказал (я дрожала):
— Смотри! через год возвращайся домой,
Не то — прокляну!.. —

Я упала...

Глава IV

«Довольно, довольно объятий и слез!»
Я села — и тройка помчалась.
«Прощайте, родные!» В декабрьский мороз
Я с домом отцовским рассталась,
И мчалась без отдыху слишком три дня;
Меня быстрота увлекала,
Она была лучшим врачом для меня...
Я скоро в Москву прискакала,
К сестре Зинаиде.[1] Мила и умна
Была молодая княгиня.
Как музыку знала! Как пела она!
Искусство ей было святыня.

---

[1] Зинаида Волконская, урожденная кн. Белосельская, была родственницей нашей героине по мужу.

Она нам оставила книгу новелл,[1]
Исполненных грации нежной;
Поэт Веневитинов стансы ей пел,
Влюбленный в нее безнадежно;
В Италии год Зинаида жила
И к нам — по сказанью поэта —
«Цвет южного неба в очах принесла»...[2]
Царица московского света,
Она не чуждалась артистов, — житье
Им было у Зины в гостиной;
Они уважали, любили ее
И Северной звали Коринной...

Поплакали мы. По душе ей была
Решимость моя роковая:
«Крепись, моя бедная! будь весела!
Ты мрачная стала такая.
Чем мне эти темные тучи прогнать?
Как мы распростимся с тобою?
А вот что! ложись ты до вечера спать,
А вечером пир я устрою.
Не бойся! все будет во вкусе твоем,
Друзья у меня не повесы,
Любимые песни твои мы споем,
Сыграем любимые пьесы...»

И вечером весть, что приехала я,
В Москве уже многие знали.

---

[1] Quatre Nouvelles, par M-me la Princesse Zénéide Wolkonsky née P-sse Bélosselsky. Moscou. dans l'imprimerie d'Auguste Semen. 1819.

[2] См. стихотворения Д. В. Веневитинова, изд. А. Пятковского, Спб. 1862 (Элегия, стр. 96):

На цвет небес ты долго нагляделась
И цвет небес в очах нам принесла.

Пушкин также посвятил З. В[олконс]кой стихотворение (1827 год), начинающееся стихом:

Царица муз и красоты и пр.

В то время несчастные наши мужья
Вниманье Москвы занимали:
Едва огласилось решенье суда,
Всем было неловко и жутко,
В салонах Москвы повторялась тогда
Одна ростопчинская шутка:
«В Европе — сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует, — понятное дело!
У нас революцию сделала знать:
В сапожники, что ль, захотела? ..»

И сделалась я «героинею дня».
Не только артисты, поэты —
Вся двинулась знатная наша родня;
Парадные, цугом кареты
Гремели; напудрив свой парики,
Потемкину ровня по летам,
Явились былые тузы-старики
С отменно-учтивым приветом;
Старушки статс-дамы былого двора
В объятья меня заключали:
«Какое геройство! .. Какая пора! ..»
И в такт головами качали.

Ну, словом, что было в Москве повидней,
Что в ней мимоездом гостило,
Всё вечером съехалось к Зине моей:
Артистов тут множество было,
Певцов итальянцев тут слышала я,
Что были тогда знамениты,
Отца моего сослуживцы, друзья
Тут были, печалью убиты.
Тут были родные ушедших туда,
Куда я сама торопилась,
Писателей группа, любимых тогда,
Со мной дружелюбно простилась:
Тут были Одоевский, Вяземский; был
Поэт вдохновенный и милый,
Поклонник кузины, что́ рано почил
Безвременно взятый могилой.

И Пушкин тут был... Я узнала его...
Он другом был нашего детства,
В Юрзуфе[1] он жил у отца моего.
В ту пору проказ и кокетства
Смеялись, болтали мы, бегали с ним,
Бросали друг в друга цветами.
Все наше семейство поехало в Крым,
И Пушкин отправился с нами.
Мы ехали весело. Вот наконец
И горы, и Черное море!
Велел постоять экипажам отец,
Гуляли мы тут на просторе.

Тогда уже был мне шестнадцатый год.
Гибка, высока не по летам,
Покинув семью, я стрелою вперед
Умчалась с курчавым поэтом;
Без шляпки, с распущенной длинной косой,
Полуденным солнцем палима,
Я к морю летела, — и был предо мной
Вид южного берега Крыма!
Я радостным взором глядела кругом,
Я прыгала, с морем играла;
Когда удалялся прилив, я бегом
До самой воды добегала;
Когда же прилив возвращался опять
И волны грядой подступали,
От них я спешила назад убежать,
А волны меня настигали!..

---

[1] Юрзуф, очаровательный уголок южного берега Крыма — лежит на восточной оконечности южного берега, на пути между Яйлою и Ялтою. Заметим здесь, что во всем нашем рассказе о пребывании Пушкина у Раевских в Юрзуфе не вымышлено нами ни одного слова. Анекдот о шалости Пушкина по поводу переводов Елены Николаевны Раевской рассказан в статье г. Бартенева: «Пушкин в Южной России» («Русский Архив» 1866 года, ст. 1, 118). О друге своем кипарисе упоминает сам Пушкин в известном письме к Дельвигу: «В двух шагах от дома рос кипарис; каждое утро я посещал его и привязался к нему чувством, похожим на дружество». Легенда, связавшаяся впоследствии с этим другом Пушкина, рассказана в «Крымских письмах» Евгении Тур («С.-Петербургские Ведомости» 1854 года, письмо 5-е) и повторена в упомянутой выше статье г. Бартенева.

И Пушкин смотрел... и смеялся, что я
Ботинки мои промочила.
«Молчите! идет гувернантка моя!» —
Сказала я строго... (Я скрыла,
Что ноги промокли)... Потом я прочла
В «Онегине» чудные строки.[1]
Я вспыхнула вся — я довольна была...
Теперь я стара, так далеки
Те красные дни! Я не буду скрывать,
Что Пушкин в то время казался
Влюбленным в меня... но, по правде сказать,
В кого он тогда не влюблялся!
Но, думаю, он не любил никого
Тогда, кроме Музы: едва ли
Не больше любви занимали его
Волненья ее и печали...

Юрзуф живописен: в роскошных садах
Долины его потонули,
У ног его море, вдали Аюдаг...
Татарские хижины льнули
К подножию скал; виноград выбегал
На кручу лозой отягченной,
И тополь местами недвижно стоял
Зеленой и стройной колонной.
Мы заняли дом под нависшей скалой,
Поэт наверху приютился.
Он нам говорил, что доволен судьбой,
Что в море и горы влюбился.
Прогулки его продолжались по дням
И были всегда одиноки,
Он у моря часто бродил по ночам.
По-английски брал он уроки
У Лены, сестры моей: Байрон тогда
Его занимал чрезвычайно.

---

[1] Я помню море пред грозою,
Как я завидовал волнам,
Бежавшим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам и пр.

(«Онегин» Пушкина)

Случалось сестре перевесть иногда
Из Байрона что-нибудь — тайно;
Она мне читала попытки свои,
А после рвала и бросала,
Но Пушкину кто-то сказал из семьи,
Что Лена стихи сочиняла:
Поэт подобрал лоскутки под окном
И вывел все дело на сцену.
Хваля переводы, он долго потом
Конфузил несчастную Лену...
Окончив занятья, спускался он вниз
И с нами делился досугом;
У самой террасы стоял кипарис,
Поэт называл его другом,
Под ним заставал его часто рассвет,
Он с ним, уезжая, прощался,
И мне говорили, что Пушкина след
В туземной легенде остался:
«К поэту летал соловей по ночам,
Как в небо луна выплывала,
И вместе с поэтом он пел — и, певцам
Внимая, природа смолкала!
Потом соловей — повествует народ —
Летал сюда каждое лето:
И свищет, и плачет, и словно зовет
К забытому другу поэта!
Но умер поэт — прилетать перестал
Пернатый певец... Полный горя,
С тех пор кипарис сиротою стоял,
Внимая лишь ропоту моря...»
Но Пушкин надолго прославил его:
Туристы его навещают,
Садятся под ним, и на память с него
Душистые ветки срывают...

Печальна была наша встреча. Поэт
Подавлен был истинным горем.
Припомнил он игры ребяческих лет
В далеком Юрзуфе, над морем.
Покинув привычный насмешливый тон,
С любовью, с тоской бесконечной,
С участием брата напутствовал он

Подругу той жизни беспечной!
Со мной он по комнате долго ходил,
Судьбой озабочен моею;
Я помню, родные, что он говорил,
Да так передать не сумею:
«Идите, идите! Вы сильны душой,
Вы смелым терпеньем богаты,
Пусть мирно свершится ваш путь роковой.
Пусть вас не смущают утраты!
Поверьте, душевной такой чистоты
Не сто́ит сей свет ненавистный!
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстной!
Что свет? опостылевший всем маскарад!
В нем сердце черствеет и дремлет,
В нем царствует вечный, рассчитанный хлад
И пылкую правду объемлет...

Вражда умирится влияньем годов,
Пред временем рухнет преграда,
И вам возвратятся пенаты отцов
И сени домашнего сада!
Целебно вольется в усталую грудь
Долины наследственной сладость,
Вы гордо оглянете пройденный путь
И снова узнаете радость.

Да, верю! не долго вам горе терпеть,
Гнев царский не будет же вечным...
Но если придется в степи умереть,
Помянут вас словом сердечным:
Пленителен образ отважной жены,
Явившей душевную силу
И в снежных пустынях суровой страны
Сокрывшейся рано в могилу!

Умрете, но ваших страданий рассказ
Поймется живыми сердцами,
И за-полночь правнуки ваши о вас
Беседы не кончат с друзьями.
Они им покажут, вздохнув от души,
Черты незабвенные ваши,

И в память прабабки, погибшей в глуши,
Осушатся полные чаши!..
Пускай долговечнее мрамор могил,
Чем крест деревянный в пустыне,
Но свет Долгорукой еще не забыл,
А Бирона нет и в помине.

Но что я? .. Дай бог вам здоровья и сил!
А там и увидеться можно:
Мне царь «Пугачева» писать поручил,
Пугач меня мучит безбожно,
Расправиться с ним я на славу хочу,
Мне быть на Урале придется.
Поеду весной, поскорей захвачу,
Что путного там соберется,
Да к вам и махну, переехав Урал...»

Поэт написал «Пугачева»,
Но в дальние наши снега не попал.
Как мог он сдержать это слово?

Я слушала музыку, грусти полна,
Я пению жадно внимала;
Сама я не пела, — была я больна,
Я только других умоляла:
«Подумайте: я уезжаю с зарей...
О, пойте же, пойте! играйте!..
Ни музыки я не услышу такой,
Ни песни... Наслушаться дайте!»
И чудные звуки лились без конца!
Торжественной песней прощальной
Окончился вечер, — не помню лица
Без грусти, без думы печальной!
Черты неподвижных, суровых старух
Утратили холод надменный,
И взор, что, казалось, навеки потух,
Светился слезой умиленной...
Артисты старались себя превзойти,
Не знаю я песни прелестней
Той песни-молитвы о добром пути,
Той благословляющей песни...

О, как вдохновенно играли они!
Как пели!.. и плакали сами...
И каждый сказал мне: «Господь вас храни!»,
Прощаясь со мной со слезами...

Глава V

Морозно. Дорога бела и гладка,
Ни тучи на всем небосклоне...
Обмерзли усы, борода ямщика,
Дрожит он в своем балахоне.
Спина его, плечи и шапка в снегу,
Хрипит он, коней понукая,
И кашляют кони его на бегу,
Глубоко и трудно вздыхая...

Обычные виды: былая краса
Пустынного русского края;
Угрюмо шумят строевые леса,
Гигантские тени бросая;
Равнины покрыты алмазным ковром,
Деревни в снегу потонули,
Мелькнул на пригорке помещичий дом,
Церковные главы блеснули...

Обычные встречи: обоз без конца,
Толпа богомолок-старушек,
Почтовая тройка, фигура купца
На груде перин и подушек;
Казенная фура! С десяток подвод:
Навалены ружья и ранцы.
Солдатики! Жидкий, безусый народ,
Должно быть, еще новобранцы;
Сынков провожают отцы-мужики,
Да матери, сестры и жены:
«Уводят, уводят сердечных в полки!» —
Доносятся горькие стоны...

Подняв кулаки над спиной ямщика,
Неистово мчится фельдъегерь.
На самой дороге догнав русака,
Усатый помещичий егерь

Махнул через ров на проворном коне,
Добычу у псов отбивает.
Со всей своей свитой стоит в стороне
Помещик — борзых подзывает...

Обычные сцены: на станциях ад —
Ругаются, спорят, толкутся.
«Ну, трогай!» Из окон ребята глядят,
Попы у харчевни дерутся;
У кузницы бьется лошадка в станке,
Выходит весь сажей покрытый
Кузнец с раскаленной подковой в руке:
«Эй, парень, держи ей копыты!..»

В Казани я сделала первый привал,
На жестком диване уснула;
Из окон гостиницы видела бал
И, каюсь, глубоко вздохнула!
Я вспомнила: час или два с небольшим
Осталось до нового года.
«Счастливые люди! как весело им!
У них и покой, и свобода,
Танцуют, смеются!.. а мне не знавать
Веселья... я еду на муки!..»
Не надо бы мыслей таких допускать,
Да молодость, молодость, внуки!

Здесь снова пугали меня Трубецкой,
Что будто ее воротили:
«Но я не боюсь — позволенье со мной!»
Часы уже десять пробили,
Пора! я оделась. — Готов ли ямщик? —
«Княгиня, вам лучше дождаться
Рассвета, — заметил смотритель-старик, —
Метель начала подыматься!»
— Ах! то ли придется еще испытать!
Поеду. Скорей, ради бога!.. —

Звенит колокольчик, ни зги не видать,
Что дальше, то хуже дорога,
Поталкивать начало сильно в бока,
Какими-то едем грядами,
Не вижу я даже спины ямщика:

Бугор намело между нами.
Чуть-чуть не упала кибитка моя,
Шарахнулась тройка и стала.
Ямщик мой заохал: «Докладывал я:
Пождать бы! дорога пропала! ..»

Послала дорогу искать ямщика,
Кибитку рогожей закрыла,
Подумала: верно, уж полночь близка,
Пружинку часов подавила:
Двенадцать ударило! Кончился год,
И новый успел народиться!
Откинув цыновку, гляжу я вперед —
Попрежнему вьюга крутится.
Какое ей дело до наших скорбей,
До нашего нового года?
И я равнодушна к тревоге твоей
И к стонам твоим, непогода!
Своя у меня роковая тоска,
И с ней я борюсь одиноко...

Поздравила я моего ямщика.
«Зимовка тут есть недалеко, —
Сказал он, — рассвета дождемся мы в ней!»
Подъехали мы, разбудили
Каких-то убогих лесных сторожей,
Их дымную печь затопили.
Рассказывал ужасы житель лесной,
Да я его сказки забыла...
Согрелись мы чаем. Пора на покой!
Метель все ужаснее выла.
Лесник покрестился, ночник погасил
И с помощью пасынка Феди
Огромных два камня к дверям привалил.
— Зачем? — «Одолели медведи!»

Потом он улегся на голом полу,
Все скоро уснуло в сторожке.
Я думала, думала... лежа в углу
На мерзлой и жесткой рогожке...
Сначала веселые были мечты:
Я вспомнила праздники наши,
Огнями горящую залу, цветы,

Подарки, заздравные чаши,
И шумные речи, и ласки... кругом
Все милое, все дорогое —
Но где же Сергей? .. И, подумав о нем,
Забыла я все остальное!

Я живо вскочила, как только ямщик
Продрогший в окно постучался.
Чуть свет на дорогу нас вывел лесник,
Но деньги принять отказался.
«Не надо, родная! Бог вас защити,
Дороги-то дальше опасны!»
Крепчали морозы по мере пути
И сделались скоро ужасны.
Совсем я закрыла кибитку мою —
И темно, и страшная скука,
Что делать? Стихи вспоминаю, пою,
Когда-нибудь кончится мука!
Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет
И путь мой заносят метели,
А все-таки я подвигаюсь вперед!
Так ехала я три недели...

Однажды, заслышав какой-то содом,
Цыновку мою я открыла,
Взглянула: мы едем обширным селом,
Мне сразу глаза ослепило:
Пылали костры по дороге моей...
Тут были крестьяне, крестьянки,
Солдаты — и целый табун лошадей...
«Здесь станция: ждут серебрянки,[1] —
Сказал мой ямщик, — мы увидим ее,
Она, чай, идет недалече»...

Сибирь высылала богатство свое,
Я рада была этой встрече:
«Дождусь серебрянки! Авось, что-нибудь
О муже, о наших узнаю.
При ней офицер, из Нерчинска их путь...»
В харчевне сижу, поджидаю...
Вошел молодой офицер; он курил,
Он мне не кивнул головою,

[1] Обоз с серебром.

Он как-то надменно глядел и ходил,
И вот я сказала с тоскою:
— Вы видели, верно... известны ли вам
Те... жертвы декабрьского дела...
Здоровы они? Каково-то им там?
О муже я знать бы хотела... —
Нахально ко мне повернул он лицо, —
Черты были злы и суровы, —
И, выпустив изо рту дыму кольцо,
Сказал: «Несомненно здоровы,
Но я их не знаю — и знать не хочу,
Я мало ли каторжных видел! ..»
Как больно мне было, родные! Молчу...
Несчастный! меня же обидел! ..
Я бросила только презрительный взгляд,
С достоинством юноша вышел...
У печки тут грелся какой-то солдат,
Проклятье мое он услышал,
И доброе слово — не варварский смех —
Нашел в своем сердце солдатском:
— Здоровы! — сказал он. — Я видел их всех,
Живут в руднике Благодатском! .. —
Но тут возвратился надменный герой,
Поспешно ушла я в кибитку.
Спасибо, солдатик! спасибо, родной!
Недаром я вынесла пытку!

Поутру на белые степи гляжу,
Послышался звон колокольный,
Тихонько в убогую церковь вхожу,
Смешалась с толпой богомольной.
Отслушав обедню, к попу подошла,
Молебен служить попросила...
Все было спокойно — толпа не ушла...
Совсем меня горе сломило!
За что мы обижены столько, Христос?
За что поруганьем покрыты?
И реки давно накопившихся слез
Упали на жесткие плиты!
Казалось, народ мою грусть разделял,
Молясь молчаливо и строго,
И голос священника скорбью звучал,

Прося об изгнанниках бога...
Убогий, в пустыне затерянный храм!
В нем плакать мне было не стыдно,
Участье страдальцев, молящихся там,
Убитой душе не обидно...

(Отец Иоанн, что́ молебен служил
И так непритворно молился,
Потом в каземате священником был
И с нами душой породнился.)

А ночью ямщик не сдержал лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетела с кибиткой моей
С высокой вершины Алтая!

В Иркутске проделали то же со мной,
Чем там Трубецкую терзали...
Байкал. Переправа — и холод такой,
Что слезы в глазах замерзали.
Потом я рассталась с кибиткой моей
(Пропала санная дорога).
Мне жаль ее было: я плакала в ней
И думала, думала много!

Дорога без снегу — в телеге! Сперва
Телега меня занимала,
Но вскоре потом, ни жива, ни мертва,
Я прелесть телеги узнала.
Узнала и голод на этом пути;
К несчастию, мне не сказали,
Что тут ничего невозможно найти,
Тут почту буряты держали.
Говядину вялят на солнце они,
Да греются чаем кирпичным,
И тот еще с салом! Господь сохрани
Попробовать вам, непривычным!
Зато под Нерчинском мне задали бал:
Какой-то купец тароватый
В Иркутске заметил меня, обогнал
И в честь мою праздник богатый
Устроил... Спасибо! я рада была
И вкусным пельменям, и бане...

А праздник, как мертвая, весь проспала
В гостиной его на диване...

Не знала я, что впереди меня ждет!
Я утром в Нерчинск прискакала,
Не верю глазам — Трубецкая идет!
«Догнала тебя, я догнала!»
— *Они в Благодатске!* — Я бросилась к ней,
Счастливые слезы роняя...
В двенадцати только верстах мой Сергей,
И Катя со мной Трубецкая!

Глава VI

Кто знал одиночество в дальнем пути,
Чьи спутники — горе да вьюга,
Кому провиденьем дано обрести
В пустыне негаданно друга,
Тот нашу взаимную радость поймет...
— Устала, устала я, Маша! —
«Не плачь, моя бедная Катя! Спасет
Нас дружба и молодость наша!
Нас жребий один неразрывно связал,
Судьба нас равно обманула,
И тот же поток твое счастье умчал,
В котором мое потонуло.
Пойдем же мы об руку трудным путем,
Как шли зеленеющим лугом,
И обе достойно свой крест понесем
И будем мы сильны друг другом.
Что мы потеряли? подумай, сестра!
Игрушки тщеславья... Немного!
Теперь перед нами дорога добра,
Дорога избранников бога!
Найдем мы униженных, скорбных мужей,
Но будем мы им утешеньем,
Мы кротостью нашей смягчим палачей,
Страданье осилим терпеньем.
Опорою гибнущим, слабым, больным
Мы будем в тюрьме ненавистной,
И рук не положим, пока не свершим
Обета любви бескорыстной!..

Чиста наша жертва, — мы всё отдаем
Избранникам нашим и богу.
И верю я: мы невредимо пройдем
Всю трудную нашу дорогу...»

Природа устала с собой воевать —
День ясный, морозный и тихий.
Снега под Нерчинском явились опять,
В санях покатили мы лихо...
О ссыльных рассказывал русский ямщик
(Он знал их фамилии даже):
«На этих конях я возил их в рудник,
Да только в другом экипаже.
Должно быть, дорога легка им была:
Шутили, смешили друг дружку;
На завтрак ватрушку мне мать испекла,
Так я подарил им ватрушку,
Двугривенный дали — я брать не хотел:
— Возьми, паренек, пригодится...»

Болтая, он живо в село прилетел,
«Ну, барыни! где становиться?»
— Вези нас к начальнику прямо в острог. —
«Эй, други, не дайте в обиду!»

Начальник был тучен и, кажется, строг,
Спросил, по какому мы виду? —
«В Иркутске читали инструкцию нам
И выслать в Нерчинск обещали...»
— Застряла, застряла голубушка, там! —
«Вот копия, нам ее дали...»
— Что копия? с ней попадешься впросак! —
«Вот царское нам позволенье!»
Не знал по-французски упрямый чудак,
Не верил нам, — смех и мученье!
«Вы видите подпись царя: Николай?»
До подписи нет ему дела,
Ему из Нерчинска бумагу подай!
Поехать за ней я хотела.
Но он объявил, что отправится сам
И к утру бумагу добудет.
Да точно ли? — Честное слово! А вам
Полезнее выспаться будет!..

И мы добрались до какой-то избы,
О завтрашнем утре мечтая;
С оконцем из слюды, низка, без трубы,
Была наша хата такая,
Что я головою касалась стены,
А в дверь упиралась ногами;
Но мелочи эти нам были смешны,
Не то уж случалося с нами.
Мы вместе! теперь бы легко я снесла
И самые трудные муки...

Проснулась я рано, а Катя спала;
Пошла по деревне от скуки:
Избушки такие ж, как наша, числом
До сотни, в овраге торчали,
А вот и кирпичный с решетками дом!
При нем часовые стояли.
«Не здесь ли преступники?» — Здесь, да ушли. —
«Куда?» — На работу, вестимо! —
Какие-то дети меня повели...
Бежали мы все — нестерпимо
Хотелось мне мужа увидеть скорей;
Он близко! Он шел тут недавно!
«Вы видите их?» — я спросила детей.
— Да, видим! Поют они славно!
Вон дверца... гляди же! Пойдем мы теперь,
Прощай!..— Убежали ребята...

И словно под землю ведущую дверь
Увидела я — и солдата.
Сурово смотрел часовой, — наголо
В руке его сабля сверкала.
Не золото, внуки, и здесь помогло,
Хоть золото я предлагала!
Быть может, вам хочется дальше читать,
Да просится слово из груди!
Помедлим немного. Хочу я сказать
Спасибо вам, русские люди!
В дороге, в изгнаньи, где я ни была,
Все трудное каторги время,
Народ! я бодрее с тобою несла
Мое непосильное бремя.

Пусть много скорбей тебе пало на часть,
Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
Твои уж давно там упали! . .
Ты любишь несчастного, русский народ!
Страдания нас породнили...
«Вас в каторге самый закон не спасет!» —
На родине мне говорили;
Но добрых людей я встречала и там,
На крайней ступени паденья,
Умели по-своему выразить нам
Преступники дань уваженья;
Меня с неразлучною Катей моей
Довольной улыбкой встречали.
«Вы — ангелы наши!» За наших мужей
Уроки они исполняли.
Не раз мне украдкой давал из полы
Картофель колодник клейменый:
«Покушай! горячий, сейчас из золы!»
Хорош был картофель печеный,
Но грудь и теперь занывает с тоски,
Когда я о нем вспоминаю...
Примите мой низкий поклон, бедняки!
Спасибо вам всем посылаю!
Спасибо! .. Считали свой труд ни во что
Для нас эти люди простые,
Но горечи в чашу не подлил никто,
Никто — из народа, родные! . .

Рыданьям моим часовой уступил,
Как бога его я просила! —
Светильник (род факела) он засветил,
В какой-то подвал я вступила,
И долго спускалась все ниже; потом
Пошла я глухим коридором,
Уступами шел он; темно было в нем
И душно; где плесень узором
Лежала; где тихо струилась вода
И лужами книзу стекала.
Я слышала шорох; земля иногда
Комками со стен упадала;
Я видела страшные ямы в стенах;

Казалось, такие ж дороги
От них начинались. Забыла я страх,
Проворно несли меня ноги!

И вдруг я услышала крики: «Куда,
Куда вы? Убиться хотите?
Ходить не позволено дамам туда!
Вернитесь скорей! Погодите!»
Беда моя! видно, дежурный пришел
(Его часовой так боялся),
Кричал он так грозно, так голос был зол,
Шум скорых шагов приближался...
Что делать? Я факел задула. Вперед
Впотьмах наугад побежала...
Господь, коли хочет, везде проведет!
Не знаю, как я не упала;
Как голову я не оставила там!
Судьба берегла меня. Мимо
Ужасных расселин, провалов и ям
Бог вывел меня невредимо:
Я скоро увидела свет впереди,
Там звездочка словно светилась...
И вылетел радостный крик из груди:
«Огонь!» Я крестом осенилась...
Я сбросила шубу... Бегу на огонь,
Как бог уберег во мне душу!
Попавший в трясину испуганный конь
Так рвется, завидевши сушу...

И стало, родные, светлей и светлей!
Увидела я возвышенье:
Какая-то площадь... и тени на ней...
Чу... молот! работа, движенье...
Там люди! Увидят ли только они?
Фигуры отчетливей стали...
Вот ближе, сильней замелькали огни.
Должно быть, меня увидали...
И кто-то, стоявший на самом краю,
Воскликнул: «Не ангел ли божий?
Смотрите, смотрите!» — «Ведь мы не в раю:
Проклятая шахта похожей
На ад!» — говорили другие, смеясь,

И быстро на край выбегали,
И я приближалась поспешно. Дивясь,
Недвижно они ожидали.

«Волконская!» — вдруг закричал Трубецкой
(Узнала я голос). Спустили
Мне лестницу, я поднялася стрелой!
Всё люди знакомые были:
Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев,
Борисовы, князь Оболенский...
Потоком сердечных, восторженных слов,
Похвал моей дерзости женской
Была я осыпана: слезы текли
По лицам их, полным участья...
Но где же Сергей мой? «За ним уж пошли,
Не умер бы только от счастья!
Кончает урок: по три пуда руды
Мы в день достаем для России, —
Как видите, нас не убили труды!»
Веселые были такие,
Шутили, но я под веселостью их
Печальную повесть читала
(Мне новостью были оковы на них,
Что их закуют — я не знала...)
Известьем о Кате, о милой жене
Утешила я Трубецкого;
Все письма, по счастию, были при мне,
С приветом из края родного
Спешила я их передать. Между тем
Внизу офицер горячился:
«Кто лестницу принял? Куда и зачем
Смотритель работ отлучился?
Сударыня! Вспомните слово мое,
Убьетесь!.. Эй, лестницу, черти!
Живей!..» (Но никто не подставил ее...)
«Убьетесь, убьетесь до смерти!
Извольте спуститься! Да что ж вы?..» Но мы
Всё вглубь уходили... Отвсюду
Бежали к нам мрачные дети тюрьмы,
Дивясь небывалому чуду.
Они пролагали мне путь впереди,
Носилки свои предлагали...

Орудья подземных работ на пути,
Провалы, бугры мы встречали.
Работа кипела под звуки оков,
Под песни — работа над бездной!
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ, и молот железный.
Там с ношею узник шагал по бревну,
Невольно кричала я: «Тише!»
Там новую мину вели в глубину,
Там люди карабкались выше
По шатким подпоркам... Какие труды!
Какая отвага!.. Сверкали
Местами добытые глыбы руды
И щедрую дань обещали...

Вдруг кто-то воскликнул: «Идет он! Идет!»
Окинув пространство глазами,
Я чуть не упала, рванувшись вперед, —
Канава была перед нами.
«Потише, потише! Ужели затем
Вы тысячи верст пролетели, —
Сказал Трубецкой, — чтоб на горе нам всем
В канаве погибнуть — у цели?»
И за руку крепко меня он держал:
«Что б было, когда б вы упали?»
Сергей торопился, но тихо шагал.
Оковы уныло звучали.
Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О мстительный трус и мучитель!), —
Но кроток он был, как избравший его
Орудьем своим искупитель.
Пред ним расступились, молчанье храня,
Рабочие люди и стража...
И вот он увидел, увидел меня!
И руки простер ко мне: «Маша!»
И стал, обессиленный словно, вдали,
Два ссыльных его поддержали.
По бледным щекам его слезы текли,
Простертые руки дрожали...

Душе моей милого голоса звук
Мгновенно послал обновленье,

Отраду, надежду, забвение мук,
Отцовской угрозы забвенье!
И с криком: «Иду!» я бежала бегом,
Рванув неожиданно руку,
По узкой доске над зияющим рвом
Навстречу призывному звуку...
«Иду!..» Посылало мне ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбежала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки.
Он много страдал, и умел он страдать!..
Невольно пред ним я склонила
Колени — и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

И тихого ангела бог ниспослал
В подземные копи, — в мгновенье
И говор, и грохот работ замолчал,
И замерло словно движенье:
Чужие, свои — со слезами в глазах,
Взволнованы, бледны, суровы,
Стояли кругом. На недвижных ногах
Не издали звука оковы,
И в воздухе поднятый молот застыл...
Все тихо — ни песни, ни речи...
Казалось, что каждый здесь с нами делил
И горечь, и счастие встречи!
Святая, святая была тишина!
Какой-то высокой печали,
Какой-то торжественной думы полна.

«Да где же вы все запропали?» —
Вдруг снизу донесся неистовый крик.
Смотритель работ появился.
«Уйдите! — сказал со слезами старик: —
Нарочно я, барыня, скрылся,
Теперь уходите. Пора! Забранят!
Начальники люди крутые...»

И словно из рая спустилась я в ад...
И только... и только, родные!
По-русски меня офицер обругал,
Внизу ожидавший в тревоге,
А сверху мне муж по-французски сказал:
«Увидимся, Маша, — в остроге!..»

1872

КУЗНЕЦ

(ПАМЯТИ Н. А. МИЛЮТИНА)

Чуть колыхнулось болото стоячее,
Ты ни минуты не спал.
Лишь не остыло б железо горячее,
Ты без оглядки ковал.

В чем погрешу и чего не доделаю,
Думал — исправят потом.
Грубо ковал ты, но руку умелую
Видно доныне во всем.

С кем ты делился душевною повестью,
Тот тебя знает один.
Спи безмятежно, с покойною совестью,
Честный кузнец-гражданин!

ДЕТСТВО

НЕОКОНЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ

I

В первые годы младенчества
Помню я церковь убогую,
Стены ее деревянные,
Крышу неровную, серую,
Мохом зеленым поросшую.
Помню я горе отцовское:
Толки его с прихожанами,
Что угрожает обрушиться
Старое, ветхое здание.
Часто они совещалися,
Как обновить отслужившую
Бедную церковь приходскую;
Поговорив, расходилися,
Храм окружали подпорками,
И продолжалось служение.
В ветхую церковь бестрепетно
В праздники шли православные, —
Шли старики престарелые,
Шли малолетки беспечные,
Бабы с грудными младенцами.
В ней причащались, венчалися,
В ней отпевали покойников...

Синее небо виднелося
В трещины старого купола,
Дождь иногда в эти трещины
Падал: по лицам молящихся

И по иконам угодников
Крупные капли струилися.
Ими случайно омытые,
Обыкновенно чуть видные,
Темные лики святителей
Вдруг выступали... Боялась я, —
Словно в семью нашу мирную
Люди вошли незнакомые,
С мрачными, строгими лицами...

То растворялось нечаянно
Ветром окошко непрочное,
И в заунывно-печальное
Пение гимна церковного
Звонкая песня вторгалася,
Полная горя житейского —
Песня сурового пахаря!..

Помню я службу последнюю:
Гром загремел неожиданно,
Все сотрясенное здание
Долго дрожало, готовое
Рухнуть: лампады горящие,
Паникадилы качалися,
С звоном упали тяжелые
Ризы с иконы спасителя,
И растворилась безвременно
Дверь алтаря. Православные
В ужасе ниц преклонилися —
Божьего ждали решения!..

II

Ближе к дороге красивая,
Новая церковь кирпичная
Гордо теперь возвышается
И заслоняет развалины
Старой. Из ветхого здания
Взяли убранство убогое,
Вынесли утварь церковную,

Но до остатков строения
Руки мирян не коснулися.
Словно больной, от которого
Врач отказался, оставлено
Времени старое здание.
Ласточки там поселилися —
То вылетали оттудова,
То возвращались стремительно,
Громко приветствуя птенчиков
Звонким своим щебетанием...

В землю врастая медлительно,
Эти остатки убогие
Преобразились в развалины
Странные, чудно красивые;
Дверь завалилась, обрушился
Купол; оторваны бурею,
Ветхие рамы попадали;
Травами густо проросшие,
В зелени стены терялися,
И простирали в раскрытые
Окна — березы соседние
Ветви свои многолистые...

Их семена, занесенные
Ветром на крышу неровную,
Дали отростки: любила я
Эту березку кудрявую,
Что возвышалась там, стройная,
С бледнозелеными листьями.
Точно вчера только ставшая
На ноги резвая девочка,
Что уж сегодня вскарабкалась
На высоту, — и бестрепетно
Смотрит оттуда, с смеющимся,
Смелым и ласковым личиком...

Птицы носились там стаями,
Там стрекотали кузнечики,
Да деревенские мальчики

И русокудрые девочки
Живмя там жили: по тропочкам
Между высокими травами
Бегали, звонко аукались,
Пели веселые песенки.
Там мое детство беспечное
Мирно летело... Играла я,
Помню, однажды с подругами
И набежала нечаянно
На полусгнившее дерево.
Пылью обдав меня, дерево
Вдруг подо мною рассыпалось:
Я провалилась в развалины
Внутрь запустелого здания,
Где не бывала со времени
Службы последней...

Объятая
Трепетом, я огляделася:
Гнездышек ряд под карнизами,
Ласточки смотрят из гнездышек,
Словно кивают головками;
А по стенам молчаливые,
Строгие лица угодников...
Перекрестилась невольно я, —
Жутко мне было! дрожала я,
А уходить не хотелося.
Чудилось мне: наполняется
Церковь опять прихожанами;
Голос отца престарелого,
Пение гимнов божественных,
Вздохи и шопот молитвенный
Слышались мне, — простояла бы
Долго я тут неподвижная,
Если бы вдруг не услышала
Криков: «Параша! да где же ты?..»
Я отозвалась; нахлынули
Дети гурьбой, — и наполнились
Звуками жизни развалины,
Где столько лет уж не слышались
Голос и шаг человеческий...

НАКАНУНЕ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА

(ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ РУССКИМ ДЕТЯМ)

I

Я ехал к Ростову
Высоким холмом,
Лесок малорослый
Тянулся на нем:

Береза, осина,
Да ель, да сосна;
А слева — долина,
Как скатерть ровна.

Пестрел деревнями,
Дорогами дол,
Он все понижался
И к озеру шел.

Ни озера, дети,
Забыть не могу,
Ни церкви на самом
Его берегу:

Тут чудо-картину
Я видел тогда!
Ее вспоминаю
Охотно всегда...

II

Начну по порядку:
Я ехал весной,
В страстную субботу,
Пред самой Святой.

Домой поспешая
С тяжелых работ,
С утра мне встречался
Рабочий народ;

Скучая смертельно,
Решал я вопрос:
Кто плотник, кто слесарь,
Маляр, водовоз?

Нетрудное дело!
Идут кузнецы —
Кто их не узнает?
Они молодцы

И петь, и ругаться,
Да — день не такой!
Идет кривоногий
Гуляка-портной:

В одном сюртучишке,
Фуражка как блин, —
Гармония, трубка,
Утюг и аршин!

Смотрите — красильщик!
Узнаешь сейчас:
Нос выпачкан охрой
И суриком глаз;

Он кисти и краски
Несет за плечом,
И словно ландкарта
Передник на нем.

Вот пильщики: сайку
Угрюмо жуют,
И словно солдаты
Все в ногу идут,

А пилы стальные
У добрых ребят,
Как рыбы живые
На плечах дрожат!

Я доброго всем им
Желаю пути;

В родные деревни
Скорее притти,

Омыть с себя копоть
И пот трудовой,
И встретить Святую
С веселой душой...

III

Стемнело. Болтая
С моим ямщиком,
Я ехал все тем же
Высоким холмом,

Взглянул на долину,
Что к озеру шла,
И вижу — долина
Моя ожила:

На каждой тропинке,
Ведущей к селу,
Толпы появились;
Вечернюю мглу

Огни озарили:
Куда-то идет
С пучками горящей
Соломы народ.

Куда? Я подумать
О том не успел,
Как колокол громко
Ответ прогудел!

У озера ярко
Горели костры, —
Туда направлялись,
Нарядны, пестры,

При свете горящей
Соломы, — толпы...

У божьего храма
Сходились тропы, —

Народная масса
Сдвигалась, росла.
Чудесная, дети,
Картина была! ..

ТРИ ЭЛЕГИИ

(А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ)

I

Ах! что изгнанье, заточенье!
Захочет — выручит судьба!
Что враг! — возможно примиренье,
Возможна равная борьба;

Как гнев его ни беспределен,
Он промахнется в добрый час...
Но той руки удар смертелен,
Которая ласкала нас! ..

Один, один! .. А ту, кем полны
Мои ревнивые мечты,
Умчали роковые волны
Пустой и милой суеты.

В ней сердце жаждет жизни новой,
Не сносит горестей оно
И доли трудной и суровой
Со мной не делит уж давно...

И тайна все: печаль и муку
Она сокрыла глубоко?
Или решилась на разлуку
Благоразумно и легко?

Кто скажет мне?.. Молчу, скрываю
Мою ревнивую печаль,
И столько счастья ей желаю,
Чтоб было прошлого не жаль!

Что ж, если сбудется желанье? ..
О нет! живет в душе моей
Неотразимое сознанье,
Что без меня нет счастья ей!

Все, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас;
Мы на один алтарь сложили —
И этот пламень не угас!

У берегов чужого моря,
Вблизи, вдали он ей блеснет
В минуту сиротства и горя,
И — верю я — она придет!

Придет... и как всегда, стыдлива,
Нетерпелива и горда,
Потупит очи молчаливо.
Тогда... Что я скажу тогда?..

Безумец! для чего тревожишь
Ты сердце бедное свое?
Простить не можешь ты ее —
И не любить ее не можешь!..

II

Бьется сердце беспокойное,
Отуманились глаза.
Дуновенье страсти знойное
Налетело, как гроза.

Вспоминаю очи ясные
Дальней странницы моей,
Повторяю стансы страстные,
Что сложил когда-то ей.

Я зову ее, желанную:
Улетим с тобою вновь
В ту страну обетованную,
Где венчала нас любовь!

Розы там цветут душистее,
Там лазурней небеса,
Соловьи там голосистее,
Густолиственней леса...

III

Разбиты все привязанности, разум
Давно вступил в суровые права,
Гляжу на жизнь неверующим глазом...
Все кончено! Седеет голова.

Вопрос решен: трудись, пока годишься,
И смерти жди! Она недалека...
Зачем же ты, о сердце! не миришься
С своей судьбой? .. О чем твоя тоска?..

Непрочно все, что нами здесь любимо,
Что день — сдаем могиле мертвеца,
Зачем же ты в душе неистребима,
Мечта любви, не знающей конца? ..

Усни... умри! ..

УТРО

Ты грустна, ты страдаешь душою:
Верю — здесь не страдать мудрено.
С окружающей нас нищетою
Здесь природа сама заодно.

Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые, сонные галки,
Что сидят на вершине стога;

Эта кляча с крестьянином пьяным,
Через силу бегущая вскачь
В даль, сокрытую синим туманом,
Это мутное небо... Хоть плачь!

Но не краше и город богатый:
Те же тучи по небу бегут;
Жутко нервам — железной лопатой
Там теперь мостовую скребут.

Начинается всюду работа:
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Провезли — там уж ждут палачи.

Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель;
Офицеры в наемной карете
Скачут за город: будет дуэль.

Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.

Чу! из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит...
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени Анна лежит.

Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел — кто-то покончил с собой...

НАД ЧЕМ МЫ СМЕЕМСЯ...

Раз сказал я за пирушкой:
«До свидания, друзья!
Вечер с матушкой-старушкой
Проведу сегодня я:
Нездорова — ей не спится,
Надо бедную занять»...
С той поры, когда случится
Мне с друзьями пировать,
Как запас вестей иссякнет
И настанет тишина,
Кто-нибудь, наверно, брякнет:
«Человек! давай вина!
Выпьем мы еще по чаше
И — *туда*... живей, холоп!
Ну... а ты — иди к мамаше!
Ха! ха! ха! ..» Хоть пулю в лоб!

Водовоз воды бочонок
В гололедицу тащил;
Стар и слаб, как щепка тонок,
Бедный выбился из сил.
Я усталому салазки
На бугор помог ввезти.
На беду, в своей коляске

Мчался Митя по пути —
Как всегда, румян и светел.
Он рукою мне послал
Поцелуй — он все заметил
И друзьям пересказал.
С той поры мне нет проходу:
Филантроп да филантроп!
«Что? возил сегодня воду?..
Ха! ха! ха!..» Хоть пулю в лоб!

СТРАШНЫЙ ГОД

(1870)

Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня!

О любовь! — где все твои усилья?
Разум! — где плоды твоих трудов?
Жадный пир злодейства и насилья,
Торжество картечи и штыков!

Этот год готовит и для внуков
Семена раздора и войны.
В мире нет святых и кротких звуков,
Нет любви, свободы, тишины!

Где вражда, где трусость роковая,
Мстящая — купаются в крови,
Стон стоит над миром не смолкая;
Только ты, поэзия святая,
Ты молчишь, дочь счастья и любви!

Голос твой, увы, бессилен ныне!
Сгибнет он, ненужный никому,
Как цветок, потерянный в пустыне,
Как звезда, упавшая во тьму.

Прочь, о, прочь! — сомненья роковые,
Как прийти могли вы на уста?
Верю, есть еще сердца живые,
Для кого поэзия свята.

Но гремел, когда они родились,
Тот же гром, ручьями кровь лила;
Эти души кроткие смутились
И, как птицы в бурю, притаились
В ожиданьи света и тепла.

УНЫНИЕ

I

Сгорело ты, гнездо моих отцов!
Мой сад заглох, мой дом бесследно сгинул,
Но я реки любимой не покинул.
Вблизи ее песчаных берегов
Я и теперь на лето укрываюсь
И, отдохнув, в столицу возвращаюсь
С запасом сил и ворохом стихов.
Мой черный конь, с Кавказа приведенный,
Умен и смел, — как вихорь он летит,
Еще отцом к охоте приученный,
Как вкопанный при выстреле стоит.
Когда «Кадо»[1] бежит опушкой леса
И глухаря нечаянно спугнет,
На всем скаку остановив «Черкеса»,[2]
Спущу курок — и птица упадет.

II

Какой восторг! За перелетной птицей
Гонюсь с ружьем, а вольный ветер нив
Сметает сор, навеянный столицей,
С души моей. Я духом бодр и жив,
Я телом здрав. Я думаю... мечтаю...
Не чувствовать над мыслью молотка
Я не могу, как сильно ни желаю,
Но если он приподнят хоть слегка,
Но если я о нем позабываю
На полчаса, — и тем я дорожу:
Я *сам себя*, читатель, *нахожу*,

---

[1] Собака.
[2] Лошадь.

А это всё, что нужно для поэта.
Так шли дела; но нынешнее лето
Не задалось: не заряжал ружья
И не писал еще ни строчки я.

III

Мне совестно признаться: я томлюсь,
Читатель мой, мучительным недугом.
Чтоб от него отделаться, делюсь
Я им с тобой: ты быть умеешь другом,
Довериться тебе я не боюсь.
Недуг не нов (но сила вся в размере),
Его зовут уныньем; встарину
Я храбро с ним выдерживал войну
Иль хоть смягчал трудом, по крайней мере,
А нынче с ним не оберусь хлопот.
Быть может, есть причина в атмосфере,
А может быть, мне знать себя дает,
Друзья мои, пятидесятый год.

IV

Да, он настал — и требует отчета!
Когда зима нам кудри убелит,
Приходит к нам нежданная забота
Свести итог... О юноши! грозит
Она и вам, судьба не пощадит:
Наступит час рассчитываться строго
За каждый шаг, за целой жизни труд,
И мстящего, зовущего на суд
В душе своей вы ощутите бога.
Бог старости — неумолимый бог.
(От юности готовьте ваш итог!)

V

Приходит он к прожившему полвека
И говорит: «Оглянемся назад,
Поищем дел, достойных человека...»
Увы! их нет! одних ошибок ряд!
Жестокий бог! Он дал двойное зренье

Моим очам, пытливое волненье
Родил в уме, душою овладел.
«Я даром жил, забвенье — мой удел», —
Я говорю, с ним жизнь мою читая:
Прости меня, страна моя родная:
Бесплоден труд, напрасен голос мой!
И вижу я, поверженный в смятенье,
В случайности несчастной — преступленье,
Предательство — в ошибке роковой...

VI

Измученный, тоскою удрученный,
Жестокостью судьбы неблагосклонной
Мои вины желаю объяснить,
Гоню врага, хочу его забыть,
Он тут как тут! В любимый труд, в забаву —
Мешает он во все свою отраву,
И снова мы идем рука с рукой.
Куда? увы! опять я проверяю
Всю жизнь мою, — найти итог желаю, —
Угодно ли последовать за мной?

VII

Идем! Пути, утоптанные гладко,
Я пренебрег, я шел своим путем,
Со стороны блюстителей порядка
Я, так сказать, был вечно под судом.
И рядом с ним — такая есть возможность! —
Я знал другой недружелюбный суд,
Где трусостью зовется осторожность,
Где подлостью умеренность зовут.
То юношества суд неумолимый.
Меж двух огней я шел неутомимый.
Куда пришел? Клянусь, не знаю сам,
Решить вопрос предоставляю вам.

VIII

Враги мои решат его согласно;
Всех меряя на собственный аршин,
В чужой душе они читают ясно,
Но мой судья — читатель-гражданин.

Лишь в суд его храню слепую веру.
Суди же ты, кем взыскан я не в меру!
Еще мой труд тобою не забыт
И знаешь ты: во мне нет сил героя, —
Тот не герой, кто лавром не увит
Иль на щите не вынесен из боя, —
Я рядовой (теперь уж инвалид)...

IX

Суди, решай! А ты, мечта больная,
Воспрянь и, мир бесстрашно облетая,
Мой ум к труду, к покою возврати!
Чтоб отдохнуть душою несвободной,
Иду к реке — кормилице народной...
С младенчества на этом мне пути
Знакомо все... Знакомой грусти полны
Ленивые, медлительные волны...
О чем их грусть? .. Бывало, каждый день
Я здесь бродил в раздумьи молчаливом
И слышал я в их ропоте тоскливом
Тоску и скорбь спопутных деревень.

X

Под берегом, где вечная прохлада
От старых ив, нависших над рекой,
Стоит в воде понуренное стадо,
Над ним шмелей неутомимый рой.
Лишь овцы рвут траву береговую,
Как рекруты острижены вплотную.
Невесел вид реки и берегов.
Свистит кулик, кружится рыболов,
Добычу карауля как разбойник;
Таинственно снастями шевеля,
Проходит барка; виден у руля
Высокий крест: на барке есть покойник...

XI

Чу! конь заржал. Трава кругом на славу,
Но лошадям невесело пришлось
И, позабыв зеленую атаву,

Под дым костра, спасающий от ос,
Сошлись они, поникли головами
И машут в такт широкими хвостами.
Лишь там, вдали, остался серый конь.
Он не бежит проворно на огонь,
Хоть и над ним кружится рой докучный,
Серко стоит понур и недвижим.
Несчастный конь, ненатурально-тучный,
Ты поражен недугом роковым.

XII

Я подошел: алела бугорками
По всей спине, усыпанной шмелями,
Густая кровь... струилась из ноздрей...
Я наблюдал жестокий пир шмелей,
А конь дышал все реже, все слабей.
Как вкопанный, стоял он час — и боле,
И вдруг упал. Лежит недвижим в поле...
Над трупом солнца раскаленный шар
Да степь кругом. Вот с вышины спустился
Степной орел; над жертвой покружился
И царственно уселся на стожар.
В досаде я послал ему удар,
Спугнул его, но он вернется к ночи
И выклюет ей острым клювом очи...

XIII

Иду на шелест нивы золотой.
Печальные, убогие равнины!
Недавние и страшные картины,
Стесняя грудь, проходят предо мной.
Ужели бог не сжалится над нами,
Сожженных нив дождем не оживит,
И мельница с недвижными крылами
И этот год без дела простоит?

XIV

Ужель опять наградой будет плугу
Голодный год? .. Чу! женщина поет!
Как будто в гроб кладет она подругу.
Душа болит, уныние растет.

Народ! народ! Мне не дано геройства
Служить тебе, — плохой я гражданин,
Но жгучее, святое беспокойство
За жребий твой донес я до седин!
Люблю тебя, пою твои страданья,
Но где герой, кто выведет из тьмы
Тебя на свет? .. На смену колебанья
Твоих судеб чего дождемся мы? ..

XV

День свечерел. Томим тоскою вялой,
То по лесам, то по лугу брожу.
Уныние в душе моей усталой,
Уныние — куда ни погляжу.
Вот дождь пошел и гром готов уж грянуть:
Косцы бегут проворно под шатры,
А я дождем спасаюсь от хандры,
Но, видно, мне и нынче не воспрянуть!
Упала ночь, зажглись в лугах костры,
Иду домой, тоскуя и волнуясь,
Беру перо, привычке повинуясь,
Пишу стихи и — недовольный — жгу.
Мой стих уныл, как ропот на несчастье,
Как плеск волны в осеннее ненастье,
На северном пустынном берегу...

* * *

...Но первые шаги не в нашей власти.
Отец мой был охотник — и игрок.
И от него в наследство эти страсти
Я получил, — они пошли мне впрок.

Не зол, но крут, детей в суровой школе
Держал старик, растил как дикарей.
Мы жили с ним в лесу, да в чистом поле,
Травя волков, стреляя глухарей.

В пятнадцать лет я был вполне воспитан,
Как требовал отцовский идеал:

Рука тверда, глаз верен, дух испытан,
Но грамоту весьма нетвердо знал.

И я таким остался до седин
(Мне грамота потом далась, однако),
Мой лучший друг — лягавая собака,
Да острый нож, да меткий карабин.

ПУТЕШЕСТВЕННИК
(«Из записной книжки»)

В городе волки по улицам бродят,
Ловят детей, гувернанток и дам;
Люди естественным это находят,
Сами они подражают волкам.

В городе волки, и волки на даче,
А уж какая их тьма по Руси!
Скоро уж там не останется клячи...
Ехать в деревню? Теперь-то? Merci!

Прусский барон, опоясавши выю
Белым жабо в три вершка ширины,
Ездит один, изучая Россию,
По захолустьям несчастной страны:

— Как у вас хлебушко? — «Нет ни ковриги!»
— Где у вас скот? — «От заразы подох!»
А заикнулся про школу, про книги —
Прочь побежали. — «Помилуй нас бог!

Книг нам не надо — неси их к жандару!
В прошлом году у прохожих людей
Мы их купили по гривне за пару,
А натерпелись на тыщу рублей!»

Думает немец: «Уж я не оглох ли?
К школе привешен тяжелый замок,
Нивы посохли, коровы подохли,
Как эти люди заплатят оброк?

Что наблюдать? что записывать в книжку?» —
В грусти барон сам с собой говорит...
Дай ты им гривну да хлеба коврижку
И наблюдай, немчура, аппетит...

НОЧЛЕГИ

I

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

Вступили кони под навес,
Гремя бесчеловечно.
Усталый, я с телеги слез,
Ночлегу рад сердечно.

Спрыгнули псы; задорный лай
Наполнил всю деревню,
Впустил нас дворник Николай
В убогую харчевню.

Усердно кушая леща,
Сидел уж там прохожий
В пальто с господского плеча:
«Спознились, сударь, тоже?» —

Он, низко кланяясь, сказал.
— Да, нынче дни коротки. —
Уселся я, а он стоял.
— Садитесь! выпьем водки! —

Прохожий выпил рюмки две
И разболтался сразу:
«Иду домой... а жил в Москве...
До царского указу

Был крепостной: отец и дед
Помещикам служили.
Мне было двадцать восемь лет,
Как волю объявили;

Наш барин стал куда как лих,
Сердился, придирался.

А перед самым сроком стих,
С рабами попрощался,

Сказал нам: — Вольны вы теперь, —
И очи помутились.
— Идите с богом! — Верь, не верь,
Мы тоже прослезились,

И потянулись кто куда...
Пришел я в городишко,
А там уж целая орда
Таких же — нет местишка!

Решился я итти в Москву,
В конторе записался,
И вышло место к Покрову.
Не барин — клад попался!

Сначала, правда, злился он.
Чем больше угождаю,
Тем он грубей: прогонит вон,
За что? .. Не понимаю!

Да с ним, — как я смекнул поздней, —
Знать надо было штучку:
Сплошал — сознайся поскорей,
Не лги, не чмокай в ручку!

Не то рассердишь: — Ермолай!
Опомнись! как не стыдно!
Привычки рабства покидай!
Мне за тебя обидно!

Ты человек! ты гражданин!
Знай: сила не в богатстве,
Не в том — велик ли, мал ли чин,
А в равенстве и братстве!

Я раболепства не терплю,
Не льсти, не унижайся!
Случиться может: сам вспылю —
И мне не поддавайся! .. —

Работы мало, да и той
Сам половину правил:
Я захворал — всю ночь со мной
Сидел, пиявки ставил.

За каждый шаг благодарил.
С любовью, не со страхом
Три года я ему служил —
И вдруг пошло все прахом!

Однажды он сердитый встал, —
Порезался, как брился, —
Всё не по нем, весь день ворчал,
И вдруг совсем озлился.

Кастит! .. «Потише, господин!» —
Сказал я, вспыхнув тоже.
— Как! что? .. Зазнался, хамов сын! —
И хлоп меня по роже!

По старой памяти, я прочь,
А он за мной — бедовый! ..
— Так вот, — продумал я всю ночь, —
Каков он — барин новый!

Такие речи поведет,
Что слушать любо-мило,
А кончит тем же, что прибьет!
Нет, прежде проще было!

Обидно! Я его считал
Не барином, а братом...
Настало утро — не позвал;
Свернувшись под халатом,

Стонал как раненый весь день,
Не выпил чашки чаю...
А ночью барин словно тень
Прокрался к Ермолаю.

Вперед уставился лицом:
— Ударь меня скорее!

Мне легче будет! .. (Мертвецом
Глядел он, был белее

Своей рубахи): — Мы равны,
Да я сплошал... я знаю...
Как быть? Сквитаться мы должны...
Ударь! .. Я позволяю.

Не так ли, друг? Скорее хлоп —
И снова правы, святы...
«Не так! Вы барин — я холоп,
Я беден — вы богаты! —

(Сказал я.) — Должен я служить,
Пока стает терпенья,
И я служить готов... а бить
Не буду... с позволенья! ..»

Он все свое, а я свое,
Спор долго продолжался.
Смекнул я: тут мне не житье!
И с барином расстался.

Иду покамест в Арзамас,
Там у меня невеста...
Нельзя ли будет через вас
Достать другое место? ..»

II

НА ПОГОРЕЛОМ МЕСТЕ

Славу богу, хоть ночь-то светла!
Увлекаться так глупо и стыдно.
Мы устали, промокли дотла,
А кругом деревеньки не видно.

Наконец увидал я бугор,
Там угрюмые сосны стояли.
И под ними дымился костер;
Мы с Трофимом [1] туда побежали.

---

[1] Проводник.

«Горевали, а вот и ночлег!»
— Табор, что ли, цыганский там? — «Нету!
Не видать ни коней, ни телег.
Незаметно и красного цвету.

У цыганок, куда ни взгляни,
Красный цвет — это первое дело!»
— Косари? — «Кабы были они,
Хоть одна бы тут женщина пела».

— Пастухи ли огонь развели? ..—
Через пни погорелого бора
К неширокой реке мы пришли
И разгадку увидели скоро:

Погорельцы разбили тут стан.
К нам навстречу ребята бежали:
«Не видали вы наших крестьян?
Побираться пошли — да пропали!»

— Не видали! .. — Весь табор притих...
Звучно щиплет траву лошаденка,
Бабы няньчат младенцев грудных.
Утешает ребят старушонка:

«Воля божья: усните скорей!
Эту ночь потерпите вы только!
Завтра вам накуплю калачей.
Вот и деньги... Глядите-ка, сколько!»

— Где ты, баушка, денег взяла? —
«У оконца, на месячном свете,
В ночи зимние пряжу пряла...»
Побренчали казной ее дети...

Старый дед, словно царь Соломон,
Роздал им кой-какую одежу.
Патриархом библейских времен
Он глядел, завернувшись в рогожу:

Величавая строгость в чертах,
Череп голый, нависшие брови,

На груди и на голых ногах
След недавних обжогов и крови.

Мой вожатый к нему подлетел:
— Здравствуй, дедко! — «Живите здоровы!»
— Погорели? А хлеб уцелел?
Уцелели лошадки, коровы? . . —

«Хлебу было сгореть мудрено, —
Отвечал патриарх неохотно, —
Мы его не имели давно.
Спите, детки, окутавшись плотно!

А к костру не ложитесь: огонь
Подползет — опалит волосенки.
Уцелел — из двенадцати — конь,
Из семнадцати — три коровенки».

— Нет и ваших дремучих лесов?
Век росли, а в неделю пропали! —
«Соблазняли они мужиков,
Шутка! сколько у барина крали!»

Молча взял он ружье у меня,
Осмотрел, осторожно поставил.
Я сказал: — Беспощадней огня
Нет врага — ничего не оставил? —

«Не скажи. Рассудила судьба,
Что нельзя же без древа-то в мире,
И оставила нам на гроба
Эти сосны. . .» (Их было четыре). . .

III

У ТРОФИМА

Звезды осени мерцают
Тускло, месяц без лучей;
Кони бережно ступают,
Реки налило с дождей.

Поскорей бы к самовару!
Нетерпением томим,
Жадно я курю сигару
И молчу. Молчит Трофим,

Он сказал мне: «Месяц в небе
Словно сайка на столе», —
Значит: думает о хлебе,
Я мечтаю о тепле.

Едем... едем.. Тучи вьются
И бегут... Конца им нет!
Если разом все прольются —
Поминай как звали свет!

Вот и наша деревенька!
Встрепенулся спутник мой:
«Есть тут валенки, надень-ка!»
— Чаю! рому!.. Всё долой!.. —

Вот погашена лучина,
Ночь, но оба мы не спим.
У меня своя причина,
Но чего не спит Трофим?

— Что ты охаешь, Степаныч? —
«Страшно, барин! мочи нет.
Вспомнил то, чего бы на ночь
Вспоминать совсем не след!

И откуда чорт приводит
Эти мысли? Бороню,
Управляющий подходит,
Низко голову клоню,

Поглядеть в глаза не смею.
Да и он-то не глядит —
Знай накладывает в шею.
Шея, веришь ли? трещит!

Только стану забываться,
Голос барина: Трофим!

Недоимку! Кувыркаться
Начинаю перед ним...»

— Страшно, видно, воротиться
К недалекой старине? —
«Так ли страшно, что мутится
Вся утробушка во мне!

И теперь уйдешь весь в пятки,
Как посредник налетит,
Да с Трофима взятки гладки:
Пошумит — и укатит!

И теперь в квашне солома
Перемешана с мукой,
Да зато покойно дома.
А бывало — волком вой!

Дети были малолетки,
Я дрожал и за детей,
Как цыплят из-под наседки
Вырвет — пикнуть не посмей!

Как томили! Как пороли!
Сыну сказывать начну —
Сын не верит. А давно ли?..
Дочку барином пугну —

Девка прыснет, захохочет:
«Шутишь, батька!» — Погоди!
Если только бог захочет,
То ли будет впереди!

Есть у вас в округе школы? —
«Есть». — Учите-ка детей!
Не беда, что люди голы,
Лишь бы стали поумней.

Перестанет есть солому,
Трусу праздновать народ...
И твой внук отцу родному
Не поверит в свой черед.

ОТЪЕЗЖАЮЩЕМУ

Даже вполголоса мы не певали,
Мы — горемыки-певцы!
Под берегами мы вёдро прождали,
Словно лентяи-пловцы.

Старость приходит — недуги да горе!
Жизнь бесполезно прошла.
Хоть на прощанье в открытое море,
В море царящего зла,

Прямо и смело направить бы лодку.
Сунься-ка! .. Сделаешь шаг,
А на втором перервут тебе глотку!
Друг моей юности (ныне мой враг)!

Я не дивлюсь, что отчизну любезную
Счел ты за лучшее кинуть.
Жить для нее — надо силу железную,
Волю железную — сгинуть.

НА ПОКОСЕ

Сын с отцом косили в поле,
Дед траву сушил.
«Десять лет, как вы на воле.
Что же, братцы, хорошо ли?» —
Я у них спросил.

— Заживили поясницы, —
Отвечал отец.
«Кабы больше нам землицы, —
Молвил молодец, —
За царя бы я прилежно
Господа молил».
— Неуежно, да улежно,[1] —
Дедушка решил...

---

[1] Пословица (Ярославской губернии), которую можно истолковать так: не сытно, да покойно.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
(ПРОРОК)

Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он — и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Царям земли напомнить о Христе.

ГОРЕ СТАРОГО НАУМА
(ВОЛЖСКАЯ БЫЛЬ)

I

Науму паточный завод
И дворик постоялый
Дают порядочный доход.
Наум — неглупый малый:

Задаром сняв клочок земли,
Крестьянину с охотой
В нужде ссужает он рубли,
А тот плати работой —

Так обращен нагой пустырь
В картофельное поле...
Вблизи — «Бабайский» монастырь,
Село «Большие Соли»,

Недалеко и Кострома.
Наум живет — не тужит,
И Волга-матушка сама
Его карману служит.

Питейный дом его стоит
На самом «перекате»;
Как лето Волгу обмелит,
К пустынной этой хате

Тропа знакома бурлакам:
Выходит много «чарки»...
Здесь ходу нет большим судам;
Здесь «паузятся» барки.

Купцы бегут: «Помогу дай!»
Наум купцов встречает,
Мигнет народу: не плошай!
И сам не оплошает...

Кипит работа до утра;
Всё весело, довольно.
Итак, нет худа без добра!
Подумаешь невольно,

Что ты, жалея бедняка,
Мелеешь год от года,
Благословенная река,
Кормилица народа!

II

Люблю я краткой той поры
Случайные тревоги,
И труд, и песни, и костры.
С береговой дороги

Я вижу сотни рук и лиц,
Мелькающих красиво,
А паруса, что крылья птиц,
Колеблются лениво,

А месяц медленно плывет,
А Волга чуть лепечет.
Чу! резко свистнул пароход;
Бежит и искры мечет.

Ущелья темных берегов
Стогласым эхом полны...
Не всё же песням бурлаков
Внимают эти волны.

Я слушал жадно иногда
И тот напев унылый,
Но гул довольного труда
Мне слаще слышать было.

Увы! я дожил до седин,
Но изменился мало.
Иных времен, иных картин
Провижу я начало

В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков,
Народ неутомимый

Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине

Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою...

III

Мечты!.. Я верую в народ,
Хоть знаю: эта вера
К добру покамест не ведет.
Я мог бы для примера

Напомнить лица, имена,
Но это будет смело,
А смелость в наши времена —
Рискованное дело!

Пока над нами не висит
Ни тучки, солнце блещет,
Толпа трусливого клеймит,
Отважным рукоплещет,

Но поднял бурю смелый шаг, —
Она же рада шикать,
Друзья попрячутся, а враг
Спешит беду накликать.

О Русь! . . . . .
. . . .

IV

Науму с лишком пятьдесят,
А ни детей, ни женки.
Наум был сердцем суховат,
Любил одни деньжонки.

Он говорил: «Жениться — взять
Обузу! а «сударки»
Еще тошней: и время трать,
И деньги на подарки».

Опровергать его речей
Тогда не приходилось,
Хоть, может быть, в груди моей
Иное сердце билось,

Хотя у нас, как лед и зной,
Причины были розны:
«Над одинокой головой
Не так и тучи грозны;

Пускай лентяи и рабы
Идут путем обычным,

Я должен быть своей судьбы
Царем единоличным!»

Я думал гордо. Кто не рад
Оставить миру племя?
Но я родился невпопад —
Лихое было время!

Забыло солнышко светить,
Погас и месяц ясный,
И трудно было отличить
От ночи день ненастный.

Гром непрестанно грохотал,
И вихорь был ужасен;
И человек под ним стоял
Испуган и безгласен.

Был краткий миг: заря зажгла
Роскошно край лазури,
И буря новая пришла
На смену старой бури.

И новым силам новый бой
Готовился... Усталый,
Поник я буйной головой.
Погибли идеалы,

Ушло и время... Места нет
Желанному союзу.
Умру — и мой исчезнет след!
Надежда вся на музу!

V

Стреляя серых куликов
На отмели песчаной,
Заслышу говор бубенцов
И свист, и топот рьяный,

На кручу выбегу скорей:
Знакомая тележка,


1852

Нарядны гривы у коней,
У седока — усмешка...

Лихая пара! На шлеях
И бляхи, и чешуйки.
В личных высоких сапогах,
В солидной, синей чуйке,

В московском новом картузе,
Сам правя пристяжною,
Наум катит во всей красе.
Увидит — рад душою!

Кричит: «Довольно вам палить,
Пора чайку покушать!..»
Наум любил поговорить,
А я любил послушать.

Закуску, водку, самовар
Вносили по порядку
И Волги драгоценный дар —
Янтарную стерлядку.

Наум усердно предлагал
Рябиновку, вишневку,
А расходившись, обивал
«Смоленую головку».

— Ну, как делишки? — «В барыше», —
С улыбкой отвечает.
Разговорившись по душе,
Подробно исчисляет,

Что дало в год ему вино
И сколько от завода.
«Накопчено, насолено —
Чай, хватит на три года!

Все лето занято трудом,
Хлопот по самый ворот.
Придет зима — лежу сурком,
Не то поеду в город.

Начальство — други-кумовья,
Стрясись беда — поправят;
Работы много — свистну я:
Соседи не оставят;

Округа вся в горсти моей,
Казна — надежней цепи:
Уж нет помещичьих крепей,
Мои остались крепи.

Судью за денежки куплю,
Умилостивлю бога...»
(Русак природный — во хмелю
Он был хвастлив немного...)

VI

Полвека прожил так Наум
И не тужил нимало,
Работал в нем житейский ум,
А сердце мирно спало.

Встречаясь с ним, я вспоминал
Невольно дуб красивый
В моем саду: там сети ткал
Паук трудолюбивый.

С утра спускался он не раз
По тонкой паутинке,
Как по канату водолаз,
К какой-нибудь личинке,

То комара подстерегал
И жадно влек в объятья,
А пообедав, продолжал
Обычные занятья.

И вывел, точно напоказ,
Паук мой паутину.
Какая ткань! Какой запас
На черную годину!

Там мошек целые стада
Нашли себе могилы,
Попали бабочки туда —
Летуньи пестрокрылы;

Его сосед, другой паук,
Качался там, замучен,
А мой — отъелся вон из рук!
Доволен, гладок, тучен,

То мирно дремлет в уголку,
То мухою закусит...
Живется славно пауку:
Не тужит и не трусит!

С Наумом я давно знаком;
Еще как был моложе,
Наума с этим пауком
Я сравнивал... И что же?

Уж округлился капитал,
В купцы бы надо вскоре,
А человек затосковал!
Пришло к Науму горе...

VII

Сидел он поздно у ворот,
В расчеты погруженный;
Последний свистнул пароход
На Волге полусонной,

И потянулись на покой
И человек, и птица.
Зашли к Науму той порой
Молодчик да девица.

У Тани русая коса
И голубые очи,
У Вани вьются волоса.
«Укрой от темной ночи!»

— А самоварчик надо греть? —
«Пожалуй»... Ни минутки
Не могут гости посидеть:
У них и смех, и шутки,

Задеть друг дружку норовят
Ногой, рукой, плечами,
И так глядят... и так шалят,
Чуть отвернись, губами!

То вспыхнет личико у ней,
То белое, как сливки...
Поели гости калачей,
Отведали наливки:

«Теперь уснем мы до утра.
У вас покой, приволье!»
— А кто вы? — «Братец и сестра,
Идем на богомолье».

Он думал: «Врет! поди, сманил
Купеческую дочку!
Да что мне? лишь бы заплатил!
Пускай ночуют ночку».

Он им подушек пару дал:
— Уснете на диване. —
И доброй ночи пожелал
И молодцу, и Тане.

В своей каморке на часах
Поддернул кверху гири
И утонул в пуховиках...
Проснулся: бьет четыре,

Еще темно; во рту горит.
Кваску ему желалось,
Да квас-то в горнице стоит,
Где парочка осталась.

«Жаль! не пришло вчера на ум!
Да я пройду тихонько,

Добуду! (думает Наум)
Чай, спят они крепонько,

Не скоро их бы разбудил
Теперь и конский топот...»
Но только дверь приотворил,
Услышал тихий шопот:

«Покурим, Ваня!» — говорит
Молодчику девица.
И спичка чиркнула — горит...
Увидел он их лица:

Красиво Ванино лицо,
Красивее у Тани!
Рука, согнутая в кольцо,
Лежит на шее Вани.

Нагая, полная рука!
У Тани грудь открыта,
Как жар горит одна щека,
Косой другая скрыта.

Еще он видел на лету,
Как встретились их очи.
И вновь на юную чету
Спустился полог ночи.

Назад тихонько он ушел,
И с той поры Наума
Не узнают: он вечно зол,
Сидит один угрюмо,

Или пойдет бродить окрест,
И к ночи лишь вернется,
Соленых рыжиков не ест,
И чай ему не пьется.

Забыл наливки настоять
Душистой поленикой.
Хозяйство стало упадать —
Грозит урон великий!

На счетах спутался не раз,
Хоть счетчик был отменный...
Две пары глаз, блаженных глаз,
Горят пред ним бессменно!

«Я сладко пил, я сладко ел, —
Он думает уныло, —
А кто мне в очи так смотрел? ..»
И всё ему постыло...

ЭЛЕГИЯ

(А. Н. ЕРАКОВУ)

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая — «страдания народа»,
И что поэзия забыть ее должна, —
Не верьте, юноши! не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвел бы божий мир! .. Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по выжженным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза! ..
Толпе напоминать, что бедствует народ
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира —
Чему достойнее служить могла бы лира? ..

Я лиру посвятил народу своему,
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...
Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленьи...
«Довольно ликовать в наивном увлеченьи, —
Шепнула муза мне. — Пора итти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ? ..»

Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою —
Старик ли медленный шагает за сохою,

Бежит ли по лугу, играя и свистя,
С отцовским завтраком довольное дитя,
Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы —
Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие в уме: «В последние года
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?
И рабству долгому пришедшая на смену
Свобода наконец внесла ли перемену
В народные судьбы? в напевы сельских дев?
Иль так же горестен нестройный их напев?..»

Уж вечер настает. Волнуемый мечтами,
По нивам, по лугам, уставленным стогами,
Задумчиво брожу в прохладной полутьме,
И песнь сама собой слагается в уме,
Недавних, тайных дум живое воплощенье:
На сельские труды зову благословенье,
Народному врагу проклятия сулю,
А другу у небес могущества молю,
И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы,
И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,
И лес откликнулся... Природа внемлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта,
Увы! не внемлет он — и не дает ответа.

ПОЭТУ
(ПАМЯТИ ШИЛЛЕРА)

Где вы — певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира,
Провозгласил героем палача...

Толпа гласит: «Певцы не нужны веку!»
И нет певцов.. Замолкло божество...
О, кто ж теперь напомнит человеку
Высокое призвание его?..

Прости слепцам, художник вдохновенный,
И возвратись!.. Волшебный факел свой,

Погашенный рукою дерзновенной,
Вновь засвети над гибнущей толпой!

Вооружись небесными громами!
Наш падший дух взнеси на высоту,
Чтоб человек не мертвыми очами
Мог созерцать добро и красоту...

Казни корысть, убийство, святотатство!
Сорви венцы с предательских голов,
Увлекших мир с пути любви и братства,
Стяжанного усильями веков,

На путь вражды!.. В его дела и чувства
Гармонию внести лишь можешь ты.
В твоей груди, гонимый жрец искусства,
Трон истины, любви и красоты.

М. Е. САЛТЫКОВУ

(ПРИ ОТЪЕЗДЕ ЕГО ЗА ГРАНИЦУ)

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь...

На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.

Трудом — и бескорыстной целью...
Да! будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

СОВРЕМЕННИКИ

Часть первая

ЮБИЛЯРЫ И ТРИУМФАТОРЫ

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».

Швырнул далеко книгу я.
Ужели мы с тобой
Такого века сыновья,
О друг-читатель мой?..

Конечно, нет! Конечно, нет!
Клевещет наш зоил.
Лакей принес пучок газет,
Я жадно их раскрыл;

Минуя кражу и пожар
И ряд самоубийц,
Встречаю слово: «юбиляр»,
Читаю список лиц,

Стяжавших лавры. Счета нет!
Стипендия... медаль...
Аренда... памятник... обед...
Обед... обед... О враль!

Протри глаза!.. Иду к друзьям:
Готовит спич один,
Другой десяток телеграмм —
В Москву, в Рязань, в Тульчин.

Пошел я с ним «на телеграф».
Лакеи, кучера,
Депеши кверху приподняв,
Толпились там с утра.

Мелькают крупные слова:
«Герою много лет...»
«Ликуй, Орел!..» «Гордись, Москва!»
«Бердичеву привет...»

Немало тут «друзей добра»,
«Отцов» не перечесть,
А вот листок: одно — «ура!..»
Пора, однако, есть.

—

Я пришел в трактир и тоже
Счет теряю торжествам.
Книга дерзкая! за что же
Ты укор послала нам?..

У Дюссо готовят славно
Юбилейные столы;
Там обедают издавна
Триумфаторы-орлы.
Посмотрите — что за рыба!
Еле внес ее лакей.
Слышно «русское спасибо»
Из отворенных дверей.
Заказав бульон и дичи,
Коридором я брожу;
Дверь растворят — слышу спичи,
На пирующих гляжу:
Люди заняты в трактирах,
Не мешают... я и рад...

Зала № 1

В первой зале, все в мундирах,
В белых галстуках, стоят.
Юбиляр-администратор,
Древен, весь шитьем залит,
Две звезды... Ему оратор,
Тоже старец, говорит:
«Ты отец! До населенья
Добр и милостив ты был,
Не довел до разоренья,
Пищи, крова не лишил!
Ты герой — до кассы частной,
До казенного добра
Не простер руки всевластной —
Благодарность и... ура!..»

Вдруг курьер вошел, сияя,
Засиял и юбиляр.
Юбиляру, поздравляя,
Поднесли достойный дар.

№ 2

Речь долго, долго длилась,
Расплакался старик...
Я сделал шаг... открылась

Другая дверь — на миг,
И тут героя чтили,
Кричали: «Много лет!»
Герою подносили
Магницкого портрет:
Крамольники лукавы,
Рази — и не жалей! —

Исчезла сцена славы —
Захлопнул дверь лакей...

№ 8

На столе лежат «подарки»,
В Петербурге лучших нет.
Две брильянтовые арки —
Восхитительный браслет!
Бриллиантовые звезды...
Чудо! .. Несколько ребят
С упоением невесты
На сокровища глядят.
(Были тут и лицеисты,
И пажи, и юнкера,
И незрелые юристы,
И купцы... et caetera...)

— Чудо! — дядька их почтенный
Восклицает, князь Иван,
И, летами удрученный,
Упадает на диван...

Князь Иван — колосс по брюху,
Руки — род пуховика,
Пьедесталом служит уху
Ожиревшая щека.
По устройству верхней губы
Он — бульдог; с оскалом зубы,
Под гребенку волоса
И добрейшие глаза.
Он — известный объедало,
Говорит умно,

Словно в бочку из-под сала
Льет в себя вино.
Дома редко пребывает,
До шестидесяти лет
Водевили посещает,
Оперетку и балет.
У него друзья — кадеты,
Именитый дед его
Был шутом Елизаветы,
Сам он — ровно ничего.
Презирает аксельбанты,
Не охотник до чинов.
Унаследовав таланты
Исторических шутов,
С языком своим проворным,
С дерзким смехом, в век иной
Был бы он шутом придворным,
А теперь он — шут простой.
— Да! дары такие редки! —
Восклицает князь Иван. —
Надо спрыснуть... спрыснуть, детки!..
Наливай полней стакан!..
Нет, постой! В начале пира
Совершим один обряд:
Перед нами нет кумира,
Но... *и камни говорят!*
Эта брошка приютится
У богини на груди,
Значит, должно преклониться
Перед нею... Подходи!..
И почтительно к алмазам
Приложился князь Иван;
И потом уж выпил разом
Свой вместительный стакан.
И, вослед за командиром,
Приложилися юнцы
К бриллиантам и сафирам...

— На колени, молодцы!
Гимн!..
Глядит умильным взором
Старый шут на небеса,

И поют согласным хором
Молодые голоса:

Мадонны лик,
Взор херувима...
Мадам Жюдик
Непостижима!

Жизнь наша — пуф,
Пустей ореха,
Заехать в Буфф —
Одна утеха.

Восторга крик,
Порыв блаженства...
Мадам Жюдик —
Верх совершенства!

№ 4

«...Первоприсутствуя в сенате,
Радел ли ты о меньшем брате?
Всегда ли ты служил добру?
Всегда ли к истине стремился?..»

— Позвольте-с! —
Я посторонился
И дал дорогу осетру...

№ 5

Большая зала... шума нет...
Ученое собранье,
Агрономический обед,
Вернее — заседанье.
Встает известный агроном,
Член общества — Коленов
(Докладчик пасмурен лицом,
Печальны лица членов).

Он говорит: «Я посвятил
Досуг мой скотоводству,
Я восемь лет в Тироле жил,
Поверив превосходству
Швейцарских, английских пород,
В отечестве любезном
Старался я улучшить скот
И думал быть полезным.
Увы! напрасная мечта!
Убил я даром годы:
Соломы мало для скота
Улучшенной породы!
В крови у русской клячи есть
Привычка золотая:
«Работать много, мало есть» —
Основа вековая!
Печальный вид: голодный конь
На почве истощенной
С голодным пахарем... А тронь
Рукой непосвященной —
Еще печальней что-нибудь
Получится в итоге...
Покинул я опасный путь,
Увы! на полдороге...
Трудитесь дальше без меня...»

— Прискорбны речи ваши!
Придется с нынешнего дня
Закрыть собранья наши! —
Сказал ученый президент
(Толстяк, заплывший жиром): —
Разделим скромный дивиденд
И разойдемся с миром!
Оставим бедный наш народ
Судьбам его — и богу!
Без нас скорее он найдет
К развитию дорогу... —

«Закрыть! Закрыть, хотя и жаль! —
Решило все собранье. —
И дать Коленову медаль:
«За ревность и старанье».

«Ура! .. Подписку! ..» Увлеклись —
Нескупо подписали, —
И благодушно занялись
Моделью для медали. ..

№ 6

Шаг вперед — и снова зала,
Всё заводчики-тузы;
Слышен голос: «Ты сначала
Много выдержал грозы.
Весь души прекрасной пламень
Ты принес на подвиг свой,
Но пошел ко дну, как камень,
Броненосец первый твой!
Смертоносные гранаты
Изобрел ты на врагов. . .
Были б чудо-результаты,
Кабы дельных мастеров!
То-то их принять бы в прутья! . .
Ты гранатою своей
Переранил из орудья
Только собственных людей. . .
Ты поклялся, как заразы,
Новых опытов бежать,
Но казенные заказы
Увлекли тебя опять,
Ты вступил. . .»
Лакей суровый
Дверь захлопнул, как на зло.

№ 7

Я вперед. . . Из залы новой
Мертвечиной понесло . .
Пир тут, видно, не секретный —
Настежь дверь. . . народу тьма. . .
Господин Ветхозаветный
Говорит:
«Судьба сама
Нас свела сегодня вместе;
Шел я радостно сюда,



Как жених грядет к невесте, —
Новость, новость, господа!
Отзывался часто Пушкин
Из могилы... Наконец
Отозвался и Тяпушкин,
Скромный труженик-певец:
Драгоценную находку
Отыскал товарищ наш!
В бедной лавочке селедку
Завернул в нее торгаш.
Грязный синенький листочек,
А какие перлы в нем!..»

— Прочитай-ка хоть кусочек! —
Закричали...

«Мы начнем
С детства. Видно, что в разъезды
Посылал его отец:
Где иной считал бы звезды,
Он...» — Читай же! — Начал чтец:

Отрывок из путевых заметок юноши Тяпушкина, веденных им во время разъездов его по России по делам отца

(Найден случайно между оберточной бумагой в лавке купца С. С. Подтекина; подлинник — собственность Зосима Терентьевича Ветхозаветного.)

На реке на Свири
Рыба, как в Сибири.
Окуни, лини
Средней долины.
На реке же Лене
Хуже, чем на Оби:
Ноги по колени
Отморозил обе,
А прибыв в Ирбит,
Дядей был прибит...

—

— Превосходно! поэтично! .. —
Каждый в лупу смотрит лист.
«И притом характерично, —
Замечает журналист, —
То-то мы ударим в трубы!
То-то праздник будет нам!»
И прикладывает губы
К полуграмотным строкам.
Приложил — и, к делу рьяный,
Примечание строчит:
«Отморозил ноги — *пьяный*
И — *за пьянство* был побит;
Чужды нравственности узкой,
Не решаемся мы скрыть
Этот знак натуры русской...
Да! «веселье Руси — пить! ..»
Прим. ред.

«Уж знакомлюсь я с поэтом,
Биографию пишу...»

— Не снабдите ли портретом? —

«Дорогонько... погляжу...
Случай редкий! Мы России
Явим вновь труды свои:
Восстановим запятые,
Двоеточие над i;
Можно будет в духе «Миши»
Предисловье написать:
Пощадили даже мыши
Драгоценную тетрадь —
Провидения печать! ..
Позавидует Бартенев,
И Ефремов зашипит,
Но заметку сам Тургенев
В «Петербургских» поместит...»

— Верно! царь ты русской прессы,
Хоть и служишь мертвецам:
Все живые интересы
Уступают поле нам... —

«Так... и так да будет вечно! ..
Дарованья в наши дни
Гибнут рано... Жаль, конечно,
Да бестактны и они...
Жаль! .. Но боги справедливы
В начертаниях своих!
Нам без смерти — нет поживы,
Как аптеке без больных!
Дарованием богатый
Служит обществу пером,
Служим мы ему лопатой...
Други! пьем! За мертвых пьем! ..»

Вместо влаги искрометной,
Пили запросто марсал,
А Зосим Ветхозаветный
Умиленно лепетал:

«Я люблю живых писателей,
Но — мне мертвые милей! ..»

Это — пир гробовскрывателей!
Дальше, дальше поскорей! ..

№ 8

«Получай же по проценту! —
Говорит седой банкир
Полицейскому агенту. —
В честь твою сегодня пир!»
Рад банкир, как сумасшедший;
Все довольны; сыщик пьян;
От детей сюда зашедший,
По знакомству, князь Иван
Держит спич:
— Свои законы
Есть у века, господа!
Как пропали миллионы,
Я подумал: не беда!
Верьте, нет глупей несчастья:
Потерять последний грош —

Ни пропажи, ни участья,
Хоть повесься, не найдешь!
А украдут у банкира
Из десятка миллион —
Растревожится полмира...
«Миллион!..» Со всех сторон
Сожаленья раздадутся,
Все правительства снесутся,
Телеграммами в набат
Приударят! Все газеты
Похитителя приметы
Многократно возвестят,
Обозначат каждый прыщик...
И глядишь: нашелся вор!
На два дня банкир и сыщик —
Самый модный разговор!
Им улыбки, им поклоны,
Поздравленья добрых душ...
Уж терять — так миллионы,
Царь вселенной — куш!..

№ 9

Председатель Казенной Палаты —
Представительный тучный старик —
И Директор. Я слышал дебаты,
Но о чем — хорошенько не вник.

«Мы вас вызвали... ваши способности...»
— Нет-с! вернее: решительность мер. —
«Не вхожу ни в какие подробности:
Вы — губерниям прочим пример,

Господин Председатель Пасьянсов!»
— Гран-Пасьянсов! — поправил старик. —
«Был бы рай в министерстве финансов,
Если б всюду платил так мужик!..

Очень трудны теперь обстоятельства...
Если б меры такие принять...»
— Не советую, ваше сиятельство,
Всё погубите, смею сказать!

Доложите министру финансов,
Что действительно беден мужик. —
«Но — пример ваш, почтенный Пасьянсов? ..»
— Гран-Пасьянсов! — поправил старик...

№ 10

Путь, отечеству любезный,
Ты геройски довершил,
Ты не дрогнул перед бездной,
Ты...

Татарин нелюбезный
Двери круто затворил.

Несмотря на все старанья
Речь дослушать я не мог.
Слышны только лобызанья
Да: «ура...» да: «с нами бог! ..»

№ 11

Чу! пенье! Я туда скорей,
То пела светская плеяда
Благотворителей посредством лотерей,
Концерта, бала, маскарада...

Да-с! Марья Львовна
За бедных в воду,
Мы Марье Львовне
Сложили оду.

Где Марья Львовна?
На вдовьем бале!
Где Марья Львовна?
В читальной зале...

Кто на эстраде
Поет романсы?

Чьи в маскараде
Вернее шансы?

У Марьи Львовны
Так милы речи,
У Марьи Львовны
Так круглы плечи! . .

Гласит афиша:
«Народный праздник».
Купил корову
Один проказник:

«Да-с, Марья Львовна,
Не ваши речи,
Да-с, Марья Львовна,
Не ваши плечи,

С народом нужны
Иные шансы. . .»
В саду корова
Поет романсы,

В саду толпится
Народ наивный,
Рискуют прачки
Последней гривной.

За грош корову
Кому не надо?
И побелели
Дорожки сада,

Как будто в мае
Послал бог снегу. . .
Пустых билетов
Свезли телегу

Из сада ночью.
Ай! Марья Львовна!
Пятнадцать тысяч
Собрали ровно!

Пятнадцать — с нищих!
Что значит — масса!
Да процветает
Приюта касса!

Да процветает
И Марья Львовна,
Пусть ей живется
Легко и ровно! . .

Да-с, Марья Львовна
За бедных в воду...
Ее призванье —
Служить народу!

№ 12

Слышен голос — и знакомый —
«Ананас — не огурец!»
Возложили гастрономы
На товарища венец.
Это — круг интимный, близкий.
Тише! слышен жаркий спор:
Над какою-то сосиской
Произносят приговор;
Поросенку ставят баллы;
Рассуждая о вине,
Тычут градусник в бокалы...
«Как! четыре — ветчине? . .»
И поссорились... Стыдитесь!
Вредно ссориться, друзья!
Благодушно веселитесь!
Скоро к вам приду и я.
Буду новую сосиску
Каждый день изобретать,

Буду мнение без риску
О салате подавать.
Буду кушать плотно, жирно,
Обленюся, как верблюд,
И засну навеки мирно
Между двух изящных блюд...

№ 18

«Были вы вчера студенты,
Нынче — граждане!» — гласит
Дослужившийся до ленты
Старичок: «Да сохранит
Вас судьба в житейской битве.
На прощанье повторю:
Путь спасения — в молитве
И в покорности царю!
Будьте, юноши, степенней,
Ретрограднее отцов!
Есть ли в мире что презренней
Агитаторов-глупцов?
Ваши сестры, ваши братья,
А нередко и отцы —
Распростерли им объятья,
Уготовали венцы!
Всюду — страшно молвить даже! —
Им поддержка, им почет...
Стань же, юноша, на страже!
Будь отечества оплот!
Будь семьи руководитель,
Злу не дай торжествовать,
Заблуждается родитель —
И родителя попять...
Блага жизни вам дадутся,
Лишь нейдите по стопам
Тех, что дерзко предаются
Анархическим мечтам!
Им готовит провиденье,
Вместо власти и венца,
Одиночество, забвенье
И — изгнанье без конца...»

Часть вторая

ГЕРОИ ВРЕМЕНИ

Траги-комедия

«Кушать подано!» — Мне дали
Очень маленький салон.
За стеной «ура!» кричали,
По тарелкам шел трезвон.
Кто ж они — с моим чуланом
Рядом — пьющие теперь?
Я чуть-чуть открыл диваном
Загороженную дверь,
Поглядел из-за портьеры:
Зала публикой кишит —
Всё тузы-акционеры!
На ловца и зверь бежит...

Производитель работ
Акционерной компании,
Сдавший недавно отчет
В общем годичном собрании,

В группе директоров Шкурин сидит
(Синяя чуйка и крупные губы).
Старец, прошедший сквозь медные трубы —
Савва Антихристов — спич говорит.
(Общество пестрое: франты, гусары,
И генерал, и банкир, и кулак).

— Да, господа! самородок-русак
Стоит немецких философов пары!
Был он мужик, не имел ничего,
Часто гуляла по мальчику палка.
Дальше скажу вам словами его
(Тут и отвага, и ум, и смекалка):

«Я — уроженец степей;
Дав пастухам по алтыну,
Я из хребта у свиней
В младости дергал щетину.

Мечется стадо, ревет.
Знамо: живая скотина!

Мальчик не трусит — дерет,
Первого сорту щетина.

Стал я теперь богачом,
Дом у меня, как картинка.
Думаю, глядя на дом:
Это — свиная щетинка!..»

Великорусская, меткая речь!..
С детства умел он добыть и сберечь.
Сняли мы линию; много заботы:
Надо сдавать земляные работы.
Еду я раз по делам в Перекоп,
Вижу, с артелью идет землекоп.
— Кто ты? «Я — Федор Никифоров Шкурин».

(Обращается к Шкурину)

Чокнемся! выпьем, Христов мужичок!
Ну, господа генералы! чок-чок!..
Выбор-то мой оказался недурен...

(Чокаются и пьют)

Прибыл подрядчик на место работ,
Вместо науки, с одним «глазомером»;
Ездит по селам с своим инженером,
Рядит рабочих — никто не идет!
Земли кругом тут дворянские были —
Только дворяне о них позабыли.
Всем тут орудовал грубый «кустарь»,
Пренебреженной окраины царь.
Жители рыбу в озерах ловили,
Гнали безданно из пеньев смолу,
Брали морошку, опенки солили
И говорили: «Нейдем в кабалу!»
Нет послушанья, порядка и прочего,
Прежде всего: создавай тут «рабочего».
Как же создашь его? Шкурин не спит:
Земли, озера, болота, графит —
Всё откупил у помещика,
«Всё — до последнего лещика!»
(Как энергически сам говорит)

Дрогнула грубая сила «кустарная»
Как из-под ног ее почва ушла...
Мысль эта, смею сказать, лучезарная,
Наши доходы спасла.
Плод этой меры в графе дивиденда
Акционеры найдут:
На сорок три с половиной процента
Разом понизился труд!..
Ходко пошла земляная работа.
Шкурин, трудясь до кровавого пота,
Не раздевался в ночи,
Жил без семейства в степи безотрадной,
Обувь, одежду, перцовку, харчи
Сам поставлял для артели громадной.
Он, разделяя с рабочим труды,
Не пренебрег гигиеной народной:
Вместо болотной, стоячей воды,
Дал он рабочему квас превосходный!
Этим и наша достигнута цель:
В жаркие дни, довалившись до кваса,
Меньше харчей потребляла артель
И обходилась охотно без мяса!
Быстро в артели упал аппетит
На двадцать два с половиной процента.
Я умолкаю... графа дивиденда
Красноречивее слов говорит!..»

—

«Ура!» прокричали, героя сравнили
С находчивым «янки». А я, между тем,
Покамест здоровье подрядчика пили,
Успел присмотреться ко всем:
Во-первых, тут были почетные лица
В чинах, с орденами. Их видит столица
В сенате, в палатах, в судах.
Служа безупречно и пользуясь весом,
Они посвящают досуг интересам
Коммерческих фирм на паях.
Тут были плебеи, из праха и пыли
Достигшие денег, крестов,
И рядом вельможи тут русские были,
Погрязшие в тине долгов

(То имя, что́ деды в безумной отваге
Прославили — гордость страны, —
Они за паи подмахнут на бумаге,
Не стоящей трети цены)...
Сидели тут важно, в сознании силы,
«Зацепа» и «Савва» — столпы-воротилы
(Зацепа был мрачен, а Савва сиял).
Тут были банкиры, дельцы биржевые,
И земская сила — дворяне степные, —
Тут было с десяток менял.
Сидели тут рядом тузы-иноземцы:
Остзейские, русские, прусские немцы,
Евреи и греки и много других, —
В Варшаве, в Одессе, в Крыму, в Петербурге
Банкирские фирмы у них, —
На *аки*, на *раки*, на *берги* и *бурги*
Кончаются прозвища их.
Зацепа — красивый старик белокудрый,
Наживший богатство политикой мудрой, —
Был сборища главным вождем.
Профессор, юрист, адвокат знаменитый
И два инженера — с ученым значком —
Его окружали почетною свитой.
Григорий Аркадьич Зацепин стяжал
В коммерческом мире великую славу
И львиную долю себе выделял
Из каждого крупного дела по праву.
Сей старец находчив, умен, даровит,
В нем чудная тайна успеха таится,
Недаром он в каждом правленьи сидит...
Придет вам охота в аферы пуститься,
Старайтесь его к предприятью привлечь —
Пойдет как по маслу!..
Герой-триумфатор
Раскланялся... Выступил новый оратор,
Меняло — писклива была его речь:
«Мм. гг.
Времена наступают тревожные,
Кризис близится: мало дают
Предприятья железнодорожные,
Банки тоже не бойко идут:

«Половину закрыть не мешало бы!» —
Слышен в публике хор голосов,
Как недавно мы слышали жалобы
На избыток питейных домов.
Время выйти на поприще новое,
Честь имею проект предложить,
Все обдумано — дело готовое.
Стоит только устав сочинить.

(Пауза. Выпив глоток воды, оратор продолжает с одушевлением).

Мысль — «Центрального Дома Терпимости»
Такова наша мысль! Скажут нам:
Прежде Невский целковыми вымости.
И на то я согласие дам!
Вам порукою наше серьезное
Отношенье к делам вообще,
Что развитие ей грандиозное
Мы надеемся дать не вотще:
Лишь бы нам разрешили концессию...
Учредим капитал на паях
И, убив мелочную профессию,
Двинем дело на всех парусах!
Нет сомненья, что цель учреждения
Наше общество скоро поймет:
Понесут нам свои сбережения
Все, кутящие ныне вразброд!
Предприятия с точки вещественной
Невозможно вернее желать,
Равным образом, с точки общественной
Трудно пользу его отрицать.
Без надзора строжайшего, честного
Не оставим мы дело никак,
Мы найдем адвоката известного
Для разбора скандалов и драк.
Будет много у нас подражателей,
Но не будет такого нигде
Наблюденья: возьмем наблюдателей
В нашей скромной меняльной среде...»

—

«В тихом омуте водятся черти!» —
Кто-то рядом со мной прошептал;

Некто Грош испугался до смерти
Остроумной затеи менял
И подвинулся дальше со стулом.
На проект отвечала толпа
Нерешительным, сдержанным гулом,
Ждали мненья Зацепы-столпа.
«Да, — сказал он, — доходное дело,
Но советую вам подождать.
Ново... странно... до дерзости смело...
Преждевременно, смею сказать!
Кто не знает? Пророки событий,
Пролагатели новых путей,
Провозвестники важных открытий —
Побиваются грудой камней.
Двинув раньше вперед спекуляцию,
Чем прогресс узаконит ее,
Потеряете вы репутацию
И погубите дело свое.
Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что сегодня постыдным считается,
Удостоится завтра венца...»

«Браво!» Залп громоподобный...
На арену вышел Грош
И проекту спич надгробный
Довершил: «Проект хорош.
Исполнители опасны!» —
Он язвительно сказал.
Пренья были долги, страстны,
Впрочем, я их не слыхал,
Я заснул...
Мне снились планы
О походах на карманы
Благодушных россиян,
И, ощупав мой карман,
Я проснулся...
Шумно.. В уши
Словно бьют колокола,
Гомерические куши,
Миллионные дела,
Баснословные оклады,

Недовыручка, дележ,
Рельсы, шпалы, банки, вклады —
Ничего не разберешь! ..
Я сидел тупой и мрачный,
Долго мне понять мешал
Этот крик и дым табачный:
Где я? Как сюда попал?

Через дверь, чуть-чуть открытую,
Вижу лиц усталых ряд,
Вижу жжонку недопитую,
Землянику, виноград.
К англичанину с объятьями
Лезет русский человек.
— Выпьем, Борух! Будем братьями! —
Говорит еврею грек.
Кто-то низко клонит голову,
Кто-то на пол льет вино,
Кто-то Утина Ермолову
Уподобил... Всё пьяно! ..

Я понял: кончили дела
И нараспашку закутили.
Одни сидели у стола,
Другие парами ходили.
Сюда пришел и князь Иван
И, на диване отдыхая,
Не умолкал, как барабан
Чужие речи заглушая.
Старик с друзьями продолжал
Пить вдохновляющую жжонку
И мимошедшим посылал
Свои любезности вдогонку.
Теперь цинизм у них царил,
И разговор был часто страшен:
— С какой иконы ты скусил
Тот перл, которым ты украшен? —
«Да с той, которой помолясь,
Ты Гасферу подсыпал яду...»
Так остроумно веселясь,
Они смеялись до упаду,
Другие хмурились... Журча,

Лился поток суждений, споров...
Вот вам отрывки разговоров,
Ищите сами к ним ключа...

1-й голос

Отложили на неделю,
Миллиончик пропадет.
Вот господь послал Емелю!
Доложил наоборот:
Позабыл о братьях Примах,
Знай наладил: Цах да Цах!
Образец непроходимых
Государственных нерях!
С ним теперь и смех, и горе.
Прежний много лучше был:
Не сажал нас на мель в море
И на суше не топил.

2-й голос
(князя Ивана)

Чу! как орут: «Казань!..», «Ветлуга!..»
Адепты севера и юга.
Немного фактов, бездна слов...
Одно тут каждый понимает,
Что на пути до рудников
Постлать соломки не мешает!

3-й голос

У нас был директор дороги,
Кондукторам красть не давал:
В вагоны, как тать, проникал,
У сонных сосчитывал ноги,
Чтоб видеть: придется иль нет
На каждую пару билет?
Но дальше билетов и ног
Считать ничего он не мог!..

Голос князя Ивана
(кому-то навстречу)

Сотню рублей серебра
В день получаю...
Сорок четыре ребра
В сутки ломаю...

А! господин костолом!
Радуюсь встрече случайной.
Правда ли? мы создаем
Новый проект чрезвычайный:
Предупредительных мер
Мы отрицаем полезность...
(Так! господин инженер!
Благодарим за любезность.)
Вечно мы будем ломать
Едущим руки и ноги:
Надо врачей насажать
На протяженьи дороги,
С правого боку возвесть
Раненым нужно жилища,
А для убитых отвесть
С левого боку кладбища.
Так-с! Выражаясь точней,
Вы узаконить хотите
Право увечить людей...
Мало еще вы кутите!
Что же? Дай бог вам успеть!
Можете руки вы знатно,
Строя больницы, нагреть,
И пассажирам приятно:
Вместо того, чтоб зевать,
В наших пустынях унылых —
Впредь до крушенья — считать
Будут кресты на могилах!

Двое (4-й и 5-й)

(проходя мимо двери, негромко)

— Вам дадут пай строители,
Я готов держать пари
На тысчонку! Не хотите ли? —
«В чем же дело, говори!»
— Это — путь из самых прибыльных,
Но ведь это — тоже дверь
Для обмена мыслей гибельных...
Понимаете теперь? —
«Верно! малый ты практический!
Как пари не заплатить?

С точки зренья стратегической
Можно Волгу запрудить!»

Голос князя Ивана
(кому-то вдогонку)

Пестрый галстук с черным фраком,
Ряд нечищеных зубов
И подернутая лаком
Рожа — признак дураков.
В перстне камень изумрудный.
Неотесанный болван:
Содержатель кассы ссудной,
Главной кассы — важный сан!
Этот тип безмерно гнусен.
Современный Митрофан
Глуп во всем, в одном искусен:
Залезать в чужой карман!
И на нем дух века виден,
Он по трусости — скупец,
По невежеству — бесстыден,
И по глупости — подлец!

6-й голос

За что швырнул в меня он карточкой своей
И завтра обещал прислать мне секунданта?
Ведь я не отрицал у Душкиной таланта,
Я только говорил, что Радина милей!
Военный человек, не спорю я, прекрасен,
Но дальше от него держаться должно нам.
Во времена войны — опасен он врагам,
А в мирное — он всем опасен.

Голос князя Ивана
(кому-то навстречу)

Тысяч восемьдесят в банках
Получает этот франт,
Он живет бессменно в санках —
В этом весь его талант.
Есть другой счастливец в мире,
Полу-немец, полу-грек,
Получает сто *четыре*...
Заурядный человек!
Дай мне легонькие санки

И рысистого коня,
Я и сам все наши банки
Облечу в теченье дня!

7-й голос

Человека накачали
И забыли... Как тут быть?
Если нет цыган, нельзя ли
Хоть арфисток пригласить?
Без прекрасного-то пола
Скучновато во хмелю.
Пить так пить — *до протокола,*
Середины не люблю!

Голос князя Ивана

На французском масле,
Сделанном из сала,
Испекла природа
Этого нахала.
Экий ратоборец!
Железнодорожник,
И гостинодворец,
И во всем — художник!

8-й голос

В нашем банке заседают
Пять ростовщиков,
Фортель их таков:
Меж собой распределяют
Весь наличный капитал
Из осьми... а выручают
Сорок... Подло! я отстал.

Голос князя Ивана
(кому-то вдогонку)

Слыл умником и в ус себе не дул,
Поклонники в нем видели мессию;
Попал на министерский стул
И — наглупил на всю Россию!

9-й голос

...Говорю: помиритесь добром!
Не советую знаться с судом!..

На Литейной такое есть здание,
Где виновного ждет наказание,
А невинен — отпустят домой,
Окативши ушатом помой.
Я там был. Не последнее бедствие,
Доложу вам, судебное следствие —
Юный пристав меня истерзал;
Прокурор, поседевший во бдении,
Так копался в моем поведении,
Что с натуги в истерику впал;
Сторона утверждала противная,
Что вся жизнь моя — цепь непрерывная
Вопиющих каких-то картин,
И, содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный:
«Перед вами стоит гражданин
Чище снега альпийских вершин! ..»

Невеселое вышло решение:
Без лишения прав заключение.
Две недели пришлось проскучать,
Да с полгода ругала печать!

10-й голос

Печать? У ней строитель — вор!
Железные дороги — душегубки!
Суды?.. По платью приговор!
А им любезны только полушубки.
Теперь не в моде уважать
По капиталу, чину, званью...
Как? под арестом содержать
Игуменью — честную Митрофанью?..

11-й голос

Не щадят ни заслуги, ни звания!
Адвокатам одним только рай:
За лишение прав состояния —
И за то теперь деньги подай!

Голос князя Ивана

(кому-то вдогонку)

Не люблю австрийца!
Думается мне:

Вот — сыноубийца!
Чу! призыв к войне!
Брошены парады,
Дети в бой идут,
А отцы подряды
На войска берут...
Юные герои
Гибнут в каждом бое,
Не поймут никак:
Отчего в атаке,
В самой жаркой драке,
Невредим пруссак?
Дети! вас надули
Ваши старики:
Глиняные пули
Ставили в полки!

—

Неразлучной бродят парой
Суетливый коммерсант
И еврей, процентщик ярый,
В драгоценных камнях франт.
Вот подходят к самой двери,
Продолжая рассуждать:
— Мне «товарища на вере»
Было легче отыскать.
Выручай! надеждой прочной
Остаешься ты один.
Выручай! ты — безупречный,
Полноправный гражданин!
Ты — писатель! Ты брошюрой
«О процентах» заявил
Связь свою с литературой,
Ты Тиблену кумом был.
Ты — художник по натуре... —
«Нежелательно прослыть
Подставным в литературе...»
— Вот нашел о чем тужить!
Полно! мы с тобой — не детки.
Нынче — царство подставных,
Настоящие-то редки,
Да и спроса нет на них.

Погляди: моряк на суше,
Инженер на корабле,
А дела идут не хуже
И не лучше на земле.
Не у нас — во всей Европе
Прессой правит капитал,
Был же Генкель, есть же Гоппе...
Ты бы ярче их сиял!
Прессе нужны коммерсанты.
Поспешив на помощь ей,
Как направим мы таланты,
Как устроимся! —
Еврей
Отвечает, убежденью
Начиная уступать:
«Если нужно просвещенью
Руку помощи подать,
Я готов, но — бог свидетель —
Я от грамоты отвык...»
— Тут нужна лишь добродетель! —
Восклицает биржевик...

—

«Дай еще им пять бутылок!» —
Испустил внезапный крик
Некто — стриженый затылок,
Голова «â la мужик».
Рост высокий, стан не гибкий,
А лицо... странней всего,
Как не высекли ошибкой
По лицу его!
Выпив первую бутылку,
Лизоблюдов пьяный хор
Тароватому затылку
Лестью выпалил в упор:

— Сколько вы́ божьих храмов построили!
— Сколько выдали замуж невест!
— Сколько вдов и сирот успокоили!
— Сколько роздали пенсий и мест!
— А какие вы строите линии!
Подвиг ваш — достоянье веков! —

Поправляя очки свои синие,
Заключил запевало льстецов:
На Урале, на Лене, на Тереке
Предстоят еще подвиги вам.
Были люди в Европе, в Америке,
А таких не встречалось и там! —

«Будто? Вот как! Скажите! Неужели?» —
Восклицал осовевший герой;
«Мы, однако, так плотно покушали,
Что пора, господа, и домой...»

И вскочили «орлы» его верные,
И героя домой повели...

Про таланты его непомерные
Очень громкие слухи прошли.
Как шаман, он обвешан жетонами
(А на шее — владимирский крест).
С телеграммами, спичами, звонами
Колокольными — ездит и ест,
Упивается тонкими винами,
Сыплет золото щедрой рукой,
В предприятиях долями львиными
Наделяется... Чем не герой? ..

Есть, однако, и мненье противное:
Говорят: у него никаких
Дарований, богатство фиктивное;
Говорят: он — игрушка других,
Нужен он для одной декорации;
Три-четыре искусных дельца
В омут самой шальной спекуляции,
Словно мячик, бросают глупца.
Как вопьются раки жирные
В тело белое его,
Эти люди, с виду смирные,
Обрывают их с него,
И потом дружка сердечного
В новый омут повлекут...
Ничего нет в мире вечного —
Скоро будет он банкрут!

Голос князя Ивана

(навстречу вновь вошедшему)

А! Авраам изыскатель!
Мимо прошел: не узнал,
Чем возгордился, приятель?
Я пастухом тебя знал...

Лота отца попрекает,
Берка от Лоты бежит,
Месяца три пропадает
И, возвратясь, говорит:

«Радуйся! дочь моя Лота!
Радуйся, Янкель, мой сын!
Дети! купил я болота
Семьдесят семь десятин!»

Лота оделася в шубку,
Янкель за шапкой бежит,
Едут смотреть на покупку —
Лошадь с натуги хрипит,

Местность все ниже и ниже,
Множество кочек и ям.
«Вот оно! Лота! Смотри же!»
Лота не верит глазам:

Нету ничем ничего-то,
Кроме трясины и мхов!
Только слетели с болота
Семьдесят семь куликов!

Едучи шагом обратно,
Янкель трунил над отцом,
Лота работала знатно
Длинным своим языком.

Берка на жалобы эти
Молвил, подъехав к крыльцу:
«Не угодил я вам, дети,
Да угодил продавцу!»

Утром он с ними простился,
Месяца три пропадал.

Ночью домой воротился,
«Радуйтесь!» — снова сказал.

Янкель и Лота не рады,
Думают: глупость опять!
«Взял я большие подряды! —
Берка пустился плясать. —

Четверть с рубля обойдется,
Четверть с рубля... без гроша...
Семьдесят семь остается,
Семьдесят семь барыша!»

Денег у Берки без счета,
Берка — давно дворянин,
Благословляя болота
Семьдесят семь десятин!..

—

Чу! песня! Полные вином,
Два инженера ликовали
И пели песенку о том,
Как «непреклонного» сломали:

Я проект мой излагал
Ясно, непреложно —
Сухо молвил генерал:
«Это невозможно!»

Я протекцию сыскал,
Всё обставил чудно, —
Грустно молвил генерал:
«Это очень трудно!»

В третий раз понять я дал:
Будет — гривна со ста,
И воскликнул генерал:
«Это — очень просто!»

Голос князя Ивана

На уме чины да куши,
Пассажиров бьет гуртом:
Христианские-то души
Жидовине нипочем.

Добиваясь генеральства,
Мнит высоко о себе.
«Плутоватость и нахальство» —
Два словца в его гербе.
До пределов незаконных
Глуп, а денежки гребет...
Все равно, что резать сонных —
Обирать народ!

—

Слышны толки: «леность... пьянство...
Земство... волость... мужики»...
Это — местное дворянство
И дворяне-степняки.
У степного дворянина
Речь любимая своя:
«Чебоксарская щетина»,
«Миргородская свинья»,
«Свекловица, мериносы»,
«Спрос на водку и барду»,
А у местного вопросы
«Всесословные» в ходу;
Граф Д<авы>дов, князь Л<оба>нов
В центре этого кружка
Излагают пользу планов,
Неудавшихся пока.

«Вся беда России
В недостатке власти!» —
Говорят витии
По сословной части.

«Да! провинция пустеет:
Города объяты сном,
Земледелец наш беднеет,
Дворянин поник челом.

Кто не «высшего разбора»,
Убегай из наших мест,
Ты — добыча прокурора,
Мировой тебя заест!

Кто теперь там толку сыщет?
Народившийся кулак

По селеньям зверем рыщет,
Выжимает четвертак.

Выбивают недоимку,
Разоряют до гроша,
Взятку, взятку-невидимку
Ловит каждая душа!

Даже божии стихии
Ополчились на крестьян:
Повсеместно по России —
Вихри, штормы, ураган.

Гром жилища зажигает,
Нивы град господень бьет,
Деньги земство обирает,
Жадный волк уносит скот!

С мужиком одним случилось —
То-то он оторопел! —
Даже почва провалилась,
Отведенная в надел!

Не затем мы уступали
Наши древние права,
Чтоб на наше место стали
Становой и голова!

Жаль родного достоянья,
Жаль и бедных мужиков! ..
Там — семейные преданья,
Там — любезный прах отцов!

Прах отцов — добыча тленья,
А живому дорог день:
Как из чумного селенья,
Мы бежим из деревень!»

Так искатели концессий,
Потерпевшие наклад
От хозяйственных профессий,
Нашим земцам говорят.

—

— Нет, а мы так не уходим!
Обновив с народом связь,
Мы народ облагородим, —
Говорит — по Гнейсту — князь, —

Мы судебно-полицейской
Властью — пьянство укротим! —
И с улыбкой фарисейской
Ренегаты вторят им.

Князь Иван закончил пренья
О вреде предоставленья
Мужику гражданских прав,
Неожиданно сказав:

«Пусть глас народа — божий глас,
Но все-таки мужик — скотина!
Плохая шутка: свинопас
И рядом правнук Гедимина.

Враги дворян изобрели
Нарочно земское компанство,
Чтоб вши с крестьян переползли
На благородное дворянство».

— Мало толку в словопреньи, —
Грянул некто Хватунов, —
Лучше петь об орошеньи.
(Был уж он давно «готов».)

—

Песня «Об орошении»

Комитету «Поощренья
Земледельческих Трудов»
Сделать опыт орошенья
Наших пашен и лугов

Предложил я: снарядили
Две комиссии в наш край
И потом благословили,
Дали денег: «Орошай!»

Я поехал за границу,
Пожуировал; затем
Начал сеять свекловицу.
Время мчалось, между тем,

Дом мой стал богаче, краше,
Сам толстею, что ни год.
Вдруг запрос: «Успешно ль ваше
 Орошение идет?»

— При ближайшем наблюденьи, —
Отвечаю в комитет, —
Нахожу, что в орошеньи
В нашем крае — нужды нет.

Труд притом безмерно дорог... —
Согласились: Нет нужды!
А задаток — тысяч сорок —
За посильные труды

Комитет — не без участья
Добрых душ — с меня сложил,
И тогда — слезами счастья
Грудь жены я *оросил!*..

В каждой группе плутократов —
Русских, немцев ли, жидов —
Замечаю ренегатов
Из семьи профессоров.
Их история известна:
Скромным тружеником жил
И, служа науке честно,
Плутократию громил,
Был профессором, ученым
Лет до тридцати,
И, казалось, миллионом
Не собьешь его с пути...
 Вдруг — конец истории:
 В тридцать лет герой —
 Прыг с обсерватории
 В омут биржевой!..

Вот москвич — родоначальник
Этой фракции дельцов:
Об отечестве печальник,
Лучший тип профессоров,
Встарь он пел иные песни,
Искандер был друг его;
Кроме каменной болезни,
Не имел он ничего;
Под опалой в о́ны годы
Находился демократ,
Друг народа и свободы,
А теперь о́н — плутократ!
Спекуляторские штуки
Ловко двигает вперед
При содействии науки
Этот старый патриот...
Вот другой — слывет за чудо:
Говорун и острослов,
(«Леонид» — ему покуда
Кличка у тузов).
Он *машинным красноречьем*
Плутократию дивит;
Никаким противоречьем
Не смущаясь, говорит
В интересах господина.
Заплати да тему дай,
Говорильная машина
Загудит: поднимет лай,
Будет плакать и смеяться,
Цифры, факты извращать,
На Бутовского ссылаться,
Марксом тону задавать.
Предпочтя ученой славе
Соблазнительный металл,
Леонид сперва при Савве
На посылках состоял,
Подавал ему «идейки»
(И сигары — иногда),
Знал к редакторам лазейки,
К представителям суда,
Составлял «записки», «мненья»,
Сплетни прессы отражал,

И в директоры правленья
Наконец попал!
Тут уж торная дорога:
Нахватав десяток мест,
Как за пазухой у бога,
Он живет; по-барски ест,
На балы к концесьонерам
Возит куколку-жену
И поет акционерам
Вечно песенку одну;
Смысл известный: «дивидендов
Нет покамест — ожидай!
И немедля шесть процентов
Нам в награду отчисляй!»
Кризис: дело не спорится,
Денег нет, должны кругом,
В дверь правления стучится
С исполнительным листом
Пристав: кассу запирает,
Мебель штемпелем клеймит.
Леонид не унывает
И цинически острит:
«Мат, конечно, предприятью,
А правленью — не беда!
Стул с казенною печатью
Так же мягок, господа! ..»

Нынче счету нет артистам,
Что́ таким путем пошли,
И на помощь аферистам
Силу знанья принесли.
Всякий план, в основе шаткий,
Как на сваях утвердят:
Исторической подкладкой,
Перспективами снабдят!
Дело их — стоять на страже
«Государственных идей».
Нет еще идеи даже,
Есть один намек о ней,
Уж бегут они к патронам,
Выговаривают пай.
Начинают скромным тоном:

«Нужный банк»... «Забытый край»..
Дальше — громче пропаганда,
Загорается война,
Кто за Шмита, кто за Странда!
Правду вывернув до дна,
Чудо сделают из края,
Этнографией блеснут,
И статистика такая...
Где они ее берут?

Аргумент экономический,
Аргумент патриотический,
И важнейший, наконец,
С точки зренья стратегической
Аргумент — всему венец!..

Из пяти одна затея
Удалась — набит карман!
А гуманная идея
Отошла на дальний план.
Новый туз-богач — в итоге
И сказались барыши
Лишней гривною в налоге
С податной души...

Надо честь отдать почину —
Разбудили Русь они:
И купцу, и дворянину
Плохо спится в наши дни;
Прежде Русь стихи писала,
Рифмам не было числа,
А теперь практичней стала:
На проекты налегла!
Предприимчивостью чудной
Преисполнились сердца,
Нет теперь задачи трудной,
Каждый план найдет дельца.
Запрудят Неву, каналы
По Сахаре проведут!..
Дайте только капиталы,
Обеспечьте риск и труд...

Да, постигла и Россия
Тайну жизни наконец:
Тайна жизни — гарантия,
А субсидия — венец!
Будешь в славе равен Фидию,
Антокольский! изваяй
Гарантию и субсидию,
Идеалам форму дай!
Окружи свое творенье
Барельефами: толпой
Пусть идут на поклоненье
И ученый, и герой;
Пусть идут израильтяне
И другие пришлецы,
И российские дворяне,
И моршанские скопцы. . .

—

Беседа кипит, не смолкая,
И льется рекою вино,
Великих и малых равняя;
Все группы смешались давно.
Зацепин в ударе, как воду,
Венгерское пьет; Леонид,
Великому мужу в угоду,
Вистует ему и лисит.
Из оперы новые лица
Явились; затеялся спор:
Которая выше певица,
Который пошлее актер.
Веселый толстяк, краснорожий,
Хохочет Иванушка шут,
И муж государственный тоже,
Подвыпив, беседует тут:
«Да-с, наша тропа не без терний!
Энергия — свойство мое,
Но на сорок восемь губерний
Всегда ли достанет ее?. .»

Но был один — он общества чуждался;
Построивши дорогу в восемь верст,
На собственном величьи помешался

Остзейский туз — барон фон Клоппенгорст.
Он вынуждал к невольному решпекту —
Торжественность в осанке и в лице;
Пусти нагим по Невскому проспекту —
Покажется он — в тоге и венце.
Он не сгибал своей баронской выи
Ни перед кем; на лбу его крутом
Начертано: «Трудился для России
И памятник воздвиг себе притом!»
Он был смешон картинно, грандиозно
И шумный пир эффектно оттенял.
Он пил один, насупив брови грозно,
По слову в час медлительно ронял.
Молчит ли он — особая манера
Молчать... глядит — победоносный взор!
Идет ли он — незыблемая вера,
Что долг других давать ему простор.
Среди судов обычного размера
Так шествовал в Россию «Монитор»...

Остроумная случайность!
На соседа не похож,
Представлял другую крайность
Эдуард Иваныч Грош —
Господин на ножках низких,
Весел, юрок и румян,
Из породы самых близких
К человеку обезьян.
К разным группам подбегает,
Щурит глазки, руки жмет
И головкою кивает,
И хихикает, и врет.
Голосок его пискливый
Раздается там и тут,
Толстый, маленький, плешивый,
Сибарит, делец и шут,
Он, как ртуть, на всяком месте;
Слышит — кто-то говорит:
— Нужно завтра акций двести... —
«На наличность? на кредит? ..»
По рукам в минуту хлопнул
И бежит туда бегом,

Где услышал слово: лопнул.
«Кто? Какой торговый дом?..»
— Лопнул — шар!.. — Зимою в санках
Вечно встретите его;
Он на бирже, в думе, в банках,
Нет собранья без него;
Это высшего разряда
Фактор — сила наших дней.
Телеграфов с ним не надо,
Ни газетных новостей.
Светский мир и мир подпольный
Дань равно ему несут;
Как ревóльвер шестиствольный,
Он заряжен! С виду шут,
Он неспроста бьет баклуши,
Он трудится больше нас:
Настороженные уши,
Волчий зуб и лисий глаз!
Что вам нужно? Закладную?
Моську, мужа... дачу, дом,
Капитал?.. Рекомендую:
Не ударит в грязь лицом!
Честолюбье ль вас тревожит —
Он карьере даст толчок,
Даже выхлопотать может
Португальский орденок!
По руке пригнать перчатку —
Дело Гроша! Всюду вхож,
Он туда протиснет взятку,
Что руками разведешь!..
Гроша вывели из мрака
Случай, ловкость и родня;
Не выходит он из фрака,
Пробудясь, кричит: коня!
В девять рыщет по трущобам,
Ищет нужного дельца,
В десять — шествует за гробом
Сановитого лица;
До двенадцати — в передних
У влиятельных господ,
В час — в приюте малолетних,
Где молебен и отчет.

В два — за завтраком с кокоткой
(Он — кокоток первый друг),
С трех — на бирже... День короткий —
Пообедать недосуг!
Вечер: два, три комитета,
Оперетка и балет,
И у дамы полусвета
За рулеткой — дня рассвет!

—

Тише!.. новый гость явился;
Все вскочили, сам барон
Клоппенгорст пред ним склонился,
Подал руку... Кто же он?

Кто он? Действуя практически,
Я обязан умолчать,
Но могу аллегорически
Петухом его назвать.
Нет вернее аттестации:
    Золото клюет —
Возвращает... ассигнации!
    Плавно он идет
С видом скромного достоинства:
    Словно пред вождем
Дрессированное воинство,
    Смолкло все кругом...

Поздоровался с Саввой Степанычем,
Крепко палец Зацепе сдавил,
Пошутил с Эдуардом Иванычем:
«У! как бледен! Опять пошалил?»

— Испугался проекта Дерницына:
Об общественной пользе поет,
А в душе — идеалы Плотицына!
Зазевайся — . . . .

А затем, неизвестность полнейшая!
К сожаленью, беседа дальнейшая
Шла вполголоса... «Время на бал!» —
Уходя, незнакомец сказал.

К счастью, он вернулся снова,
На минуту сел,
И тогда четыре слова
Я поймать успел.
«Нужно выждать две недели, —
Савве он сказал, —
Нужно выждать: не созрели. . .»
И, допив бокал,
Вышел. . .

—

Экс-писатель бледнолицый
Появился Пьер Кульков;
Был он долго за границей
По комиссиям дельцов
И друзьям поклон собрата
Из Италии привез.
Вожделений плутократа,
Так сказать, апофеоз
Совмещал в себе фон Руге:
Ухватив громадный куш,
Он ушел — на светлом юге
Отдыхать. «Великий муж! —
Говорят ему витии. —
Не пугайся клеветы!
Предприимчивость России
На такие высоты
Ты вознес, что миллиарда
Увезенного не жаль! . .»
Не без чувства и азарта,
Устремляя очи вдаль,
Рассказал турист свиданье
С удалившимся дельцом;
Было общее молчанье,
Пел рассказчик соловьем:

Я посетил отшельника Севильи,
На виллу Мирт хотелось мне взглянуть,
Пред ней поэт преклонится — в бессильи
Вообразить прекрасней что-нибудь!

Из мрамора каррарского колонны,
На потолках сибирский малахит,

И в воздухе висящие балконы,
И с одного — в Европе лучший вид!

Там он любил сидеть после обеда
И несколько тревожился лишь тем,
Что тот же вид доступен для соседа;
Его девиз: я не делюсь ни с кем!

Он этим был глубоко опечален
И наконец соседа победил:
Настроил он искусственных развалин
И чудный вид соседу заградил!..

Весь под шатром навесов виноградных
Шел путь к нему извилистой тропой;
Не пожалев расходов беспощадных,
Он срыл сады — и сделал путь прямой!

Так он живет, так тратит он доходы,
Всем жертвуя комфорту своему...
Кругом цветы... искусственные воды...
Его оркестр обходится ему

В огромный куш. Устроив род престола,
Уходит он в свой музыкальный зал,
И, так сказать, оркестру внемлет solo.
Вот жизнь его... вот жизни идеал!..

«По такому идеалу
Может только жить — кретин!»
Вдруг сказал вошедший в залу
Незадолго господин.
(Сумасшедший или гений?
Возникал в уме вопрос
После кратких наблюдений
Над вошедшим): «Он унес
Из России миллионы
И, построив пышный гроб,
На визиты, на поклоны
Чуть не царственных особ
Он рассчитывал, сгорая

Честолюбием... Увы!
Едут мимо, не склоняя
Перед Руге головы!
У него в груди есть рана,
Нанесенная ему
Катастрофою Седана.
Угадайте: почему?
Перед боем франко-прусским
Переписывался он
С императором французским,
За серебряный мильон
Титул герцога — я слышал —
Уж совсем приторговал...
Вдруг скандал седанский вышел —
Продавец банкротом стал!
И теперь о том герое
(Не забавный ли пассаж?)
В целом мире плачут трое —
Сын, жена... да Руге наш!
Пожалей, честна́я публика!
Где купить высокий сан?
Уж во Франции — республика!
Титлов нет у англичан
На продажу... а Германия?..
Он и так — немецкий фон...
Таковы его страдания...
Где же счастье?.. Дурень он!
Дайте мне его мильоны,
Я бы им протер глаза,
Не висячие балконы —
Я бы создал чудеса!
Петр Великий в Сестербеке
Порт громадный замышлял;
Здесь в великом человеке
Гений, видимо, дремал.
Но и в малом человечке
Он не дремлет иногда:
Нужен порт... *на Черной речке!*
Вот идея, господа!
Все другие планы к чорту!
Составляйте капитал:
Смело строй дорогу к порту

И веди к нему канал!
Подойдут вагон и барка
И корабль... Сдавай, грузи!
Как маяк, горящий ярко,
Будет порт мой на Руси!
Я уж рельсы дал дорогам,
Я войскам оружье дал...
В новый путь иду я с богом...
Составляйте капитал!
    С деньгами, с гением
    Чудным движением
        Русь оживим.
    Море Балтийское,
    Море Каспийское
        Соединим!
Вот занятие! вот дело!
Можно душу положить!
Ненавижу нежить тело,
Нервы праздностью томить.
Уж давно я был бы Крезом,
Мог бы лавры пожинать,
Но беспошлинным железом
Не хочу я торговать.
Металлических заводов
С *пивоваренным котлом*
Я не строю для доходов...
Наживаться воровством
Сродно подлому холопу!
Цель моя: к окну в Европу,
Что́ прорублено Петром,
Вековой пристроить дом!»

(Уходит быстро и с эффектом, еще в комнате надев шляпу.)

Голос князя Ивана

Появился метеором,
Метеором — и пропал!
Никогда он не был вором,
А людей с сумой пускал.
У него своя контора:
«Переписки векселей»,
Нужно штат удвоить скоро.
В день до тысячи рублей

Платит он одних процентов.
То-то жизнь! топи камин
Грудой старых документов,
Да на новых ставь: *Ладьин.*
А в стяжании не грешен,
Сам последнее отдаст...

Чье-то замечание:

Но зато ведь он помешан?

Голос князя Ивана

Нет, большой энтузиаст!
Занимая всюду деньги
И пристроить их спеша,
Ищет он *по шапке Сеньки...*
Идеальная душа!..

В летний день, у пристани канала
Собралась толпа, чего-то ждет...
Духовенство шествует сначала,
А за ним комиссия идет:
Шитые мундиры, эполеты!
Чу! вдали запели бурлаки!
Но они не тощи, как скелеты,
На подбор красавцы-мужики,
«В шелковых рубахах!» — шепчут бабы.
— Глянь: и Савва! — гаркнула толпа.
С деревянной ложкою у шляпы
И с железным гребнем у пупа,
Сам купец-подрядчик бичевою
Тянет барку... К пристани пришли...
Отслужив молебен чередою,
Пировать в палатку побрели.
В торжестве открытия канала
Сам министр участье принимал;
Но не струсил Саввушка ни мало —
Речь его сиятельству сказал!
Был тогда вельможа этот в силе,
Затевал громадные дела...
Эта речь «в народном, русском стиле»
Миллионы Савве принесла.

Нынче он... да словом: нет другого!
Савву надо в летописи внесть;
Савву бог сподобил *даром слова*
На Руси богатство приобресть!

Но, начав карьеру бичевою,
Любит он простого «мужичка»,
Вспоминая прошлое порою,
Напевает песню бурлака,
Ту, что́ пел когда-то на канале...
Выпив тост за «братьев мужиков»,
Он запел... что́ было русских в зале
Подошли — и стройный хор готов:

В гору!

(Бурлацкая песня)

Хлебушка нет,
Валится дом,
Сколько уж лет
Каме поем
Горе свое,
Плохое житье!
Братцы, подъем!
Ухнем, напрем!..

Ухни, ребята! гора-то высокая...
Кама угрюмая! Кама глубокая!

Хлебушка дай!
Экой песок!
Эка гора!
Экой денек!
Эка жара!
Камушка! сколько мы слез в тебя пролили!
Мы ли, родная, тебя не доволили?
Денежек дай!
Бросили дом,
Малых ребят...
Ухнем, напрем!

Кости трещшат!
На печь бы лечь
Зиму проспать,
Летом утечь
С бабой гулять!
Экой песок!
Эка гора!
Экой денек!
Эка жара!

Ухни, ребята! гора-то высокая! . .
Кама угрюмая! Кама глубокая!

Нет те конца! . .
Эдак бы впрячь
В лямку купца —
Лег бы богач! . .
Экой песок!
Эка гора!
Экой денек!
Эка жара!
Эй! ветерок!
Дуй посильней!
Нам хоть часок
Дай повольней! . .

Два-три подрядчика с дедушкой Саввой
В пение душу кладут;
Спой так певец — наградили бы славой!
За́ сердце звуки берут.
Что ж это, господи! Всех задушевней
Шкурина голос звучит!
Веет лесами, рекою, деревней,
Русской истомой томит!
Всё в этой песне: тупое терпение,
Долгое рабство, укор. . .
Чуть и меня не привел в умиление
Этот разбойничий хор! . .

Эпилог

«Я — вор!» — вдруг громко прозвучал
Какой-то голос исступленный.
По зале шопот пробежал
И смолк. Глубоко удивленный,
Плотнее к двери я приник:
Изнеможенный и печальный,
Перед столом сидел старик...
Ужель Зацепа гениальный?
Да, верно! Бледен, как мертвец,
В очах глубокое страданье...
Чу! новый вопль! И наконец —
Неудержимое рыданье!

Князь Иван

Полно! полно! плакать стыдно,
Сядем лучше в домино.
Постороннему — обидно,
А друзьям твоим — смешно!
Ты подобен той гетере,
Что на склоне блудных дней
Горько плачет о потере
Добродетели своей!
Не воротится невинность,
Как глубоко ни грусти,
Лишь нарушишь пира чинность
И заставишь нас уйти!

—

Ушел Эфруси, важный грек,
Кивнув собранью величаво...
«Куда же вы? — воскликнул Савва. —
Зацепин — умный человек,
Но человек немного странный:
Впадает он, напившись пьян,
Как древле Грозный Иоанн,
В какой-то пафос покаянный...
Но — ничего! Гроза пройдет,
И завтра ж — побожиться смею —
Великий ум изобретет
Золотоносную идею!

Как под дождем цветы растут
Сильней, — прибавил он к евреям, —
Так эти бури придают
Наутро блеск его идеям!..»

Зацепин

Я — вор! Я — рыцарь шайки той
Из всех племен, наречий, наций,
Чтó исповедует разбой
Под видом честных спекуляций!
Где сплошь да рядом — видит бог! —
Лежат в основе состоянья
Два-три фальшивых завещанья,
Убийство, кража и поджог!
Где позабудь покой и сон,
Добычу зорко карауля,
Где в результате — миллион
Или коническая пуля!

Как огорошенные градом,
Ушли остзейские тузы,
Жиды вскочили... стали рядом...
«Куда? Сейчас — конец грозы!»
И любопытные евреи
Остались... Воздух душен стал...
Зацепа рвал рубашку с шеи
И истерически рыдал...

Князь Иван

На миллион согреша,
На миллиарды тоскует!
То-то святая душа!
Что же сей сон знаменует?

Бедный Зацепа — поэт,
Горе его — непрактичность;
Нынче раскаянья нет.
Как ни зацапай наличность,

Мы оправданье найдем!
Нынче твердит и бородка:

«Американский прием»,
«Великорусская смётка!»

Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.

Бредит Америкой Русь,
К ней тяготея сердечно...
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?.. Конечно!

Что ни попало тащат,
«Наш идеал, — говорят, —
Заатлантический брат:
Бог его — тоже ведь доллар!..»

Правда! но разница в том:
Бог его — доллар, добытый трудом,
А не украденный доллар!

Зацепин

К религии наклонность я питал,
Мечтал носить железные вериги,
А кончил тем, что утверждал
Заведомо подчищенные книги...

(Рыдает.)

Князь Иван

Ты книги подчистил? И только?
Уйми щекотливую честь!
Ах! если б все выпили столько,
Не то услыхали б мы здесь!

Тернисты пути совершенства,
И Русь помешалась на том:
Нельзя ли земного блаженства
Достигнуть обратным путем?

Позорные пятна на чести,
Торжественный, крупный скандал

И тысяч четыреста... двести
В итоге — вот наш идеал!

Тебя угнетает сознанье,
Что шатко общественный крест
Ты нес, получая даянье
С пятнадцати прибыльных мест?

Утешься! Под жертвою крупной
Таится подход к грабежу.
Под маской добра неприступной
Холодный расчет докажу!

Завидуешь доблестям мужа,
Чтó несколько раз устоял
И, плутни других обнаружа,
Копеечки сам не украл?

Гонитель воров беспощадный,
Блистающий честностью муж
Ждет случая хапнуть громадный,
Приличный амбиции куш!

Дождется — и маску смиренья
Цинически сбросит с лица...
Утешься! *Блаженство паденья* —
Конечная цель мудреца!..

— —

Редела дружная семья,
Поочередно подходили
К Зацепе верные друзья
И успокоиться просили:
«Не плачь! безгрешен только бог!
Не плачь! не хуже ты другого!»
Ответ: рыданье, тяжкий вздох
Или язвительное слово!

— —

Тронут ближнего несчастьем,
Миллионщик-мукомол
К удрученному с участьем
И с советом подошел:

«Чтобы совесть успокоить,
Поговей-ка ты постом,
Да советую устроить
Богадельный дом.
Перед ризницей святою
В ночь лампадки зажигай,
Да получше, без отстою,
Масло наливай!» —

Подошел и Федор Шкурин.
— Прочь! не подходи!
Вместо сердца грош фальшивый
У тебя в груди!

Ты ребенком драл щетину
Из живых свиней,
А теперь ты жилы тянешь
Из живых людей! —

Шкурин голову повесил,
«Тык-с!» — пробормотал...
Князь Иван один был весел,
«Браво!» — он сказал.

Дружен был старик с Зацепой,
Он к нему подсел —
Укротить порыв свирепый
В свой черед хотел...

Князь Иван

Ты Шиллера, должно быть, начитался
Иль чересчур венгерского хлебнул!
Кто не мечтал... и кто не оказался
Отступником? Кто круто не свернул
С прямых путей — по воле... по неволе?..
Припомним-ка товарищей по школе:

Окончив курс, на лекции студентам
Ученый Швабс с энергией внушал
Любовь к труду, презрение к процентам,
Громя тариф, налоги, капитал.
Сочувственно ему внимали классы...
А ныне он — директор ссудной кассы...

«Судья лишь тот, кто богу сам не грешен,
А мой принцип — прощенье и любовь! —
Говаривал Володя Перелешин. —
Кто низко пал — воспрянуть может вновь,
Не бичевать, жалеть должны мы вора...»
А ныне он — товарищ прокурора...

Князь Трубецкой... уж он ли над Россией,
Над мужичком голодным не грустил?
А кончил тем, что с земской гарантией
По пустырям дорогу проложил
И с помощью ненужной той дороги
Отяготил крестьянские налоги...

Зацепин

(внезапно вскакивает)

Хлебушка нет,
Валится дом,
Сколько уж лет
Каме поем
Горе свое!

Князь Иван

Эх, ты! некстати перервал!
Шумит, как угли в самоваре!
А я бы, верно, перебрал
Весь Петербург: я был в ударе!

Зацепин

Горе! Горе! хищник смелый
Ворвался в толпу!
Где же Руси неумелой
Выдержать борьбу?
Ох! горька твоя судьбина,
Русская земля!
У мужицкого алтына,
У дворянского рубля
Плутократ, как караульный,
Станет на часах,
И пойдет грабеж огульный
И — случится крррах!

—

Он осушил стакан воды,
Порывы грусти тише стали;
Неуходившие жиды
Его почти не понимали;

Они подумали, что он
Свершил в России преступленье,
Украв казенный миллион,
И — предложили наставленье.

Еврейская мелодия

Денежки есть — нет беды,
Денежки есть — нет опасности
(Так говорили жиды,
Слог я исправил для ясности).
Вытрите слезы свои,
Преодолейте истерику.
Вы нам продайте паи,
Деньги пошлите в Америку.
Вы рассчитайте людей,
Вы распустите по городу
Слух о болезни своей,
Выкрасьте голову, бороду,
Брови... Оденьтесь тепло.
Вы до Кронштадта на катере,
Вы на корабль... под крыло
К насей финансовой матери.[1]
Денежки — добрый товар.
Вы поселитесь на жительство,
Где не достанет правительство,
И поживайте, как — *царр!* ..

Зацепин

Прочь! гнушаюсь ваших уз! ..
Проклинаю процветающий,
Все-берущий, все-хватающий,
Все-ворующий союз! ..

—

[1] Англия.

Ушли, полны негодованья,
Жиды-банкиры... Леонид
С последним словом увещанья
Перед Зацепиным стоит.

Леонид

Явленье, строго говоря,
Не ново с русскими великими умами:
С Ивана Грозного царя
До переписки Гоголя с друзьями,
Самобичующий протест —
Российских граждан достоянье!
Его, как ржа железо, ест
Душевной немощи сознанье;
Забыта истина одна,
Что рыцарская честь в России невозможна...
Мы искалечены безбожно,
И разве наша в том вина?

(Пауза. Оратор всматривается в лицо Зацепы, наблюдая впечатление своей речи. Зацепин закрывает глаза.)

Русской души не понять иноверцу...
Пусть он бичует себя, господа!
Дайте излиться прекрасному сердцу!
Нет в покаяньи стыда.
Что за нелепость — крестьянин не сеченный?
Нечем тут хвастать, а лучше молчать:
Темные пятна души изувеченной
Русскому глупо скрывать.
Неисчислимы орудья клеймящие!
Если кого не коснулись они,
Это — не Руси сыны настоящие,
Это — уроды! Куда ни взгляни,
Все под гребенку подстрижено,
Сбито с прямого пути,
Неотразимо обижено...
Где же спасенье найти?
Где? «В миллионах!» — так жизнь подсказала,
Гений достигнуть помог...
Горе одно: он убить идеала
В сердце прекрасном не мог...
О, роковая судеб неизбежность

В практике — строгий делец,
Голубь в душе — благородство и нежность!..
Вот его драма... Уснул наконец...

(Пауза. Оратор снова всматривается в лицо Зацепы, сидящего с закрытыми глазами, и продолжает более развязным тоном)

Уж лучше бить, чем битым быть,
Уж лучше есть арбузы, чем солому...
Сознал ты эту аксиому?
Так, стало, не о чем тужить!
Знай свой шесток и дань плати культуре!
На Западе — Мишле, Эдгар Кине,
Овсянников — в родной своей стране,
Явленья — верные натуре!
И то уж хорошо, что выиграл ты бой...
Толпа идет избитою тропой;
Рабы довольны, если сыты,
Но нам даны иные аппетиты...
О господи! удвой желудок мой!
Утрой гортань! учетвери мой разум!
Дай ножницы такие изобресть,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом —
Вот русская незыблемая честь!

(Зацепин кидается к Леониду с кулаками, его удерживают.)

Князь Иван

Дай венгерского старейшего!
Дружно тост провозгласим:
«За философа новейшего!»
Вы — мальчишки перед ним!
Ничего не будет нового,
Если завтра у него
На спине туза бубнового
Мы увидим... ничего!
Но гораздо вероятнее,
Что его карьера ждет
Деликатнее, опрятнее...
Миллионы наживет!

Савва

(хлопоча, между тем, около Зацепы, говорит вполголоса)

Опомнись, Гриша! что с тобой?
Себя клеймишь, друзей порочишь,

Нехорошо! Уйди домой
И там беснуйся сколько хочешь.
Или ты выгодным нашел
Пустить молву между врагами,
Что состоянье приобрел
Ты незаконными путями?
Опомнись! У тебя есть сын...
Услышит...

Зацепин

У меня нет сына...
(Бросает Савве телеграмму.)

Савва

(читает)

«Сегодня умер Константин».
Так вот разгадка! вот причина!
Недаром он с утра ходил
Угрюм и зол, в хандре глубокой,
Недаром так безумно пил...
Удар, действительно, жестокий!..

Гриша — образчик широких натур —
Смолоду в крайности дерзко бросался:
То миллионов желал самодур,
То в монастырь запереться сбирался.
И богомолец, и ротмистр лихой,
И хлебосол — предводитель дворянства,
Стал он со временем туз откупной —
Эксплуататор народного пьянства.
Откуп решили; герой не хотел
Праздно сидеть на своем капитале
И провалился — по новости дел...
Многие так провалились вначале.
Бывший гусар, зарядив пистолет,
Дерзко на бирже сыграл на остатки —
Вывезло счастье!.. Уверовал свет
В гений Зацепы... Постигнув порядки
Новой эпохи, и он не дремал:
Счастливо, нет ли на бирже играя,
Давние связи Зацепа скреплял,

Ловко услуги свои предлагая:
Деньги «свободные» взять у друзей
И возвратить с дивидендом высоким —
Чудное средство для скрепы связей!
Гриша прослыл финансистом глубоким.
Стали к нему, как ручьи в океан,
Тайные нити успеха стекаться,
Мысль озарила — неси к нему план,
А без Зацепы не смей и соваться...

Слух по столице пронесся один —
Сделано слишком уж дерзкое дело!
Входит к Зацепе единственный сын:
«Правда ли? Правда ли?» юноша смело
Сыплет вопросы — и нет им конца;
Вспыхнула ссора. Зацепа взбесился.
Чтоб не встречать и случайно отца,
Сын непокорный в Москву удалился.
Там он оканчивал курс, голодал,
Письма и деньги отцу возвращая.
Втайне Зацепа о нем тосковал...
Вдруг телеграмма пришла роковая:
«Ранен твой сын». Через сутки письмом
Друг объяснил и причину дуэли:
«Вором отца обозвали при нем»...
Черные мысли отцом овладели,
Утром он к сыну поехать хотел,
Но и другая пришла телеграмма...
Как ни крепился старик — не стерпел
И разыгралась воочию драма...

—

Князь острил, бурлил Зацепа,
Леонид не уходил,
Он посматривал свирепо
Да с азартом соду пил.
Савва — честь ему и слава! —
«Сядем в горку!» вдруг сказал.
Стол раскрыт — пошла забава,
Что ни ставка — капитал!
Рассчитал недурно Савва:
И Зацепин к ним подстал.

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

1

МОЛОДЫЕ ЛОШАДИ

Вчерашние сцены

Лошади бойко по рельсам катили
Полный громадный вагон.
С рельсов сошел неожиданно он...
Лошади рьяны и молоды были,
Дружно рванулись... опять и опять —
Не поддается вагон ни на пядь.
С час они силы свои напрягали,
Надорвались — и упали...
«Бедные!» — кто-то сказал из окна.
«Глупые!» — кто-то заметил с балкона...
О, поскорее на рельсы...Страшна
Тяжесть сошедшего с рельсов вагона!

2

КАК ПРАЗДНУЮТ ТРУСУ

Время-то есть, да писать нет возможности.
Мысль убивающий страх:
Не перейти бы границ осторожности,
Голову держит в тисках!

Утром мы наше село посещали,
Где я родился и взрос.
Сердце, подвластное старой печали,
Сжалось; в уме шевельнулся вопрос:

Новое время — свободы, движенья,
Земства, железных путей.
Что ж я не вижу следов обновленья
В бедной отчизне моей?

Те же напевы, тоску наводящие,
С детства знакомые нам,
И о терпении новом молящие
Те же попы по церквам.

В жизни крестьянина, ныне свободного,
Бедность, невежество, мрак.
Где же ты, тайна довольства народного?
Ворон в ответ мне прокаркал: «дурак!»

Я обругал его грубым невежею.
На телеграфную нить
Он пересел. «Не донос ли депешею
Хочет в столицу пустить?»

Глупая мысль, но я, долго не думая,
Метко прицелился. Выстрел гремит:
Падает замертво птица угрюмая,
Нить телеграфа дрожит...

3

К ПОРТРЕТУ **

Твои права на славу очень хрупки,
И если вычесть из заслуг
Ошибки юности и поздних лет уступки, —
Пиши пропало, милый друг.

4

ЧТО НОВОГО?

Администрация — берет
И очень скупо выпускает,
Плутосократия — дерет

И ничего не возвращает.
По приглашению властей
Дворяне ловят демагогов;
Крестьяне от земли, кормилицы своей,
Бегут под бременем налогов
И пропиваются вконец по кабакам,
И пьяным по колено море...
Да будет стыдно нам! да будет стыдно нам
За их невежество и горе!..

5

АВТОРУ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.

6

К ПОРТРЕТУ ***

Развенчан нами сей кумир
С его бездейственной, фразистою любовью.
Умны мы стали: верит мир
Лишь доблести, запечатленной кровью...

7

ПРАЗДНОМУ ЮНОШЕ

Что сидишь ты сложа руки?
Ты окончил курс науки,
Любишь русский край.

Остроумно, интересно
Говоришь ты, мыслишь честно —
Что же? начинай!

Иль тебе все мелко, низко?
Или ждешь труда без риска?
Времена не те!

В наши дни одним шпионам
Безопасно, как воронам
В городской черте.

8

ЭПИТАФИЯ

Зимой играл в картишки
В уездном городишке,
А летом жил на воле,
Травил зайчишек груды
И умер пьяный в поле
От водки и простуды.

9

* * *

Ни стыда, ни состраданья!
Кудри в мелких завитках,
Стан, волнующийся гибко,
И на чувственных губах
Сладострастная улыбка.

10

* * *

За желанье свободы народу
Потеряем мы сами свободу,
За святое стремленье к добру
Нам в тюрьме отведут конуру.

11

* * *

Но, любя, свое сердце готовь
Выносить непрестанные грозы:
В нашем мире, дитя, где любовь,
Там и слезы.

12

* * *

Он не был злобен и коварен,
Но был мучительно ревнив,
Но был в любви неблагодарен
И к дружбе нерадив.

13

* * *

Спрашивал я у людей
В жизни, в природе отчизны моей,
В книгах холодных,
В стонах народных —
Тщетно искал я ответа...

14

ПОДРАЖАНИЕ ШИЛЛЕРУ

I

Сущность

Если в душе твоей ясны
Типы добра и любви,
В мире все темы прекрасны,
Музу смелее зови.
Муза тебя посетила:
Смутно блуждает твой взор!
В первом наитии сила!
Брось начатой разговор.

II

Форма

Форме дай щедрую дань
Временем: важен в поэме
Стиль, отвечающий теме.

Стих, как монету, чекань
Строго, отчетливо, честно,
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.

1876—1877
ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ

ВСТУПЛЕНИЕ К ПЕСНЯМ 1876—1877 ГОДОВ

Нет! не поможет мне аптека,
Ни мудрость опытных врачей:
Зачем же мучить человека?
О небо! смерть пошли скорей!

Друзья притворно безмятежны,
Угрюм мой верный черный пес,
Глаза жены сурово-нежны:
Сейчас я пытку перенес.

Пока недуг молчит, не гложет,
Я тешусь странною мечтой,
Что потолок спуститься может
На грудь могильною плитой.

Легко бы с жизнью я расстался,
Без долгих мук... Прости, покой!
Как ураган недуг примчался:
Не ложе — иглы подо мной.

Борюсь с мучительным недугом,
Борюсь — до скрежета зубов...
О муза! ты была мне другом,
Приди на мой последний зов!

Уж я знавал такие грозы!
Ты силу чудную дала,
В колючий терн вплетая розы,
Ты пытку вынесть помогла.

Могучей силой вдохновенья
Страданья тела победи,
Любви, негодованья, мщенья
Зажги огонь в моей груди!

Крылатых грез толпой воздушной
Воображенье насели
И от моей могилы душной
Надгробный камень отвали!

Ночь с 8-го на 9-ое января

* * *

Дни идут... Все так же воздух душен,
Дряхлый мир — на роковом пути...
Человек — до ужаса бездушен,
Слабому спасенья не найти!

Но... молчи во гневе справедливом!
Ни людей, ни века не кляни:
Волю дав лирическим порывам,
Изойдешь слезами в наши дни...

СЕЯТЕЛЯМ

Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

МОЛЕБЕН

Холодно, голодно в нашем селении.
Утро печальное — сырость, туман,
Колокол глухо гудит в отдалении,
В церковь зовет прихожан.
Что-то суровое, строгое, властное
　　Слышится в звоне глухом,
В церкви провел я то утро ненастное —
　　И не забуду о нем.
Все население, старо и молодо,
　　С плачем поклоны кладет,
О прекращении лютого голода
　　Молится жарко народ.
Редко я в нем настроение строже
　　И сокрушенней видал!
«Милуй народ и друзей его, боже!» —
　　Сам я невольно шептал: —
Внемли моление наше сердечное
　　О послуживших ему,
Об осужденных в изгнание вечное,
　　О заточенных в тюрьму,
О претерпевших борьбу многолетнюю
　　И устоявших в борьбе,
Слышавших рабскую песню последнюю,
　　Молимся, боже, тебе».

ДРУЗЬЯМ

Я примирился с судьбой неизбежною,
Нет ни охоты, ни силы терпеть
Невыносимую муку кромешную!
Жадно желаю скорей умереть.

Вам же — не праздно, друзья благородные,
Жить и в такую могилу сойти,
Чтобы широкие лапти народные
К ней проторили пути...

ЗИНЕ

Ты еще на жизнь имеешь право,
Быстро я иду к закату дней.

Я умру — моя померкнет слава,
Не дивись — и не тужи о ней!

Знай, дитя: ей долгим, ярким светом
Не гореть на имени моем:
Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата человека,
Только тот себя переживет...

МУЗЕ

О муза! наша песня спета.
Приди, закрой глаза поэта
На вечный сон небытия,
Сестра народа — и моя!

* * *

Скоро стану добычею тленья.
Тяжело умирать, хорошо умереть:
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть.

Я дворянскому нашему роду
Блеска лирой моей не стяжал;
Я настолько же чуждым народу
Умираю, как жить начинал.

Узы дружбы, союзов сердечных —
Все порвалось: мне с детства судьба
Посылала врагов долговечных,
А друзей уносила борьба.

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измён
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.

ЗИНЕ

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоем
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней,
Двести ночей!
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина! закрой утомленные очи!
Зина! усни!

4-го декабря, ночь

ПРИГОВОР

«...Вы в своей земле благословенной
Парии — не знает вас народ,
Светский круг, бездушный и надменный,
Вас презреньем хладным обдает.

И звучит бесцельно ваша лира,
Вы певцами темной стороны —
На любовь, на уваженье мира
Не стяжавшей права — рождены! ..»

Камень в сердце русское бросая,
Так о нас весь Запад говорит.
Заступись, страна моя родная!
Дай отпор! .. Но родина молчит...

Ночь с 7-го на 8-е января

* * *

Есть и Руси чем гордиться, —
С нею не шути!
Только славным поклониться
Далеко итти.

Вестминстерское аббатство
Родины твоей —
Край подземного богатства
Снеговых степей.

23 января

* * *

Вам, мой дар ценившим и любившим,
Вам, ко мне участье заявившим
В черный год, простертый надо мной, —
Посвящаю труд последний мой!
Я примеру русского народа
Верен: *«в горе жить —*
Некручинну быть» —
И, больной работая полгода,
Я трудом смягчаю свой недуг:
Ты не будешь строг, читатель-друг!

1 февр.

* * *

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.

Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!

* * *

Устал я, устал я... мне время уснуть!
О Русь! ты несчастна — я знаю;
Но все ж, озирая мой пройденный путь,
Я к лучшему шаг замечаю.

ПОЭТУ

Любовь и Труд — под грудами развалин!
Куда ни глянь — предательство, вражда,
А ты молчишь — бездействен и печален,
И медленно сгораешь со стыда.
И небу шлешь укор за дар счастливый:
Зачем тебя венчало им оно,
Когда душе мечтательно-пугливой
Решимости бороться не дано?..

Февраль

* * *

Скоро — приметы мои хороши! —
Скоро покину обитель печали:
Вечные спутники русской души —
Ненависть, страх — замолчали...

ГОРЯЩИЕ ПИСЬМА [1]

Они горят!.. Их не напишешь вновь,
Хоть написать, смеясь, ты обещала...
Уж не горит ли с ними и любовь,
Которая их сердцу диктовала?

Их ложью жизнь еще не назвала,
Ни правды их еще не доказала...
Но та рука со злобой их сожгла,
Которая с любовью их писала!

Свободно ты решала выбор свой,
И не как раб упал я на колени;
Но ты идешь по лестнице крутой
И дерзко жжешь пройденные ступени!..

Безумный шаг!.. быть может, роковой...
. . . .

9 февраля

---

[1] Исправленное — прежнее стихотворение.

ИЗ ПОЭМЫ «МАТЬ»

ОТРЫВКИ

(ПОСВЯЩАЕТСЯ ЕЛЕНЕ ОСИПОВНЕ ЛИХАЧЕВОЙ)

I

В насмешливом и дерзком нашем веке
Великое, святое слово: мать —
Не пробуждает чувства в человеке.
Но я привык обычай презирать.
Я не боюсь насмешливости модной.
Такую музу мне дала судьба:
Она поет по прихоти свободной,
Или молчит, как гордая раба.
Я много лет среди трудов и лени
С постыдным малодушьем убегал
Пленительной, многострадальной тени,
Для памяти священной... Час настал!..

Мир любит блеск, гремушки и литавры;
Удел толпы — не узнавать друзей:
Она несет хвалы, венцы и лавры
Лишь тем, чей бич хлестал ее больней;
Венец, толпой немыслящею свитый,
Ожжет чело страдалицы забытой —
Я не ищу ей позднего венца.
Но я хочу, чтоб свет души высокой
Сиял для вас, средь полночи глубокой,
Подобно ей несчастные сердца!..

Быть может, я преступно поступаю,
Тревожа сон твой, мать моя? Прости!
Но я всю жизнь за женщину страдаю.
К свободе ей заказаны пути;
Позорный плен, весь ужас женской доли,
Ей для борьбы оставил мало сил,
Но ты ей дашь урок железной воли...
Благослови, родная: час пробил!
В груди кипят рыдающие звуки,
Пора, пора им вверить мысль мою!
Твою любовь, твои святые муки,
Твою борьбу, подвижница, пою!..

II

Я отроком покинул отчий дом.
(За славой я в столицу торопился.)
В шестнадцать лет я жил своим трудом
И между тем урывками учился.
Лет двадцати, с усталой головой,
Ни жив ни мертв (я голодал подолгу),
Но горделив — приехал я домой.
Я посетил деревню, нивы, Волгу —

Всё те же вы — и нивы, и народ...
И та же всё — река моя родная...
Заметил я — новинку: пароход!
Но лишь на миг мелькнула жизнь живая.
Кипела ты — зубчатым колесом
Прорытая — дорога водяная,
А берега дремали кротким сном.
Дремало все: расшивы, коноводки,
Дремал бурлак на дне завозной лодки,
Проснется он — и Волга оживет!
Я дождался тягучих мерных звуков...
Приду ль сюда еще послушать внуков,
Где слышу вас, отцы и сыновья!
Уж не на то ль дана мне жизнь моя?

Охвачен вдруг дремотою и ленью,
В полдневный зной вошел я в старый сад;
В нем семь ключей сверкают и гремят.
Внимая их порывистому пенью,
Вершины лип таинственно шумят.
Я их люблю: под их зеленой сенью,
Тиха, как ночь, и легкая, как тень,
Ты, мать моя, бродила каждый день.

У той плиты, где ты лежишь, родная,
Припомнил я, волнуясь и мечтая,
Что мог еще увидеться с тобой,
И опоздал! И жизни трудовой
Я предан был, и страсти, и невзгодам,
Захлеснут был я невскою волной...
Я рад, что ты не под семейным сводом

Погребена — там душно, солнца нет;
Не будет там лежать и твой поэт. . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

И наконец вошел я в старый дом,
В нем новый пол, в нем новые порядки;
Но мало я заботился о том.
Я разобрал хранимые отцом
Твоих работ, твоих бумаг остатки
И над одним задумался письмом.
Оно с гербом, оно с бордюром узким,
Исписан лист то польским, то французским
Порывистым и страстным языком.

Припоминал я что-то долго, смутно:
Уж не его ль, вздыхая поминутно,
Читала ты в младенчестве моем
Одна, в саду? не зная ни о чем,
Я в нем тогда источник горя видел
Моей родной, — я сжечь его был рад,
И я теперь его возненавидел.
Глухая ночь! Иду поспешно в сад. . .
Ищу ее, обнять желаю страстно. . .
Где ты? прими сыновний мой привет!
Но вторит мне лишь эхо безучастно! . .
Я зарыдал: увы! ее уж нет!

Луна взошла и сад осеребрила,
Под сводом лип недвижно я стоял,
Которых сень родная так любила.
Я ждал ее — и не напрасно ждал. . .
Она идет; то медленны, то скоры
Ее шаги, письмо в ее руке. . .
Она идет. . . Внимательные взоры
По нем скользят в тревоге и тоске.
«Ты вновь со мной! — невольно восклицаю, —
Ты вновь со мной. . .» — кружится голова. . .
Чу, тихий плач, чу, шопот! Я внимаю
Слова письма — знакомые слова!

III

ПИСЬМО

Варшава, 1824 год

Какую ночь я нынче провела!
О дочь моя! что сделала ты с нами?
Кому, кому судьбу ты отдала?
Какой стране родную предпочла?
Приснилось мне: затравленная псами,
Занесена ты русскими снегами.
Была зима, была глухая ночь,
Пылал костер, зажженный дикарями,
И у костра с закрытыми глазами
Лежала ты, моя родная дочь!

Дремучий лес, чернея полукругом,
Ревел, как зверь... ночь долгая была,
Стонала ты, как стонет раб за плугом,
И наконец застыла — умерла!..
О, сколько снов... о, сколько мыслей черных!
Я знаю, бог карает непокорных,
Я верю снам и плачу, как дитя...
Позор! позор! мы басня всей Варшавы.
Ты, чьей руки M. M. искал, как славы,
В кого N. N. влюбился не шутя,
Ты увлеклась армейским офицером,
Ты увлеклась красивым дикарем!
Не спорю, он приличен по манерам,
Природный ум я замечала в нем.
Но нрав его, привычки, воспитанье...
Умеет ли он имя подписать?
Прости! Кипит в груди негодованье —
Я не могу, я не должна молчать!
. . . .

Твоей красе (сурова там природа)
Уж никогда вполне не расцвести;
Твоей косы не станет на полгода,
Там свой девиз: «любить и бить»... прости.
. . . .

Какая жизнь! Полотна, тальки, куры
С несчастных баб; соседи — дикари,

А жены их безграмотные дуры...
Сегодня пир... псари, псари, псари!
Пой, дочь моя! средь самого разгара
Твоих рулад, не выдержав удара,
Валится раб... Засмейся! всем смешно...
. . . .
. . . .
В последний раз, как мать, тебя целую —
Я поощрять беглянку не должна.
Решай сама, бери судьбу любую:
Вернись в семью, будь родине верна —
Или, отцом навеки проклятая
И навсегда потерянная мной,
Останься там отступницею края
И москаля презренною рабой.
. . . .

Очнулся я. Ключи немолчные гремели
И птички ранние на старых липах пели.
В руке моей письмо... но нет моей родной!
Смятенный, я поник уныло головой.
Природа чутким сном была еще объята;
Луна глядела в пруд; на стебле роковом
Стояли лопухи недвижно над прудом.
Так узники стоят у окон каземата.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Я книги перебрал, которые с собой
Родная привезла когда-то издалека,
Заметки на полях случайные читал:
В них жил пытливый ум, вникающий глубоко.
И снова плакал я, и думал над письмом,
И вновь его прочел внимательно с начала,
И кроткая душа, терзаемая в нем,
Впервые предо мной в красе своей предстала...
И неразлучною осталась ты с тех пор,
О мать-страдалица! с своим печальным сыном,
Тебя, твоих следов искал повсюду взор,
Досуг мой предан был прошедшего картинам.

Та бледная рука, ласкавшая меня,
Когда у догоравшего огня
В младенчестве я сиживал с тобою,
Мне в сумерки мерещилась порою,
И голос твой мне слышался впотьмах,
Исполненный мелодии и ласки,
Которым ты мне сказывала сказки
О рыцарях, монахах, королях.
Потом, когда читал я Данта и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме напечатлела ты.
И стал я понимать, где мысль твоя блуждала,
Где ты душой, страдалица, жила,
Когда кругом насилье ликовало,
И стая псов на псарне завывала,
И вьюга в окна била и мела...

. . . .

Незримой лестницей с недавних юных дней
Я к детству нисходил, ту жизнь припоминая,
Когда еще была ты нянею моей
И ангелом-хранителем, родная.

В ином краю, не менее несчастном,
Но менее суровом рождена,
На севере угрюмом и ненастном
В осьмнадцать лет уж ты была одна.
Тот разлюбил, кому судьбу вручила,
С кем в чуждый край доверчиво пошла,
Уж он не твой, но ты не разлюбила,
Ты разлюбить до гроба не могла...

. . . .

Ты на письмо молчаньем отвечала,
Своим путем бесстрашно ты пошла.
. . . .
. . . .
Гремел рояль, и голос твой печальный
Звучал, как вопль души многострадальной,
Но ты была ровна и весела:
«Несчастна я, терзаемая другом,
Но пред тобой, о женщина раба!
Перед рабом, согнувшимся над плугом,
Моя судьба — завидная судьба!
Несчастна ты, о родина! я знаю:
Весь край в плену, весь заревом объят...
Но край, где я люблю и умираю,
Несчастнее, несчастнее стократ!..»

Хаос! мечусь в беспамятстве, в бреду!
Хаос! едва мерцает ум поэта,
Но, юности священного обета
Не совершив, в могилу не сойду!
Поймут иль нет, но будет песня спета.

Я опоздал! я медленно и ровно
Заветный труд не в силах совершить,
Но я дерзну в картине малословной
Твою судьбу, родная, совместить.

И я смогу!.. Поможет мне искусство,
Поможет смерть — я скоро нужен ей...
Мала слеза — но в ней избыток чувства,
Что̀ океан безбрежный перед ней!..
. . . .
Так двадцать лет подвижничества цепи
Влачила ты, пока твой час пробил.
И не вотще среди безводной степи
Струился ключ — он жаждущих поил.
И не вотще любовь твоя сияла:
Как в небесах ни много черных туч,
Но если ночь сдаваться утру стала,
Все ж наконец проглянет солнца луч!

И вспыхнул день! Он твой: ты победила!
У ног твоих — детей твоих отец,

Семья давно вины твои простила,
Лобзает раб терновый твой венец...
Но... двадцать лет!.. Как сладко, умирая,
Вздохнула ты... как тихо умерла!
О, сколько сил явила ты, родная!
Каким путем к победе ты пришла!..
Душа твоя — она горит алмазом,
Раздробленным на тысячи крупиц
В величьи дел, неуловимых глазом.
Я понял их — я пал пред ними ниц,
Я их пою (даруй мне силы, небо!..)
Обречена на скромную борьбу,
Ты не могла голодному дать хлеба,
Ты не могла свободы дать рабу.

Но лишний раз не сжало чувство страха
Его души — ты то дала рабам —
Но лишний раз из трепета и праха
Он поднял взор бодрее к небесам...
Быть может, дар беднее капли в море,
Но двадцать лет! Но тысячам сердец,
Чей идеал — убавленное горе,
Границы зла открыты наконец!

Твой властелин — наследственные нравы
То покидал, то бурно проявлял;
Но если он в безумные забавы
В недобрый час детей не посвящал,
Но если он разнузданной свободы
До роковой черты не доводил, —
На страже ты над ним стояла годы,
Покуда мрак в душе его царил...

И если я легко стряхнул с годами
С души моей тлетворные следы,
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невежеством среды,
И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
И носит песнь, слагаемая мною,
Живой любви глубокие черты, —
О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!

И счастлив я! уж ты ушла из мира,
Но будешь жить ты в памяти людской,
Пока в ней жить моя способна лира.
Пройдут года — поклонник верный мой
Ей посвятит досуг уединенный,
Прочтет рассказ и о твоей судьбе
И, посетив поэта прах забвенный,
Вздохнув о нем, вздохнет и о тебе.

9 февраля

ЗИНЕ

Пододвинь перо, бумагу, книги!
Милый друг! Легенду я слыхал:
Пали с плеч подвижника вериги —
И подвижник мертвый пал!

Помогай же мне трудиться, Зина!
Труд всегда меня животворил.
Вот еще красивая картина —
Запиши, пока я не забыл!

Да не плачь украдкой! — Верь надежде,
Смейся, пой, как пела ты весной,
Повторяй друзьям моим, как прежде,
Каждый стих, записанный тобой.

Говори, что ты довольна другом:
В торжестве одержанных побед
Над своим мучителем недугом
Позабыл о смерти твой поэт!

13 февраля

БАЮШКИ-БАЮ

1877 г. марта 5-го

Непобедимое страданье,
Неутолимая тоска...
Влечет, как жертву на закланье,
Недуга черная рука.
Где ты, о муза! Пой, как прежде!
«Нет больше песен, мрак в очах;

Сказать: умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях!»

Костыль ли, заступ ли могильный
Стучит... смолкает... и затих...
И нет ее, моей всесильной,
И изменил поэту стих.
Но перед ночью непробудной
Я не один... Чу! голос чудный!
То голос матери родной:
«Пора с полуденного зноя!
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прийми трудов венец желанный,
Уж ты не раб, — ты царь венчанный;
Ничто не властно над тобой!

Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы.

Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!

Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла;
Всему конец, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла!
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой;
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.

Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей

Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей...
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой,
Баю-баю-баю-баю!..»

* * *

Пускай чуть слышен голос твой,
Не громки темы песнопенья;
Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимого забвенья!

Март

* * *

Черный день! как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба,
Я прошу ее у докторов,
У друзей, врагов и цензоров,
Я взываю к русскому народу:
Коли можешь, выручай!
Окуни меня в живую воду,
Или мертвой в меру дай.

ОТРЫВОК

...Я сбросила мертвящие оковы
Друзей, семьи, родного очага,
Ушла туда, где чтут пути Христовы,
Где стерегут сплошного врага.

В бездействии застала я дружины;
Окончив день, беспечно шли ко сну
И женщины, и дети, и мужчины,
Лишь меж собой вожди вели войну...

Слова... слова... красивые рассказы
О подвигах... но где же их дела?
Иль нет людей, идущих дальше фразы?
А я сюда всю душу принесла!..

СТАРОСТЬ

Просит отдыха слабое тело,
Душу тайная жажда томит,
Горько ты, стариковское дело!
Жизнь смеется, — в глаза говорит:

Не лелей никаких упований,
Перед разумом сердце смири
В созерцаньи народных страданий
И в сознаньи бессилья — умри! . .

ТЫ НЕ ЗАБЫТА...

Я была вчера еще полезна
Ближнему — теперь уж не могу!
Смерть одна желанна и любезна —
Пулю я недаром берегу. . .

Вот и все, что ты нам завещала;
Да еще узнали мы потом,
Что давно ты бедным отдавала
Чтó добыть умела ты трудом.

Поп труслив — боится, не хоронит:
Убедить его мы не могли,
Мы в овраг, где горько ветер стонет,
На руках покойницу снесли.

Схоронив, мы камень обтесали, —
Утвердили прямо на гробу,
И на камне четко написали
Жизнь, и смерть, и всю твою судьбу.

И твои останки людям милы, —
И укор, и поученье в них. . .
Нужны нам великие могилы,
Если нет величия в живых.

5 ноября

ОСЕНЬ

Прежде — праздник деревенский,
Нынче — осень голодна;
Нет конца печали женской,
Не до пива и вина.

С воскресенья почтой бредит
Православный наш народ,
По субботам в город едет,
Ходит, просит, узнает:
Кто убит, кто ранен летом,
Кто пропал, кого нашли?
По каким по лазаретам
Уцелевших развезли?
Так ли жутко! .. Свод небесный
Темен в полдень, как в ночи;
Не сидится в хате тесной,
Не лежится на печи.
Сыт, согрелся, слава богу,
Только спать бы! нет, не спишь —
Так и тянет на дорогу,
Ни за что не улежишь.
И бойка ж у нас дорога!
Так увечных возят много,
Что за нами на бугре,
Как проносятся вагоны,
Человеческие стоны
Ясно слышны на заре.

МУЖ И ЖЕНА

— Глашенька! Пустошь Ивашево —
Треть состояния нашего:
Не продавай ее, ангельчик мой!
Выдай обратно задаток...
Слезы, нервический хохот, припадок:
«Я задолжала — и срок за спиной...»
— Глаша, не плачь! я — хозяин плохой,
Делай что хочешь со мной.
Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой!

Глаша! волнует и мучит
Чувство ревнивое душу мою.
Этот учитель, что Петиньку учит... —
«Так! муженька узнаю!
О, если б знал ты, как зол ты и гадок».

Слезы, нервический хохот, припадок...
— Знаю, прости! Я — ревнивец большой!
Делай что хочешь со мной.
Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой!

Глаша! как часто ты нынче гуляешь,
Ты хоть сегодня останься со мной.
Много скопилось работы — ты знаешь;
Чтоб одолеть ее, нужен покой!
Слезы, нервический хохот, припадок...
— Глаша, иди! Я — безумец, я гадок,
Я — эгоист бессердечный и злой.
Делай что хочешь со мной.
Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой!

9 ноября

СОН

Мне снилось: на утесе стоя,
Я в море броситься хотел,
Вдруг ангел света и покоя
Мне песню чудную запел:
«Дождись весны! Приду я рано,
Скажу: будь снова человек!
Сниму с главы покров тумана
И сон с отяжелелых век;
И музе возвращу я голос,
И вновь блаженные часы
Ты обретешь, сбирая колос
С своей несжатой полосы».

12 ноября

* * *

Великое чувство! у каждых дверей,
В какой стороне ни заедем,
Мы слышим, как дети зовут матерей
Далеких, но рвущихся к детям.

Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем!

—

Так запой, о поэт, чтобы всем матерям
На Руси на святой, по глухим деревням,
Было слышно, что враг сокрушен, полонен,
А твой сын невредим и победа за ним,
«Не велит унывать, посылает поклон»...

* * *

О Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба —
Не плачь! завиден жребий наш,
Не наругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

ПРОЛОГ

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временно-обязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова,
Неурожайка-тож, —
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?

Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому! —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю...

Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь,
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
Такой ли спор затеяли,
Что думают прохожие —
Знать, клад нашли ребятушки
И делят меж собой...
По делу всяк по своему
До полдня вышел из дому:
Тот путь держал до кузницы,
Тот шел в село Иваньково
Позвать отца Прокофия —
Ребенка окрестить.
Пахом соты медовые
Нес на базар в Великое,
А два братана Губины
Так просто с недоуздочком
Ловить коня упрямого
В свое же стадо шли.
Давно пора бы каждому
Вернуть своей дорогою —
Они рядком идут!
Идут, как будто гонятся
За ними волки серые,
Что дале — то скорей.
Идут — перекоряются!
Кричат — не образумятся!
А времечко не ждет.

За спором не заметили,
Как село солнце красное,
Как вечер наступил.
Наверно б ночку целую
Так шли — куда, не ведая,
Когда б им баба встречная,
Корявая Дурандиха,
Не крикнула: «Почтенные!
Куда вы на ночь глядючи
Надумали итти? ..»

Спросила, засмеялася,
Хлестнула, ведьма, мерина.
И укатила вскачь...

Куда? .. Переглянулися
Тут наши мужики;
Стоят, молчат, потупились...
Уж ночь давно сошла,
Зажглися звезды частые
В высоких небесах,
Всплыл месяц, тени черные
Дорогу перерезали
Ретивым ходокам.
Ой, тени! тени черные!
Кого вы не нагоните?
Кого не перегоните?
Вас только, тени черные,
Нельзя поймать — обнять!

На лес, на путь-дороженьку
Глядел, молчал Пахом,
Глядел — умом раскидывал
И молвил наконец:

«Ну! леший шутку славную
Над нами подшутил!
Никак ведь мы без малого
Верст тридцать отошли!
Домой теперь ворочаться
Устали — не дойдем,
Присядем, — делать нечего,
До солнца отдохнем! ..»

Свалив беду на лешего,
Под лесом при дороженьке
Уселись мужики.
Зажгли костер, сложилися,
За водкой двое сбегали,
А прочие покудова
Стаканчик изготовили,
Бересты понадрав.
Приспела скоро водочка,
Приспела и закусочка —

Пируют мужички!
Косушки по три выпили,
Поели — и заспорили
Опять: кому жить весело,
Вольготно на Руси?
Роман кричит: помещику,
Демьян кричит: чиновнику,
Лука кричит: попу;
Купчине толстопузому, —
Кричат братаны Губины,
Иван и Митродор;
Пахом кричит: светлейшему,
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров кричит: царю!

Забрало пуще прежнего
Задорных мужиков,
Ругательски ругаются,
Немудрено, что вцепятся
Друг другу в волоса...

Гляди — уж и вцепилися!
Роман тузит Пахомушку,
Демьян тузит Луку,
А два братана Губины
Утюжат Прова дюжего —
И всяк свое кричит!

Проснулось эхо гулкое,
Пошло гулять-погуливать,
Пошло кричать-покрикивать,
Как будто подзадоривать
Упрямых мужиков.
Царю! — направо слышится,
Налево отзывается:
Попу! попу! попу!
Весь лес переполошился,
С летающими птицами,
Зверями быстроногими
И гадами ползущими,
И стон, и рев, и гул!

Всех прежде зайка серенький
Из кустика соседнего
Вдруг выскочил, как встрепанный,
И наутек пошел!
За ним галчата малые
Вверху березы подняли
Противный, резкий писк.
А тут еще у пеночки
С испугу птенчик крохотный
Из гнездышка упал;
Щебечет, плачет пеночка,
Где птенчик? — не найдет!
Потом кукушка старая
Проснулась и надумала
Кому-то куковать;
Раз десять принималася,
Да всякий раз сбивалася
И начинала вновь...
Кукуй, кукуй, кукушечка!
Заколосится хлеб,
Подавишься ты колосом —
Не будешь куковать! [1]
Слетелися семь филинов,
Любуются побоищем
С семи больших дерев,
Хохочут полуночники!
А их глазищи желтые
Горят, как воску ярого
Четырнадцать свечей!
И ворон, птица умная,
Приспел, сидит на дереве
У самого костра,
Сидит да чорту молится,
Чтоб до смерти ухлопали
Которого-нибудь!
Корова с колокольчиком,
Что с вечера отбилася

[1] Кукушка перестает куковать, когда заколосится хлеб («подавившись колосом», говорит народ).

От стада, чуть послышала
Людские голоса —
Пришла к костру, уставила
Глаза на мужиков,
Шальных речей послушала
И начала, сердечная,
Мычать, мычать, мычать!

Мычит корова глупая,
Пищат галчата малые,
Кричат ребята буйные,
А эхо вторит всем.
Ему одна заботушка:
Честных людей поддразнивать,
Пугать ребят и баб!
Никто его не видывал,
А слышать всякий слыхивал,
Без тела — а живет оно,
Без языка — кричит!

Сова — замоскворецкая
Княгиня — тут же мычется,
Летает над крестьянами,
Шарахаясь то о землю,
То о кусты крылом...

Сама лисица хитрая,
По любопытству бабьему,
Подкралась к мужикам,
Послушала, послушала,
И прочь пошла, подумавши:
«И чорт их не поймет!»
И вправду: сами спорщики
Едва ли знали, помнили —
О чем они шумят...

Намяв бока порядочно
Друг другу, образумились
Крестьяне наконец,
Из лужицы напилися,
Умылись, освежилися,
Сон начал их кренить.

Тем часом птенчик крохотный,
Помалу, по полсаженки,
Низком перелетаючи,
К костру подобрался.
Поймал его Пахомушка,
Поднес к огню, разглядывал,
И молвил: «Пташка малая,
А ноготок востер!
Дыхну — с ладони скатишься,
Чихну — в огонь укатишься,
Щелкну — мертва покатишься,
А все ж ты, пташка малая,
Сильнее мужика!
Окрепнут скоро крылышки,
Тю-тю! куда ни вздумаешь,
Туда и полетишь!
Ой ты, пичуга малая!
Отдай свои нам крылышки,
Все царство облетим,
Посмотрим, поразведаем,
Поспросим — и дознаемся:
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси!»

— Не надо бы и крылышек,
Кабы нам только хлебушка
По полупуду в день, —
И так бы мы Русь-матушку
Ногами перемеряли! —
Сказал угрюмый Пров.

— Да по ведру бы водочки, —
Прибавили охочие
До водки братья Губины,
Иван и Митродор.

— Да утром бы огурчиков
Соленых по десяточку, —
Шутили мужики.

— А в полдень бы по жбанчику
Холодного кваску.

— А вечером по чайничку
Горячего чайку...

Пока они гуторили,
Вилась, кружилась пеночка
Над ними: все прослушала
И села у костра.
Чивикнула, подпрыгнула
И человечьим голосом
Пахому говорит:

— Пусти на волю птенчика!
За птенчика за малого
Я выкуп дам большой. —

«А что ты дашь?»
— Дам хлебушка
По полупуду в день,
Дам водки по ведерочку,
Поутру дам огурчиков,
А в полдень квасу кислого,
А вечером чайку! —

«А где, пичуга малая, —
Спросили братья Губины, —
Найдешь вина и хлебушка
Ты на семь мужиков?»

— Найти — найдете сами вы,
А я, пичуга малая,
Скажу вам, как найти. —
«Скажи!»
— Идите по лесу,
Против столба тридцатого
Прямехонько версту:
Придете на поляночку,
Стоят на той поляночке
Две старые сосны,
Под этими под соснами
Закопана коробочка.
Добудьте вы ее, —
Коробка та волшебная:

В ней скатерть самобранная,
Когда ни пожелаете,
Накормит, напоит!
Тихонько только молвите:
— *Эй, скатерть самобранная!*
Попотчуй мужиков!
По вашему хотению,
По моему велению,
Все явится тотчас.
Теперь — пустите птенчика! —

— Постой! мы люди бедные,
Идем в дорогу дальную, —
Ответил ей Пахом, —
Ты, вижу, птица мудрая,
Уважь — одежу старую
На нас заворожи! —

— Чтоб армяки мужицкие
Носились, не сносилися! —
Потребовал Роман.

— Чтоб липовые лапотки
Служили, не разбилися, —
Потребовал Демьян.

— Чтоб вошь, блоха паскудная,
В рубахах не плодилася, —
Потребовал Лука.

— Не пре́ли бы онученьки... —
Потребовали Губины...

А птичка им в ответ:
— Всё скатерть самобранная
Чинить, стирать, просушивать
Вам будет... Ну, пусти!..

Раскрыв ладонь широкую,
Пахом птенца пустил.
Пустил — и птенчик крохотный
Помалу, по полсаженки,

Низком перелетаючи,
Направился к дуплу.
За ним взвилася пеночка
И на лету прибавила:
— Смотрите, чур одно!
Съестного сколько вынесет
Утроба — то и спрашивай,
А водки можно требовать
В день ровно по ведру.
Коли вы больше спросите,
И раз и два — исполнится,
По вашему желанию,
А в третий быть беде!

И улетела пеночка
С своим родимым птенчиком,
А мужики гуськом
К дороге потянулися
Искать столба тридцатого.
Нашли! Молчком идут
Прямехонько, вернехонько
По лесу, по дремучему,
Считают каждый шаг.
И как версту отмеряли,
Увидели поляночку —
Стоят на той поляночке
Две старые сосны...

Крестьяне покопалися,
Достали ту коробочку,
Открыли — и нашли
Ту скатерть самобранную!
Нашли и разом вскрикнули:
«Эй, скатерть самобранная!
Попотчуй мужиков!»

Глядь — скатерть развернулася,
Откудова ни взялися,
Две дюжие руки
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка,
И спрятались опять.

— А что же нет огурчиков?

— Что нет чайку горячего?

— Что нет кваску холодного?

Всё появилось вдруг...

Крестьяне распоясались,
У скатерти уселися,
Пошел тут пир горой!
На радости целуются,
Друг дружке обещаются
Вперед не драться зря,
А с толком дело спорное
По разуму, по-божески,
На чести повести —
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда делу спорному
Решенья не найдут,
Покуда не доведают
Как ни на есть — доподлинно,
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?

Зарок такой поставивши,
Под утро, как убитые,
Заснули мужики...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

ПОП

Широкая дороженька,
Березками обставлена,
Далеко протянулася,
Песчана и глуха.
По сторонам дороженьки
Идут холмы пологие

С полями, с сенокосами,
А чаще с неудобною,
Заброшенной землей;
Стоят деревни старые,
Стоят деревни новые,
У речек, у прудов...
Леса, луга поемные,
Ручьи и реки русские
Весною хороши.
Но вы, поля весенние!
На ваши всходы бедные
Невесело глядеть!
«Недаром в зиму долгую, —
Толкуют наши странники, —
Снег каждый день валил.
Пришла весна — сказался снег!
Он смирен до поры:
Летит — молчит, лежит — молчит
Когда умрет, тогда ревет.
Вода — куда ни глянь!
Поля совсем затоплены,
Навоз возить — дороги нет,
А время уж не раннее —
Подходит месяц май!»
Нелюбо и на старые,
Больней того на новые,
Деревни им глядеть.
Ой, избы, избы новые!
Нарядны вы, да строит вас
Не лишняя копеечка,
А кровная беда!..

С утра встречались странникам
Все больше люди малые:
Свой брат крестьянин-лапотник,
Мастеровые, нищие,
Солдаты, ямщики.
У нищих, у солдатиков
Не спрашивали странники,
Как им — легко ли, трудно ли
Живется на Руси?
Солдаты шилом бреются,

Солдаты дымом греются,
Какое счастье тут?..

Уж день клонился к вечеру,
Идут путем-дорогою,
Навстречу едет поп.
Крестьяне сняли шапочки,
Низенько поклонилися,
Повыстроились в ряд
И мерину саврасому
Загородили путь.
Священник поднял голову,
Глядел, глазами спрашивал:
Чего они хотят?

— Небось! мы не грабители! —
Сказал попу Лука.
(Лука — мужик присадистый,
С широкой бородищею,
Упрям, речист и глуп.
Лука похож на мельницу:
Одним не птица мельница,
Что, как ни машет крыльями,
Небось, не полетит.)

— Мы мужики степенные,
Из временно-обязанных,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Окольных деревень —
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова,
Неурожайка-тож.
Идем по делу важному:
У нас забота есть,
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды.
Ты дай нам слово верное:
На нашу речь мужицкую

Без смеху и без хитрости,
По совести, по разуму,
По правде отвечать,
Не то с своей заботушкой
К другому мы пойдем...—

«Даю вам слово верное:
Коли вы дело спросите,
Без смеху и без хитрости,
По правде и по разуму,
Как должно отвечать,
Аминь!..»

— Спасибо. Слушай же!
Идя путем-дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлися и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
А я сказал: попу.
Купчине толстопузому,—
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Пахом сказал: светлейшему,
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров сказал: царю...
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: как ни спорили,
Не согласились мы!
Поспоривши — повздорили,
Повздоривши — подралися,
Подравшися — одумали:
Не расходиться врозь,
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,

Покуда спору нашему
Решенья не найдем,
Покуда не доведаем
Как ни на есть — доподлинно:
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?
Скажи ж ты нам по-божески:
Сладка ли жизнь поповская?
Ты как — вольготно, счастливо
Живешь, честной отец?..

Потупился, задумался,
В тележке сидя, поп,
И молвил: «Православные!
Роптать на бога грех,
Несу мой крест с терпением,
Живу... а как? Послушайте!
Скажу вам правду истину,
А вы крестьянским разумом
Смекайте!»

— Начинай! —

«В чем счастие по-вашему?
Покой, богатство, честь,
Не так ли, други милые?»

Они сказали: «Так»...

«Теперь посмотрим, братия,
Каков попу *покой?*
Начать, признаться, надо бы
Почти с рожденья самого,
Как достается грамота
Поповскому сынку,
Какой ценой поповичем
Священство покупается,
Да лучше помолчим!
. . . .
. . . .

Дороги наши трудные,
Приход у нас большой.
Болящий, умирающий,

Рождающийся в мир
Не избирают времени:
В жнитво и в сенокос,
В глухую ночь осеннюю,
Зимой, в морозы лютые
И в половодье вешнее
Иди — куда зовут!
Идешь безотговорочно.
И пусть бы только косточки
Ломалися одни,
Нет! всякий раз намается,
Переболит душа.
Не верьте, православные,
Привычке есть предел:
Нет сердца, выносящего
Без некоего трепета
Предсмертное хрипение,
Надгробное рыдание,
Сиротскую печаль!
Аминь!.. Теперь подумайте,
Каков попу покой?..»

Крестьяне мало думали,
Дав отдохнуть священнику,
Они с поклоном молвили:
— Что скажешь нам еще? —

«Теперь посмотрим, братия,
Каков попу *почет?*
Задача щекотливая,
Не прогневить бы вас?..

Скажите, православные,
Кого вы называете
Породой жеребячьею?
Чур! отвечать на спрос!»
Крестьяне позамялися,
Молчат — и поп молчит...

«С кем встречи вы боитеся,
Идя путем-дорогою?
Чур! отвечать на спрос!»

Кряхтят, переминаются,
Молчат!

«О ком слагаете
Вы сказки балагурные,
И песни непристойные,
И всякую хулу? ..

Мать-попадью степенную,
Попову дочь безвинную,
Семинариста всякого —
Как чествуете вы?

Кому вдогон, злорадствуя,
Кричите: го-го-го? ..»

Потупились ребятушки,
Молчат — и поп молчит...
Крестьяне думу думали,
А поп широкой шляпою
В лицо себе помахивал
Да на небо глядел.
Весной, что внуки малые,
С румяным солнцем-дедушкой
Играют облака:
Вот правая сторонушка
Одной сплошною тучею
Покрылась — затуманилась,
Стемнела и заплакала:
Рядами нити серые
Повисли до земли.
А ближе, над крестьянами,
Из небольших, разорванных,
Веселых облачков
Смеется солнце красное,
Как девка из снопов.
Но туча передвинулась,
Поп шляпой накрывается,
Быть сильному дождю.
А правая сторонушка
Уже светла и радостна,
Там дождь перестает.

Не дождь, там чудо божие:
Там с золотыми нитками
Развешаны мотки...

— Не сами... по родителям
Мы так-то, — братья Губины
Сказали наконец.
И прочие поддакнули:
«Не сами, по родителям!»
А поп сказал: «Аминь!
Простите, православные!
Не в осужденье ближнего,
А по желанью вашему
Я правду вам сказал.
Таков почет священнику
В крестьянстве. А помещики...»

— Ты мимо их, помещиков!
Известны нам они! —

«Теперь посмотрим, братия,
Откудова *богачество*
Поповское идет?..
Во время недалекое
Империя российская
Дворянскими усадьбами
Была полным-полна.
И жили там помещики,
Владельцы именитые,
Каких теперь уж нет!
Плодилися и множились
И нам давали жить.
Что́ свадеб там игралося,
Что́ деток нарождалося
На даровых хлебах!
Хоть часто крутонравные,
Однако, доброхотные
То были господа.
Прихода не чуждалися:
У нас они венчалися,
У нас крестили детушек,
К нам приходили каяться,

Мы отпевали их.
А если и случалося,
Что жил помещик в городе,
Так умирать наверное
В деревню приезжал.
Коли умрет нечаянно,
И тут накажет накрепко
В приходе схоронить.
Глядишь, ко храму сельскому
На колеснице траурной
В шесть лошадей наследники
Покойника везут —
Попу поправка добрая,
Мирянам праздник праздником...
А ныне уж не то!
Как племя иудейское,
Рассеялись помещики
По дальней чужеземщине
И по Руси родной.
Теперь уж не до гордости
Лежать в родном владении
Рядком с отцами, с дедами,
Да и владенья многие
Барышникам пошли.
Ой, холеные косточки
Российские, дворянские!
Где вы не позакопаны?
В какой земле вас нет?

Потом, статья... раскольники...
Не грешен, не живился я
С раскольников ничем.
По счастью, нужды не было:
В моем приходе числится
Живущих в православии
Две трети прихожан.
А есть такие волости,
Где сплошь почти раскольники,
Так тут как быть попу?
Все в мире переменчиво,
Прейдет и самый мир...
Законы, прежде строгие

К раскольникам, смягчилися,
А с ними и поповскому
Доходу мат пришел.
Перевелись помещики,
В усадьбах не живут они
И умирать на старости
Уже не едут к нам.
Богатые помещицы,
Старушки богомольные,
Которые повымерли,
Которые пристроились
Вблизи монастырей.
Никто теперь подрясника
Попу не подарит!
Никто не вышьет воздухов...
Живи с одних крестьян,
Сбирай мирские гривенки,
Да пироги по праздникам,
Да яйца о Святой.
Крестьянин сам нуждается
И рад бы дал, да нечего...

А то еще не всякому
И мил крестьянский грош.
Угоды наши скудные
Пески, болота, мхи,
Скотинка ходит впроголодь,
Родится хлеб сам-друг;
А если и раздобрится
Сыра земля-кормилица,
Так новая беда:
Деваться с хлебом некуда!
Припрет нужда, продашь его
За сущую безделицу,
А там — неурожай!
Тогда плати втридорога,
Скотинку продавай.
Молитесь, православные!
Грозит беда великая
И в нынешнем году:
Зима стояла лютая,
Весна стоит дождливая,

Давно бы сеять надобно,
А на полях — вода!
Умилосердись, господи!
Пошли крутую радугу
На наши небеса!»[1]
(Сняв шляпу, пастырь крестится
И слушатели тож).

«Деревни наши бедные,
А в них крестьяне хворые
Да женщины печальницы,
Кормилицы, поилицы,
Рабыни, богомолицы
И труженицы вечные,
Господь прибавь им сил!
С таких трудов копейками
Живиться тяжело!
Случается, к недужному
Придешь: не умирающий,
Страшна семья крестьянская
В тот час, как ей приходится
Кормильца потерять!
Напутствуешь усопшего
И поддержать в оставшихся
По мере сил стараешься
Дух бодр! А тут к тебе
Старуха, мать покойника,
Глядь, тянется с костлявою,
Мозолистой рукой.
Душа переворотится,
Как звякнут в этой рученьке
Два медных пятака!
Конечно, дело чистое —
За требу воздаяние
Не брать — так не́чем жить,
Да слово утешения
Замрет на языке,
И словно как обиженный
Уйдешь домой... Аминь...»

—

[1] Крутая радуга — к ведру; пологая — к дождю.

Покончил речь — и мерина
Хлестнул легонько поп.
Крестьяне расступилися,
Низенько поклонилися,
Конь медленно побрел.
А шестеро товарищей,
Как будто сговорилися,
Накинулись с упреками,
С отборной, крупной руганью
На бедного Луку.

— Что взял? башка упрямая!
Дубина деревенская!
Туда же лезет в спор!
Дворяне колокольные —
Попы живут по-княжески.
Идут под небо самое
Поповы терема,
Гудит попова вотчина —
Колокола горластые —
На целый божий мир.
Три года я, робятушки,
Жил у попа в работниках,
Малина — не житье!
Попова каша — с маслицем,
Попов пирог — с начинкою,
Поповы щи — с снетком!
Жена попова толстая,
Попова дочка белая,
Попова лошадь жирная,
Пчела попова сытая,
Как колокол гудет!
Ну, вот тебе хваленое
Поповское житье!
Чего орал, куражился?
На драку лез, анафема?
Не тем ли думал взять,
Что борода лопатою?
Так с бородой козел
Гулял по свету ранее,
Чем праотец Адам,

А дураком считается
И по сей час козел!.. —

Лука стоял, помалчивал,
Боялся, не наклали бы
Товарищи в бока.
Оно бы так и сталося,
Да к счастию крестьянина
Дорога позагнулася —
Лицо попово строгое
Явилось на бугре...

Глава II
СЕЛЬСКАЯ ЯРМОНКА

Недаром наши странники
Поругивали мокрую,
Холодную весну.
Весна нужна крестьянину
И ранняя, и дружная,
А тут — хоть волком вой!
Не греет землю солнышко
И облака дождливые,
Как дойные коровушки,
Идут по небесам.
Согнало снег, а зелени
Ни травки, ни листа!
Вода не убирается,
Земля не одевается
Зеленым ярким бархатом,
И, как мертвец без савана,
Лежит под небом пасмурным
Печальна и нага.

Жаль бедного крестьянина,
А пуще жаль скотинушку;
Скормив запасы скудные,
Хозяин хворостиною
Прогнал ее в луга,
А что там взять? Чернехонько!
Лишь на Николу вешнего
Погода поуставилась,

Зеленой свежей травушкой
Полакомился скот.

—

День жаркий. Под березками
Крестьяне пробираются,
Гуторят меж собой:
«Идем одной деревнею,
Идем другой — пустехонько!
А день сегодня праздничный,
Куда пропал народ? . . .»
Идут селом — на улице
Одни ребята малые,
В домах — старухи старые,
А то и вовсе заперты
Калитки на замок.
Замок — собачка верная:
Не лает, не кусается,
А не пускает в дом!

Прошли село, увидели
В зеленой раме зеркало:
С краями полный пруд.
Над прудом реют ласточки;
Какие-то комарики,
Проворные и тощие,
Вприпрыжку, словно посуху,
Гуляют по воде.
По берегам, в ракитнике,
Коростели скрыпят.
На длинном, шатком плотике
С вальком поповна толстая
Стоит как стог подщипанный,
Подтыкавши подол.
На этом же на плотике
Спит уточка с утятами. . .
Чу! лошадиный храп!
Крестьяне разом глянули
И над водой увидели
Две головы: мужицкую,
Курчавую и смуглую,
С серьгой (мигало солнышко

На белой той серьге).
Другую — лошадиную
С веревкой сажен в пять.
Мужик берет веревку в рот,
Мужик плывет — и конь плывет,
Мужик заржал — и конь заржал.
Плывут, орут! Под бабою,
Под малыми утятами
Плот ходит ходенем.

Догнал коня — за холку хвать!
Вскочил и на луг выехал
Детина: тело белое,
А шея как смола;
Вода ручьями катится
С коня и с седока.

— А что у вас в селении
Ни старого, ни малого,
Как вымер весь народ? —
«Ушли в село Кузьминское,
Сегодня там и ярмонка,
И праздник храмовой».
— А далеко Кузьминское? —

«Да будет версты три».

— Пойдем в село Кузьминское,
Посмотрим праздник-ярмонку! —
Решили мужики,
А про себя подумали:
«Не там ли он скрывается,
Кто счастливо живет? ..»

Кузьминское богатое,
А пуще того — грязное
Торговое село.
По косогору тянется,
Потом в овраг спускается,
А там опять на горочку —
Как грязи тут не быть?
Две церкви в нем старинные,
Одна старообрядская,

Другая православная,
Дом с надписью — училище —
Пустой, забитый наглухо;
Изба в одно окошечко,
С изображеньем фельдшера,
Пускающего кровь.
Есть грязная гостиница,
Украшенная вывеской
(С большим носатым чайником
Поднос в руках подносчика,
И маленькими чашками,
Как гусыня гусятами,
Тот чайник окружен).
Есть лавки постоянные
В подобие уездного
Гостиного двора...

Пришли на площадь странники:
Товару много всякого
И видимо-невидимо
Народу! Не потеха ли?
Кажись, нет ходу крестного,
А словно пред иконами
Без шапок мужики.
Такая уж сторонушка!
Гляди, куда деваются
Крестьянские шлыки:
Помимо складу винного,
Харчевни, ресторации,
Десятка штофных лавочек,
Трех постоялых двориков,
Да «ренскового погреба»,
Да пары кабаков,
Одиннадцать кабачников
Для праздника поставили
Палатки на селе.
При каждой пять подносчиков;
Подносчики — молодчики
Наметанные, дошлые,
А все им не поспеть,
Со сдачей не управиться!
Гляди, что́ протянулося

Крестьянских рук, со шляпами,
С платками, с рукавицами.
Ой, жажда православная,
Куда ты велика!
Лишь окатить бы душеньку,
А там добудут шапочки,
Как отойдет базар.

По пьяным по головушкам
Играет солнце вешнее...
Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом!
Штаны на парнях плисовы,
Жилетки полосатые,
Рубахи всех цветов;
На бабах платья красные,
У девок косы с лентами,
Лебедками плывут!
А есть еще затейницы,
Одеты по-столичному —
И ширится, и дуется
Подол на обручах!
Заступишь — расфуфырятся!
Вольно же, новомодницы,
Вам снасти рыболовные
Под юбками носить!
На баб нарядных глядючи,
Старообрядка злющая
Товарке говорит:
«Быть голоду! быть голоду!
Дивись, что всходы вымокли,
Что половодье вешнее
Стоит до Петрова!
С тех пор, как бабы начали
Рядиться в ситцы красные, —
Леса не подымаются,
А хлеба хоть не сей!»

— Да чем же ситцы красные
Тут провинились, матушка?
Ума не приложу! —
«А ситцы те французские —

Собачьей кровью крашены!
Ну... поняла теперь?..»

По конной потолкалися,
По взгорью, где навалены
Косули, грабли, бороны,
Багры, станки тележные,
Ободья, топоры.
Там шла торговля бойкая,
С божбою, с прибаутками,
С здоровым, громким хохотом.
И как не хохотать?
Мужик какой-то крохотный
Ходил, ободья пробовал:
Погнул один — не нравится,
Погнул другой, потужился,
А обод как распрямится —
Щелк по лбу мужика!
Мужик ревет над ободом,
«Вязовою дубиною»
Ругает драчуна.
Другой приехал с разною
Поделкой деревянною —
И вывалил весь воз!
Пьяненек! Ось сломалася,
А стал ее уделывать —
Топор сломал! Раздумался
Мужик над топором,
Бранит его, корит его,
Как будто дело делает:
«Подлец ты, не топор!
Пустую службу, плевую
И ту не сослужил.
Всю жизнь свою ты кланялся,
А ласков не бывал!»

Пошли по лавкам странники:
Любуются платочками,
Ивановскими ситцами,
Шлеями, новой обувью,
Изделием кимряков.
У той сапожной лавочки

Опять смеются странники:
Тут башмаки козловые
Дед внучке торговал,
Пять раз про цену спрашивал,
Вертел в руках, оглядывал:
Товар первейший сорт!
— Ну, дядя! два двугривенных
Плати, не то проваливай! —
Сказал ему купец.
«А ты постой!» Любуется
Старик ботинкой крохотной,
Такую держит речь:

«Мне зять — плевать, и дочь смолчит,
Жена — плевать, пускай ворчит!
А внучку жаль! Повесилась
На шею, егоза:
Купи гостинчик, дедушка,
Купи! — Головкой шелковой
Лицо щекочет, ластится,
Целует старика.
Постой, ползунья босая!
Постой, юла! Козловые
Ботиночки куплю...
Расхвастался Вавилушка,
И старому, и малому
Подарков насулил,
А пропился до грошика!
Как я глаза бесстыжие
Домашним покажу?..

Мне зять — плевать, и дочь смолчит,
Жена — плевать, пускай ворчит!
А внучку жаль!..» Пошел опять
Про внучку! Убивается!..

Народ собрался, слушает,
Не смеючись, жалеючи;
Случись, работой, хлебушком
Ему бы помогли,
А вынуть два двугривенных,
Так сам ни с чем останешься.
Да был тут человек,

Павлуша Веретенников.
(Какого роду, звания,
Не знали мужики,
Однако звали «барином».
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддевочку суконную,
Смазные сапоги;
Пел складно песни русские
И слушать их любил.
Его видали многие
На постоялых двориках,
В харчевнях, в кабаках).
Так он Вавилу выручил —
Купил ему ботиночки.
Вавило их схватил
И был таков! На радости
Спасибо даже барину
Забыл сказать старик;
Зато крестьяне прочие
Так были разутешены,
Так рады, словно каждого
Он подарил рублем!

Была тут также лавочка
С картинами и книгами,
Офени запасалися
Своим товаром в ней.
— А генералов надобно? —
Спросил их купчик-выжига.
«И генералов дай!
Да только ты по совести,
Чтоб были настоящие —
Потолще, погрозней».

— Чудные! как вы смотрите! —
Сказал купец с усмешкою, —
Тут дело не в комплекции... —

«А в чем же? шутишь, друг!
Дрянь, что ли, сбыть желательно?
А мы куда с ней денемся?

Шалишь! Перед крестьянином
Все генералы равные,
Как шишки на ели:
Чтобы продать невзрачного,
Попасть на доку надобно,
А толстого да грозного
Я всякому всучу...
Давай больших, осанистых,
Грудь с гору, глаз на выкате,
Да — чтобы больше звезд!»

— А статских не желаете? —
«Ну, вот еще со статскими!»
(Однако взяли — дешево! —
Какого-то сановника
За брюхо с бочку винную
И за семнадцать звезд.)
Купец — со всем почтением,
Что любо, тем и потчует
(С Лубянки — первый вор!),
Спустил по сотне Блюхера,
Архимандрита Фотия,
Разбойника Сипко,
Сбыл книги: «Шут Балакирев»
И «Английский милорд»...
Легли в коробку книжечки,
Пошли гулять портретики
По царству всероссийскому,
Покамест не пристроятся
В крестьянской летней горенке,
На невысокой стеночке...
Чорт знает для чего!

Эх, эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не Милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великие,
Носили их, прославили
Заступники народные!
Вот вам бы их портретики
Повесить в ваших горенках,
Их книги прочитать...

«И рад бы в рай, да дверь-то где?» —
Такая речь врывается
В лавчонку неожиданно.
— Тебе какую дверь? —
«Да в балаган. Чу! музыка!..»
— Пойдем, я укажу!

Про балаган прослышавши,
Пошли и наши странники
Послушать, поглазеть.

Комедию с Петрушкою,
С козою с барабанщицей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они.
Комедия не мудрая,
Однако и не глупая,
Хожалому, квартальному
Не в бровь, а прямо в глаз!
Шалаш полным полнехонек,
Народ орешки щелкает,
А то два-три крестьянина
Словечком перекинутся —
Гляди, явилась водочка:
Посмотрят да попьют!
Хохочут, утешаются
И часто в речь Петрушкину
Вставляют слово меткое,
Какого не придумаешь,
Хоть проглоти перо!

Такие есть любители —
Как кончится комедия,
За ширмочки пойдут,
Целуются, братаются,
Гуторят с музыкантами:
— Откуда, молодцы? —
«А были мы господские,
Играли на помещика,
Теперь мы люди вольные,
Кто поднесет-попотчует,
Тот нам и господин!»

— И дело, други милые,
Довольно бар вы тешили,
Потешьте мужиков!
Эй! малый! сладкой водочки!
Наливки! чаю! пóлпива!
Цимлянского — живей!..

И море разливанное
Пойдет, щедрее барского
Ребяток угостят.

—

Не ветры веют буйные,
Не мать-земля колышется —
Шумит, поет, ругается,
Качается, валяется,
Дерется и целуется
У праздника народ!
Крестьянам показалося,
Как вышли на пригорочек,
Что все село шатается,
Что даже церковь старую
С высокой колокольнею
Шатнуло раз-другой! —
Тут трезвому, чтó голому,
Неловко... Наши странники
Прошлись еще по площади
И к вечеру покинули
Бурливое село...

Глава III

ПЬЯНАЯ НОЧЬ

Не ригой, не амбарами,
Не кабаком, не мельницей,
Как часто на Руси,
Село кончалось низеньким
Бревенчатым строением
С железными решетками
В окошках небольших.
За тем этапным зданием
Широкая дороженька,
Березками обставлена,
Открылась тут как тут.
По будням малолюдная,
Печальная и тихая,
Не та она теперь!

По всей по той дороженьке
И по окольным тропочкам,
Докуда глаз хватал,
Ползли, лежали, ехали,
Барахталися пьяные,
И стоном стон стоял!

Скрыпят телеги грузные
И, как телячьи головы,
Качаются, мотаются
Победные головушки
Уснувших мужиков!

Народ идет — и падает,
Как будто из-за валиков
Картечью неприятели
Палят по мужикам!

Ночь тихая спускается,
Уж вышла в небо темное
Луна, уж пишет грамоту
Господь червонным золотом
По синему по бархату,
Ту грамоту мудреную,

Которой ни разумникам,
Ни глупым не прочесть.

Дорога стоголосая
Гудит! Что море синее,
Смолкает, подымается
Народная молва.

«А мы полтинник писарю:
Прошенье изготовили
К начальнику губернии...»

— Эй! с возу куль упал! —

«Куда же ты, Оленушка?
Постой! еще дам пряничка,
Ты, как блоха проворная,
Наелась — и упрыгнула,
Погладить не далась!»
— Добра ты, царска грамота,
Да не при нас ты писана... —

«Посторонись, народ!»
(Акцизные чиновники
С бубенчиками, с бляхами
С базара пронеслись.)

— А я к тому теперича!
И веник дрянь, Иван Ильич,
А погуляет по полу,
Куда как напылит! —

«Избави бог, Парашенька,
Ты в Питер не ходи!
Такие есть чиновники,
Ты день у них кухаркою,
А ночь у них сударкою —
Так это наплевать!»

— Куда ты скачешь, Саввушка? —
(Кричит священник сотскому

Верхом, с казенной бляхою).
«В Кузьминское скачу
За становым. Оказия:
Там впереди крестьянина
Убили. . .» — Эх! . . грехи! . . —

«Худа ты стала, Дарьюшка!»
— Не веретенце, друг!
Вот то, чем больше вертится,
Пузатее становится,
А я как день-деньской. . . —

«Эй, парень, парень глупенький,
Оборванный, паршивенький,
Эй, полюби меня!
Меня простоволосую,
Хмельную бабу, старую,
Зааа-пaaaa-чканную! . . »

—

Крестьяне наши трезвые,
Поглядывая, слушая,
Идут своим путем.

Средь самой средь дороженьки
Какой-то парень тихонький
Большую яму выкопал:
— Что делаешь ты тут? —
«А хороню я матушку!»
— Дурак! какая матушка!
Гляди: поддевку новую
Ты в землю закопал!
Иди скорей да хрюкалом
В канаву ляг, воды испей!
Авось, соскочит дурь! —

«А ну, давай потянемся!»

Садятся два крестьянина,
Ногами упираются,
И жилятся, и тужатся
Крехтят — на скалке тянутся,

Суставчики трещат!
На скалке не понравилось:
«Давай теперь попробуем
Тянуться бородой»!
Когда порядком бороды
Друг дружке поубавили,
Вцепились за скулы!
Пыхтят, краснеют, корчатся,
Мычат, визжат, а тянутся!
— Да будет вам, проклятые!
Не разольешь водой!

В канаве бабы ссорятся,
Одна кричит: «Домой итти
Тошнее, чем на каторгу!»
Другая: «Врешь, в моем дому
Похуже твоего!
Мне старший зять ребро сломал,
Середний зять клубок украл,
Клубок плевок, да дело в том —
Полтинник был замотан в нем,
А младший зять все нож берет,
Того гляди убьет, убьет!..»

— Ну полно, полно, миленький!
Ну, не сердись! — За валиком
Неподалеку слышится:
«Я ничего... пойдем!»
Такая ночь бедовая!
Направо ли, налево ли
С дороги поглядишь:
Идут дружненько парочки,
Не к той ли роще правятся?
Та роща манит всякого,
В той роще голосистые
Соловушки поют...

Дорога многолюдная
Что позже — безобразнее:
Все чаще попадаются
Избитые, ползущие,
Лежащие пластом.

Без ругани, как водится.
Словечка не промолвится,
Шальная, непотребная,
Слышней всего она!
У кабаков смятение,
Подводы перепутались,
Испуганные лошади
Без седоков бегут;
Тут плачут дети малые,
Тоскуют жены, матери:
Легко ли из питейного
Дозваться мужиков? . .

У столбика дорожного
Знакомый голос слышится.
Подходят наши странники
И видят: Веретенников
(Что башмачки козловые
Вавиле подарил)
Беседует с крестьянами.
Крестьяне открываются
Миляге по душе:
Похвалит Павел песенку —
Пять раз споют, записывай!
Понравится пословица —
Пословицу пиши!
Позаписав достаточно,
Сказал им Веретенников:
«Умны крестьяне русские,
Одно нехорошо,
Что пьют до одурения,
Во рвы, в канавы валятся —
Обидно поглядеть!»

Крестьяне речь ту слушали,
Поддакивали барину.
Павлуша что-то в книжечку
Хотел уже писать,
Да выискался пьяненький
Мужик, — он против барина
На животе лежал,
В глаза ему поглядывал,

Помалчивал, — да вдруг
Как вскочит! Прямо к барину —
Хвать карандаш из рук!
«Постой, башка порожняя!
Шальных вестей, бессовестных
Про нас не разноси!
Чему ты позавидовал!
Что веселится бедная
Крестьянская душа?
Пьем много мы по времени,
А больше мы работаем,
Нас пьяных много видится,
А больше трезвых нас.
По деревням ты хаживал?
Возьмем ведерко с водкою,
Пойдем-ка по избам:
В одной, в другой навалятся,
А в третьей не притронутся —
У нас на семью пьющую
Непьющая семья!
Не пьют, а так же маются,
Уж лучше б пили, глупые,
Да совесть такова...
Чудно смотреть, как ввалится
В такую избу трезвую
Мужицкая беда,
И не глядел бы!.. Видывал
В страду деревни русские?
В питейном, что ль, народ?
У нас поля обширные,
А не гораздо щедрые,
Скажи-ка, чьей рукой
С весны они оденутся,
А осенью разденутся?
Встречал ты мужика
После работы вечером?
На пожне гору добрую
Поставил, съел с горошину:
— Эй! богатырь! соломинкой
Сшибу, посторонись!
Сладка еда крестьянская,

Весь век пила железная
Жует, а есть не ест!
Да брюхо-то не зеркало,
Мы на еду не плачемся...
Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!
А есть еще губитель-тать
Четвертый, злей татарина,
Так тот и не поделится,
Все слопает один!
У нас пристал третьеводни
Такой же барин плохонький,
Как ты, из-под Москвы.
Записывает песенки,
Скажи ему пословицу,
Загадки загани.
А был другой — допытывал,
На сколько в день сработаешь,
По малу ли, по многу ли
Кусков пихаешь в рот?
Иной угодья меряет,
Иной в селеньи жителей
По пальцам перечтет,
А вот не сосчитали же,
По скольку в лето каждое
Пожар пускает на ветер
Крестьянского труда?..

Нет меры хмелю русскому.
А горе наше меряли?
Работе мера есть?
Вино валит крестьянина,
А горе не валит его?
Работа не валит?
Мужик беды не меряет,
Со всякою справляется,
Какая ни приди.
Мужик, трудясь, не думает,
Что силы надорвет,

Так неужли над чаркою
Задуматься, что с лишнего
В канаву угодишь?
А что глядеть зазорно вам,
Как пьяные валяются,
Так погляди поди,
Как из болота волоком
Крестьяне сено мокрое,
Скосивши, волокут:
Где не пробраться лошади,
Где и без ноши пешему
Опасно перейти,
Там рать-орда крестьянская
По кочам, по зажоринам
Ползком-ползет с плетюхами, —
Трещит крестьянский пуп!

Под солнышком без шапочек,
В поту, в грязи по макушку,
Осокою изрезаны,
Болотным гадом-мошкою
Изъеденные в кровь, —
Небось, мы тут красивее?

Жалеть — жалей умеючи,
На мерочку господскую
Крестьянина не мерь!
Не белоручки нежные,
А люди мы великие
В работе и в гульбе!..

У каждого крестьянина
Душа что туча черная —
Гневна, грозна — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям,
А все вином кончается.
Пошла по жилам чарочка —
И рассмеялась добрая
Крестьянская душа!
Не горевать тут надобно,
Гляди кругом, — возрадуйся:

Ай парни, ай молодушки,
Умеют погулять!
Повымахали косточки,
Повымотали душеньку,
А удаль молодецкую
Про случай сберегли! ..»

Мужик стоял на валике,
Притопывал лаптишками
И, помолчав минуточку,
Прибавил громким голосом,
Любуясь на веселую,
Ревущую толпу:
«Эй! царство ты мужицкое,
Бесшапочное, пьяное,
Шуми — вольней шуми! ..»

— Как звать тебя, старинушка? —
«А что? запишешь в книжечку?
Пожалуй, нужды нет!
Пиши: *«В деревне Босове*
Яким Нагой живет,
Он до смерти работает,
До полусмерти пьет! ..»

Крестьяне рассмеялися
И рассказали барину,
Каков мужик Яким.

Яким — старик убогонький,
Живал когда-то в Питере,
Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось!
Как липочка ободранный,
Вернулся он на родину
И за соху взялся.
С тех пор лет тридцать жарится
На полосе под солнышком,
Под бороной спасается
От частого дождя,
Живет — с сохою возится,
А смерть придет Якимушке —

Как ком земли отвалится,
Что на сохе присох...

С ним случай был: картиночек
Он сыну накупил,
Развешал их по стеночкам
И сам не меньше мальчика
Любил на них глядеть.
Пришла немилость божия,
Деревня загорелася —
А было у Якимушки
За целый век накоплено
Целковых тридцать пять.
Скорей бы взять целковые,
А он сперва картиночки
Стал со стены срывать;
Жена его тем временем
С иконами возилася,
А тут изба и рухнула —
Так оплошал Яким!
Слились в комок целковики,
За тот комок дают ему
Одиннадцать рублей...
«Ой, брат Яким! не дешево
Картинки обошлись!
За то и в избу новую
Повесил их, небось?»

— Повесил — есть и новые. —
Сказал Яким — и смолк.

Вгляделся барин в пахаря:
Грудь впалая, как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок.

Крестьяне как заметили,
Что не обидны барину
Якимовы слова,
И сами согласилися
С Якимом: «Слово верное:
Нам подобает пить!
Пьем — значит силу чувствуем!
Придет печаль великая,
Как перестанем пить! . .
Работа не свалила бы,
Беда не одолела бы,
Нас хмель не одолит!
Не так ли?»
— Да, бог милостив! —

«Ну, выпей с нами чарочку!»

Достали водки, выпили.
Якиму Веретенников
Два шкалика поднес.

«Ай, барин! не прогневался,
Разумная головушка! —
(Сказал ему Яким): —
Разумной-то головушке
Как не понять крестьянина?
А свиньи ходят пó земи —
Не видят неба век! . .»
Вдруг песня хором грянула
Удалая, согласная:
Десятка три молодчиков,
Хмельненьки, а не валятся,
Идут рядком, поют,
Поют про Волгу-матушку,
Про удаль молодецкую,
Про девичью красу.
Притихла вся дороженька,
Одна та песня складная
Широко, вольно катится,
Как рожь под ветром стелется,
По сердцу по крестьянскому
Идет огнем-тоской! . .

Под песню ту удалую
Раздумалась, расплакалась
Молодушка одна:
«Мой век — что день без солнышка,
Мой век — что ночь без месяца,
А я, млада-младешенька,
Что борзый конь на привязи,
Что ласточка без крыл!
Мой старый муж, ревнивый муж
Напился пьян, храпом храпит,
Меня, младу-младешеньку,
И сонный сторожит!»
Так плакалась молодушка
Да с возу вдруг и спрыгнула!
— Куда? — кричит ревнивый муж,
Привстал — и бабу за косу,
Как редьку за вихор!

Ой! ночка, ночка пьяная!
Не светлая, а звездная,
Не жаркая, а с ласковым
Весенним ветерком!
И нашим добрым молодцам
Ты даром не прошла!
Сгрустнулось им по женушкам,
Оно и правда: с женушкой
Теперь бы веселей!
Иван кричит: «Я спать хочу»,
А Марьюшка: «И я с тобой!»
Иван кричит: «Постель узка»,
А Марьюшка: «Уляжемся!»
Иван кричит: «Ой, холодно»,
А Марьюшка: «Угреемся!»
Как вспомнили ту песенку,
Без слова — согласилися
Ларец свой попытать.

Одна, зачем, бог ведает,
Меж полем и дорогою
Густая липа выросла.
Под ней присели странники
И осторожно молвили:

«Эй! скатерть самобранная,
Попотчуй мужиков!»

И скатерть развернулася,
Откудова ни взялися,
Две дюжие руки
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять.

Крестьяне подкрепилися,
Роман за караульного
Остался у ведра,
А прочие вмешалися
В толпу — искать счастливого:
Им крепко захотелося
Скорей попасть домой...

Глава IV

СЧАСТЛИВЫЕ

В толпе горластой, праздничной,
Похаживали странники,
Прокликивали клич:
«Эй! нет ли где счастливого?
Явись! Коли окажется,
Что счастливо живешь,
У нас ведро готовое:
Пей даром сколько вздумаешь —
На славу угостим!..»
Таким речам неслыханным
Смеялись люди трезвые,
А пьяные да умные
Чуть не плевали в бороду
Ретивым крикунам.
Однако и охотников
Хлебнуть вина бесплатного
Достаточно нашлось.
Когда вернулись странники
Под липу, клич прокликавши,
Их обступил народ.
Пришел дьячок уволенный,

Тощой, как спичка серная,
И лясы распустил,
Что счастие не в пажитях,
Не в соболях, не в золоте,
Не в дорогих камнях.
— А в чем же? —
«В благодушестве!
Пределы есть владениям
Господ, вельмож, царей земных,
А мудрого владение —
Весь вертоград Христов!
Коль обогреет солнышко
Да пропущу косушечку,
Так вот и счастлив я!»
— А где возьмешь косушечку? —
«Да вы же дать сулилися...»

— Проваливай! шалишь!..

Пришла старуха старая,
Рябая, одноглазая,
И объявила, кланяясь,
Что счастлива она:
Что у нее по осени
Родилось реп до тысячи
На небольшой гряде.
«Такая репа крупная,
Такая репа вкусная,
А вся гряда — сажени три,
А впоперечь — аршин!»
Над бабой посмеялися,
А водки капли не дали:
— Ты дома выпей, старая,
Той репой закуси!

Пришел солдат с медалями.
Чуть жив, а выпить хочется:
«Я счастлив!» — говорит.

— Ну, открывай, старинушка,
В чем счастие солдатское?
Да не таись, смотри! —

«А в том, во-первых, счастие,
Что в двадцати сражениях
Я был, а не убит!
А во-вторых, важней того,
Я и во время мирное
Ходил ни сыт, ни голоден,
А смерти не дался!
А в-третьих — за провинности,
Великие и малые,
Нещадно бит я палками,
А хоть пощупай — жив!»

— На! выпивай, служивенький!
С тобой и спорить нечего:
Ты счастлив — слова нет!

Пришел с тяжелым молотом
Каменотес-олончанин,
Плечистый, молодой:
«И я живу — не жалуюсь, —
Сказал он: — с женкой, с матушкой
Не знаем мы нужды!»

— Да в чем же ваше счастие? —

«А вот гляди (и молотом,
Как перышком, махнул):
Коли проснусь до солнышка
Да разогнусь о полночи,
Так гору сокрушу!
Случалось, не похвастаю,
Щебенки наколачивать
В день на пять серебром!»

Пахом приподнял «счастие»
И, крякнувши порядочно,
Работнику поднес:
— Ну, веско! А не будет ли
Носиться с этим счастием
Под старость тяжело? .. —

«Смотри, не хвастай силою», —
Сказал мужик с одышкою,

Расслабленный, худой
(Нос вострый, как у мертвого,
Как грабли руки тощие,
Как спицы ноги длинные,
Не человек — комар).
«Я был — не хуже каменщик
Да тоже хвастал силою.
Вот бог и наказал!
Смекнул подрядчик, бестия,
Что простоват детинушка,
Учал меня хвалить,
А я-то сдуру радуюсь,
За четверых работаю!
Однажды ношу добрую
Наклал я кирпичей,
А тут его, проклятого,
И нанеси нелегкая:
«Что это? — говорит. —
Не узнаю Трофима я!
Итти с такою ношею
Не стыдно молодцу?»
— А коли мало кажется,
Прибавь рукой хозяйскою! —
Сказал я, осердясь.
Ну, с полчаса, я думаю,
Я ждал, а он подкладывал,
И подложил, подлец!
Сам слышу — тяга страшная,
Да не хотелось пятиться.
И внес ту ношу чортову
Я во второй этаж!
Глядит подрядчик, дивится,
Кричит, подлец, оттудова:
«Ай, молодец, Трофим!
Не знаешь сам, что сделал ты:
Ты снес один по крайности
Четырнадцать пудов!»
Ой, знаю! сердце молотом
Стучит в груди, кровавые
В глазах круги стоят,
Спина как будто треснула...
Дрожат, ослабли ноженьки.

Зачах я с той поры!..
Налей, брат, полстаканчика!»

— Налить? Да где ж тут счастие?
Мы потчуем счастливого,
А ты что рассказал! —
«Дослушай! будет счастие!»

— Да, в чем же, говори! —

«А вот в чем. Мне на родине,
Как всякому крестьянину,
Хотелось умереть.
Из Питера, расслабленный,
Шальной, почти без памяти
Я на машину сел.
Ну, вот мы и поехали.
В вагоне лихорадочных,
Горячечных работничков
Нас много набралось,
Всем одного желалося,
Как мне, попасть на родину,
Чтоб дома помереть.
Однако нужно счастие
И тут: мы летом ехали,
В жарище, в духоте
У многих помутилися
Вконец больные головы.
В вагоне ад пошел:
Тот стонет, тот катается,
Как оглашенный, по полу,
Тот бредит женкой, матушкой,
Ну, на ближайшей станции
Такого и долой!
Глядел я на товарищей,
Сам весь горел, подумывал —
Не сдобровать и мне.
В глазах кружки багровые,
И все мне, братец, чудится,
Что режу пеунов
(Мы тоже пеунятники,

Случалось в год откармливать
До тысячи зобов).
Где вспомнились, проклятые!
Уж я молиться пробовал,
Нет! всё с ума нейдут!
Поверишь ли? вся партия
Передо мной трепещется!
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет, а поют!
А я с ножом: «Да полно вам!»
Уж как господь помиловал,
Что я не закричал?
Сижу, креплюсь... по счастию,
День кончился, а к вечеру
Похолодало, — сжалился
Над сиротами бог!
Ну, так мы и доехали,
И я добрел на родину,
А здесь, по божьей милости,
И легче стало мне...»

— Чего вы тут расхвастались
Своим мужицким счастием? —
Кричит разбитый на ноги
Дворовый человек. —
А вы меня попотчуйте:
Я счастлив, видит бог!
У первого боярина,
У князя Переметьева,
Я был любимый раб.
Жена — раба любимая,
А дочка вместе с барышней
Училась и французскому
И всяким языкам,
Садиться позволялось ей
В присутствии княжны...
Ой! как кольнуло! .. батюшки! .. —
(И начал ногу правую
Ладонями тереть.)
Крестьяне рассмеялися.
— Чего смеетесь, глупые! —
Озлившись неожиданно,

Дворовый закричал, —
Я болен, а сказать ли вам,
О чем молюсь я господу,
Вставая и ложась?
Молюсь: «Оставь мне, господи,
Болезнь мою почетную,
По ней я дворянин!»
Не вашей подлой хворостью,
Не хрипотой, не грыжею —
Болезнью благородною,
Какая только водится
У первых лиц в империи,
Я болен, мужичье!
По-да-грой именуется!
Чтоб получить ее —
Шампанское, бургонское,
Токайское, венгерское
Лет тридцать надо пить...
За стулом у светлейшего
У князя Переметьева
Я сорок лет стоял,
С французским лучшим трюфелем
Тарелки я лизал,
Напитки иностранные
Из рюмок допивал...
Ну, наливай! —
«Проваливай!
У нас вино мужицкое,
Простое, не заморское —
Не по твоим губам!»

Желтоволосый, сгорбленный
Подкрался робко к странникам
Крестьянин-белорусс,
Туда же к водке тянется:
«Налей и мне маненичко,
Я счастлив!» — говорит.

— А ты не лезь с ручищами!
Докладывай, доказывай
Сперва, чем счастлив ты? —

«А счастье наше — в хлебушке:
Я дома в Белоруссии
С мякиною, с кострикою
Ячменный хлеб жевал.
Бывало, вопишь голосом,
Как роженица корчишься,
Как схватит животы.
А ныне, — милость божия! —
Досыта у Губонина
Дают ржаного хлебушка,
Жую — не нажуюсь!»

Пришел какой-то пасмурный
Мужик с скулой свороченной,
Направо все глядит:
«Хожу я за медведями,
И счастье мне великое:
Троих моих товарищей
Сломали мишуки,
А я живу, бог милостив!»

— А ну-ка, влево глянь! —

Не глянул, как ни пробовал,
Какие рожи страшные
Ни корчил мужичок:
«Свернула мне медведица
Маненичко скулу!»
— А ты с другой померяйся,
Подставь ей щеку правую —
Поправит... — Посмеялися,
Однако поднесли.

Оборванные нищие,
Послышав запах пенного,
И те пришли доказывать,
Как счастливы они:
«Нас у порога лавочник
Встречает подаянием,
А в дом войдем, так из дому
Проводят до ворот...
Чуть запоем мы песенку,

Бежит к окну хозяюшка
С краюхою, с ножом,
А мы-то заливаемся:
«Давать давай — весь каравай,
Не мнется и не крошится,
Тебе скорей, и нам спорей...»

Смекнули наши странники,
Что даром водку тратили,
Да кстати и ведерочку
Конец. «Ну, будет с вас!
Эй, счастие мужицкое!
Дырявое с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!»

— А вам бы, други милые,
Спросить Ермилу Гирина, —
Сказал, подсевши к странникам,
Деревни Дымоглотова
Крестьянин Федосей, —
Коли Ермил не выручит,
Счастливцем не объявится,
Так и шататься не́чего...

«А кто такой Ермил?
Князь, что ли, граф сиятельный?»

— Не князь, не граф сиятельный,
А просто он — мужик! —

«Ты говори толковее,
Садись, а мы послушаем,
Какой такой Ермил?»

— А вот какой: сиротскую
Держал Ермило мельницу
На Унже. По суду
Продать решили мельницу:
Пришел Ермило с прочими
В палату на торги.
Пустые покупатели

Скоренько отвалилися,
Один купец Алтынников
С Ермилом в бой вступил,
Не отстает, торгуется,
Наносит по копеечке.
Ермило как рассердится —
Хвать сразу пять рублей!
Купец опять копеечку,
Пошло у них сражение:
Купец его копейкою,
А тот его рублем!
Не устоял Алтынников!
Да вышла тут оказия:
Тотчас же стали требовать
Задатков третью часть,
А третья часть — до тысячи.
С Ермилом денег не было,
Уж сам ли он сплошал,
Схитрили ли подьячие,
А дело вышло дрянь!
Повеселел Алтынников:
«Моя, выходит, мельница!»
— Нет! — говорит Ермил,
Подходит к председателю: —
Нельзя ли вашей милости
Помешкать полчаса? —

«Что в полчаса ты сделаешь?»

— Я деньги принесу! —
«А где найдешь? В уме ли ты?
Верст тридцать пять до мельницы,
А через час присутствию
Конец, любезный мой!»

— Так полчаса позволите? —

«Пожалуй, час промешкаем!»
Пошел Ермил; подьячие
С купцом переглянулися,
Смеются, подлецы!
На площадь на торговую

Пришел Ермило (в городе
Тот день базарный был),
Стал на воз, видим: крестится,
На все четыре стороны
Поклон, — и громким голосом
Кричит: «Эй, люди добрые!
Притихните, послушайте,
Я слово вам скажу!»
Притихла площадь людная,
И тут Ермил про мельницу
Народу рассказал:
«Давно купец Алтынников
Присватывался к мельнице,
Да не плошал и я,
Раз пять справлялся в городе.
Сказали: с переторжкою
Назначены торги.
Без дела, сами знаете,
Возить казну крестьянину
Проселком не рука:
Приехал я без грошика,
Ан глядь — они спроворили
Без переторжки торг!
Схитрили души подлые,
Да и смеются нехристи:
«Что часом ты поделаешь?
Где денег ты найдешь?»
Авось, найду, бог милостив!
Хитры, сильны подьячие,
А мир их посильней;
Богат купец Алтынников,
А все не устоять ему
Против мирской казны —
Ее, как рыбу из моря,
Века ловить не выловить.
Ну, братцы! видит бог,
Разделаюсь в ту пятницу!
Не дорога мне мельница,
Обида велика!
Коли Ермила знаете,
Коли Ермилу верите,
Так выручайте, что́ ль!»

И чудо сотворилося —
На всей базарной площади
У каждого крестьянина,
Как ветром, полу левую
Заворотило вдруг!
Крестьянство раскошелилось
Несут Ермилу денежки,
Дают, кто чем богат.
Ермило парень грамотный
Да некогда записывать,
Успей пересчитать!
Наклали шляпу полную
Целковиков, лабанчиков,[1]
Прожженной, битой, трепаной
Крестьянской ассигнации.
Ермило брал — не брезговал
И медным пятаком.
Еще бы стал он брезговать,
Когда тут попадалася
Иная гривна медная
Дороже ста рублей!

Уж сумма вся исполнилась,
А щедрота народная
Росла: «Бери, Ермил Ильич,
Отдашь, не пропадет!»
Ермил народу кланялся
На все четыре стороны,
В палату шел со шляпою,
Зажавши в ней казну.
Сдивилися подьячие,
Позеленел Алтынников,
Как он сполна всю тысячу
Им выложил на стол! ..
Не волчий зуб, так лисий хвост, —
Пошли юлить подьячие,
С покупкой поздравлять!
Да не таков Ермил Ильич,
Не молвил слова лишнего,
Копейки не дал им!

[1] Лабанчики — полуимпериалы.

Глядеть весь город съехался,
Как в день базарный пятницу
Через неделю времени
Ермил на той же площади
Рассчитывал народ.
Упомнить где же всякого?
В ту пору дело делалось
В горячке, второпях!
Однако споров не было
И выдать гроша лишнего
Ермилу не пришлось.
Еще — он сам рассказывал —
Рубль лишний, чей, бог ведает! —
Остался у него.
Весь день с мошной раскрытою
Ходил Ермил, допытывал,
Чей рубль? да не нашел.
Уж солнце закатилося,
Когда с базарной площади
Ермил последний тронулся,
Отдав тот рубль слепым...
Так вот каков Ермил Ильич.

— Чудён! — сказали странники, —
Однако знать желательно,
Каким же колдовством
Мужик над всей округою
Такую силу взял? —

«Не колдовством, а правдою!
Слыхали про Адовщину,
Юрлова князя вотчину?»

— Слыхали, ну так что ж? —

«В ней главный управляющий
Был корпуса жандармского
Полковник со звездой,
При нем пять-шесть помощников,
А наш Ермило писарем
В конторе состоял.

Лет двадцать было малому.
Какая воля писарю?

Однако для крестьянина
И писарь человек.
К нему подходишь к первому,
А он и посоветует
И справку наведет;
Где хватит силы — выручит,
Не спросит благодарности,
И дашь, так не возьмет!
Худую совесть надобно
Крестьянину с крестьянина
Копейку вымогать.

Таким путем вся вотчина
В пять лет Ермилу Гирина
Узнала хорошо.
А тут его и выгнали...
Жалели крепко Гирина,
Трудненько было к новому,
Хапуге, привыкать.
Однако делать нечего,
По времени приладились
И к новому писцу.
Тот ни строки без трешника,
Ни слова без семишника,
Прожженный, из кутейников —
Ему и бог велел!
Однако волей божией
Недолго он поцарствовал, —
Скончался старый князь,
Приехал князь молоденький,
Прогнал того полковника,
Прогнал его помощника,
Контору всю прогнал,
А нам велел из вотчины
Бурмистра изобрать.
Ну, мы не долго думали,
Шесть тысяч душ, всей вотчиной
Кричим: «Ермилу Гирина!»
Как человек един!
Зовут Ермилу к барину.
Поговорив с крестьянином,
С балкона князь кричит:

«Ну, братцы! будь по-вашему.
Моей печатью княжеской
Ваш выбор утвержден:
Мужик проворный, грамотный,
Одно скажу: не молод ли?..»

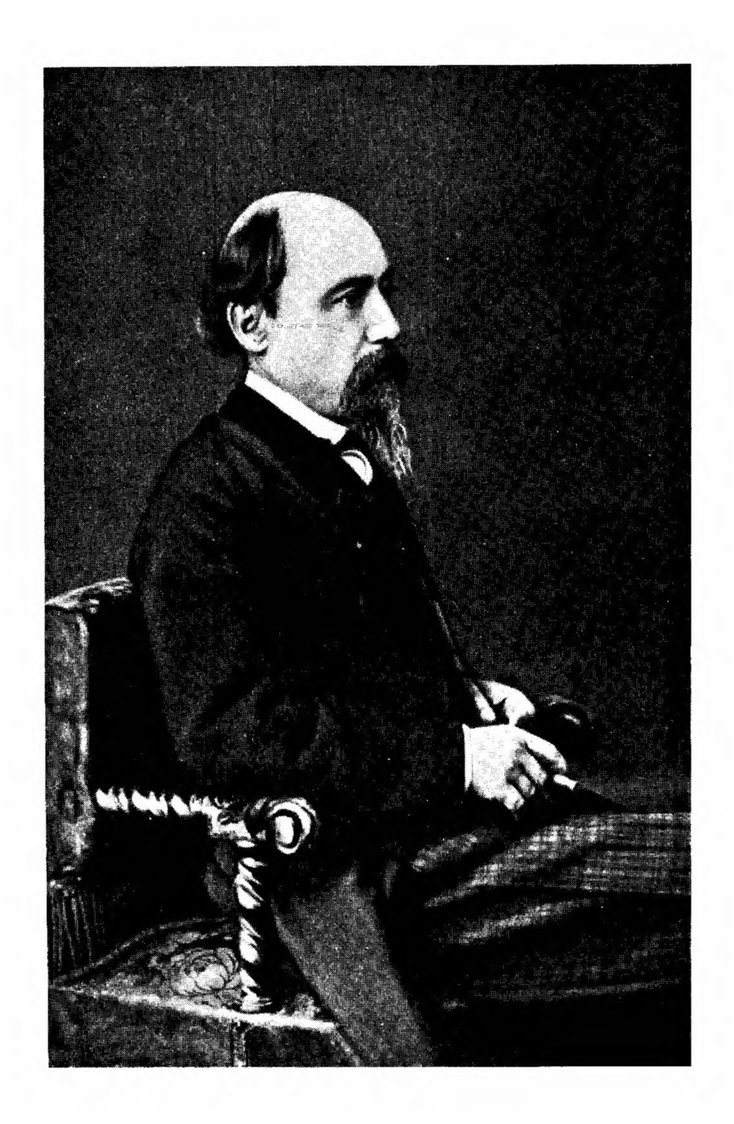
А мы: «Нужды нет, батюшка,
И молод, да умен!»
Пошел Ермило царствовать
Над всей княжою вотчиной,
И царствовал же он!
В семь лет мирской копеечки
Под ноготь не зажал,
В семь лет не тронул правого,
Не попустил виновному,
Душой не покривил...»

— Стой! — крикнул укорительно
Какой-то попик седенький
Рассказчику: — Грешишь!
Шла борона прямехонько
Да вдруг махнула в сторону —
На камень зуб попал!
Коли взялся рассказывать,
Так слова не выкидывай
Из песни: или странникам
Ты сказку говоришь?..
Я знал Ермилу Гирина... —

«А я, небось, не знал?
Одной мы были вотчины,
Одной и той же волости,
Да нас перевели...»

— А коли знал ты Гирина,
Так знал и брата Митрия,
Подумай-ка, дружок. —

Рассказчик призадумался
И, помолчав, сказал:
«Соврал я: слово лишнее
Сорвалось на маху!
Был случай, и Ермил мужик



Свихнулся: из рекрутчины
Меньшого брата Митрия
Повыгородил он.
Молчим: тут спорить не́чего,
Сам барин брата старосты
Забрить бы не велел.
Одна Ненила Власьевна
По сыне горько плачется,
Кричит: не наш черед!
Известно, покричала бы,
Да с тем бы и отъехала.
Так что же? Сам Ермил,
Покончивши с рекрутчиной,
Стал тосковать, печалиться,
Не пьет, не ест: тем кончилось,
Что в деннике с веревкою
Застал его отец.
Тут сын отцу покаялся:
«С тех пор, как сына Власьевны
Поставил я не в очередь,
Постыл мне белый свет!»
А сам к веревке тянется.
Пытали уговаривать
Отец его и брат,
Он все одно: «Преступник я!
Злодей! вяжите руки мне,
Ведите в суд меня!»
Чтоб хуже не случилося,
Отец связал сердечного,
Приставил караул.

Сошелся мир, шумит, галдит,
Такого дела чудного
Вовек не приходилося
Ни видеть, ни решать.
Ермиловы семейные
Уж не о том старалися,
Чтоб мы им помирволили,
А строже рассуди —
Верни парнишку Власьевне,
Не то Ермил повесится,
За ним не углядишь!

Пришел и сам Ермил Ильич,
Босой, худой, с колодками,
С веревкой на руках,
Пришел, сказал: «Была пора,
Судил я вас по совести,
Теперь я сам грешнее вас:
Судите вы меня!»
И в ноги поклонился нам.
Ни дать, ни взять юродивый,
Жаль было нам глядеть,
Стоит, вздыхает, крестится,
Перед Ненилой Власьевной
Вдруг на колени пал!

Ну, дело все обладилось,
У господина сильного
Везде рука: сын Власьевны
Вернулся, сдали Митрия,
Да, говорят, и Митрию
Не тяжело служить:
Сам князь о нем заботится.
А за провинность с Гирина
Мы положили штраф:
Штрафные деньги рекруту,
Часть небольшая Власьевне,
Часть миру на вино...
Однако после этого
Ермил не скоро справился,
С год как шальной ходил.
Как ни просила вотчина,
От должности уволился,
В аренду снял ту мельницу
И стал он пуще прежнего
Всему народу люб:
Брал за помол по совести,
Народу не задерживал —
Приказчик, управляющий,
Богатые помещики
И мужики беднейшие —
Все очереди слушались,
Порядок строгий вел!
Я сам уж в той губернии

Давненько не бывал,
А про Ермилу слыхивал,
Народ им не нахвалится,
Сходите вы к нему».

— Напрасно вы проходите, —
Сказал уж раз заспоривший
Седоволосый поп, —
Я знал Ермила Гирина,
Попал я в ту губернию
Назад тому лет пять
(Я в жизни много странствовал,
Преосвященный наш
Переводить священников
Любил)... С Ермилой Гириным
Соседи были мы.
Да! Был мужик единственный!
Имел он все, что надобно
Для счастья: и спокойствие,
И деньги, и почет,
Почет завидный, истинный,
Не купленный ни деньгами,
Ни страхом: строгой правдою,
Умом и добротой!
Да только, повторяю вам,
Напрасно вы проходите:
В остроге он сидит... —

«Как так?»

— А воля божия!
Слыхал ли кто из вас,
Как бунтовалась вотчина
Помещика Обрубкова,
Испуганной губернии,
Уезда Недыханьева,
Деревня Столбняки?..
Как о пожарах пишется
В газетах (я их читывал):
«Осталась неизвестною
Причина» — так и тут:

До сей поры неведомо
Ни земскому исправнику,
Ни высшему правительству,
Ни Столбнякам самим,
С чего стряслась оказия,
А вышло дело дрянь.
Потребовалось воинство,
Сам государев посланный
К народу речь держал,
То руганью попробует
И плечи с эполетами
Подымет высоко,
То лаской попробует,
Да брань была тут лишняя,
А ласка непонятная:
«Крестьянство православное!
Русь матушка! царь батюшка!»
И больше ничего!
Побившись так достаточно,
Хотели уж солдатикам
Скомандовать: пали!
Да волостному писарю
Пришла тут мысль счастливая,
Он про Ермилу Гирина
Начальнику сказал:
«Народ поверит Гирину,
Народ его послушает. . .»
— Позвать его, живей!
. . . .

—

Вдруг крик: «Ай, ай! помилуйте!»
Раздавшись неожиданно,
Нарушил речь священника,
Все бросились глядеть:
У валика дорожного
Секут лакея пьяного —
Попался в воровстве!
Где пойман, тут и суд ему:
Судей сошлось десятка три,
Решили дать по лозочке,
И каждый дал лозу!

Лакей вскочил и, шлепая
Худыми сапожишками,
Без слова тягу дал.
«Вишь побежал, как встрепанный!» —
Шутили наши странники,
Узнавши в нем балясника,
Что хвастался какою-то
Особенной болезнию
От иностранных вин:
«Откуда прыть явилася!
Болезнь ту благородную
Вдруг сняло как рукой!»

— Эй, эй! куда ж ты, батюшка!
Ты доскажи историю,
Как бунтовалась вотчина
Помещика Обрубкова,
Деревни Столбняки? —

«Пора домой, родимые.
Бог даст, опять мы встретимся,
Тогда и доскажу!»

Под утро поразъехалась,
Поразбрелась толпа.
Крестьяне спать надумали,
Вдруг тройка с колокольчиком
Откуда ни взялась,
Летит! а в ней качается
Какой-то барин кругленький,
Усатенький, пузатенький,
С сигарочкой во рту.
Крестьяне разом бросились
К дороге, сняли шапочки,
Низенько поклонилися,
Повыстроились в ряд,
И тройке с колокольчиком
Загородили путь...

Глава V

ПОМЕЩИК

Соседнего помещика
Гаврилу Афанасьича
Оболта-Оболдуева
Та троечка везла.
Помещик был румяненький,
Осанистый, присадистый,
Шестидесяти лет;
Усы седые, длинные,
Ухватки молодецкие,
Венгерка с бранденбурами,
Широкие штаны.
Гаврило Афанасьевич,
Должно быть, перетрусился,
Увидев перед тройкою
Семь рослых мужиков.
Он пистолетик выхватил,
Как сам, такой же толстенький,
И дуло шестиствольное
На странников навел:
— Ни с места! Если тронетесь,
Разбойники! грабители!
На месте уложу!.. —
Крестьяне рассмеялися:
«Какие мы разбойники,
Гляди — у нас ни ножика,
Ни топоров, ни вил!»
— Кто ж вы? чего вам надобно? —

«У нас забота есть.
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды.
Ты дай нам слово крепкое
На нашу речь мужицкую
Без смеху и без хитрости,
По правде и по разуму,
Как должно, отвечать,
Тогда свою заботушку
Поведаем тебе...»

— Извольте: слово честное,
Дворянское даю! —
«Нет, ты нам не дворянское,
Дай слово христианское!
Дворянское с побранкою,
С толчком да с зуботычиной,
То непригодно нам!»

— Эге! какие новости!
А впрочем, будь по-вашему!
Ну, в чем же ваша речь? .. —
«Спрячь пистолетик! выслушай!
Вот так! мы не грабители,
Мы мужики смиренные,
Из временно-обязанных
Подтянутой губернии,
Пустопорожней волости,
Из разных деревень —
Несытова, Неелова,
Заплатова, Дырявина,
Горелок, Голодухина,
Неурожайка-тож.
Идя путем-дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлись мы — и заспорили:
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал — попу.
Купчине толстопузому, —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Пахом сказал: светлейшему,
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров сказал: царю...
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь! Как ни спорили,
Не согласились мы!

Поспоривши, повздорили,
Повздоривши — подралися.
Подравшися, удумали
Не расходиться врозь,
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда спору нашему
Решенья не найдем,
Покуда не доведаем
Как ни на есть — доподлинно,
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?
Скажи ж ты нам по-божески,
Сладка ли жизнь помещичья?
Ты как — вольготно, счастливо,
Помещичек, живешь?»

Гаврило Афанасьевич
Из тарантаса выпрыгнул,
К крестьянам подошел:
Как лекарь, руку каждому
Пощупал, в лица глянул им,
Схватился за бока
И покатился со смеху...
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
Здоровый смех помещичий
По утреннему воздуху
Раскатываться стал...

Нахохотавшись досыта,
Помещик не без горечи
Сказал: — Наденьте шапочки,
Садитесь, *господа!* —

«Мы господа не важные,
Перед твоею милостью
И постоим...»

— Нет! нет!
Прошу садиться, *граждане!* —
Крестьяне поупрямились,

Однако, делать нечего,
Уселись на валу.

— И мне присесть позволите?
Эй, Прошка! рюмку хересу,
Подушку и ковер! —

Расположась на коврике
И выпив рюмку хересу,
Помещик начал так:

— Я дал вам слово честное
Ответ держать по совести,
А нелегко оно!
Хоть люди вы почтенные,
Однако неученые,
Как с вами говорить?
Сперва понять вам надо бы,
Что значит слово самое:
Помещик, дворянин.
Скажите, вы, любезные,
О родословном дереве
Слыхали что-нибудь? —
«Леса нам не заказаны —
Видали древо всякое!» —
Сказали мужики.
— Попали пальцем в небо вы!
Скажу вам вразумительней:
Я роду именитого,
Мой предок Оболдуй
Впервые поминается
В старинных русских грамотах
Два века с половиною
Назад тому. Гласит
Та грамота: «Татарину
Оболту-Оболдуеву
Дано суконце доброе,
Ценою в два рубля;
Волками и лисицами
Он тешил государыню,
В день царских именин
Спускал медведя дикого

С своим, и Оболдуева
Медведь тот ободрал. . .»
— Ну, поняли, любезные? —
«Как не понять! С медведями
Немало их шатается,
Прохвостов, и теперь».

— Вы все свое, любезные.
Молчать! уж лучше слушайте,
К чему я речь веду:
Тот Оболдуй, потешивший
Зверями государыню,
Был корень роду нашему,
А было то, как сказано,
С залишком двести лет.
Прапрадед мой по матери
Был и того древней:
«Князь Щепин с Васькой Гусевым
(Гласит другая грамота)
Пытал поджечь Москву,
Казну пограбить думали,
Да их казнили смертию»,
А было то, любезные,
Без мала триста лет.

Так вот оно откудова
То дерево дворянское
Идет, друзья мои!»

«А ты, примерно, яблочко
С того выходишь дерева?»
Сказали мужики.

— Ну, яблочко так яблочко!
Согласен! Благо поняли
Вы дело наконец.
Теперь — вы сами знаете —
Чем дерево дворянское
Древней, тем именитее,
Почетней дворянин.
Не так ли, благодетели? —

«Так! — отвечали странники. —
Кость белая, кость черная,
И поглядеть, так разные, —
Им разный и почёт!»

— Ну, вижу, вижу: поняли!
Так вот, друзья, и жили мы,
Как у Христа за пазухой,
И знали мы почет.
Не только люди русские,
Сама природа русская
Покорствовала нам.
Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе;
Твои деревни скромные,
Твои леса дремучие,
Твои поля кругом!
Пойдешь ли деревенькою,
Крестьяне в ноги валятся,
Пойдешь лесными дачами —
Столетними деревьями
Преклонятся леса!
Пойдешь ли пашней, нивою,
Вся нива спелым колосом
К ногам господским стелется,
Ласкает слух и взор!
Там рыба в речке плещется:
«Жирей-жирей до времени!»
Там заяц лугом крадется:
«Гуляй-гуляй до осени!»
Все веселило барина,
Любовно травка каждая
Шептала: «Я твоя!»

Краса и гордость русская,
Белели церкви божии
По горкам, по холмам,
И с ними в славе спорили
Дворянские дома.
Дома с оранжереями,
С китайскими беседками
И с английскими парками;

На каждом флаг играл,
Играл-манил приветливо,
Гостеприимство русское
И ласку обещал.
Французу не привидится
Во сне — какие праздники,
Не день, не два — по месяцу
Мы задавали тут.
Свои индейки жирные,
Свои наливки сочные,
Свои актеры, музыка,
Прислуги — целый полк!

Пять поваров, да пекаря,
Двух кузнецов, обойщика,
Семнадцать музыкантиков
И двадцать два охотника
Держал я... Боже мой!.. —

Помещик закручинился,
Упал лицом в подушечку,
Потом привстал, поправился:
— Эй, Прошка! — закричал.
Лакей, по слову барскому,
Принес кувшинчик с водкою.
Гаврило Афанасьевич,
Откушав, продолжал:
— Бывало, в осень позднюю
Леса твои, Русь-матушка,
Одушевляли громкие
Охотничьи рога.
Унылые, поблекшие,
Леса полураздетые
Жить начинали вновь;
Стояли по опушечкам
Борзовщики-разбойники,
Стоял помещик сам;
А там, в лесу, выжлятники
Ревели, сорви-головы,
Варили-варом гончие.
Чу! подзывает рог!..
Чу! стая воет! сгрудилась!

Никак по зверю красному
Погнали?.. улю-лю!
Лисица чернобурая,
Пушистая, матерая,
Летит, хвостом метет!
Присели, притаилися,
Дрожа всем телом, рьяные,
Догадливые псы:
Пожалуй, гостья жданная,
Поближе к нам, молодчикам,
Подальше от кустов!
Пора! Ну, ну! не выдай, конь!
Не выдайте, собаченьки!
Эй! улю-лю! родимые!
Эй — улю-лю! .. а-ту! .. —
Гаврило Афанасьевич,
Вскочив с ковра персидского,
Махал рукой, подпрыгивал,
Кричал! Ему мерещилось,
Что травит он лису...
Крестьяне молча слушали,
Глядели, любовалися,
Посмеивались в ус...

— Ой ты, охота псовая!
Забудут всё помещики,
Но ты, исконно-русская
Потеха! не забудешься
Ни вовеки веков!
Не о себе печалимся,
Нам жаль, что ты, Русь-матушка,
С охотою утратила
Свой рыцарский, воинственный,
Величественный вид!
Бывало, нас по осени
До полусотни съедется
В отъезжие поля;
У каждого помещика
Сто гончих в напуску;
У каждого по дюжине
Борзовщиков верхом,
При каждом с кашеварами,

С провизией обоз.
Как с песнями, да с музыкой
Мы двинемся вперед,
На что кавалерийская
Дивизия твоя!
Летело время соколом,
Дышала грудь помещичья
Свободно и легко.
Во времена боярские,
В порядки древнерусские
Переносился дух!
Ни в ком противоречия,
Кого хочу — помилую,
Кого хочу — казню.
Закон — мое желание!
Кулак — моя полиция!
Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловорррот! .. —

Вдруг, как струна порвалася,
Осеклась речь помещичья.
Потупился, нахмурился,
— Эй, Прошка! — закричал.
Глонул — и мягким голосом
Сказал: «Вы сами знаете,
Нельзя же и без строгости?
Но я карал — любя.
Порвалась цепь великая —
Теперь не бьем крестьянина,
Зато уж и отечески
Не милуем его.
Да, был я строг по времени,
А, впрочем, больше ласкою
Я привлекал сердца.

Я в воскресенье светлое
Со всей своею вотчиной
Христосовался сам!
Бывало, накрывается
В гостиной стол огромнейший,
На нем и яйца красные,

И пасха, и кулич!
Моя супруга, бабушка,
Сынишки, даже барышни
Не брезгуют, целуются
С последним мужиком.
«Христос воскрес!» — «Воистину!»
Крестьяне разговляются,
Пьют брагу и вино...

Пред каждым почитаемым,
Двунадесятым праздником
В моих парадных горницах
Поп всенощну служил.
И к той домашней всенощной
Крестьяне допускалися,
Молись — хоть лоб разбей!
Страдало обоняние,
Сбивали после с вотчины
Баб отмывать полы!
Да чистота духовная
Тем самым сберегалася,
Духовное родство!
Не так ли, благодетели? —

«Так! — отвечали странники,
А про себя подумали: —
Колом сбивал их, что ли, ты
Молиться в барский дом?..»

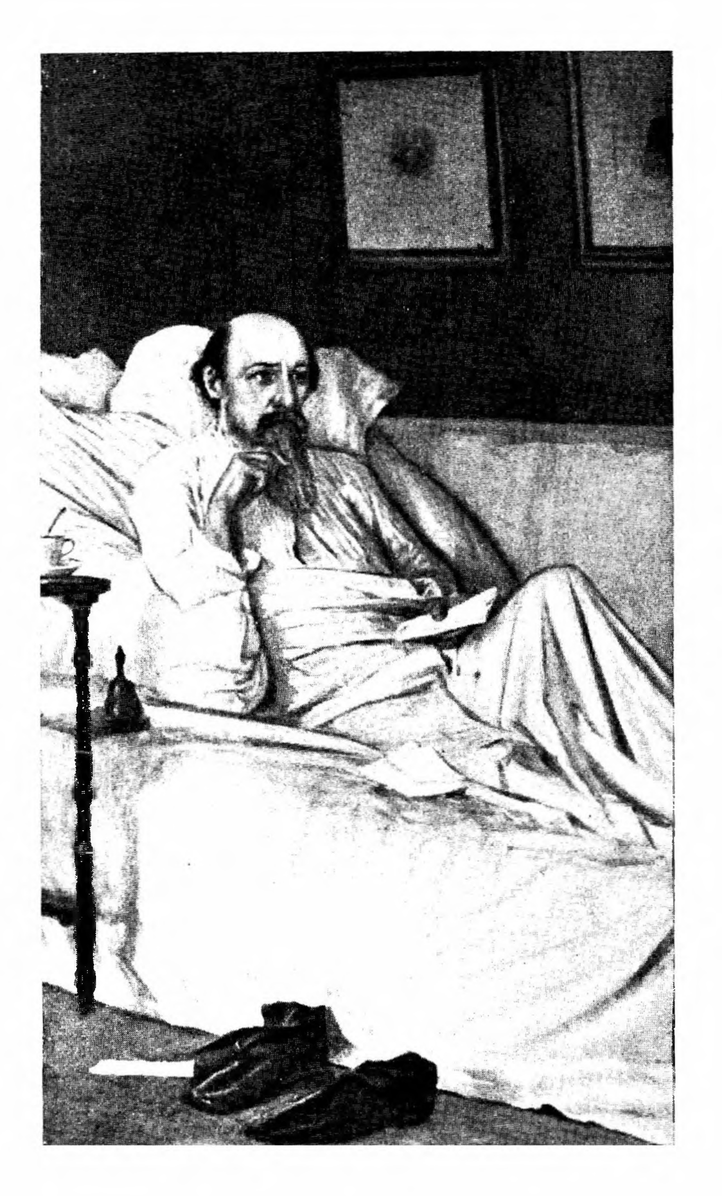
— Зато, скажу не хвастая,
Любил меня мужик!
В моей сурминской вотчине
Крестьяне всё подрядчики:
Бывало, дома скучно им,
Все на чужую сторону
Отпросятся с весны...
Ждешь — не дождешься осени,
Жена, детишки малые
И те гадают, ссорятся:
«Какого им гостинчику
Крестьяне принесут!»
И точно: поверх барщины,

Холста, яиц и живности,
Всего, что на помещика
Сбиралось искони, —
Гостинцы добровольные
Крестьяне нам несли!
Из Киева — с вареньями,
Из Астрахани — с рыбою,
А тот, кто подостаточней,
И с шелковой материей.
Глядь, чмокнул руку барыне
И сверток подает!
Детям игрушки, лакомства,
А мне, седому бражнику,
Из Питера вина!
Толк вызнали, разбойники,
Небось, не к Кривоногову,
К французу забежит.
Тут с ними разгуляешься,
По-братски побеседуешь,
Жена рукою собственной
По чарке им нальет.
А детки тут же малые
Посасывают прянички
Да слушают досужие
Рассказы мужиков —
Про трудные их промыслы,
Про чужедальни стороны,
Про Петербург, про Астрахань,
Про Киев, про Казань...

Так вот как, благодетели,
Я жил с моею вотчиной,
Не правда ль, хорошо?..—
«Да, было вам, помещикам,
Житье куда завидное,
Не надо умирать!»

— И всё прошло! всё минуло!..
Чу! похоронный звон!..—

Прислушалися странники,
И точно: из Кузьминского



По утреннему воздуху
Те звуки, грудь щемящие,
Неслись: «Покой крестьянину
И царствие небесное!» —
Проговорили странники
И покрестились все...

Гаврило Афанасьевич
Снял шапочку — и набожно
Перекрестился тож:
— Звонят не по крестьянину!
По жизни по помещичьей
Звонят! .. Ой, жизнь широкая!
Прости-прощай навек!
Прощай, и Русь помещичья!
Теперь не та уж Русь!
Эй, Прошка! — (выпил водочки
И посвистал)...

— Невесело
Глядеть, как изменилося
Лицо твое, несчастная
Родная сторона!
Сословье благородное
Как будто все попряталось,
Повымерло! Куда
Ни едешь, попадаются
Одни крестьяне пьяные,
Акцизные чиновники,
Поляки пересыльные
Да глупые посредники,
Да иногда пройдет
Команда. Догадаешься:
Должно быть, взбунтовалося,
В избытке благодарности,
Селенье где-нибудь!
А прежде что́ тут мчалося
Колясок, бричек троечных,
Дормезов шестерней!
Катит семья помещичья —
Тут маменьки солидные,
Тут дочки миловидные

И резвые сынки!
Поющих колокольчиков,
Воркующих бубенчиков
Наслушаешься всласть.
А нынче чем рассеешься?
Картиной возмутительной
Что шаг — ты поражен:
Кладбищем вдруг повеяло,
Ну, значит, приближаемся
К усадьбе... Боже мой!
Разобран по кирпичику
Красивый дом помещичий
И аккуратно сложены
В колонны кирпичи!
Обширный сад помещичий,
Столетьями взлелеянный,
Под топором крестьянина
Весь лег, — мужик любуется,
Как много вышло дров!
Черства душа крестьянина,
Подумает ли он,
Что дуб, сейчас им сваленный,
Мой дед рукою собственной
Когда-то насадил?
Что вон под той рябиною
Резвились наши детушки,
И Ганичка, и Верочка,
Аукались со мной?
Что тут, под этой липою,
Жена моя призналась мне,
Что тяжела она
Гаврюшей, нашим первенцем,
И спрятала на грудь мою
Как вишня покрасневшее,
Прелестное лицо?..
Ему была бы выгода —
Радехонек помещичьи
Усадьбы изводить!
Деревней ехать совестно,
Мужик сидит — не двинется,
Не гордость благородную —
Желчь чувствуешь в груди.

В лесу не рог охотничий
Звучит — топор разбойничий,
Шалят! .. а что поделаешь?
Кем лес убережешь?..
Поля — недоработаны,
Посевы — недосеяны,
Порядку нет следа!
О матушка! о родина!
Не о себе печалимся,
Тебя, родная, жаль.
Ты, как вдова печальная,
Стоишь с косой распущенной,
С неубранным лицом!

Усадьбы переводятся,
Взамен их распложаются
Питейные дома!..
Поят народ распущенный,
Зовут на службы земские,
Сажают, учат грамоте, —
Нужна ему она!
На всей тебе, Русь-матушка,
Как клейма на преступнике,
Как на коне тавро,
Два слова нацарапаны:
«На вынос и распивочно».
Чтоб их читать, крестьянина
Мудреной русской грамоте
Не сто́ит обучать!..

А нам земля осталася...
Ой ты, земля помещичья!
Ты нам не мать, а мачеха
Теперь... «А кто велел? —
Кричат писаки праздные: —
Так вымогать, насиловать
Кормилицу свою!»
А я скажу: а кто же ждал?
Ох! эти проповедники!
Кричат: «Довольно барствовать!
Проснись, помещик заспанный!
Вставай! — учись! трудись!..

Трудись! Кому вы вздумали
Читать такую проповедь?
Я не крестьянин-лапотник —
Я божиею милостью
Российский дворянин!
Россия — не неметчина:
Нам чувства деликатные,
Нам гордость внушена!
Сословья благородные
У нас труду не учатся.
У нас чиновник плохонький
И тот полов не выметет,
Не станет печь топить...
Скажу я вам, не хвастая,
Живу почти безвыездно
В деревне сорок лет,
А от ржаного колоса
Не отличу ячменного,
А мне поют: «Трудись!»

А если и действительно
Свой долг мы ложно поняли
И наше назначение
Не в том, чтоб имя древнее,
Достоинство дворянское
Поддерживать охотою,
Пирами, всякой роскошью,
И жить чужим трудом;
Так надо было ранее
Сказать... Чему учился я?
Что видел я вокруг?..
Коптил я небо божие,
Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную
И думал век так жить...
И вдруг... Владыко праведный!.. —

Помещик зарыдал...

—

Крестьяне добродушные
Чуть тоже не заплакали,
Подумав про себя:
«Порвалась цепь великая,
Порвалась, — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику! ..»

КРЕСТЬЯНКА

ПРОЛОГ

«Не всё между мужчинами
Отыскивать счастливого,
Пощупаем-ка баб!» —
Решили наши странники
И стали баб опрашивать.
В селе Наготине
Сказали, как отрезали:
«У нас такой не водится,
А есть в селе Клину:
Корова холмогорская,
Не баба! доброумнее
И глаже — бабы нет.
Спросите вы Корчагину,
Матрену Тимофеевну,
Она же: губернаторша. . .»

Подумали — пошли.

Уж налились колосики.
Стоят столбы точеные,
Головки золоченые,
Задумчиво и ласково
Шумят. Пора чудесная!
Нет веселей, наряднее,
Богаче нет поры!
«Ой, поле многохлебное!
Теперь и не подумаешь,
Как много люди божии
Побились над тобой,

Покамест ты оделося
Тяжелым, ровным колосом
И стало перед пахарем,
Как войско пред царем!
Не столько росы теплые,
Как пот с лица крестьянского
Увлажили тебя!..»
Довольны наши странники,
То рожью, то пшеницею,
То ячменем идут.
Пшеница их не радует:
Ты тем перед крестьянином,
Пшеница, провинилася,
Что кормишь ты *по выбору;*
Зато не налюбуются
На рожь, что *кормит всех.*

«Льны тоже нонче знатные...
Ай! бедненький! застрял!»
Тут жаворонка малого,
Застрявшего во льну,
Роман распутал бережно,
Поцеловал: «Лети!»
И птичка ввысь помчалася,
За нею умиленные
Следили мужики...

Поспел горох! Накинулись
Как саранча на полосу:
Горох, что девку красную,
Кто ни пройдет — щипнет!
Теперь горох у всякого,
У старого, у малого,
Рассыпался горох
На семьдесят дорог!

Вся овощь огородная
Поспела; дети носятся
Кто с репой, кто с морковкою,
Подсолнечник лущат,
А бабы свеклу дергают,
Такая свекла добрая!

Точь в точь сапожки красные,
Лежит на полосе.

Шли долго ли, коротко ли,
Шли близко ли, далеко ли,
Вот наконец и Клин.
Селенье незавидное:
Что ни изба — с подпоркою,
Как нищий с костылем;
А с крыш солома скормлена
Скоту. Стоят как остовы
Убогие дома.
Ненастной, поздней осенью
Так смотрят гнезда галочьи,
Когда галчата вылетят
И ветер придорожные
Березы обнажит...
Народ в полях — работает.
Заметив за селением
Усадьбу на пригорочке,
Пошли пока — глядеть.

Огромный дом, широкий двор,
Пруд, ивами обсаженный,
Посереди двора.
Над домом башня высится,
Балконом окруженная,
Над башней шпиль торчит.

В воротах с ними встретился
Лакей, какой-то буркою
Прикрытый: — Вам кого?
Помещик за границею,
А управитель при смерти!.. —
И спину показал.
Крестьяне наши прыснули:
По всей спине дворового
Был нарисован лев.
«Ну, штука!» Долго спорили,
Что за наряд диковинный,
Пока Пахом догадливый
Загадки не решил;

«Халуй хитер: стащит ковер,
В ковре дыру проделает,
В дыру просунет голову
Да и гуляет так! . .»

Как прусаки слоняются
По нетоплёной горнице,
Когда их вымораживать
Надумает мужик,
В усадьбе той слонялися
Голодные дворовые,
Покинутые барином
На произвол судьбы.
Всё старые, всё хворые
И как в цыганском таборе
Одеты. По пруду
Тащили бредень пятеро.

«Бог нá-помочь! Как ловится?..»

— Всего один карась!
А было их до пропасти,
Да крепко навалились мы,
Теперь — свищи в кулак! —

«Хоть бы пяточек вынули!» —
Проговорила бледная,
Беременная женщина,
Усердно раздувавшая
Костер на берегу.

— Точеные-то столбики
С балкону, что ли, умница? —
Спросили мужики.

«С балкону!»

— То-то высохли!
А ты не дуй! Сгорят они
Скорее, чем карасиков
Изловят на уху! —

«Жду — не дождусь. Измаялся
На черством хлебе Митенька,
Эх, горе — не житье!»

И тут она погладила
Полунагого мальчика
(Сидел в тазу заржавленном
Курносый мальчуган).

— А что? ему, чай, холодно, —
Сказал сурово Провушка, —
В железном-то тазу? —
И в руки взять ребеночка
Хотел. Дитя заплакало,
А мать кричит: «Не тронь его!
Не видишь? Он катается!
Ну, ну! пошел! Колясочка
Ведь это у него! ..»

Что шаг, то натыкалися
Крестьяне на диковину:
Особая и странная
Работа всюду шла.
Один дворовый мучился
У двери: ручки медные
Отвинчивал; другой
Нес изразцы какие-то.
«Наковырял, Егорушка?» —
Окликнули с пруда.
В саду ребята яблоню
Качали. — «Мало, дяденька!
Теперь они осталися
Уж только наверху,
А было их до пропасти!»

— Да что в них проку? зелены! —

«Мы рады и таким!»

Бродили долго по саду:
«Затей-то! горы, пропасти!
И пруд опять... Чай, лебеди
Гуляли по пруду?

Беседка... стойте! с надписью!..»
Демьян, крестьянин грамотный,
Читает по складам.

«Эй, врешь!» Хохочут странники...
Опять — и то же самое
Читает им Демьян.
(Насилу догадалися,
Что надпись переправлена:
Затерты две-три литеры,
Из слова благородного
Такая вышла дрянь!)

Заметив любознательность
Крестьян, дворовый седенький
К ним с книгой подошел:
«Купите!» Как ни тужился,
Мудреного заглавия
Не одолел Демьян:
«Садись-ка ты помещиком
Под липой на скамеечку,
Да сам ее читай!»

— А тоже грамотеями
Считаетесь! — с досадою
Дворовый прошипел. —
На что вам книги умные?
Вам вывески питейные
Да слово: «Воспрещается»,
Что на столбах встречается,
Достаточно читать! —

«Дорожки так загажены,
Что срам! у девок каменных
Отшибены носы!
Пропали фрукты-ягоды,
Пропали гуси-лебеди
У халуя в зобу!
Что церкви без священника,
Угодам без крестьянина,
То саду без помещика! —
Решили мужики. —

Помещик прочно строился,
Такую даль загадывал,
А вот...» (Смеются шестеро,
Седьмой повесил нос).
Вдруг с вышины откуда-то,
Как грянет песня! Головы
Задрали мужики:
Вкруг башни по балкончику
Похаживал в подряснике
Какой-то человек
И пел... В вечернем воздухе,
Как колокол серебряный,
Гудел громовый бас...
Гудел — и прямо за сердце
Хватал он наших странников:
Не русские слова,
А горе в них такое же,
Как в русской песне, слышалось,
Без берегу, без дна.
Такие звуки плавные,
Рыдающие... «Умница,
Какой мужчина там?» —
Спросил Роман у женщины,
Уже кормившей Митеньку
Горяченькой ухой.

— Певец Ново-Архангельской.
Его из Малороссии
Сманили господа.
Свезти его в Италию
Сулились, да уехали...
А он был рад-радехонек,
Какая уж Италия?
Обратно в Конотоп,
Ему здесь делать нечего...
Собаки дом покинули
(Озлилась круто женщина):
Кому здесь дело есть?..
Да у него ни спереди,
Ни сзади... кроме голосу... —

«Зато уж голосок!»

— Не то еще услышите,
Как до утра пробудете:
Отсюда версты три
Есть дьякон... тоже с голосом...
Так вот они затеяли
По-своему здороваться
На утренней заре.
На башню как подымется
Да рявкнет наш: «Здо-ро-во ли
Жи-вешь, о-тец И-пат?»
Так стекла затрещат!
А тот ему, оттуда-то:
«Здо-ро-во, наш со-ло-ву-шко!
Жду вод-ку пить!» — «И-ду!..»
Иду-то это в воздухе
Час целый откликается...
Такие жеребцы!..

Домой скотина гонится,
Дорога запылилася,
Запахло молоком.
Вздохнула мать Митюхина:
Хоть бы одна коровушка
На барский двор вошла!
«Чу! песня за деревнею,
Прощай, горюшка бедная!
Идем встречать народ».

Легко вздохнули странники:
Им после дворни ноющей
Красива показалася
Здоровая, поющая
Толпа жнецов и жниц,
Всё дело девки красили
(Толпа без красных девушек,
Что рожь без васильков).

«Путь добрый! А которая
Матрена Тимофеевна?»

— Что́ нужно, молодцы? —

Матрена Тимофеевна
Осанистая женщина,
Широкая и плотная,
Лет тридцати осьми.
Красива; волос с проседью,
Глаза большие, строгие,
Ресницы богатейшие,
Сурова и смугла.
На ней рубаха белая,
Да сарафан коротенький,
Да серп через плечо.

— Что нужно вам, молодчики? —

Помалчивали странники,
Покамест бабы прочие
Не поушли вперед,
Потом поклон отвесили:
«Мы люди чужестранные,
У нас забота есть,
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды.
Мы мужики степенные,
Из временно-обязанных,
Подтянутой губернии,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Несытова, Неелова,
Заплатова, Дырявина,
Горелок, Голодухина,
Неурожайка-тож.
Идя путем-дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлись мы — и заспорили,
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому, —

Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Пахом сказал: светлейшему,
Вельможному боярину,
Министру государеву,
А Пров сказал: царю...
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь! Как ни спорили,
Не согласились мы!
Поспоривши, повздорили,
Повздоривши, подралися,
Подравшися, удумали
Не расходиться врозь,
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда спору нашему
Решенья не найдем,
Покуда не доведаем
Как ни на есть — доподлинно,
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?..

Попа уж мы доведали,
Доведали помещика,
Да прямо мы к тебе!
Чем нам искать чиновника,
Купца, министра царского,
Царя (еще допустит ли
Нас, мужичонков, царь?)
Освободи нас, выручи!
Молва идет всесветная,
Что ты вольготно, счастливо
Живешь... Скажи по-божески,
В чем счастие твое?»

Не то, чтоб удивилася
Матрена Тимофеевна,

А как-то закручинилась,
Задумалась она...

— Не дело вы затеяли!
Теперь пора рабочая,
Досуг ли толковать? .. —

«Полцарства мы промеряли,
Никто нам не отказывал!» —
Просили мужики.

— У нас уж колос сыпется,
Рук нехватает, милые. —
«А мы на что, кума?
Давай серпы! Все семеро
Как станем завтра, — к вечеру
Всю рожь твою сожнем!»

Смекнула Тимофеевна,
Что дело подходящее.
— Согласна, — говорит, —
Такие-то вы бравые,
Нажнете, не заметите,
Снопов по десяти. —

«А ты нам душу выложи!»

— Не скрою ничего!

Покуда Тимофеевна
С хозяйством управлялася,
Крестьяне место знатное
Избрали за избой:
Тут рига, конопляники,
Два стога здоровенные,
Богатый огород.
И дуб тут рос — дубов краса.
Под ним присели странники:
«Эй, скатерть самобранная,
Попотчуй мужиков».

И скатерть развернулася,
Откудова ни взялися,

Две дюжие руки
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять...
Гогочут братья Губины:
Такую редьку схапали
На огороде — страсть!

Уж звезды рассажалися
По небу темносинему,
Высоко месяц стал,
Когда пришла хозяюшка
И стала нашим странникам
«Всю душу открывать...»

Глава I
ДО ЗАМУЖСТВА

Мне счастье в девках выпало:
У нас была хорошая,
Непьющая семья.
За батюшкой, за матушкой,
Как у Христа за пазухой,
Жила я, молодцы.
Отец, поднявшись до́-свету,
Будил дочурку ласкою,
А брат веселой песенкой;
Покамест одевается,
Поет: «Вставай, сестра!
По избам обряжаются,
В часовенках спасаются —
Пора вставать, пора!
Пастух уж со скотиною
Угнался; за малиною
Ушли подружки в бор;
В полях трудятся пахари,
В лесу стучит топор!»
Управится с горшечками,
Всё вымоет, всё выскребет,
Посадит хлебы в печь, —
Идет родная матушка,
Не будит — пуще кутает:

«Спи, милая, касатушка,
Спи, силу запасай!
В чужой семье — недолог сон!
Уложат спать позднехонько,
Придут будить до солнышка,
Лукошко припасут,
На донце бросят корочку:
Сгложи ее — да полное
Лукошко набери! ..»

Да не в лесу родилася,
Не пеньям я молилася,
Не много я спала.
В день Симеона батюшка
Сажал меня на бурушку
И вывел из младенчества [1]
По пятому годку;
А на седьмом за бурушкой
Сама я в стадо бегала,
Отцу носила завтракать,
Утяточек пасла.
Потом грибы, да ягоды,
Потом: «Бери-ка грабельки,
Да сено вороши!»
Так к делу приобыкла я...
И добрая работница,
И петь-плясать охотница
Я смолоду была.
День в поле проработаешь,
Грязна домой воротишься,
А банька-то на что?

Спасибо жаркой баенке,
Березовому веничку,
Студеному ключу, —
Опять бела, свежехонька,
За прялицей с подружками
До полночи поешь!

На парней я не вешалась,
Наянов обрывала я,

[1] Деревенский обычай.

А тихому шепну:
«Я личиком разгарчива,
А матушка догадлива,
Не тронь! уйди! ..» уйдет...

Да как я их ни бегала,
А выискался суженый,
На горе — чужанин!
Филипп Корчагин — питерщик,
По мастерству печник.
Родительница плакала:
«Как рыбка в море синее
Юркнешь ты! как соловушко
Из гнездышка порхнешь!
Чужая-то сторонушка
Не сахаром посыпана,
Не медом полита!
Там холодно, там голодно,
Там холеную доченьку
Обвеют ветры буйные,
Обграют черны вóроны,
Облают псы косматые,
И люди засмеют! ..»
А батюшка со сватами
Подвыпил. Закручинилась,
Всю ночь я не спала...

Ах! что ты, парень, в девице
Нашел во мне хорошего?
Где высмотрел меня?
О святках ли, как с горок я
С ребятами, с подругами
Каталась, смеючись?
Ошибся ты, отецкий сын!
С игры, с катанья, с беганья,
С морозу разгорелося
У девушки лицо!
На тихой ли беседушке?
Я там была нарядная,
Дородства и пригожества
Понакопила за зиму,
Цвела, как маков цвет!

А ты бы поглядел меня,
Как лен треплю, как снопики
На риге молочу...
В дому ли во родительском?..
Ах! кабы знать! Послала бы
Я в город братца-сокола:
«Мил-братец! шелку, гарусу
Купи — семи цветов,
Да гарнитуру синего!»
Я по углам бы вышила
Москву, царя с царицею,
Да Киев, да Царьград,
А посередке — солнышко,
И эту занавесочку
В окошке бы повесила,
Авось, ты загляделся бы, —
Меня бы промигал!..

Всю ночку я продумала...
«Оставь, — я парню молвила, —
Я в подневолье с волюшки,
Бог видит, не пойду!»

— Такую даль мы ехали!
Иди! — сказал Филиппушка. —
Не стану обижать! —

Тужила, горько плакала,
А дело девка делала:
На суженого искоса
Поглядывала втай.
Пригож-румян, широк-могуч,
Рус волосом, тих говором —
Пал на́ сердце Филипп!

«Ты стань-ка, добрый молодец,
Против меня прямехонько,
Стань на одной доске!
Гляди мне в очи ясные,
Гляди в лицо румяное,
Подумывай, смекай:
Чтоб жить со мной — не каяться,

А мне с тобой не плакаться...
Я вся тут такова!»

— Небось, не буду каяться,
Небось, не будешь плакаться. —
Филиппушка сказал.

Пока мы торговалися:
Филиппу я: «Уйди ты прочь!»
А он: «Иди со мной!»
Известно: «Ненаглядная,
Хорошая... пригожая...»
— Ай!.. — Вдруг рванулась я...
«Чего ты? Эка силища!»
Не удержи — не видеть бы
Вовек ему Матренушки,
Да удержал Филипп!
Пока мы торговалися,
Должно быть, так я думаю,
Тогда и было счастьицо...
А больше вряд когда!

Я помню, ночка звездная,
Такая же хорошая,
Как и теперь, была...»

Вздохнула Тимофеевна,
Ко стогу приклонилася.
Унывным, тихим голосом
Пропела про себя:

Ты скажи, за что,
Молодой купец,
Полюбил меня,
Дочь крестьянскую?
Я не в серебре,
Я не в золоте,
Жемчугами я
Не увешана!

— Чисто серебро —
Чистота твоя;
Красно золото —

Красота твоя;
Бел-крупен жемчуг —
Из очей твоих
Слезы катятся. . .

«Велел родимый батюшка,
Благословила матушка,
Поставили родители
К дубовому столу,
С краями чары налили:
«Бери поднос, гостей-чужан
С поклоном обноси!»
Впервой я поклонилася —
Вздрогнули ноги резвые;
Второй я поклонилася —
Поблекло бело личико,
Я в третий поклонилася —
И волюшка[1] скатилася
С девичьей головы. . .»

—

— Так значит: свадьба? Следует, —
Сказал один из Губиных, —
Проздравить молодых. —

— Давай! начин с хозяюшки.
— Пьешь водку, Тимофеевна? —

«Старухе — да не пить?. .»

Глава II

ПЕСНИ

У суда стоять
Ломит ноженьки;
Под венцом стоять
Голова болит;
Голова болит,

---

[1] Во время последней вечеринки, или порученья, с невесты снимают волю, т. е. ленту, которую носят девицы до замужества.

Вспоминается
Песня старая,
Песня грозная.
На широкий двор
Гости въехали,
Молоду жену
Муж домой привез,
А роденька-то
Как набросится!
Деверек ее —
Расточихою,
А золовушка —
Щеголихою,
Свекор-батюшка —
Тот медведицей,
А свекровушка —
Людоедицей,
Кто неряхою,
Кто непряхою. . .

Все, что в песенке
Той певалося,
Все со мной теперь
То и сталося!
Чай, певали вы?
Чай, вы знаете?..

— Начинай, кума!
Нам подхватывать. . .

Матрена

Спится мне, младенькой, дремлется,
Клонит голову на подушечку;
Свекор-батюшка по сеничкам похаживает,
Сердитый по новым погуливает.

Странники

(хором)

Стучит, гремит, стучит, гремит,
Снохе спать не дает:
Встань, встань, встань, ты — сонливая!
Встань, встань, встань, ты — дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!

Матрена

Спится мне, младенькой, дремлется,
Клонит голову на подушечку;
Свекровь-матушка по сеничкам похаживает,
Сердитая по новым погуливает.

Странники

(хором)

Стучит, гремит, стучит, гремит,
Снохе спать не дает:
Встань, встань, встань, ты — сонливая!
Встань, встань, встань, ты — дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая!

«Семья была большущая,
Сварливая... попала я
С девичьей холи в ад!
В работу муж отправился,
Молчать, терпеть советовал:
Не плюй на раскаленное
Железо — зашипит!
Осталась я с золовками,
Со свекром, со свекровушкой,
Любить-голубить некому,
А есть кому журить!
На старшую золовушку,
На Марфу богомольную
Работай, как раба;
За свекором приглядывай,
Сплошаешь — у кабатчика
Пропажу выкупай.
И встань, и сядь с приметою,
Не то свекровь обидится;
А где их все-то знать?
Приметы есть хорошие,
А есть и бедокурные.
Случилось так: свекровь
Надула в уши свекору,
Что рожь добрее родится
Из краденых семян.
Поехал ночью Тихоныч,

Поймали, — полумертвого
Подкинули в сарай...

Как велено, так сделано:
Ходила с гневом на сердце,
А лишнего не молвила
Словечка никому.
Зимой пришел Филиппушка,
Привез платочек шелковый,
Да прокатил на саночках
В Екатеринин день,[1]
И горя словно не было!
Запела, как певала я
В родительском дому.
Мы были однолеточки,
Не трогай нас — нам весело,
Всегда у нас лады.
То правда, что и мужа-то
Такого, как Филиппушка,
Со свечкой поискать...»

— Уж будто не колачивал?

Замялась Тимофеевна:
«Раз только», — тихим голосом
Промолвила она.

— За что? — спросили странники.

«Уж будто вы не знаете,
Как ссоры деревенские
Выходят? К муженьку
Сестра гостить приехала,
У ней коты разбилися.
— Дай башмаки Оленушке,
Жена! — сказал Филипп.
А я не вдруг ответила.
Корчагу подымала я,
Такая тяга: вымолвить
Я слова не могла.
Филипп Ильич прогневался,

---

[1] Первое катанье на санях.

Пождал, пока поставила
Корчагу на шесток,
Да хлоп меня в висок!
— Ну, благо ты приехала,
И так походишь! — молвила
Другая, незамужняя
Филиппова сестра.

Филипп подбавил женушке.

— Давненько не видались мы,
А знать бы — так не ехать бы! —
Сказала тут свекровь.

Еще подбавил Филюшка...
И все тут! Не годилось бы
Жене побои мужнины
Считать; да уж сказала я:
Не скрою ничего!»

— Ну, женщины! с такими-то
Змеями подколодными
И мертвый плеть возьмет!

Хозяйка не ответила.
Крестьяне, ради случаю,
По новой чарке выпили
И хором песню грянули
Про шелковую плеточку,
Про мужнину родню.

*

Мой постылый муж
Подымается:
За шелкову плеть
Принимается.

Хор

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...
Ах! лели! лели!
Кровь пробрызнула...

*

Свекру-батюшке
Поклонилася:
Свекор-батюшка,
Отними меня
От лиха-мужа,
Змея лютого!
Свекор-батюшка
Велит больше бить,
Велит кровь пролить...

Хор

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...
Ах! лели! лели!
Кровь пробрызнула...

*

Свекровь-матушке
Поклонилася:
Свекровь-матушка,
Отними меня
От лиха-мужа,
Змея лютого!
Свекровь-матушка
Велит больше бить,
Велит кровь пролить...

Хор

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...
Ах! лели! лели!
Кровь пробрызнула...

«Филипп на Благовещенье
Ушел, а на Казанскую
Я сына родила.
Как писаный был Демушка!
Краса взята у солнышка,
У снега белизна,
У маку губы алые,

Бровь черная у соболя,
У соболя сибирского,
У сокола глаза!
Весь гнев с души красавец мой
Согнал улыбкой ангельской,
Как солнышко весеннее
Сгоняет снег с полей...
Не стала я тревожиться,
Что ни велят — работаю,
Как ни бранят — молчу.

Да тут беда подсунулась:
Абрам Гордеич Ситников,
Господский управляющий,
Стал крепко докучать:
— Ты писаная кралечка,
Ты наливная ягодка... —
«Отстань, бесстыдник! ягодка,
Да бору не того!»
Укланяла золовушку,
Сама нейду на барщину,
Так в избу прикатит!
В сарае, в риге спрячуся, —
Свекровь оттуда вытащит:
«Эй, не шути с огнем!»
— Гони его, родимая,
По шее! — «А не хочешь ты
Солдаткой быть?» — Я к дедушке:
— Что делать? Научи!

Из всей семейки мужниной
Один Савелий, дедушка,
Родитель свекра-батюшки,
Жалел меня... Рассказывать
Про деда, молодцы?»

— Вали всю подноготную!
Накинем по два снопика, —
Сказали мужики.

«Ну, то-то! речь особая,
Грех промолчать про дедушку,
Счастливец тоже был...»

Глава III

САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

«С большущей сивой гривою,
Чай, двадцать лет нестриженой,
С большущей бородой,
Дед на медведя смахивал,
Особенно как из лесу,
Согнувшись, выходил.
Дугой спина у дедушки.
Сначала все боялась я,
Как в низенькую горенку
Входил он: ну, распрямится?
Пробьет дыру медведище
В светелке головой!
Да распрямиться дедушка
Не мог: ему уж стукнуло,
По сказкам, сто годов.
Дед жил в особой горнице,
Семейки недолюбливал,
В свой угол не пускал;
А та сердилась, лаялась,
Его «клейменым, каторжным»
Честил родной сынок.
Савелий не рассердится.
Уйдет в свою светелочку,
Читает святцы, крестится,
Да вдруг и скажет весело:
«Клейменый, да не раб!»...
А крепко досадят ему,
Подшутит: «Поглядите-тко,
К нам сваты!» Незамужняя
Золовушка — к окну:
Ан вместо сватов — нищие!
Из оловянной пуговки
Дед вылепил двугривенный,
Подбросил на полу —
Попался свекор-батюшка!
Не пьяный из питейного,
Побитый приплелся!
Сидят, молчат за ужином:
У свекра бровь рассечена,

У деда, словно радуга,
Усмешка на лице.

С весны до поздней осени
Дед брал грибы да ягоды,
Силочки становил
На глухарей, на рябчиков,
А зиму разговаривал
На печке сам с собой.
Имел слова любимые,
И выпускал их дедушка
По слову через час».

. . . .

«Погибшие... пропащие...»

. . . .

«Эх вы, Аники-воины!
Со стариками, с бабами
Вам только воевать!»

. . . .

«Недотерпеть — пропасть,
Перетерпеть — пропасть!..»

. . . .

«Эх, доля святорусского
Богатыря сермяжного!
Всю жизнь его дерут,
Раздумается временем
О смерти — муки адские
В ту-светной жизни ждут».

. . . .

«Надумалась Корёжина,
Наддай! наддай! наддай!..»

. . . .

И много! да забыла я...
Как свекор развоюется,
Бежала я к нему.
Запремся. Я работаю,
А Дема, словно яблочко
В вершине старой яблони,
У деда на плече
Сидит румяный, свеженький...

Вот раз и говорю:
— За что тебя, Савельюшка,
Зовут клейменым, каторжным? —

«Я каторжником был».
— Ты, дедушка? —
«Я, внученька!
Я в землю немца Фогеля
Христьяна Христианыча
Живого закопал...»
— И полно! шутишь, дедушка! —

«Нет, не шучу. Послушай-ка!»
И все мне рассказал.

«Во времена досюльные
Мы были тоже барские,
Да только ни помещиков,
Ни немцев управителей
Не знали мы тогда.
Не правили мы барщины,
Оброков не платили мы,
А так, когда рассудится,
В три года раз пошлем».

— Да как же так, Савельюшка?

«А были благодатные
Такие времена.
Недаром есть пословица,
Что нашей-то сторонушки
Три года чорт искал,
Кругом леса дремучие,
Кругом болота топкие,
Ни конному проехать к нам,
Ни пешему пройти!
Помещик наш Шалашников
Через тропы звериные
С полком своим — военный был —
К нам доступиться пробовал,
Да лыжи повернул!
К нам земская полиция
Не попадала по году, —
Вот были времена!
А нынче — барин под боком,
Дорога скатерть скатертью...

Тьфу! прах ее возьми! ..
Нас только и тревожили
Медведи... да с медведями
Справлялись мы легко.
С ножищем, да с рогатиной
Я сам страшней сохатого,
По заповедным тропочкам
Иду. «Мой лес!» — кричу.
Раз только испугался я,
Как наступил на сонную
Медведицу в лесу.
И то бежать не бросился,
А так всадил рогатину,
Что, словно как на вертеле
Цыпленок, завертелася,
И часу не жила!
Спина в то время хрустнула,
Побаливала изредка,
Покуда молод был,
А к старости согнулася.
Не правда ли, Матренушка,
На очеп[1] я похож?»

— Ты начал, так досказывай!
Ну, жили — не тужили вы,
Что ж дальше, голова? —

«По времени Шалашников
Удумал штуку новую,
Приходит к нам приказ:
«Явиться!» Не явились мы,
Притихли, не шелохнемся
В болотине своей.
Была засуха сильная,
Наехала полиция,
Мы дань ей — медом, рыбою!
Наехала опять,
Грозит с конвоем выправить,
Мы — шкурами звериными!
А в третий — мы ничем!

---

[1] Жердь, принадлежность деревенского колодца.

Обули лапти старые,
Надели шапки рваные,
Худые армяки —
И тронулась Корёжина! ..
Пришли... (В губернском городе
Стоял с полком Шалашников.)
«Оброк!» — Оброку нет!
Хлеба не уродилися,
Снеточки не ловилися... —
«Оброк!» — Оброку нет! —
Не стал и разговаривать:
«Эй, перемена первая!»
И начал нас пороть.

Туга мошна корёжская!
Да стоек и Шалашников:
Уж языки мешалися,
Мозги уж потрясалися,
В головушках — дерет!
Укрепа богатырская,
Не розги! .. Делать нечего!
Кричим: постой, дай срок!
Онучи распороли мы
И барину «лобанчиков»
Полшапки поднесли.

Утих боец Шалашников!
Такого-то горчайшего
Поднес нам травнику,
Сам выпил с нами, чокнулся
С Корёгой покоренною:
«Ну, благо вы сдались!
А то — вот бог! — решился я
Содрать с вас шкуру начисто...
На барабан напялил бы
И подарил полку!
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
(Хохочет — рад придумочке.)
Вот был бы барабан!»

Идем домой понурые...
Два старика кряжистые

Смеются... Ай, кряжи!
Бумажки сторублевые
Домой под подоплекою
Нетронуты несут!
Как уперлись: мы нищие,
Так тем и отбоярились!
Подумал я тогда:
Ну, ладно ж! черти сивые,
Вперед не доведется вам
Смеяться надо мной!
И прочим стало совестно,
На церковь побожилися:
«Вперед не посрамимся мы,
Под розгами умрем!»

Понравились помещику
Корёжские лобанчики,
Что́ год — зовет... дерет...
Отменно драл Шалашников,
А не ахти великие
Доходы получал:
Сдавались люди слабые,
А сильные за вотчину
Стояли хорошо.
Я тоже перетерпливал,
Помалчивал, подумывал:
«Как ни дери, собачий сын,
А всей души не вышибешь,
Оставишь что-нибудь!»
Как примет дань Шалашников,
Уйдем — и за заставою
Поделим барыши:
«Что денег-то осталося!
Дурак же ты, Шалашников!»
И тешилась над барином
Корёга в свой черед!
Вот были люди гордые!
А нынче дай затрещину —
Исправнику, помещику
Тащат последний грош!

Зато купцами жили мы...

Подходит лето красное,
Ждем грамоты... Пришла...
А в ней уведомление,
Что господин Шалашников
Под Варною убит.
Жалеть не пожалели мы,
А пала дума нá сердце:
«Приходит благоденствию
Крестьянскому конец!»
И точно: небывалое
Наследник средство выдумал:
К нам немца подослал.
Через леса дремучие,
Через болота топкие
Пешком пришел, шельмец!
Один, как перст: фуражечка
Да тросточка, а в тросточке
Для уженья снаряд.
И был сначала тихонький:
«Платите, сколько можете».
— Не можем ничего! —
«Я барина уведомлю».
— Уведомь!.. — Тем и кончилось.
Стал жить да поживать;
Питался больше рыбою,
Сидит на речке с удочкой
Да сам себя то по носу,
То по лбу — бац да бац!
Смеялись мы: «Не любишь ты
Корёжского комарика...
Не любишь, немчура?..
Катается по бережку,
Гогочет диким голосом,
Как в бане на полке...

С ребятами, с девочками
Сдружился, бродит по лесу...
Недаром он бродил!
«Коли платить не можете,
Работайте!» — А в чем твоя
Работа? — «Окопать
Канавами желательно

Болото. . .» Окопали мы. . .
«Теперь рубите лес. . .»
— Ну, хорошо! — Рубили мы,
А немчура показывал,
Где надобно рубить.
Глядим: выходит просека!
Как просеку прочистили,
К болоту поперечины
Велел по ней возить:
Ну, словом: спохватились мы,
Как уж дорогу сделали,
Что немец нас поймал!

Поехал в город парочкой!
Глядим, везет из города
Коробки, тюфяки,
Откудова ни взялися
У немца босоногого
Детишки и жена.
Повел хлеб-соль с исправником
И с прочей земской властию,
Гостишек полон двор!

И тут настала каторга
Корёжскому крестьянину —
До нитки разорил!
А драл. . . как сам Шалашников!
Да тот был прост: накинется
Со всей воинской силою,
Подумаешь: убьет!
А деньги сунь, отвалится,
Ни дать, ни взять раздувшийся
В собачьем ухе клещ.
У немца — хватка мертвая:
Пока не пустит по́-миру,
Не отойдя, сосет!»

— Как вы терпели, дедушка? —

«А потому терпели мы,
Что мы — богатыри.
В том богатырство русское.

Ты думаешь, Матренушка,
Мужик — не богатырь?
И жизнь его не ратная,
И смерть ему не писана
В бою — а богатырь!

Цепями руки кручены,
Железом ноги кованы,
Спина... леса дремучие
Прошли по ней — сломалися.
А грудь? Илья пророк
По ней гремит-катается
На колеснице огненной...
Все терпит богатырь!

И гнется, да не ломится,
Не ломится, не валится...
Ужли не богатырь?»

— Ты шутишь шутки, дедушка!
Сказала я. — Такого-то
Богатыря могучего,
Чай, мыши заедят! —

— Не знаю я, Матренушка.
Покамест тягу страшную
Поднять-то поднял он,
Да в землю сам ушел по грудь
С натуги! По лицу его
Не слезы — кровь течет!
Не знаю, не придумаю:
Что будет? Богу ведомо!
А про себя скажу:
Как выли вьюги зимние,
Как ныли кости старые,
Лежал я на печи;
Полеживал, подумывал:
Куда ты, сила, делася?
На что ты пригодилася?
Под розгами, под палками
По мелочам ушла!»

— А что же немец, дедушка? —

«А немец, как ни властвовал,
Да наши топоры
Лежали — до поры!

Осьмнадцать лет терпели мы.
Застроил немец фабрику,
Велел колодец рыть.
Вдевятером копали мы,
До полдня проработали,
Позавтракать хотим.
Приходит немец: «Только-то?..»
И начал нас по-своему,
Не торопясь, пилить.
Стояли мы голодные,
А немец нас поругивал
Да в яму землю мокрую
Пошвыривал ногой.
Была уж яма добрая...
Случилось, я легонечко
Толкнул его плечом,
Потом другой толкнул его,
И третий... Мы посгрудились...
До ямы два шага...
Мы слова не промолвили,
Друг другу не глядели мы
В глаза... а всей гурьбой
Христьяна Христианыча
Поталкивали бережно
Всё к яме... всё на край...
И немец в яму бухнулся,
Кричит: веревку! лестницу!
Мы девятью лопатами
Ответили ему.
«Наддай!» — я слово выронил, —
Под слово люди русские
Работают дружней, —
«Наддай! наддай!» Так наддали,
Что ямы словно не было —
Сравнялася с землей!
Тут мы переглянулися...»

Остановился дедушка.

— Что ж дальше? —

«Дальше дрянь!
Кабак... острог в Буй-городе,
Там я учился грамоте,
Пока решили нас.
Решенье вышло: каторга
И плети предварительно;
Не выдрали — помазали,
Плохое там дранье!
Потом... бежал я с каторги...
Поймали! не погладили
И тут по голове.
Заводские начальники
По всей Сибири славятся —
Собаку съели драть.
Да нас дирал Шалашников
Больней — я не поморщился
С заводского дранья.
Тот мастер был — умел пороть!
Он так мне шкуру выделал,
Что носится сто лет.

А жизнь была нелегкая:
Лет двадцать строгой каторги,
Лет двадцать поселения.
Я денег прикопил,
По манифесту царскому
Попал опять на родину,
Пристроил эту горенку
И здесь давно живу.
Покуда были денежки,
Любили деда, холили,
Теперь в глаза плюют!
Эх вы, Аники-воины!
Со стариками, с бабами
Вам только воевать...»

Тут кончил речь Савельюшка...

— Ну, что ж? — сказали странники. —
Досказывай, хозяюшка,
Свое житье-бытье! —

«Невесело досказывать.
Одной беды бог миловал:
Холерой умер Ситников, —
Другая подошла».

— Наддай! — сказали странники
(Им слово полюбилося)
И выпили винца...

Глава IV

ДЕМУШКА

Зажгло грозою дерево,
А было соловьиное
На дереве гнездо.
Горит и стонет дерево,
Горят и стонут птенчики:
«Ой, матушка! где ты?
А ты бы нас похолила,
Пока не оперились мы:
Как крылья отрастим,
В долины, в рощи тихие
Мы сами улетим!»
Дотла сгорело дерево,
Дотла сгорели птенчики,
Тут прилетела мать.
Ни дерева, ни гнездышка...
Ни птенчиков!.. Поет-зовет...
Поет, рыдает, кружится,
Так быстро, быстро кружится,
Что крылышки свистят!..
Настала ночь, весь мир затих,
Одна рыдала пташечка,
Да мертвых не докликалась
До белого утра!..

Носила я Демидушку
По поженкам... лелеяла...
Да взъелася свекровь,
Как зыкнула, как рыкнула:
«Оставь его у дедушки,

Немного с ним нажнешь!»
Запугана, заругана,
Перечить не посмела я,
Оставила дитя.

Такая рожь богатая
В тот год у нас родилася,
Мы землю не ленясь
Удобрили, ухолили, —
Трудненько было пахарю,
Да весело жнее!
Снопами нагружала я
Телегу со стропилами
И пела, молодцы.
(Телега нагружается
Всегда с веселой песнею,
А сани — с горькой думою:
Телега хлеб домой везет,
А сани — на базар!)
Вдруг стоны я услышала:
Ползком ползет Савелий дед,
Бледнешенек, как смерть:
— Прости, прости, Матренушка! —
И повалился в ноженьки. —
Мой грех — недоглядел!..

Ой, ласточка! ой, глупая!
Не вей гнезда под берегом,
Под берегом крутым!
Что день — то прибавляется
Вода в реке: зальет она
Детенышей твоих.
Ой, бедная молодушка!
Сноха в дому последняя,
Последняя раба!
Стерпи грозу великую,
Прими побои лишние,
А с глазу неразумного
Младенца не спускай!..

Заснул старик на солнышке,
Скормил свиньям Демидушку

Придурковатый дед!..
Я клубышком каталася,
Я червышком свивалася,
Звала, будила Демушку —
Да поздно было звать!..

Чу! конь стучит копытами,
Чу, сбруя золоченая
Звенит... еще беда!
Ребята испугалися,
По избам разбежалися,
У окон заметалися
Старухи, старики.
Бежит деревней староста,
Стучит в окошки палочкой,
Бежит в поля, в луга.
Собрал народ: идут — крехтят!
Беда! Господь прогневался,
Наслал гостей непрошенных,
Неправедных судей!
Знать, деньги издержалися,
Сапожки притопталися,
Знать, голод разобрал!..

Молитвы Иисусовой
Не сотворив, уселися
У земского стола,
Налой и крест поставили,
Привел наш поп, отец Иван,
К присяге понятых.

Допрашивали дедушку,
Потом за мной десятника
Прислали. Становой
По горнице похаживал...
Как зверь в лесу порыкивал...
«Эй! женка! состояла ты
С крестьянином Савелием
В сожительстве? Винись!»
Я шепотком ответила:
— Обидно, барин, шутите!

Жена я мужу честная,
А старику Савелию
Сто лет... Чай, знаешь сам? —
Как в стойле конь подкованный,
Затопал; о кленовый стол
Ударил кулаком:
«Молчать! не по согласью ли
С крестьянином Савелием
Убила ты дитя?..»
Владычица! что вздумали!
Чуть мироеда этого
Не назвала я нехристем,
Вся закипела я...
Да лекаря увидела:
Ножи, ланцеты, ножницы
Натачивал он тут.
Вздрогнула я, одумалась.
— Нет, — говорю, — я Демушку
Любила, берегла... —
«А зельем не поила ты?
А мышьяку не сыпала?»
— Нет! сохрани господь!.. —
И тут я покорилася,
Я в ноги поклонилася:
«Будь жалостлив, будь добр!
Вели без поругания
Честному погребению
Ребеночка предать!
Я мать ему!..» Упросишь ли?
В груди у них нет душеньки,
В глазах у них нет совести,
На шее — нет креста!

Из тонкой из пеленочки
Повыкатали Демушку
И стали тело белое
Терзать и пластовать.
Тут свету я не взвидела, —
Металась и кричала я:
«Злодеи! палачи!..
Падите мои слезоньки

Не нá землю, не нá воду,
Не на господень храм!
Падите прямо нá сердце
Злодею моему!
Ты дай же, боже-господи!
Чтоб тлен пришел на платьице,
Безумье на головушку
Злодея моего!
Жену ему неумную
Пошли, детей — юродивых!
Прими, услыши, господи,
Молитвы, слезы матери,
Злодея накажи!..»[1]
— Никак, она помешана? —
Сказал начальник сотскому. —
Что ж ты не упредил?
Эй! не дури! связать велю!..

Присела я на лавочку.
Ослабла, вся дрожу.
Дрожу, гляжу на лекаря:
Рукавчики засучены,
Грудь фартуком завешана,
В одной руке — широкий нож,
В другой — ручник, и кровь на нем,
А на носу очки!
Так тихо стало в горнице...
Начальничек помалчивал,
Поскрипывал пером;
Поп трубочкой попыхивал;
Не шелохнувшись, хмурые
Стояли мужики.
«Ножом в сердцах читаете», —
Сказал священник лекарю,
Когда злодей у Демушки
Сердечко распластал.
Тут я опять рванулася...
«Ну, так и есть — помешана!
Связать ее!» — десятнику
Начальник закричал.

---

[1] Взято почти буквально из народного причитания.

Стал понятых опрашивать:
«В крестьянке Тимофеевой
И прежде помешательство
Вы примечали?»

— Нет!

Спросили свекра, деверя,
Свекровушку, золовушку:

— Не примечали, нет!

Спросили деда старого:

— Не примечал! ровна была...
Одно: к начальству кликнули,
Пошла... а ни целковика,
Ни новины, пропащая,
С собой и не взяла!

Заплакал на́взрыд дедушка.
Начальничек нахмурился,
Ни слова не сказал.
И тут я спохватилася!
Прогневался бог: разуму
Лишил! была готовая
В коробке новина!
Да поздно было каяться.
В моих глазах по косточкам
Изрезал лекарь Демушку,
Цыновочкой прикрыл.
Я словно деревянная
Вдруг стала: загляделась я,
Как лекарь руки мыл,
Как водку пил. Священнику
Сказал: прошу покорнейше!
А поп ему: «Что просите?
Без прутика, без кнутика
Все ходим, люди грешные,
На этот водопой!»

Крестьяне настоялися,
Крестьяне надрожалися,

(Откуда только бралися
У коршуна налетного
Корыстные дела!)
Без церкви намолилися,
Без образа накланялись!
Как вихорь налетал —
Рвал бороды начальничек,
Как лютый зверь наскакивал —
Ломал перстни злаченые...
Потом он кушать стал.
Пил-ел, с попом беседовал.
Я слышала, как шопотом
Поп плакался ему:
«У нас народ — все голь да пьянь,
За свадебку, за исповедь
Должают по годам.
Несут гроши последние
В кабак! А благочинному
Одни грехи тащат!»
Потом я песни слышала,
Всё голоса знакомые,
Девичьи голоса:
Наташа, Глаша, Дарьюшка...
Чу! пляска! чу! гармония!..
И вдруг затихло всё...
Заснула видно, что́ ли, я?
Легко вдруг стало: чудилось,
Что кто-то наклоняется
И шепчет надо мной:
«Усни, многокручинная!
Усни, многострадальная!»
И крестит... С рук скатилися
Веревки... Я не помнила
Потом уж ничего...

Очнулась я. Темно кругом,
Гляжу в окно — глухая ночь!
Да где же я? да что со мной?
Не помню, хоть убей!
Я выбралась на улицу —
Пуста. На небо глянула —
Ни месяца, ни звезд.

Сплошная туча черная
Висела над деревнею,
Темны дома крестьянские,
Одна пристройка дедова
Сияла, как чертог.
Вошла — и всё я вспомнила:
Свечами воску ярого
Обставлен, среди горенки
Дубовый стол стоял,
На нем гробочек крохотный,
Прикрыт камчатной скатертью,
Икона в головах...
«Ой, плотнички-работнички!
Какой вы дом построили
Сыночку моему?
Окошки не прорублены,
Стеколышки не вставлены,
Ни печи, ни скамьи!
Пуховой нет перинушки...
Ой, жестко будет Демушке,
Ой, страшно будет спать!..»
— Уйди!..— вдруг закричала я,
Увидела я дедушку:
В очках с раскрытой книгою
Стоял он перед гробиком,
Над Демою читал.
Я старика столетнего
Звала клейменым, каторжным.
Гневна, грозна кричала я:
— Уйди! убил ты Демушку!
Будь проклят ты... уйди!..

Старик ни с места. Крестится,
Читает... Уходилась я,
Тут дедко подошел:
«Зимой тебе, Матренушка,
Я жизнь мою рассказывал,
Да рассказал не все:
Леса у нас угрюмые,
Озера нелюдимые,
Народ у нас дикарь.
Суровы наши промыслы:

Дави тетерю петлею,
Медведя режь рогатиной,
Сплошаешь — сам пропал!
А господин Шалашников
С своей воинской силою?
А немец-душегуб?
Потом острог да каторга...
Окаменел я, внученька,
Лютее зверя был.
Сто лет зима бессменная
Стояла. Растопил ее
Твой Дема-богатырь!
Однажды я качал его,
Вдруг улыбнулся Демушка...
И я ему в ответ!
Со мною чудо сталося:
Третьеводни прицелился
Я в белку: на суку
Качалась бёлка... лапочкой,
Как кошка, умывалася...
Не выпалил: живи!
Брожу по рощам, по лугу,
Любуюсь каждым цветиком.
Иду домой, опять
Смеюсь, играю с Демушкой...
Бог видит, как я милого
Младенца полюбил!
И я же, по грехам моим,
Сгубил дитя невинное...
Кори, казни меня!
А с богом спорить нечего.
Стань! помолись за Демушку!
Бог знает, что творит:
Сладка ли жизнь крестьянина?»

И долго, долго дедушка
О горькой доле пахаря
С тоскою говорил...
Случись купцы московские,
Вельможи государевы,
Сам царь случись: не надо бы
Ладнее говорить!

«Теперь в раю твой Демушка,
Легко ему, светло ему...»

Заплакал старый дед.

— Я не ропщу, — сказала я, —
Что бог прибрал младенчика,
А больно то, зачем они
Ругалися над ним?
Зачем, как черны вóроны,
На части тело белое
Терзали?.. Неужли
Ни бог, ни царь не вступится? —

«Высоко бог, далеко царь...»

— Нужды нет, я дойду! —

«Ах! что ты? что ты, внученька?..
Терпи, многокручинная!
Терпи, многострадальная!
Нам правды не найти».

— Да почему же, дедушка? —

«Ты — крепостная женщина!» —
Савельюшка сказал.

Я долго, горько думала...
Гром грянул, окна вздрогнули,
И я вздрогнула... К гробику
Подвел меня старик:
«Молись, чтоб к лику ангелов
Господь причислил Демушку!»
И дал мне в руки дедушка
Горящую свечу.

Всю ночь до свету белого
Молилась я, а дедушка
Протяжным, ровным голосом
Над Демою читал...

Глава V

ВОЛЧИЦА

Уж двадцать лет, как Демушка
Дерновым одеялечком
Прикрыт, — все жаль сердечного!
Молюсь о нем, в рот яблока
До Спаса не беру.[1]
Не скоро я оправилась.
Ни с кем не говорила я,
А старика Савелия
Я видеть не могла.
Работать не работала.
Надумал свекор-батюшка
Вожжами поучить,
Так я ему ответила:
«Убей!» Я в ноги кланялась:
«Убей! один конец!»
Повесил вожжи батюшка.
На Деминой могилочке
Я день и ночь жила.
Платочком обметала я
Могилу, чтобы травушкой
Скорее поросла;
Молилась за покойничка,
Тужила по родителям:
Забыли дочь свою!
Собак моих боитеся?
Семьи моей стыдитеся?
— Ах, нет, родная, нет!
Собак твоих не боязно,
Семьи твоей не совестно,
А ехать сорок верст
Свои беды рассказывать,
Твои беды выспрашивать
Жаль бурушку гонять!
Давно бы мы приехали,
Да ту мы думу думали:

---

[1] Примета: если мать умершего младенца станет есть яблоки до Спаса (когда они поспевают), то бог в наказание не даст на том свете ее умершему младенцу «яблочка поиграть».

Приедем — ты расплачешься,
Уедем — заревешь!

Пришла зима: кручиною
Я с мужем поделилася,
В Савельевой пристроечке
Тужили мы вдвоем.

«Что ж, умер, что ли, дедушка?»

— Нет. Он в своей коморочке
Шесть дней лежал безвыходно,
Потом ушел в леса,
Так пел, так плакал дедушка,
Что лес стонал! А осенью
Ушел на покаяние
В Песочный монастырь.

У батюшки, у матушки
С Филиппом побывала я,
За дело принялась.
Три года, так считаю я,
Неделя за неделею,
Одним порядком шли.
Что год, то дети: некогда
Ни думать, ни печалиться,
Дай бог с работой справиться
Да лоб перекрестить.
Поешь — когда останется
От старших да от деточек,
Уснешь — когда больна...
А на четвертый новое
Подкралось горе лютое —
К кому оно привяжется,
До смерти не избыть!

Впереди летит — ясным соколом,
Позади летит — черным вороном,
Впереди летит — не укатится,
Позади летит — не останется...

Лишилась я родителей...
Слыхали ночи темные,

Слыхали ветры буйные
Сиротскую печаль,
А вам нет нужды сказывать...
На Демину могилочку
Поплакать я пошла.
Гляжу: могилка прибрана,
На деревянном крестике
Складная, золоченая
Икона. Перед ней
Я старца распростертого
Увидела. — Савельюшка!
Откуда ты взялся? —

«Пришел я из Песочного...
Молюсь за Дему бедного,
За все страдное русское
Крестьянство я молюсь!
Еще молюсь (не образу
Теперь Савелий кланялся),
Чтоб сердце гневной матери
Смягчил господь... Прости!»

— Давно простила, дедушка! —

Вздохнул Савелий... «Внученька!
А, внученька!» — Что, дедушка? —
«Попрежнему взгляни!»

Взглянула я попрежнему.
Савельюшка засматривал
Мне в очи; спину старую
Пытался разогнуть.
Совсем стал белый дедушка.
Я обняла старинушку
И долго у креста
Сидели мы и плакали.
Я деду горе новое
Поведала свое...

Недолго прожил дедушка.
По осени у старого
Какая-то глубокая
На шее рана сделалась.

Он трудно умирал:
Сто дней не ел: хирел да сох,
Сам над собой подтрунивал:
«Не правда ли, Матренушка,
На комара корёжского
Костлявый я похож?»
То добрый был, сговорчивый,
То злился, привередничал.
Пугал нас: «Не паши,
Не сей, крестьянин! Сгорбившись
За пряжей, за полотнами,
Крестьянка, не сиди!
Как вы ни бейтесь, глупые,
Что на роду написано,
Того не миновать!
Мужчинам три дороженьки:
Кабак, острог да каторга,
А бабам на Руси
Три петли: шелку белого,
Вторая — шелку красного,
А третья — шелку черного,
Любую выбирай! . .
В любую полезай. . .»
Так засмеялся дедушка,
Что все в коморке вздрогнули, —
И к ночи умер он.
Как приказал — исполнили:
Зарыли рядом с Демою. . .
Он жил сто семь годов.

Четыре года тихие,
Как близнецы похожие,
Прошли потом. . . Всему
Я покорилась: первая
С постели Тимофеевна,
Последняя — в постель;
За всех, про всех работаю,
С свекрови, с свекра пьяного,
С золовушки бракованной [1]

---

[1] Если младшая сестра выйдет замуж ранее старшей, то последняя называется бракованной.

Снимаю сапоги...
Лишь деточек не трогайте!
За них горой стояла я...
Случилось, молодцы,
Зашла к нам богомолочка;
Сладкоречивой странницы
Заслушивались мы;
Спасаться, жить по-божески
Учила нас угодница,
По праздникам к заутрени
Будила... а потом
Потребовала странница,
Чтоб грудью не кормили мы
Детей по постным дням.
Село переполошилось!
Голодные младенчики
По середам, по пятницам
Кричат! Иная мать
Сама над сыном плачущим
Слезами заливается:
И бога-то ей боязно,
И дитятка-то жаль!
Я только не послушалась,
Судила я по-своему:
Коли терпеть, так матери,
Я перед богом грешница,
А не дитя мое!

Да, видно, бог прогневался.
Как восемь лет исполнилось
Сыночку моему,
В подпаски свекор сдал его.
Однажды жду Федотушку —
Скотина уж пригналася —
На улицу иду.
Там видимо-невидимо
Народу! Я прислушалась
И бросилась в толпу.
Гляжу, Федота бледного
Силантий держит за ухо.
— Что держишь ты его? —
«Посечь хотим маненичко:

Овечками прикармливать
Надумал он волков!»
Я вырвала Федотушку,
Да с ног Силантья старосту
И сбила невзначай.

Случилось дело дивное:
Пастух ушел; Федотушка
При стаде был один.
«Сижу я, — так рассказывал
Сынок мой, — на пригорочке,
Откуда ни возьмись
Волчица преогромная
И хвать овечку Марьину!
Пустился я за ней,
Кричу, кнутищем хлопаю,
Свищу Валетку, усЫкаю...
Я бегать молодец,
Да где бы окаянную
Нагнать, кабы не щенная:
У ней сосцы волочились,
Кровавым следом, матушка,
За нею я гнался!

Пошла потише серая,
Идет, идет — оглянется,
А я как припущу!
И села... Я кнутом ее:
«Отдай овцу, проклятая!»
Не отдает, сидит...
Я не сробел: «Так вырву же,
Хоть умереть!..» И бросился,
И вырвал... Ничего —
Не укусила серая!
Сама едва живехонька,
Зубами только щелкает
Да дышит тяжело.
Под ней река кровавая,
Сосцы травой изрезаны,
Все ребра на счету,
Глядит, поднявши голову,
Мне в очи... и завыла вдруг!

Завыла, как заплакала.
Пощупал я овцу;
Овца была уж мертвая...
Волчица так ли жалобно
Глядела, выла... Матушка!
Я бросил ей овцу!..»

Так вот что с парнем сталося.
Пришел в село, да, глупенький,
Все сам и рассказал,
За то и сечь надумали.
Да благо, подоспела я...
Силантий осерчал,
Кричит: «Чего толкаешься?
Самой под розги хочется?»
А Марья, та свое:
«Дай, пусть проучат глупого!»
И рвет из рук Федотушку.
Федот, как лист, дрожит.

Трубят рога охотничьи,
Помещик возвращается
С охоты. Я к нему:
— Не выдай! Будь заступником! —
«В чем дело?» Кликнул старосту
И мигом порешил:
«Подпаска малолетнего
По младости, по глупости
Простить... а бабу дерзкую
Примерно наказать!»

«Ай, барин!» Я подпрыгнула:
«Освободил Федотушку!
Иди домой, Федот!»

— Исполним повеленное! —
Сказал мирянам староста.
— Эй! погоди плясать!

Соседка тут подсунулась:
— А ты бы в ноги старосте...

«Иди домой, Федот!»

Я мальчика погладила:
«Смотри, коли оглянешься,
Я осержусь... Иди!»

Из песни слово выкинуть,
Так песня вся нарушится.
Легла я, молодцы...
. . . .
. . . .
. . . .

В Федотову коморочку,
Как кошка, я прокралася:
Спит мальчик, бредит, мечется;
Одна ручонка свесилась,
Другая на глазу
Лежит, в кулак зажатая:
Ты плакал, что ли, бедненький?
Спи. Ничего. Я тут!
Тужила я по Демушке,
Как им была беременна —
Слабенек родился,
Однако вышел умница:
На фабрике Алферова
Трубу такую вывели
С родителем, что страсть!
Всю ночь над ним сидела я,
Я пастушка любезного
До солнца подняла,
Сама обула в лапотки,
Перекрестила; шапочку,
Рожок и кнут дала.
Проснулась вся семеюшка,
Да я не показалась ей,
На пожню не пошла.

Я пошла на речку быструю,
Избрала я место тихое
У ракитова куста.
Села я на серый камушек,
Подперла рукой головушку,
Зарыдала, сирота!

Громко я звала родителя:
Ты приди, заступник батюшка!
Посмотри на дочь любимую...
Понапрасну я звала.
Нет великой оборонушки!
Рано гостья бесподсудная,
Бесплемянная, безродная,
Смерть родного унесла!

Громко кликала я матушку.
Отзывались ветры буйные,
Откликались горы дальние,
А родная не пришла!
День деннá моя печальница,
В ночь — ночная богомолица!
Никогда тебя, желанная,
Не увижу я теперь!
Ты ушла в бесповоротную,
Незнакомую дороженьку,
Куда ветер не доносится,
Не дорыскивает зверь...

Нет великой оборонушки!
Кабы знали вы, да ведали,
На кого вы дочь покинули,
Чтó без вас я выношу?
Ночь — слезами обливаюся,
День — как травка пристилаюся...
Я потупленную голову,
Сердце гневное ношу!..

Глава VI

ТРУДНЫЙ ГОД

В тот год необычайная
Звезда играла на небе;
Одни судили так:
Господь по небу шествует,
И ангелы его
Метут метлою огненной [1]

[1] Комета.

Перед стопами божьими
В небесном поле путь;
Другие то же думали,
Да только на Антихриста,
И чуяли беду.
Сбылось: пришла бесхлебица!
Брат брату не уламывал
Куска! Был страшный год...
Волчицу ту Федотову
Я вспомнила — голодную,
Похожа с ребятишками
Я на нее была!
Да тут еще свекровушка
Приметой прислужилася,
Соседкам наплела,
Что я беду накликала,
А чем? *Рубаху чистую
Надела в Рождество.*[1]
За мужем, за заступником,
Я дешево отделалась;
А женщину одну
Никак за то же самое
Убили на смерть кольями:
С голодным не шути!..

Одной бедой не кончилось:
Чуть справились с бесхлебицей —
Рекрутчина пришла.
Да я не беспокоилась:
Уж за семью Филиппову
В солдаты брат ушел.
Сижу одна, работаю,
И муж, и оба деверя
Уехали с утра;
На сходку свекор-батюшка
Отправился, а женщины
К соседкам разбрелись.
Мне крепко нездоровилось,
Была я Лиодорушкой

---

[1] Примета: не надевай чистую рубаху в Рождество: не то жди неурожая. (Есть у Даля.)

Беременна: последние
Дохаживала дни.
Управившись с ребятами,
В большой избе под шубою
На печку я легла.
Вернулись бабы к вечеру,
Нет только свекра-батюшки,
Ждут ужинать его.
Пришел: «Ох-ох! умаялся,
А дело не поправилось,
Пропали мы, жена!
Где видано, где слыхано:
Давно ли взяли старшего,
Теперь меньшого дай!
Я по годам высчитывал,
Я миру в ноги кланялся,
Да мир у нас какой?
Просил бурмистра: божится,
Что жаль, да делать нечего!
И писаря просил,
Да правды из мошенника
И топором не вырубишь,
Чтó тени из стены!
Задарен... все задарены...
Сказать бы губернатору,
Так он бы задал им!
Всего и попросить-то бы,
Чтоб он по нашей волости
Очередные росписи
Поверить повелел.
Да сунься-ка!» Заплакали
Свекровушка, золовушка,
А я... То было холодно,
Теперь огнем горю!
Горю... Бог весть, что думаю...
Не дума... бред... Голодные
Стоят сиротки-деточки
Передо мной... Неласково
Глядит на них семья,
Они в дому шумливые,
На улице драчливые,
Обжоры за столом...

И стали их пощипывать,
В головку поколачивать...
Молчи, солдатка-мать!

. . . .

Теперь уж я не дольщица
Участку деревенскому,
Хоромному строеньицу,
Одеже и скоту.
Теперь одно богачество:
Три озера наплакано
Горючих слез, засеяно
Три полосы бедой!

. . . .

Теперь, как виноватая,
Стою перед соседями:
Простите! Я была
Спесива, непоклончива,
Не чаяла я, глупая,
Остаться сиротой...
Простите люди добрые,
Учите уму-разуму,
Как жить самой? Как деточек
Поить, кормить, растить?..

. . . .

Послала деток по миру:
Просите, детки, ласкою,
Не смейте воровать!
А дети в слезы: «Холодно!
На нас одежа рваная,
С крылечка на крылечко-то
Устанем мы ступать,
Под окнами натопчемся,
Иззябнем... У богатого
Нам боязно просить,
«Бог даст!» — ответят бедные...
Ни с чем домой воротимся —
Ты станешь нас бранить!..»

. . . .

Собрала ужин; матушку
Зову, золовок, деверя,
Сама стою голодная
У двери, как раба.

Свекровь кричит: «Лукавая!
В постель скорей торопишься?»
А деверь говорит:
«Немного ты работала!
Весь день за деревиночкой
Стояла: дожидалася,
Как солнышко зайдет!»

. . . .

Получше нарядилась я,
Пошла я в церковь божию,
Смех слышу за собой!

. . . .

Хорошо не одевайся,
Добела не умывайся,
У соседок очи зорки,
Востры языки!
Ходи улицей потише,
Носи голову пониже,
Коли весело — не смейся,
Не поплачь с тоски!

. . . .

Пришла зима бессменная,
Поля, луга зеленые
Попрятались под снег.
На белом, снежном саване
Ни талой нет талиночки —
Нет у солдатки-матери
Во всем миру дружка!
С кем думушку подумати?
С кем словом перемолвиться?
Как справиться с убожеством?
Куда обиду сбыть?
В леса — леса повяли бы,
В луга — луга сгорели бы!
Во быструю реку?
Вода бы отстоялася!
Носи, солдатка бедная,
С собой ее по гроб!

. . . .

Нет мужа, нет заступника!
Чу! барабан! Солдатики

Идут... Остановилися...
Построились в ряды.
«Живей!» Филиппа вывели
На середину площади:
«Эй! перемена первая!» —
Шалашников кричит.
Упал Филипп: — Помилуйте! —
«А ты попробуй! слюбится!
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
Укрепа богатырская,
Не розги у меня!..»

. . . .

И тут я с печи спрыгнула,
Обулась. Долго слушала —
Все тихо, спит семья!
Чуть-чуть я дверью скрипнула
И вышла. Ночь морозная...
Из Домниной избы,
Где парни деревенские
И девки собиралися,
Гремела песня складная,
Любимая моя...

«На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходил к ней батюшка,
Будил ее, побуживал:
Ты, Машенька, пойдем домой!
Ты, Ефимовна, пойдем домой!
Я нейду и не слушаю:
Ночь темна и немесячна,
Реки быстры, перевозов нет,
Леса темны, караулов нет...

На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходила к ней матушка,
Будила, побуживала:
Машенька, пойдем домой!
Ефимовна, пойдем домой!

Я нейду и не слушаю:
Ночь темна и немесячна,
Реки быстры, перевозов нет,
Леса темны, караулов нет...

На горе стоит елочка,
Под горою светелочка,
Во светелочке Машенька.
Приходил к ней Петр,
Петр, сударь Петрович,
Будил ее, побуживал:
Машенька, пойдем домой!
Душа, Ефимовна, пойдем домой!
Я иду, сударь, и слушаю:
Ночь светла и месячна,
Реки тихи, перевозы есть,
Леса темны, караулы есть».

Глава VII
ГУБЕРНАТОРША

Почти бегом бежала я
Через деревню, — чудилось,
Что с песней парни гонятся
И девицы за мной.
За Клином огляделась я:
Равнина белоснежная,
Да небо с ясным месяцем,
Да я, да тень моя...
Не жутко и не боязно
Вдруг стало, — словно радостью
Так и взмывало грудь...
Спасибо ветру зимнему!
Он, как водой студеною,
Больную напоил:
Обвеял буйну голову,
Рассеял думы черные,
Рассудок воротил.
Упала на колени я:
«Открой мне, матерь божия,
Чем бога прогневила я?

Владычица! во мне
Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой,
Кровинки нет непорченой —
Терплю и не ропщу!
Всю силу, богом данную,
В работу полагаю я,
Всю в деточек любовь!
Ты видишь все, владычица,
Ты можешь все, заступница!
Спаси рабу свою! . .»

Молиться в ночь морозную
Под звездным небом божиим
Люблю я с той поры.
Беда пристигнет — вспомните
И женам посоветуйте:
Усердней не помолишься,
Нигде и никогда.
Чем больше я молилася,
Тем легче становилося,
И силы прибавлялося,
Чем чаще я касалася
До белой, снежной скатерти
Горящей головой. . .

Потом — в дорогу тронулась,
Знакомая дороженька!
Езжала я по ней.
Поедешь ранним вечером,
Так утром вместе с солнышком
Поспеешь на базар.
Всю ночь я шла, не встретила
Живой души, под городом
Обозы начались.
Высокие, высокие
Возы сенца крестьянского,
Жалела я коней:
Свои кормы законные
Везут с двора, сердечные,
Чтоб после голодать.
И так-то всё, я думала:

Рабочий конь солому ест,
А пустопляс — овес!
Нужда с кулем тащилася, —
Мучица, чай, не лишняя,
Да подати не ждут!
С посада подгородного
Торговцы-колотырники
Бежали к мужикам;
Божба, обман, ругательство!

Ударили к заутрени,
Как в город я вошла.
Ищу соборной площади,
Я знала: губернаторский
Дворец на площади.
Темна, пуста площадочка,
Перед дворцом начальника
Шагает часовой.
— Скажи, служивый, рано ли
Начальник просыпается? —
«Не знаю. Ты иди!
Нам говорить не велено!
(Дала ему двугривенный):
На то у губернатора
Особый есть швейцар».
— А где он? как назвать его? —
«Макаром Федосеичем...
На лестницу поди!»
Пошла, да двери заперты.
Присела я, задумалась.
Уж начало светать.
Пришел фонарщик с лестницей,
Два тусклые фонарика
На площади задул.

«Эй! что ты тут расселася?»

Вскочила, испугалась я:
В дверях стоял в халатике
Плешивый человек.
Скоренько я целковенький
Макару Федосеичу
С поклоном подала:

— Такая есть великая
Нужда до губернатора,
Хоть умереть — дойти! —

«Пускать-то вас не велено,
Да... ничего! толкнись-ка ты
Так... через два часа...»

Ушла. Бреду тихохонько...
Стоит из меди кованный,
Точь в точь Савелий дедушка,
Мужик на площади
— Чей памятник? — «Сусанина».
Я перед ним помешкала,
На рынок побрела.
Так крепко испугалась я,
Чего? Вы не поверите,
Коли сказать теперь:
У поваренка вырвался
Матерый серый селезень,
Стал парень догонять его,
А он как закричит!
Такой был крик, что за душу
Хватил — чуть не упала я,
Так под ножом кричат!
Поймали! шею вытянул
И зашипел с угрозою,
Как будто думал повара,
Бедняга, испугать.
Я прочь бежала, думала:
Утихнет серый селезень
Под поварским ножом!

Теперь дворец начальника
С балконом, с башней, с лестницей,
Ковром богатым устланной,
Весь стал передо мной.
На окна поглядела я:
Завешаны. «В котором-то
Твоя опочиваленка?
Ты сладко ль спишь, желанный мой,
Какие видишь сны? ..»

Сторонкой, не по коврику
Прокралась я в швейцарскую.

«Раненько ты, кума!»

Опять я испугалася,
Макара Федосеича
Я не узнала: выбрился,
Надел ливрею шитую,
Взял в руки булаву,
Как не бывало лысины.
Смеется. — «Что ты вздрогнула?»
— Устала я, родной! —

«А ты не трусь! Бог милостив!
Ты дай еще целковенький,
Увидишь — удружу!»

Дала еще целковенький.
«Пойдем в мою коморочку,
Попьешь пока чайку!»
Коморочка под лестницей,
Кровать да печь железная,
Шандал да самовар.
В углу лампадка теплится,
А по стене картиночки.
«Вот он! — сказал Макар. —
Его превосходительство!»
И щелкнул пальцем бравого
Военного в звездах.

— Да добрый ли? — спросила я...

«Как стих найдет! Сегодня вот
Я тоже добр, а временем
Как пес бываю зол...

— Скучаешь, видно, дяденька? —
«Нет, тут статья особая,
Не скука тут — война!
И Сам, и люди вечером
Уйдут, а к Федосеичу
В коморку враг: поборемся!

Борюсь я десять лет.
Как выпьешь рюмку лишнюю,
Махорки как накуришься,
Как эта печь накалится
Да свечка нагорит —
Так тут устой!»
Я вспомнила
Про богатырство дедово:
— Ты, дядюшка, — сказала я, —
Должно быть, богатырь.

«Не богатырь я, милая,
А силой тот не хвастайся,
Кто сна не поборал!»

В коморку постучалися,
Макар ушел... Сидела я,
Ждала, ждала, соскучилась,
Приотворила дверь.
К крыльцу карету подали.
— Сам едет? — «Губернаторша!» —
Ответил мне Макар
И бросился на лестницу.
По лестнице спускалася
В собольей шубе барыня,
Чиновничек при ней.

Не знала я, что́ делала.
(Да, видно, надоумила
Владычица!)... Как брошусь я
Ей в ноги: «Заступись!
Обманом, не по-божески
Кормильца и родителя
У деточек берут!»

— Откуда ты, голубушка? —

Впопад ли я ответила —
Не знаю... Мука смертная
Под сердце подошла...

Очнулась я, молодчики,
В богатой, светлой горнице,

Под пологом лежу;
Против меня — кормилица,
Нарядная, в кокошнике,
С ребеночком сидит:
— Чье дитятко, красавица? —
«Твое!». — Поцеловала я
Рожоное дитя...

Как в ноги губернаторше
Я пала, как заплакала,
Как стала говорить,
Сказалась усталь долгая,
Истома непомерная,
Упередилось времечко —
Пришла моя пора!
Спасибо губернаторше
Елене Александровне,
Я столько благодарна ей,
Как матери родной!
Сама крестила мальчика
И имя: Лиодорушка
Младенцу избрала...

«А что же с мужем сталося?»

— Послали в Клин нарочного,
Всю истину доведали —
Филиппушку спасли.
Елена Александровна
Ко мне его, голубчика,
Сама — дай бог ей счастие! —
За ручку подвела.
Добра была, умна была,
Красивая, здоровая,
А деток не дал бог!
Пока у ней гостила я,
Все время с Лиодорушкой
Носилась, как с родным.

Весна уж начиналася,
Березка распускалася,
Как мы домой пошли...

Хорошо, светло
В мире божием!
Хорошо, легко,
Ясно на́-сердце.

Мы идем, идем —
Остановимся,
На леса, луга
Полюбуемся,
Полюбуемся
Да послушаем,
Как шумят-бегут
Воды вешние,
Как поет-звенит
Жавороночек!
Мы стоим, глядим. . .
Очи встретятся —
Усмехнемся мы,
Усмехнется нам
Лиодорушка.
А увидим мы
Старца нищего,
Подадим ему
Мы копеечку:
«Не за нас молись, —
Скажем старому, —
Ты молись, старик,
За Еленушку,
За красавицу
Александровну!»

А увидим мы
Церковь божию,
Перед церковью
Долго крестимся:
«Дай ей, господи,
Радость-счастие
Доброй душеньке
Александровне!»

Зеленеет лес,
Зеленеет луг,

Где низиночка —
Там и зеркало!
Хорошо, светло
В мире божием,
Хорошо, легко,
Ясно на́-сердце.
По водам плыву
Белым лебедем,
По степям бегу —
Перепелочкой.

Прилетела в дом
Сизым голубем...
Поклонился мне
Свекор-батюшка;
Поклонилася
Мать-свекровушка,
Деверья, зятья
Поклонилися,
Поклонилися,
Повинилися!
Вы садитесь-ка,
Вы не кланяйтесь,
Вы послушайте,
Что скажу я вам:
Тому кланяться,
Кто сильней меня, —
Кто добрей меня,
Тому славу петь.
Кому славу петь?
Губернаторше!
Доброй душеньке
Александровне!»

Глава VIII

БАБЬЯ ПРИТЧА

Замолкла Тимофеевна.
Конечно, наши странники
Не пропустили случая
За здравье губернаторши

По чарке осушить.
И видя, что хозяюшка
Ко стогу приклонилася,
К ней подошли гуськом:
— Что ж дальше? —
«Сами знаете:
Ославили счастливицей,
Прозвали губернаторшей
Матрену с той поры...
Что дальше? Домом правлю я,
Рощу детей... На радость ли?
Вам тоже надо знать.
Пять сыновей! Крестьянские
Порядки нескончаемы —
Уж взяли одного!»

Красивыми ресницами
Моргнула Тимофеевна,
Поспешно приклонилася
Ко стогу головой.
Крестьяне мялись, мешкали,
Шептались. — Ну, хозяюшка!
Что скажешь нам еще? —

«А то, что вы затеяли
Не дело — между бабами
Счастливую искать! . .»

— Да все ли рассказала ты? —

«Чего же вам еще?
Не то ли вам рассказывать,
Что дважды погорели мы,
Что бог сибирской язвою
Нас трижды посетил?
Потуги лошадиные
Несли мы; погуляла я
Как мерин в бороне!..

Ногами я не топтана,
Веревками не вязана,

Иголками не колота...
Чего же вам еще?
Сулилась душу выложить,
Да, видно, не сумела я, —
Простите, молодцы!
Не горы с места сдвинулись,
Упали на головушку,
Не бог стрелой громовою
Во гневе грудь пронзил,
По мне — тиха, невидима —
Прошла гроза душевная,
Покажешь ли ее?
По матери поруганной,
Как по змее растоптанной,
Кровь первенца прошла,
По мне обиды смертные
Прошли неотплаченые,
И плеть по мне прошла!
Я только не отведала —
Спасибо! умер Ситников —
Стыда неискупимого,
Последнего стыда!
А вы — за счастьем сунулись!
Обидно, молодцы!
Идите вы к чиновнику,
К вельможному боярину,
Идите вы к царю,
А женщин вы не трогайте,
Вот бог! ни с чем проходите
До гробовой доски!
К нам на ночь попросилася
Одна старушка божия:
Вся жизнь убогой старицы
Убийство плоти, пост;
У гроба Иисусова
Молилась, на Афонские
Всходила высоты,
В Иордань-реке купалася...
И та святая старица
Рассказывала мне:
«Ключи от счастья женского,

От нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У бога самого!
Отцы-пустынножители,
И жены непорочные,
И книжники-начетчики
Их ищут — не найдут!
Пропали! думать надобно,
Сглонула рыба их...
В веригах, изможденные,
Голодные, холодные,
Прошли господни ратники
Пустыни, города —
И у волхвов выспрашивать,
И по звездам высчитывать
Пытались — нет ключей!
Весь божий мир изведали,
В горах, в подземных пропастях
Искали... Наконец
Нашли ключи сподвижники!
Ключи неоценимые,
А всё — не те ключи!
Пришлись они, — великое
Избранным людям божиим
То было торжество, —
Пришлись к рабам-невольникам:
Темницы растворилися,
По миру вздох прошел,
Такой ли громкий, радостный!..
А к нашей женской волюшке
Все нет и нет ключей!
Великие сподвижники
И по сей день стараются —
На дно морей спускаются,
Под небо подымаются —
Все нет и нет ключей!
Да вряд они и сыщутся...
Какою рыбой сглонуты
Ключи те заповедные,
В каких морях та рыбина
Гуляет — бог забыл»!..

ПОСЛЕДЫШ

I

Петровки. Время жаркое.
В разгаре сенокос.

Минув деревню бедную,
Безграмотной губернии,
Старо-Вахлацкой волости,
Большие Вахлаки,
Пришли на Волгу странники...
Над Волгой чайки носятся;
Гуляют кулики
По отмели. А пó лугу,
Чтó гол, как у подьячего
Щека, вчера побритая,
Стоят «Князья Волконские» [1]
И детки их, что ранее
Родятся, чем отцы. [2]
— Прокосы широчайшие! —
Сказал Пахом Онисимыч. —
Здесь богатырь народ! —
Смеются братья Губины:
Давно они заметили
Высокого крестьянина
Со жбаном — на стогу;
Он пил, а баба с вилами,
Задравши кверху голову,
Глядела на него.
Со стогом поровнялися —
Все пьет мужик! Отмерили
Еще шагов пол-ста,
Все разом оглянулися:
Попрежнему, закинувшись,
Стоит мужик: посудина
Дном кверху поднята...

---

[1] Стоги.
[2] Копны.

Под берегом раскинуты
Шатры; старухи, лошади
С порожними телегами
Да дети видны тут.
А дальше, где кончается
Отава подкошенная,
Народу тьма! Там белые
Рубахи баб, да пестрые
Рубахи мужиков,
Да голоса́, да звяканье
Проворных кос. «Бог на́ помочь!»
— Спасибо, молодцы!

Остановились странники...
Размахи сенокосные
Идут чредою правильной:
Все разом занесенные
Сверкнули косы, звякнули,
Трава мгновенно дрогнула
И пала, прошумев!

По низменному берегу,
На Волге, травы рослые,
Веселая косьба.
Не выдержали странники:
«Давно мы не работали,
Давайте — покосим!»
Семь баб им косы отдали.
Проснулась, разгорелася
Привычка позабытая
К труду! Как зубы с голоду,
Работает у каждого
Проворная рука.
Валят траву высокую
Под песню, незнакомую
Вахлацкой стороне;
Под песню, что́ навеяна
Метелями и вьюгами
Родимых деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,

Горелова, Неелова.
Неурожайка-тож...

Натешившись, усталые,
Присели к стоту завтракать...

«Откуда, молодцы? —
Спросил у наших странников
Седой мужик (которого
Бабенки звали Власушкой): —
Куда вас бог несет?»

— А мы... — сказали странники
И замолчали вдруг:
Послышалась им музыка!
«Помещик наш катается», —
Промолвил Влас, — и бросился
К рабочим: «Не зевать!
Коси дружней! А главное:
Не огорчить помещика.
Рассердится — поклон ему!
Похвалит вас: ура кричи...
Эй, бабы! не галдеть!»
Другой мужик, присадистый,
С широкой бородищею,
Почти что то же самое
Народу приказал,
Надел кафтан — и барина
Бежит встречать. «Что за люди? —
Оторопелым странникам
Кричит он на бегу: —
Снимите шапки!»

К берегу
Причалили три лодочки.
В одной прислуга, музыка,
В другой — кормилка дюжая
С ребенком, няня старая
И приживалка тихая,
А в третьей — господа:
Две барыни красивые
(Потоньше — белокурая,

Потолще — чернобровая),
Усатые два барина,
Три барчонка-погодочки
Да старый старичок:
Худой! как зайцы зимние,
Весь бел, и шапка белая,
Высокая, с околышем
Из красного сукна.
Нос клювом, как у ястреба,
Усы седые, длинные
И — разные глаза:
Один здоровый — светится,
А левый — мутный, пасмурный,
Как оловянный грош!

При них: собачки белые,
Мохнатые, с султанчиком,
На крохотных ногах...

Старик, поднявшись на берег,
На красном мягком коврике
Долгонько отдыхал,
Потом покос осматривал:
Его водили под руки
То господа усатые,
То молодые барыни, —
И так, со всею свитою,
С детьми и приживалками,
С кормилкою и нянькою,
И с белыми собачками,
Все поле сенокосное
Помещик обошел.
Крестьяне низко кланялись,
Бурмистр (смекнули странники,
Что тот мужик присадистый
Бурмистр) перед помещиком,
Как бес перед заутреней,
Юлил: «Так точно! Слушаю-с!»
И кланялся помещику
Чуть-чуть не до земли.

В один стожище ма́терый,
Сегодня только сметанный,
Помещик пальцем ткнул,
Нашел, что сено мокрое,
Вспылил: «Добро господское
Гноить? Я вас, мошенников,
Самих сгною на барщине!
Пересушить сейчас! ..»
Засуетился староста:
— Недосмотрел маненичко!
Сыренько: виноват! —
Созвал народ — и вилами
Богатыря кряжистого,
В присутствии помещика,
По клочьям разнесли.
Помещик успокоился.

(Попробовали странники:
Сухохонько сенцо!)

Бежит лакей с салфеткою,
Хромает: «Кушать подано!»
Со всей своею свитою,
С детьми и приживалками,
С кормилкою и нянькою,
И с белыми собачками,
Пошел помещик завтракать,
Работы осмотрев.
С реки из лодки грянула
Навстречу барам музыка,
Накрытый стол белеется
На самом берегу...

Дивятся наши странники.
Пристали к Власу: — Дедушка!
Что за порядки чудные?
Что за чудно́й старик? —

«Помещик наш: Утятин князь!»

— Чего же он куражится?
Теперь порядки новые,

А он дурит по-старому:
Сенцо сухим-сухохонько —
Велел пересушить! —

«А то еще диковинней,
Что и сенцо-то самое,
И пожня — не его!»

— А чья же? —
«Нашей вотчины».

— Чего же он тут суется?
Ин вы у бога не́ люди? —

«Нет, мы, по божьей милости,
Теперь крестьяне вольные,
У нас, как у людей,
Порядки тоже новые,
Да тут статья особая...»

— Какая же статья?

Под стогом лег старинушка
И — больше ни словца!
К тому же стогу странники
Присели; тихо молвили:
Эй! скатерть самобранная,
Попотчуй мужиков!
И скатерть развернулася,
Откудова ни взялися,
Две дюжие руки
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять...

Налив стаканчик дедушке,
Опять пристали странники:
«Уважь! скажи нам, Власушка,
Какая тут статья?»

— Да пустяки! Тут не́чего
Рассказывать... А сами вы

Что за́ люди? Откуда вы?
Куда вас бог несет? —

«Мы люди чужестранные,
Давно, по делу важному,
Домишки мы покинули,
У нас забота есть...
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды...»

Остановились странники...

— О чем же вы хлопочете? —

«Да помолчим! Поели мы,
Так отдохнуть желательно».
И улеглись. Молчат!

— Вы так-то! а по-нашему,
Коль начал, так досказывай! —

«А сам, небось, молчишь!
Мы не в тебя, старинушка!
Изволь, мы скажем: видишь ли,
Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошеной волости,
Избыткова села!..»
И рассказали странники,
Как встретились нечаянно,
Как подрались, заспоривши,
Как дали свой зарок
И как потом шаталися,
Искали по губерниям
Подтянутой, Подстреленной,
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?»

Влас слушал — и рассказчиков
Глазами мерял: «Вижу я,

Вы тоже люди странные! —
Сказал он наконец. —
Чудим и мы достаточно,
А вы — и нас чудней!»

— Да что ж у вас-то деется?
Еще стаканчик, дедушка! —

Как выпил два стаканчика,
Разговорился Влас:

II

— Помещик наш особенный,
Богатство непомерное,
Чин важный, род вельможеский,
Весь век чудил, дурил,
Да вдруг гроза и грянула...
Не верит: врут, разбойники!
Посредника, исправника
Прогнал! дурит по-старому.
Стал крепко подозрителен,
Не поклонись — дерет!
Сам губернатор к барину
Приехал: долго спорили,
Сердитый голос барина
В застольной дворня слышала;
Озлился так, что к вечеру
Хватил его удар!
Всю половину левую
Отбило: словно мертвая
И, как земля, черна...
Пропал ни за копеечку!
Известно, не корысть,
А спесь его подрезала,
Соринку он терял. —

«Что значит, други милые,
Привычка-то помещичья!» —
Заметил Митродор.

— Не только над помещиком,
Привычка над крестьянином
Сильна, — сказал Пахом. —
Я раз, по подозрению
В острог попавши, чудного
Там видел мужика.
За конокрадство, кажется,
Судился, звали Сидором, —
Так из острога барину
Он посылал оброк!
(Доходы арестантские
Известны: подаяние,
Да что-нибудь сработает,
Да стащит что-нибудь).
Ему смеялись прочие:
— А ну, на поселение
Сошлют — пропали денежки!
«Всё лучше», — говорит...

— Ну, дальше, дальше, дедушка! —

«Соринка дело плевое,
Да только не в глазу:
Пал дуб на море тихое,
И море все заплакало —
Лежит старик без памяти.
(Не встанет, так и думали!)
Приехали сыны,
Гвардейцы черноусые
(Вы их на пожне видели,
А барыни красивые,
То жены молодцов).
У старшего доверенность
Была: по ней с посредником
Установили грамоту...
Ан вдруг и встал старик!
Чуть заикнулись... Господи!
Как зверь метнулся раненый
И загремел, как гром!
Дела-то все недавние,
Я был в то время старостой,
Случился тут — так слышал сам,

Как он честил помещиков,
До слова помню все:
«Корят жидов, что предали
Христа. . . а вы что сделали?
Права свои дворянские,
Веками освященные,
Вы предали! . .» Сынам
Сказал: «Вы трусы подлые!
Не дети вы мои!
Пускай бы люди мелкие,
Что вышли из поповичей,
Да, понажившись взятками,
Купили мужиков,
Пускай бы. . . им простительно!
А вы. . . князья Утятины?
Какие вы У-тя-ти-ны!
Идите вон! . . подкидыши,
Не дети вы мои!»

Оробели наследники:
А ну, как перед смертию
Лишит наследства? Мало ли
Лесов, земель у батюшки?
Что́ денег понакоплено,
Куда пойдет добро?
Гадай! У князя в Питере
Три дочери побочные
За генералов выданы,
Не отказал бы им!
А князь опять больнехонек. . .
Чтоб только время выиграть,
Придумать: как тут быть?
Которая-то барыня
(Должно быть, белокурая:
Она ему, сердечному,
Слыхал я, терла щеткою
В то время левый бок)
Возьми и брякни барину,
Что мужиков помещикам
Велели воротить!

Поверил! Проще малого
Ребенка стал старинушка,
Как паралич расшиб!
Заплакал! пред иконами
Со всей семьею молится,
Велит служить молебствие,
Звонить в колокола!

И силы словно прибыло,
Опять: охота, музыка,
Дворовых дует палкою,
Велит созвать крестьян.

С дворовыми наследники
Стакнулись, разумеется,
А есть один (он давеча
С салфеткой прибегал),
Того и уговаривать
Не надо было: барина
Столь много любит он!
Ипатом прозывается.
Как воля нам готовилась,
Так он не верил ей:
«Шалишь! Князья Утятины
Останутся без вотчины?
Нет, руки коротки!»
Явилось «Положение»,
Ипат сказал: «Балуйтесь вы!
А я князей Утятиных
Холоп — и весь тут сказ!»
Не может барских милостей
Забыть Ипат! Потешные
О детстве и о младости,
Да и о самой старости
Рассказы у него
(Придешь, бывало, к барину,
Ждешь, ждешь... Неволей слушаешь,
Сто раз я слышал их):
«Как был я мал, наш князюшка
Меня рукою собственной
В тележку запрягал;
Достиг я резвой младости:

Приехал в отпуск князюшка
И, подгулявши, выкупал
Меня, раба последнего,
Зимою в проруби!
Да как чудно́! Две проруби:
В одну опустит в неводе,
В другую мигом вытянет —
И водки поднесет.
Клониться стал я к старости.
Зимой дороги узкие,
Так часто с князем ездили
Мы гусем в пять коней.
Однажды князь — затейник же! —
И посади фалетуром
Меня, раба последнего,
Со скрипкой — впереди.
Любил он крепко музыку.
«Играй, Ипат!» А кучеру
Кричит: пошел живей!
Метель была изрядная,
Играл я: руки заняты,
А лошадь спотыкливая —
Свалился я с нее!
Ну, сани, разумеется,
Через меня проехали,
Попридавили грудь.
Не то беда: а холодно,
Замерзнешь — нет спасения,
Кругом пустыня, снег...
Гляжу на звезды частые
Да каюсь во грехах.
Так что же, друг ты истинный?
Послышал я бубенчики,
Чу, ближе! чу, звончей!
Вернулся князь (закапали
Тут слезы у дворового,
И сколько ни рассказывал,
Всегда тут плакал он!),
Одел меня, согрел меня,
И рядом, недостойного,
С своей особой княжеской
В санях привез домой!»

Похохотали странники...
Глонув вина (в четвертый раз),
Влас продолжал: — Наследники
Ударили и вотчине
Челом: «Нам жаль родителя,
Порядков новых, нонешних
Ему не перенесть.
Поберегите батюшку!
Помалчивайте, кланяйтесь,
Да не перечьте хворому,
Мы вас вознаградим:
За лишний труд, за барщину,
За слово даже бранное,
За все заплатим вам.
Недолго жить сердечному,
Навряд ли два-три месяца,
Сам дохтур объявил!
Уважьте нас, послушайтесь,
Мы вам луга поемные
По Волге подарим;
Сейчас пошлем посреднику
Бумагу, дело верное!»

Собрался, мир, галдит!

Луга-то (эти самые)
Да водка, да с три короба
Посулов то и сделали,
Что мир решил помалчивать
До смерти старика.
Поехали к посреднику:
Смеется: «Дело доброе,
Да и луга хорошие,
Дурачьтесь, бог простит!
Нет на Руси, вы знаете,
Помалчивать да кланяться
Запрета никому!»
Однако я противился:
— Вам, мужикам, с-полагоря,
А мне-то каково?
Что ни случится: к барину
Бурмистра! что́ ни вздумает,

За мной пошлет! Как буду я
На спросы бестолковые
Ответствовать? дурацкие
Приказы исполнять? —

«Ты стой пред ним без шапочки,
Помалчивай да кланяйся,
Уйдешь — и дело кончено.
Старик больной, расслабленный,
Не помнит ничего!»

Оно и правда: можно бы!
Морочить полоумного
Нехитрая статья.
Да быть шутом гороховым,
Признаться, не хотелося.
И так я на веку,
У притолоки стоючи,
Помялся перед барином
Досыта! «Коли мир
(Сказал я, миру кланяясь)
Дозволит покуражиться
Уволенному барину
В останные часы,
Молчу и я — покорствую,
А только что от должности
Увольте вы меня!»

Чуть дело не разладилось.
Да Климка Лавин выручил:
«А вы бурмистром сделайте
Меня! Я удовольствую
И старика, и вас.
Бог приберет «Последыша»
Скоренько, а у вотчины
Останутся луга.
Так будем мы начальствовать,
Такие мы строжайшие
Порядки заведем,
Что надорвет животики
Вся вотчина... Увидите!»

Долгонько думал мир.
Что ни на есть отчаянный
Был Клим мужик: и пьяница,
И на руку нечист.
Работать не работает,
С цыганами возжается,
Бродяга, коновал!
Смеется над трудящимся:
С работы, как ни мучайся,
Не будешь ты богат,
А будешь ты горбат!
А впрочем, парень грамотный,
Бывал в Москве и в Питере,
В Сибирь езжал с купечеством,
Жаль, не остался там!
Умен, а грош не держится,
Хитер, а попадается
Впросак! Бахвал мужик!
Каких-то слов особенных
Наслушался: Атечество,
Москва первопрестольная,
Душа великорусская.
«Я — русский мужичок!» —
Горланил диким голосом
И, кокнув в лоб посудою,
Пил залпом полуштоф!
Как рукомойник кланяться
Готов за водку всякому,
А есть казна — поделится,
Со встречным все пропьет!
Горазд орать, балясничать,
Гнилой товар показывать
С хазового конца.
Нахвастает с три короба,
А уличишь — отшутится
Бесстыжей поговоркою,
Что «за погудку правую
Смычком по роже бьют!»

Подумавши, оставили
Меня бурмистром: правлю я
Делами и теперь.

А перед старым барином
Бурмистром Климку назвали,
Пускай его! По барину
Бурмистр! перед «Последышем»
Последний человек!

У Клима совесть глиняна,
А бородища Минина,
Посмотришь, так подумаешь,
Что не найти крестьянина
Степенней и трезвей.
Наследники построили
Кафтан ему: одел его,
И сделался Клим Яковлич
Из Климки бесшабашного,
Бурмистр первейший сорт.

Пошли порядки старые!
Последышу-то нашему,
Как на беду, приказаны
Прогулки. Что́ ни день,
Через деревню катится
Рессорная колясочка:
Вставай! картуз долой!
Бог весть с чего накинется,
Бранит, корит; с угрозою
Подступит — ты молчи!
Увидит в поле пахаря
И за его же полосу
Облает: и лентяи-то,
И лежебоки мы!
А полоса сработана,
Как никогда на барина
Не работа́л мужик,
Да невдомек Последышу,
Что уж давно не барская,
А наша полоса!
Сойдемся — смех! У каждого
Свой сказ про юродивого
Помещика: икается,
Я думаю, ему!
А тут еще Клим Яковлич.

Придет, глядит начальником
(Горда свинья: чесалася
О барское крыльцо!).
Кричит: «Приказ по вотчине!»
Ну, слушаем приказ:
«Докладывал я барину,
Что у вдовы Терентьевны
Избенка развалилася,
Что баба побирается
Христовым подаянием.
Так барин приказал:
На той вдове Терентьевой
Женить Гаврилу Жохова,
Избу поправить заново,
Чтоб жили в ней, плодилися
И правили тягло!»
А той вдове — под семьдесят,
А жениху — шесть лет!
Ну, хохот, разумеется!..
Другой приказ: «Коровушки
Вчера гнались до солнышка
Близ барского двора,
И так мычали, глупые,
Что разбудили барина, —
Так пастухам приказано
Впредь унимать коров!»
Опять смеется вотчина.
«А что смеетесь? Всякие
Бывают приказания:
Сидел на губернаторстве
В Якутске генерал.
Так на́ кол тот коровушек
Сажал! Долгонько слушались:
Весь город разукрасили,
Как Питер монументами,
Казенными коровами,
Пока не догадалися,
Что спятил он с ума!»
Еще приказ: «У сторожа,
У ундера Софронова
Собака непочтительна:
Залаяла на барина,

Так ундера прогнать,
А сторожем к помещичьей
Усадьбе назначается
Еремка! . .» Покатилися
Опять крестьяне со смеху:
Еремка тот с рождения
Глухонемой дурак!

Доволен Клим. Нашел-таки
По нраву должность! Бегает,
Чудит, во все мешается,
Пить даже меньше стал!
Бабенка есть тут бойкая,
Орефьевна, кума ему,
Так с ней Климаха барина
Дурачит заодно.
Лафа бабенкам! бегают
На барский двор с полотнами,
С грибами, с земляникою:
Всё покупают барыни
И кормят, и поят!

Шутили мы, дурачились,
Да вдруг и дошутилися
До сущей до беды:
Был грубый, непокладистый
У нас мужик Агап Петров,
Он много нас корил:
«Ай, мужики! Царь сжалился,
Так вы в хомут охотою. . .
Бог с ними, с сенокосами!
Знать не хочу господ! . .»
Тем только успокоили,
Что штоф вина поставили
(Вино-то он любил).
Да чорт его со временем
Нанес-таки на барина:
Везет Агап бревно,
(Вишь мало ночи глупому,
Так воровать отправился
Лес — среди бела дня!)

Навстречу та колясочка,
И барин в ней: «Откудова
Бревно такое славное
Везешь ты, мужичок?..»
А сам смекнул откудова.
Агап молчит: бревешко-то
Из лесу из господского,
Так что́ тут говорить!
Да больно уж окрысился
Старик: пилил, пилил его,
Права свои дворянские
Высчитывал ему!

Крестьянское терпение
Выносливо, а временем
Есть и ему конец.
Агап раненько выехал,
Без завтрака: крестьянина
Тошнило уж и так,
А тут еще речь барская,
Как муха неотвязная,
Жужжит под ухо самое...

Захохотал Агап!
«Ах шут ты, шут гороховый!
Нишкни!» — да и пошел!
Досталось тут Последышу
За дедов и за прадедов,
Не только за себя.
Известно, гневу нашему
Дай волю! Брань господская,
Что жало комариное,
Мужицкая — обух!
Опешил барин! Легче бы
Стоять ему под пулями,
Под каменным дождем!
Опешили и сродники,
Бабенки было бросились
К Агапу с уговорами,
Так он вскричал: убью!..
«Что брага, раскуражились
Подонки из поганого

Корыта... Цыц! Нишкни!
Крестьянских душ владение
Покончено. Последыш ты!
Последыш ты! По милости
Мужицкой нашей глупости
Сегодня ты начальствуешь,
А завтра мы Последышу
Пинка — и кончен бал!
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвост, по горницам,
А нас оставь! Нишкни!..»

— Ты — бунтовщик! — с хрипотою
Сказал старик; затрясся весь
И полумертвый пал!
«Теперь конец!» — подумали
Гвардейцы черноусые
И барыни красивые;
Ан вышло — не конец!

Приказ: пред всею вотчиной,
В присутствии помещика,
За дерзость беспримерную
Агапа наказать.
Забегали наследники
И жены их — к Агапушке,
И к Климу, и ко мне!
«Спасите нас, голубчики!
Спасите!» Ходят бледные:
«Коли обман откроется,
Пропали мы совсем!»
Пошел бурмистр орудовать!
С Агапом пил до вечера,
Обнявшись, до полуночи
Деревней с ним гулял,
Потом опять с полуночи
Поил его — и пьяного
Привел на барский двор.
Всё обошлось любехонько:
Не мог с крылечка сдвинуться
Последыш — так расстроился...
Ну, Климке и лафа!

В конюшню плут преступника
Привел, перед крестьянином
Поставил штоф вина:
«Пей, да кричи: Помилуйте!
Ой, батюшки! ой, матушки!»
Послушался Агап,
Чу, вопит! Словно музыку,
Последыш стоны слушает,
Чуть мы не рассмеялися,
Как стал он приговаривать:
«Ка-тай его, раз-бой-ника,
Бун-тов-щи-ка... Ка-тай!»
Ни дать, ни взять под розгами
Кричал Агап, дурачился,
Пока не допил штоф:
Как из конюшни вынесли
Его мертвецки пьяного
Четыре мужика,
Так барин даже сжалился:
«Сам виноват, Агапушка!» —
Он ласково сказал...

— Вишь, тоже добрый! сжалился, —
Заметил Пров, а Влас ему:
«Не зол... да есть пословица:
Хвали траву в стогу,
А барина — в гробу!
Всё лучше... кабы бог его
Прибрал... Уж нет Агапушки...»

— Как! умер? —

«Да, почтенные.
Почти что в тот же день!
Он к вечеру разохался,
К полуночи попа просил,
К белу свету преставился.
Зарыли и поставили
Животворящий крест...
С чего? Один бог ведает!
Конечно, мы не тронули
Его не только розгами,
И пальцем. Ну, а все ж

Нет, нет — да и подумаешь:
Не будь такой оказии,
Не умер бы Агап!
Мужик сырой, особенный,
Головка непоклончива,
А тут: иди, ложись!
Положим: ладно кончилось,
А все Агап надумался:
Упрешься — мир осердится,
А мир дурак — доймет!
Всё разом так подстроилось:
Чуть молодые барыни
Не целовали старого,
Полсотни, чай, подсунули,
А пуще: Клим бессовестный
Сгубил его, анафема,
Винищем! ..

Вон от барина
Посол идет: откушали!
Зовет, должно быть, старосту,
Пойду взгляну камедь!»

III

Пошли за Власом странники;
Бабенок тоже несколько
И парней с ними тронулось;
Был полдень, время отдыха,
Так набралось порядочно
Народу — поглазеть.
Все стали в ряд почтительно
Поодаль от господ. . .
За длинным белым столиком,
Уставленным бутылками
И кушаньями разными,
Сидели господа:
На первом месте — старый князь,
Седой, одетый в белое,
Лицо перекошенное
И — разные глаза.

В петлице крестик беленький
(Влас говорит: Георгия
Победоносца крест).
За стулом, в белом галстуке,
Ипат, дворовый преданный,
Обмахивает мух.
По сторонам помещика
Две молодые барыни:
Одна черноволосая,
Как свекла губы красные,
По яблоку — глаза!
Другая белокурая,
С распущенной косой,
Ай, косонька! как золото
На солнышке горит!
На трех высоких стульчиках
Три мальчика нарядные,
Салфеточки подвязаны
Под горло у детей.
При них старуха-нянюшка,
А дальше — челядь разная:
Учительницы, бедные
Дворянки. Против барина —
Гвардейцы черноусые,
Последыша сыны.

За каждым стулом девочка,
А то и баба с веткою —
Обмахивает мух.
А под столом мохнатые
Собачки белошерстые.
Барчонки дразнят их...

Без шапки перед барином
Стоял бурмистр:
«А скоро ли, —
Спросил помещик, кушая, —
Окончим сенокос?»

— Да как теперь прикажете:
У нас по положению
Три дня в неделю барские,

С тягла: работник с лошадью,
Подросток или женщина,
Да полстарухи в день.
Господский срок кончается... —

«Тсс! тсс! — сказал Утятин князь,
Как человек, заметивший,
Что на тончайшей хитрости
Другого изловил. —
Какой такой *господский срок*?
Откудова ты взял его?»
И на бурмистра верного
Навел пытливо глаз.

Бурмистр потупил голову.
— Как приказать изволите!
Два-три денька хорошие,
И сено вашей милости
Всё уберем, бог даст!
Не правда ли, ребятушки?.. —
(Бурмистр воротит к барщине
Широкое лицо).
За барщину ответила
Проворная Орефьевна,
Бурмистрова кума:
— Вестимо так, Клим Яковлич,
Покуда вёдро держится,
Убрать бы сено барское,
А наше — подождет! —

«Бабенка, а умней тебя! —
Помещик вдруг осклабился
И начал хохотать. —
Ха-ха! дурак!.. Ха-ха-ха-ха!
Дурак! дурак! дурак!
Придумали: господский срок!
Ха-ха... дурак!.. ха-ха-ха-ха!
Господский срок — вся жизнь раба!
Забыли, что ли, вы:
Я божиею милостью
И древней царской грамотой,

И родом, и заслугами
Над вами господин! ..»

Влас наземь опускается.
— Что так? — спросили странники.
«Да отдохну пока!
Теперь не скоро князюшка
Сойдет с коня любимого!
С тех пор, как слух прошел,
Что воля нам готовится,
У князя речь одна:
Что мужику у барина
До светопреставления
Зажату быть в горсти! ..»

И точно: час без малого
Последыш говорил!
Язык его не слушался:
Старик слюною брызгался,
Шипел! И так расстроился,
Что правый глаз задергало,
А левый вдруг расширился
И — круглый, как у филина —
Вертелся колесом.
Права свои дворянские,
Веками освященные,
Заслуги, имя древнее
Помещик поминал,
Царевым гневом, божиим
Грозил крестьянам, ежели
Взбунтуются они,
И на́крепко приказывал,
Чтоб пустяков не думала,
Не баловалась вотчина,
А слушалась господ!
— Отцы! — сказал Клим Яковлич,
С каким-то визгом в голосе,
Как будто вся утроба в нем,
При мысли о помещиках,
Заликовала вдруг:
— Кого же нам и слушаться?
Кого любить? надеяться

Крестьянству на кого?
Бедами упиваемся,
Слезами умываемся,
Куда нам бунтовать?
Всё ваше, всё господское —
Домишки наши ветхие,
И животишки хворые
И сами — ваши мы!
Зерно, что́ в землю брошено,
И овощь огородная,
И волос на нечесаной
Мужицкой голове —
Всё ваше, всё господское!
В могилках наши прадеды,
На печках деды старые
И в зыбках дети малые —
Всё ваше, всё господское!
А мы, как рыба в неводе,
Хозяева в дому! —

Бурмистра речь покорная
Понравилась помещику:
Здоровый глаз на старосту
Глядел с благоволением,
А левый успокоился:
Как месяц в небе стал!
Налив рукою собственной
Стакан вина заморского,
«Пей!» — барин говорит.
Вино на солнце искрится,
Густое, маслянистое.
Клим выпил, не поморщился
И вновь сказал: «Отцы!
Живем за вашей милостью,
Как у Христа за пазухой:
Попробуй-ка без барина
Крестьянин так пожить! —
(И снова, плут естественный,
Глонул вина заморского.) —
Куда нам без господ?
Бояре — кипарисовы,
Стоят, не гнут головушки!

Над ними — царь один!
А мужики вязовые —
И гнутся-то, и тянутся,
Скрипят! Где мат крестьянину,
Там барину сполагоря:
Под мужиком лед ломится,
Под барином трещит!
Отцы! руководители!
Не будь у нас помещиков,
Не наготовим хлебушка,
Не запасем травы!
Хранители! Радетели!
И мир давно бы рушился
Без разума господского,
Без нашей простоты!
Вам на роду написано
Блюсти крестьянство глупое,
А нам работать, слушаться,
Молиться за господ!»

Дворовый, что́ у барина
Стоял за стулом с веткою,
Вдруг всхлипнул! Слезы катятся
По старому лицу.
«Помолимся же господу
За долголетье барина!» —
Сказал холуй чувствительный
И стал креститься дряхлою,
Дрожащею рукой.
Гвардейцы черноусые
Кисленько как-то глянули
На верного слугу;
Однако — делать нечего! —
Фуражки сняли, крестятся, —
Перекрестились барыни,
Перекрестилась нянюшка,
Перекрестился Клим. . .

Да и мигнул Орефьевне:
И бабы, что́ протискались
Поближе к господам,
Креститься тоже начали,

Одна так даже всхлипнула
Вподобие дворового.
(«Урчи! вдова Терентьевна!
Старуха полоумная!» —
Сказал сердито Влас.)
Из тучи солнце красное
Вдруг выглянуло; музыка
Протяжная и тихая
Послышалась с реки...

Помещик так растрогался,
Что правый глаз заплаканный
Ему платочком вытерла
Сноха с косой распущенной
И чмокнула старинушку
В здоровый этот глаз.
«Вот! — молвил он торжественно
Сынам своим наследникам
И молодым снохам: —
Желал бы я, чтоб видели
Шуты, врали столичные,
Чтó обзывают дикими
Крепостниками нас,
Чтоб видели, чтоб слышали...»

Тут случай неожиданный
Нарушил речь господскую:
Один мужик не выдержал —
Как захохочет вдруг!

Задергало Последыша.
Вскочил, лицом уставился
Вперед! Как рысь высматривал
Добычу. Левый глаз
Заколесил... «Сы-скать его!
Сы-скать бун-тов-щи-ка!»

Бурмистр в толпу отправился;
Не ищет виноватого,
А думает: как быть?
Пришел в ряды последние,
Где были наши странники,

И ласково сказал:
«Вы люди чужестранные,
Что с вами он поделает?
Подите кто-нибудь!»
Замялись наши странники,
Желательно бы выручить
Несчастных вахлаков,
Да барин глуп: судись потом,
Как влепит сотню добрую
При всем честном миру!
— Иди-ка ты, Романушка! —
Сказали братья Губины.
— Иди! ты любишь бар! —

«Нет, сами вы попробуйте!»
И стали наши странники
Друг дружку посылать.
Клим плюнул. — «Ну-ка, Власушка,
Придумай, что тут сделаем?
А я устал; мне мочи нет!»

— Ну, да и врал же ты! —

«Эх, Влас Ильич! где враки-то? —
Сказал бурмистр с досадою, —
Не в их руках мы, что ль? ..
Придет пора последняя:
Заедем все в ухаб, [1]
Не выедем никак,
В кромешный ад провалимся,
Так ждет и там крестьянина
Работа на господ!»

— Что ж там-то будет, Климушка? —

— А будет, что назначено:
Они в котле кипеть,
А мы дрова подкладывать! —

(Смеются мужики.)

---

[1] Могила.

Пришли сыны Последыша:
«Эх, Клим-чудак! до смеху ли!
Старик прислал нас; сердится,
Что долго нет виновного. . .
Да кто у вас сплошал?»

— А кто сплошал, и надо бы
Того тащить к помещику,
Да всё испортит он!
Мужик богатый. . . Питерщик. . .
Вишь, принесла нелегкая
Домой его на грех!
Порядки наши чудные
Ему пока в диковину,
Так смех и разобрал!
А мы теперь расхлебывай! —

«Ну. . . вы его не трогайте,
А лучше киньте жеребий.
Заплатим мы: вот пять рублей! . .»

— Нет! разбегутся все. . . —

«Ну, так скажите барину,
Что виноватый спрятался».

— А завтра как? Забыли вы
Агапа неповинного? —

«Что ж делать? . . Вот беда!»

— Давай сюда бумажку ту!
Постойте! я вас выручу! —
Вдруг объявила бойкая
Бурмистрова кума
И побежала к барину;
Бух в ноги: «Красно солнышко!
Прости, не погуби!
Сыночек мой единственный,
Сыночек надурил!
Господь его без разуму
Пустил на свет! Глупешенек:
Идет из бани — чешется!

Лаптишком, вместо ковшика,
Напиться норовит!
Работать не работает,
Знай, скалит зубы белые,
Смешлив... так бог родил!
В дому-то мало радости:
Избенка развалилася,
Случается, есть нечего —
Смеется дурачок!
Подаст ли кто копеечку,
Ударит ли по темени —
Смеется дурачок!
Смешлив... что с ним поделаешь?
Из дурака, родименький,
И горе смехом прет!»

Такая баба ловкая!
Орет, как на девишнике,
Целует ноги барину.
— Ну, бог с тобой! Иди! —
Сказал Последыш ласково.—
Я не сержусь на глупого,
Я сам над ним смеюсь! —
«Какой ты добрый!» — молвила
Сноха черноволосая
И старика погладила
По белой голове.
Гвардейцы черноусые
Словечко тоже вставили:
Где ж дурню деревенскому
Понять слова господские,
Особенно Последыша
Столь умные слова?
А Клим полой суконною
Отер глаза бесстыжие
И пробурчал: «Отцы!
Отцы! сыны атечества!
Умеют наказать,
Умеют и помиловать!»

Повеселел старик!
Спросил вина шипучего.

Высоко пробки прянули,
Попадали на баб.
С испугу бабы визгнули,
Шарахнулись. Старинушка
Захохотал! За ним
Захохотали барыни,
За ними — их мужья,
Потом дворецкий преданный,
Потом кормилки, нянюшки,
А там — и весь народ!
Пошло веселье! Барыни,
По приказанью барина,
Крестьянам поднесли,
Подросткам дали пряников,
Девицам сладкой водочки,
А бабы тоже выпили
По рюмке простяку...

Последыш пил да чокался,
Красивых снох пощипывал.
(«Вот так-то! чем бы старому
Лекарство пить, — заметил Влас, —
Он пьет вино стаканами.
Давно уж меру всякую
Как в гневе, так и в радости
Последыш потерял».)

Гремит на Волге музыка,
Поют и пляшут девицы —
Ну, словом, пир горой!
К девицам присоседиться
Хотел старик, встал на ноги
И чуть не полетел!
Сын поддержал родителя.
Старик стоял: притопывал,
Присвистывал, прищелкивал,
А глаз свое выделывал —
Вертелся колесом!

«А вы что ж не танцуете? —
Сказал Последыш барыням

И молодым сынам. —
Танцуйте!» Делать нечего.
Прошлись они под музыку.
Старик их осмеял!
Качаясь, как на палубе
В погоду непокойную,
Представил он, как тешились
В его-то времена!
«Спой, Люба!» Не хотелося
Петь белокурой барыне,
Да старый так пристал!

Чудесно спела барыня!
Ласкала слух та песенка,
Негромкая и нежная,
Как ветер летним вечером,
Легонько пробегающий
По бархатной муравушке,
Как шум дождя весеннего
По листьям молодым!

Под песню ту прекрасную
Уснул Последыш. Бережно
Снесли его в ладью
И уложили сонного.
Над ним с зеленым зонтиком
Стоял дворовый преданный,
Другой рукой отмахивал
Слепней и комаров.
Сидели молча бравые
Гребцы; играла музыка
Чуть слышно... лодка тронулась
И мерно поплыла...
У белокурой барыни
Коса, как флаг распущенный,
Играла на ветру...

— Уважил я Последыша! —
Сказал бурмистр. — Господь с тобой!
Куражься, колобродь!

Не знай про волю новую,
Умри, как жил, помещиком
Под песни наши рабские,
Под музыку холопскую —
Да только поскорей!
Дай отдохнуть крестьянину!
Ну, братцы! поклонитесь мне,
Скажи спасибо, Влас Ильич:
Я миру порадел!
Стоять перед Последышем
Напасть... язык примелется,
А пуще смех долит.
Глаз этот... как завертится,
Беда! Глядишь да думаешь:
«Куда ты, друг единственный?
По надобности собственной,
Аль по чужим делам?
Должно быть, раздобылся ты
Курьерской подорожною!..»
Чуть раз не прыснул я.
Мужик я пьяный, ветреный,
В амбаре крысы с голоду
Подохли, дом пустехонек,
А не взял бы, свидетель бог,
Я за такую каторгу
И тысячи рублей,
Когда б не знал доподлинно,
Что я перед *последышем*
Стою... что он куражится
По воле по моей...

Влас отвечал задумчиво:
«Бахвалься! А давно ли мы,
Не мы одни — вся вотчина...
(Да... все крестьянство русское!)
Не в шутку, не за денежки,
Не три-четыре месяца,
А целый век... да что уж тут!
Куда уж нам бахвалиться,
Недаром Вахлаки!»

Однако Клима Лавина
Крестьяне полупьяные
Уважили: «Качать его!»
И ну качать... «ура!»
Потом вдову Терентьевну
С Гаврилкой, малолеточком,
Клим посадил рядком
И жениха с невестою
Поздравил! Подурачились
Досыта мужики.
Приели всё, всё припили,
Что господа оставили,
И только поздним вечером
В деревню прибрели.
Домашние их встретили
Известьем неожиданным:
Скончался старый князь!
— Как так? — «Из лодки вынесли
Его уж бездыханного —
Хватил второй удар!»
Крестьяне пораженные
Переглянулись... крестятся...
Вздохнули... Никогда
Такого вздоха дружного,
Глубокого-глубокого
Не испускала бедная
Безграмотной губернии
Деревня Вахлаки...

———

Но радость их вахлацкая
Была непродолжительна.
Со смертию Последыша
Пропала ласка барская:
Опохмелиться не дали
Гвардейцы вахлакам!
А за луга поемные
Наследники с крестьянами
Тягаются доднесь.
Влас за крестьян ходатаем,
Живет в Москве... был в Питере...
А толку что-то нет!

ПИР — НА ВЕСЬ МИР

ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕРГЕЮ ПЕТРОВИЧУ БОТКИНУ

ВСТУПЛЕНИЕ

В конце села Вахлачина,
Где житель — пахарь исстари
И частью смолокур,
Под старой-старой ивою,
Свидетельницей скромною
Всей жизни вахлаков,
Где праздники справляются,
Где сходки собираются,
Где днем секут, а вечером
Целуются, милуются —
Шел пир, великий пир!
Орудовать по-питерски
Привыкший дело всякое
Знакомец наш Клим Яковлич,
Видавший благородные
Пиры с речами, спичами, —
Затейщик пира был.
На бревна, тут лежавшие,
На сруб избы застроенной
Уселись мужики;
Тут тоже наши странники
Сидели с Власом-старостой
(Им дело до всего).
Как только пить надумали,
Влас сыну-малолеточку
Вскричал: «Беги за Трифоном!»
С дьячком приходским Трифоном,
Гулякой, кумом старосты,
Пришли его сыны,
Семинаристы Саввушка
И Гриша; было старшему
Уж девятнадцать лет,
Теперь же протодьяконом
Смотрел, а у Григория
Лицо худое, бледное
И волос тонкий, вьющийся,

С оттенком красноты.
Простые парни, добрые,
Косили, жали, сеяли
И пили водку в праздники
С крестьянством наравне.

Тотчас же за селением
Шла Волга, а за Волгою
Был город небольшой.
(Сказать точнее, города
В ту пору тени не было,
А были головни:
Пожар всё снес третьеводни.)
Так люди мимоезжие,
Знакомцы вахлаков,
Тут тоже становилися,
Парома поджидаючи,
Кормили лошадей.
Сюда брели и нищие,
И тараторка-странница,
И тихий богомол.

В день смерти князя старого
Крестьяне не предвидели,
Что не луга поемные,
А тяжбу наживут.
И, выпив по стаканчику,
Первей всего заспорили:
Как им с лугами быть?
Не вся ты, Русь, обмеряна
Землицей: попадаются
Углы благословенные,
Где ладно обошлось.
Какой-нибудь случайностью —
Неведеньем помещика,
Живущего вдали,
Ошибкою посредника,
А чаще изворотами
Крестьян-руководителей
В надел крестьянам изредка
Попало и леску.
Там горд мужик, попробуй-ка

В окошко стукнуть староста
За податью — осердится!
Один ответ до времени:
«А ты леску продай!»
И вахлаки надумали
Свои луга поемные
Сдать старосте — на подати:
Все взвешено, рассчитано,
Как раз — оброк и подати,
С залишком. «Так ли, Влас?»

— А коли подать справлена,
Я никому не здравствую!
Охота есть — работаю,
Не то — валяюсь с бабою,
Не то — иду в кабак! —

«Так! — вся орда вахлацкая
На слово Клима Лавина
Откликнулась: — На подати!
Согласен, дядя Влас?»

— У Клима речь короткая
И ясная, как вывеска,
Зовущая в кабак, —
Сказал шутливо староста: —
Начнет Климаха бабою,
А кончит — кабаком! —

«А чем же? не острогом же
Кончать-ту? Дело верное,
Не каркай, пореши!»

Но Власу не до карканья.
Влас был душа добрейшая,
Болел за всю вахлачину,
Не за одну семью.
Служа при строгом барине,
Нес тяготу на совести
Невольного участника
Жестокостей его.

Как молод был, ждал лучшего,
Да вечно так случалося,
Что лучшее кончалося
Ничем или бедой.
И стал бояться нового,
Богатого посулами,
Неверующий Влас.
Не столько в Белокаменной
По мостовой проехано,
Как по душе крестьянина
Прошло обид... до смеху ли?..
Влас вечно был угрюм.
А тут — сплошал старинушка!
Дурачество вахлацкое
Коснулось и его!
Ему невольно думалось:
«Без барщины... без подати...
Без палки... правда ль, господи?»
И улыбнулся Влас.
Так солнце с неба знойного
В лесную глушь дремучую
Забросит луч — и чудо там:
Роса горит алмазами,
Позолотился мох.
«Пей, вахлачки, погуливай!»
Не в меру было весело:
У каждого в груди
Играло чувство новое,
Как будто выносила их
Могучая волна
Со дна бездонной пропасти
На свет, где нескончаемый
Им уготован пир!
Еще ведро поставили,
Галденье непрерывное
И песни начались.
Как, схоронив покойника,
Родные и знакомые
О нем лишь говорят,
Покамест не управятся
С хозяйским угощением
И не начнут зевать, —

Так и галденье долгое
За чарочкой, под ивою,
Всё почитай сложилося
В поминки по подрезанным
Помещичьим «крепям».
К дьячку с семинаристами
Пристали: «Пой веселую!»
Запели молодцы.
(Ту песню — не народную —
Впервые спел сын Трифона,
Григорий, вахлакам,
И с «Положенья» царского,
С народа крепи снявшего,
Она по пьяным праздникам
Как плясовая пелася
Попами и дворовыми —
Вахлак ее не пел,
А, слушая, притопывал,
Присвистывал; «веселою»
Не в шутку называл).

1. ГОРЬКОЕ ВРЕМЯ — ГОРЬКИЕ ПЕСНИ

Веселая

— Кушай тюрю, Яша!
Молочка-то нет! —
«Где ж коровка наша?»
— Увели, мой свет!
Барин для приплоду
Взял ее домой.
Славно жить народу
На Руси святой!

«Где же наши куры?» —
Девчонки орут.
— Не орите, дуры!
Съел их земский суд;
Взял еще подводу,
Да сулил постой...
Славно жить народу
На Руси святой!

Разломило спину,
А квашня не ждет!
Баба Катерину
Вспомнила — ревет:
В дворне больше году
Дочка... нет родной!
Славно жить народу
На Руси святой!

Чуть из ребятишек,
Глядь — и нет детей:
Царь возьмет мальчишек,
Барин — дочерей!
Одному уроду
Вековать с семьей.
Славно жить народу
На Руси святой!

Потом свою вахлацкую,
Родную — хором грянули,
Протяжную, печальную —
Иных покамест нет.
Не диво ли? широкая
Сторонка Русь крещеная,
Народу в ней тьма тём,
А ни в одной-то душеньке
Спокон веков до нашего
Не загорелась песенка
Веселая и ясная,
Как ведреный денек.
Не дивно ли? не страшно ли?
О время, время новое!
Ты тоже в песне скажешься,
Но как?.. Душа народная!
Воссмейся ж наконец!..

Барщинная

Беден, нечесан Калинушка,
Нечем ему щеголять,
Только расписана спинушка,
Да за рубахой не знать.

С лаптя до ворота
Шкура вся вспорота,
Пухнет с мякины живот.

Верченый, крученый,
Сеченый, мученый
Еле Калина бредет.

В ноги кабатчику стукнется,
Горе потопит в вине,
Только в субботу аукнется
С барской конюшни жене...

—

«Ай, песенка!.. Запомнить бы!..» —
Тужили наши странники,
Что память коротка,
А вахлаки бахвалились:
— Мы барщинные! С наше-то
Попробуй, потерпи!
Мы барщинные! выросли
Под рылом у помещика;
День — каторга, а ночь?
Что сраму-то! За девками
Гонцы скакали тройками
По нашим деревням.
В лицо позабывали мы
Друг дружку, в землю глядючи,
Мы потеряли речь.
В молчанку напивалися,
В молчанку целовалися,
В молчанку драка шла.
— Ну, ты насчет молчанки-то
Не очень! нам молчанка-то
Досталась солоней! —
Сказал соседней волости
Крестьянин, с сеном ехавший
(Нужда пристигла крайняя,
Скосил — и на базар!) —
Решила наша барышня
Гертруда Александровна,
Кто скажет слово крепкое,
Того нещадно драть.

И драли же! покудова
Не перестали лаяться.
А мужику не лаяться
Едино, что молчать.
Намаялись! уж подлинно
Отпраздновали волю мы,
Как праздник: так ругалися,
Что поп Иван обиделся
За звоны колокольные,
Гудевшие в тот день.

Такие сказы чудные
Посыпались... и диво ли?
Ходить далеко за словом
Не надо — все прописано
На собственной спине. —

«У нас была оказия, —
Сказал детина с черными,
Большими бакенбардами, —
Так нет ее чудней».
(На малом шляпа круглая,
С значком, жилетка красная,
С десятком светлых пуговиц,
Посконные штаны
И лапти: малый смахивал
На дерево, с которого
Кору подпасок крохотный
Всю снизу ободрал.
А выше — ни царапины,
В вершине не побрезгует
Ворона свить гнездо).
— Так что же, брат, рассказывай! —
«Дай прежде покурю!»
Покамест он покуривал,
У Власа наши странники
Спросили: — Что за гусь? —
«Так, подбегало-мученик, [1]
Приписан к нашей волости,

[1] Подбегало — человек нетутошний, пришлый, приписавшийся к деревне.

Барона Синегузина [1]
Дворовый человек,
Викентий Александрович.
С запяток в хлебопашество
Прыгнул! За ним осталася
И кличка: «выездной».
Здоров, а ноги слабые,
Дрожат; его-то барыня
В карете цугом ездила
Четверкой по грибы...
Расскажет он! послушайте!
Такая память знатная,
Должно быть (кончил староста),
Сорочьи яйца ел. [2]

Поправив шляпу круглую,
Викентий Александрович
К рассказу приступил.

Про холопа примерного — Якова верного

Был господин невысокого рода,
Он деревнишку на взятки купил,
Жил в ней безвыездно тридцать три года,
Вольничал, бражничал, горькую пил.
Жадный, скупой, не дружился с дворянами,
Только к сестрице езжал на чаек;
Даже с родными, не только с крестьянами,
Был господин Поливанов жесток;
Дочь повенчав, муженька благоверного
Высек — обоих прогнал нагишом,
В зубы холопа примерного,
Якова верного
Пóходя дул каблуком.

Люди холопского звания —
Сущие псы иногда:

---

[1] Тизенгаузена.
[2] Примета: чтобы иметь хорошую память, нужно есть сорочьи яйца.

Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.
Яков таким объявился из младости,
Только и было у Якова радости:
Барина холить, беречь, ублажать,
Да племяша-малолетка качать.
Так они оба до старости дожили,
Стали у барина ножки хиреть,
Ездил лечиться, да ноги не ожили. . .
Полно кутить, баловаться и петь!
Очи-то ясные,
Щеки-то красные,
Пухлые руки как сахар белы,
Да на ногах — кандалы!

Смирно помещик лежит под халатом,
Горькую долю клянет,
Яков при барине: другом и братом
Верного Якова барин зовет.
Зиму и лето вдвоем коротали,
В карточки больше играли они,
Скуку рассеять к сестрице езжали
Верст за двенадцать в хорошие дни.
Вынесет сам его Яков, уложит,
Сам на долгуше свезет до сестры,
Сам до старушки добраться поможет.
Так они жили ладком — до поры.

Вырос племянничек Якова, Гриша,
Барину в ноги: «Жениться хочу!»
— Кто же невеста? — «Невеста — Ариша».
Барин ответствует: «В гроб вколочу!»
Думал он сам, на Аришу-то глядя:
«Только бы ноги господь воротил!»
Как ни просил за племянника дядя,
Барин соперника в рекруты сбыл.
Крепко обидел холопа примерного
Якова верного
Барин — холоп задурил!
Мертвую запил. . . Неловко без Якова,
Кто ни послужит — дурак, негодяй!

Злость-то давно накипела у всякого,
Благо есть случай: груби, вымещай!
Барин то просит, то пёсски ругается,
Так две недели прошли.
Вдруг его верный холоп возвращается...
Первое дело: поклон до земли.
Жаль ему, видишь ты, стало безногого:
Кто-де сумеет его соблюсти?
«Не поминай только дела жестокого;
Буду свой крест до могилы нести!»
Снова помещик лежит под халатом,
Снова у ног его Яков сидит,
Снова помещик зовет его братом.
«Что ты нахмурился, Яша?» — Мутит! —
Много грибов нанизали на нитки,
В карты сыграли, чайку напились,
Ссыпали вишни, малину в напитки
И поразвлечься к сестре собрались.

Курит помещик, лежит беззаботно,
Ясному солнышку, зелени рад,
Яков угрюм, говорит неохотно,
Вожжи у Якова дрожмя дрожат,
Крестится. «Чур меня, сила нечистая! —
Шепчет: — Рассыпься!» (мутил его враг).
Едут... Направо трущоба лесистая,
Имя ей исстари: Чортов овраг;
Яков свернул и поехал оврагом,
Барин опешил: «Куда ж ты, куда?»
Яков ни слова. Проехали шагом
Несколько верст; не дорога — беда!
Ямы, валежник; бегут по оврагу
Вешние воды, деревья шумят...
Стали лошадки — и дальше ни шагу,
Сосны стеной перед ними торчат.

Яков, не глядя на барина бедного,
Начал коней отпрягать.
Верного Яшу, дрожащего, бледного,
Начал помещик тогда умолять.
Выслушал Яков посулы — и грубо,
Зло засмеялся: «Нашел душегуба!

Стану я руки убийством марать,
Нет, не тебе умирать!»
Яков на сосну высокую прянул,
Вожжи в вершине ее укрепил,
Перекрестился, на солнышко глянул,
Голову в петлю — и ноги спустил!..
Экие страсти господни! висит
Яков над барином, мерно качается.
Мечется барин, рыдает, кричит,
Эхо одно откликается!

Вытянул голову, голос напряг
Барин — напрасные крики!
В саван окутался Чортов овраг,
Ночью там росы велики,
Зги не видать! только совы снуют,
Оземь ширяясь крылами,
Слышно, как лошади листья жуют,
Тихо звеня бубенцами.
Словно чугунка подходит — горят
Чьи-то два круглые, яркие ока,
Птицы какие-то с шумом летят,
Слышно, посели они недалеко.
Ворон над Яковом каркнул один.
Чу! их слетелось до сотни!
Ухнул, грозит костылем господин.
Экие страсти господни!

Барин в овраге всю ночь пролежал,
Стонами птиц и волков отгоняя,
Утром охотник его увидал.
Барин вернулся домой, причитая:
«Грешен я, грешен! Казните меня!»
Будешь ты, барин, холопа примерного
Якова верного
Помнить до судного дня!

«Грехи, грехи, — послышалось
Со всех сторон: — Жаль Якова,
Да жутко и за барина —
Какую принял казнь!» —

— Жалей! . . — Еще прослушали
Два-три рассказа страшные
И горячо заспорили
О том, кто всех грешней?
Один сказал — «кабатчики»,
Другой сказал — «помещики»,
А третий — «мужики».
То был Игнатий Прохоров,
Извозом занимавшийся,
Степенный и зажиточный
Мужик — не пустослов.
Видал он виды всякие,
Изъездил всю губернию
И вдоль, и поперек.
Его послушать надо бы.
Однако вахлаки
Так обозлились, не дали
Игнатью слова вымолвить,
Особенно Клим Яковлев
Куражился: «Дурак же ты! . .»
— А ты бы прежде выслушал. . . —
«Дурак же ты. . .»

— И все-то вы,
Я вижу, дураки! —
Вдруг вставил слово грубое
Еремин, брат купеческий,
Скупавший у крестьян
Что ни попало: лапти ли,
Теленка ли, бруснику ли,
А главное мастак
Подстерегать оказии,
Когда сбирались подати
И собственность вахлацкая
Пускалась с молотка. —
Затеять спор затеяли,
А в точку не утрафили!
Кто всех грешней? подумайте! —
«Ну, кто же? говори!»
— Известно, кто: разбойники! —
А Клим ему в ответ:
— Вы крепостными не были,

Была капель великая,
Да не на вашу плешь!
Набил мошну: мерещатся
Везде ему разбойники;
Разбой — статья особая,
Разбой тут ни при чем!
«Разбойник за разбойника
Вступился!» — прасол вымолвил,
А Лавин — скок к нему!
— Молись! — и в зубы прасола.
«Прощайся с животишками!» —
И прасол в зубы Лавина.
«Ай, драка! молодцы!»
Крестьяне расступилися,
Никто не подзадоривал,
Никто не разнимал.
Удары градом сыпались:
— Убью! пиши к родителям! —
«Убью! зови попа!»
Тем кончилось, что прасола
Клим сжал рукой, как обручем,
Другой вцепился в волосы
И гнул со словом «кланяйся»
Купца к своим ногам.
— Ну, баста! — прасол вымолвил.
Клим выпустил обидчика,
Обидчик сел на бревнышко,
Платком широким, клетчатым
Отерся и сказал:
— Твоя взяла! и диво ли?
Не жнет, не пашет — шляется
По коновальской должности,
Как сил не нагулять?
(Крестьяне засмеялися).
«А ты еще не хочешь ли?» —
Сказал задорно Клим.
— Ты думал, нет? Попробуем! —
Купец снял чуйку бережно
И в руки поплевал.

«Раскрыть уста греховные
Пришел черед: прислушайте!

И так вас помирю!» —
Вдруг возгласил Ионушка,
Весь вечер молча слушавший,
Вздыхавший и крестившийся
Смиренный богомол.
Купец был рад; Клим Яковлев
Помалчивал. Уселися.
Настала тишина.

II. СТРАННИКИ И БОГОМОЛЬЦЫ

Бездомного, безродного
Немало попадается
Народу на Руси.
Не жнут, не сеют — кормятся
Из той же общей житницы,
Что кормит мышку малую
И воинство несметное:
Оседлого крестьянина;
Горбом ее зовут.
Пускай народу ведомо,
Что целые селения
На попрошайство осенью
Как на доходный промысел
Идут: в народной совести
Уставилось решение,
Что больше тут злосчастия,
Чем лжи, — им подают.
Пускай нередки случаи,
Что странница окажется
Воровкой; что у баб
За просфоры афонские,
За «слезки богородицы»
Паломник пряжу выманит,
А после бабы сведают,
Что дальше Тройцы-Сергия
Он сам-то не бывал.
Был старец, чудным пением
Пленял сердца народные;
С согласья матерей,
В селе Крутые-Заводи
Божественному пению

Стал девок обучать;
Всю зиму девки красные
С ним в риге запиралися,
Оттуда пенье слышалось,
А чаще смех и визг.
Однако чем же кончилось?
Он петь-то их не выучил,
А перепортил всех.
Есть мастера великие
Подлаживаться к барыням:
Сначала через баб
Доступится до девичьей,
А там и до помещицы.
Бренчит ключами, по двору
Похаживает барином,
Плюет в лицо крестьянину,
Старушку богомольную
Согнул в бараний рог!..
Но видит в тех же странниках
И лицевую сторону
Народ. Кем церкви строятся?
Кто кружки монастырские
Наполнил через край?
Иной добра не делает
И зла за ним не видится,
Иного не поймешь.
Знаком народу Фомушка:
Вериги двупудовые
По телу опоясаны,
Зимой и летом бос,
Бормочет непонятное,
А жить — живет по-божески:
Доска да камень в головы,
А пища — хлеб один.
Чудён ему и памятен
Старообряд Кропильников,
Старик, вся жизнь которого
То воля, то острог.
Пришел в село Усолово:
Корит мирян безбожием,
Зовет в леса дремучие
Спасаться. Становой

Случился тут, все выслушал,
— К допросу сомустителя! —
Он то же и ему:
«Ты враг Христов, антихристов
Посланник!» Сотский, староста
Мигали старику:
— Эй, покорись! — не слушает!
Везли его в острог,
А он корил начальника
И, на телеге стоючи,
Усоловцам кричал:

«Горе вам, горе, пропащие головы!
Были оборваны, — будете голы вы,
Били вас палками, розгами, кнутьями,
Будете биты железными прутьями! ..»

Усоловцы крестилися,
Начальник бил глашатая:
«Попомнишь ты, анафема,
Судью ерусалимского!»
У парня, у подводчика,
С испугу вожжи выпали
И волос дыбом стал!
И как на грех, воинская
Команда утром грянула:
В Устой, село недальное,
Солдатики пришли.
Допросы! усмирение!
Тревога! по спопутности
Досталось и усоловцам:
Пророчество строптивого
Чуть в точку не сбылось.

Вовек не позабудется
Народом Евфросиньюшка,
Посадская вдова:
Как божия посланница,
Старушка появляется
В холерные года;
Хоронит, лечит, возится

С больными. Чуть не молятся
Крестьянки на нее...

Стучись же, гость неведомый!
Кто б ни был ты, уверенно
В калитку деревенскую
Стучись! Не подозрителен
Крестьянин коренной,
В нем мысль не зарождается,
Как у людей достаточных,
При виде незнакомого,
Убогого и робкого:
Не стибрил бы чего?
А бабы — те радехоньки!
Зимой, перед лучиною
Сидит семья, работает,
А странничек гласит.
Уж в баньке он попарился,
Ушицы ложкой собственной,
С рукой благословляющей,
Досыта похлебал.
По жилам ходит чарочка,
Рекою льется речь.
В избе все словно замерло:
Старик, чинивший лапотки,
К ногам их уронил;
Челнок давно не чикает,
Заслушалась работница
У ткацкого станка;
Застыл уж на уколотом
Мизинце у Евгеньюшки,
Хозяйской старшей дочери,
Высокий бугорок,
А девка и не слышала,
Как укололась до крови;
Шитье к ногам спустилося,
Сидит, — зрачки расширены,
Руками развела...
Ребята, свесив головы
С палатей, не шелохнутся,
Как тюленята сонные
На льдинах за Архангельском,

Лежат на животе.
Лиц не видать, завешены
Спустившимся прядями
Волос — не нужно сказывать,
Что желтые они.
Постой! уж скоро странничек
Доскажет быль афонскую,
Как турка взбунтовавшихся
Монахов в море гнал,
Как шли покорно иноки
И погибали сотнями...
Услышишь шопот ужаса,
Увидишь ряд испуганных,
Слезами полных глаз!
Пришла минута страшная —
И у самой хозяюшки
Веретено пузатое
Скатилося с колен.
Кот Васька насторожился —
И прыг к веретену!
В другую пору то-то бы
Досталось Ваське шустрому,
А тут и не заметили,
Как он проворной лапкою
Веретено потрогивал,
Как прыгал на него,
И как оно каталося,
Пока не размоталася
Напряденная нить!

Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников
Крестьянская семья,
Поймет, что ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь.
Когда изменят пахарю

Поля старозапашные,
Клочки в лесных окраинах
Он пробует пахать.
Работы тут достаточно,
Зато полоски новые
Дают без удобрения
Обильный урожай.
Такая почва добрая —
Душа народа русского...
О сеятель! приди! ..

Иона (он же Ляпушкин)
Сторонушку вахлацкую
Издавна навещал.
Не только не гнушалися
Крестьяне божьим странником,
А спорили о том,
Кто первый приютит его?
Пока их спорам Ляпушкин
Конца не положил:
«Эй! бабы! выносите-ка
Иконы!» Бабы вынесли,
Пред каждою иконою
Иона падал ниц:
«Не спорьте! дело божие,
Котора взглянет ласковей,
За тою и пойду!»
И часто за беднейшею
Иконой шел Ионушка
В беднейшую избу.
И к той избе особое
Почтенье: бабы бегают
С узлами, сковородками
В ту избу. Чашей полною,
По милости Ионушки,
Становится она.

Не громко и не торопко
Повел рассказ Ионушка
«О двух великих грешниках»,
Усердно покрестясь.

О двух великих грешниках

Господу богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках ее сказывал
Инок, отец Питирим.

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр — атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан,

Много богатства награбили.
Жили в дремучем лесу,
Вождь-Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу красу.

Днем с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть господь пробудил.

Сон отлетел; опротивели
Пьянство, убийство, грабеж,
Тени убитых являются,
Целая рать — не сочтешь!

Долго боролся, противился
Господу зверь-человек,
Голову снес полюбовнице
И есаула засек.

Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.

И прегрешенья отмаливать
К гробу господню идет,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стает.

Старцем, в одежде монашеской,
Грешник вернулся домой.

Жил под навесом старейшего
Дуба, в трущобе лесной.

Денно и нощно всевышнего
Молит: грехи отпусти!
Тело предай истязанию,
Дай только душу спасти!

Сжалился бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,

Рек: «Не без божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что́ разбойничал,
Срежь его, той же рукой!

Будет работа великая,
Будет награда за труд,
Только что рухнется дерево,
Цепи греха упадут».

Смерил отшельник страшилище.
Дуб — три обхвата кругом!
Стал на работу с молитвою,
Режет булатным ножом,

Режет упругое дерево,
Господу славу поет,
Годы идут — подвигается
Медленно дело вперед.

Что с великаном поделает
Хилый, больной человек?
Нужны тут силы железные,
Нужен не старческий век!

В сердце сомнение крадется,
Режет и слышит слова:
«Эй, старина, что ты делаешь?»
Перекрестился сперва,

Глянул — и пана Глуховского
Видит на борзом коне,
Пана богатого, знатного,
Первого в той стороне.

Много жестокого, страшного
Старец о пане слыхал,
И в поучение грешнику
Тайну свою рассказал.

Пан усмехнулся: «Спасения
Я уж не чаю давно,
В мире я чту только женщину,
Золото, честь и вино.

Жить надо, старче, по-моему:
Сколько холопов гублю,
Мучу, пытаю и вешаю,
А поглядел бы, как сплю!»

Чудо с отшельником сталося:
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!

Только что пан окровавленный
Пал головой на седло —
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.

Рухнуло древо, скатилося
С инока бремя грехов! ..
Господу богу помолимся:
Милуй нас, темных рабов!

III. И СТАРОЕ, И НОВОЕ

Иона кончил, крестится;
Народ молчит. Вдруг прасола
Сердитым криком прорвало:
«Эй вы, тетери сонные!
Па-ром, живей, па-ром!»
— Парома не докличешься
До солнца! перевозчики

И днем-то трусу празднуют,
Паром у них худой,
Пожди! Про Кудеяра-то. . . —
«Паром! пар-ром! пар-ром!»
Ушел, с телегой возится,
Корова к ней привязана —
Он пнул ее ногой;
В ней курочки курлыкают,
Сказал им: «Дуры! цыц!»
Теленок в ней мотается —
Досталось и теленочку
По звездочке на лбу.
Нажёг коня саврасого
Кнутом — и к Волге двинулся.
Плыл месяц над дорогою,
Такая тень потешная
Бежала рядом с прасолом
По лунной полосе!
«Отдумал, стало, драться-то?
А спорить — видит — не о чем, —
Заметил Влас: — Ой, господи!
Велик дворянский грех!»
— Велик, а все не быть ему
Против греха крестьянского, —
Опять Игнатий Прохоров
Не вытерпел — сказал.
Клим плюнул. — «Эк приспичило!
Кто с чем, а нашей галочке
Родные галченяточки
Всего милей. . . ну, сказывай.
Что за великий грех?»

Крестьянский грех

Аммирал-вдовец по морям ходил,
По морям ходил, корабли водил,
Под Ачаковым бился с туркою,
Наносил ему поражение,
И дала ему государыня
Восемь тысяч душ в награждение.
В той ли вотчине припеваючи
Доживает век аммирал-вдовец,

И вручает он, умираючи,
Глебу-старосте золотой ларец.
«Гой ты, староста! береги ларец!
Воля в нем моя сохраняется:
Из цепей-крепей на свободушку
Восемь тысяч душ отпускается!»

Аммирал-вдовец на столе лежит,
Дальний родственник хоронить катит...

Схоронил, забыл! Кличет старосту
И заводит с ним речь окольную;
Все повыведал, насулил ему
Горы золота, выдал вольную...

Глеб — он жаден был — соблазняется:
Завещание сожигается!

На десятки лет, до недавних дней
Восемь тысяч душ закрепил злодей,
С родом, с племенем; что народу-то!
Что народу-то! с камнем в воду-то!
Все прощает бог, а Иудин грех
Не прощается.
Ой, мужик! мужик! ты грешнее всех
И за то тебе вечно маяться!

Суровый и рассерженный,
Громовым, грозным голосом
Игнатий кончил речь.
Толпа вскочила на ноги,
Пронесся вздох, послышалось:
«Так вот он, грех крестьянина!
И впрямь страшенный грех!»
— И впрямь: нам вечно маяться,
Ох-ох! .. — сказал сам староста,
Опять убитый, в лучшее
Неверующий Влас
И скоро поддававшийся
Как горю, так и радости.
«Великий грех! великий грех!» —
Тоскливо вторил Клим.

Площадка перед Волгою,
Луною освещенная,
Переменилась вдруг,
Пропали люди гордые
С уверенной походкою.
Остались вахлаки,
Досыта не едавшие,
Несолоно хлебавшие,
Которых вместо барина
Драть будет волостной,
К которым голод стукнуться
Грозит: засуха долгая,
А тут еще — жучок!
Которым прасол-выжига
Урезать цену хвалится
На их добычу трудную,
Смолу, слезу вахлацкую,
Урежет, попрекнет;
«За что платить вам много-то?
У вас товар некупленный,
Из вас на солнце топится
Смола, как из сосны!»

Опять упали бедные
На дно бездонной пропасти,
Притихли, приубожились,
Легли на животы;
Лежали, думу думали
И вдруг запели. Медленно,
Как туча надвигается,
Текли слова тягучие.
Так песню отчеканили,
Что сразу наши странники
Упомнили ее:

Голодная

Стоит мужик —
Колышется,
Идет мужик —
Не дышится!

С коры его
Распучило,
Тоска-беда
Измучила.

Темней лица
Стеклянного
Не видано
У пьяного.

Идет — пыхтит,
Идет — и спит,
Прибрел туда,
Где рожь шумит.

Как идол стал
На полосу,
Стоит, поет
Без голосу:

«Дозрей, дозрей,
Рожь-матушка!
Я пахарь твой,
Панкратушка!

Ковригу съем
Гора горой,
Ватрушку съем
Со стол большой!

Все съем один,
Управлюсь сам.
Хоть мать, хоть сын
Проси — не дам!»

«Ой, батюшки, есть хочется!» —
Сказал упалым голосом
Один мужик; из пещура
Достал краюху — ест.
— Поют они без голосу,
А слушать — дрожь по волосу! —
Сказал другой мужик.

И правда, что не голосом —
Нутром — свою «Голодную»
Пропели вахлаки.
Иной во время пения
Стал на ноги, показывал,
Как шел мужик расслабленный,
Как сон долил голодного,
Как ветер колыхал;
И были строги, медленны
Движенья. Спев «Голодную»,
Шатаясь, как разбитые,
Гуськом пошли к ведерочку
И выпили певцы.

«Дерзай!» — за ними слышится
Дьячково слово; сын его
Григорий, крестник старосты,
Подходит к землякам.
— Хошь водки? — Пил достаточно.
Что тут у вас случилося?
Как в воду вы опущены! .. —
«Мы? .. что ты? ..» Насторо́жились,
Влас положил на крестника
Широкую ладонь.

— Неволя к вам вернулася?
Погонят вас на барщину?
Луга у вас отобраны? —
«Луга-то?.. Шутишь, брат!»
—Так что ж переменилося?..
Закаркали «Голодную»,
Накликать голод хочется? —
«Никак и впрямь ништо!» —
Клим как из пушки выпалил,
У многих зачесалися
Затылки, шопот слышится:
— Никак и впрямь ништо! —

«Пей, вахлачки, погуливай!
Всё ладно, всё по-нашему,
Как было ждано-гадано,
Не вешай головы!»

— По-нашему ли, Климушка?
А Глеб-то?.. —

Потолковано
Немало: в рот положено,
Что не они ответчики
За Глеба окаянного,
Всему виною: крепь! —
«Змея родит змеенышей,
А крепь — грехи помещика,
Грех Якова-несчастного,
Грех Глеба родила!
Нет крепи — нет помещика,
До петли доводящего
Усердного раба;
Нет крепи — нет дворового,
Самоубийством мстящего
Злодею своему;
Нет крепи — Глеба нового
Не будет на Руси!»
Всех пристальней, всех радостней
Прослушал Гришу Пров:
Осклабился, товарищам
Сказал победным голосом:
— Мотайте-ка на ус! —
«Так, значит, и «Голодную»
Теперь навеки по-боку?
Эй, други! Пой веселую!» —
Клим радостно кричал...
Пошло, толпой подхвачено,
О крепи слово верное
Трепаться: «Нет змеи —
Не будет и змеенышей!»
Клим Яковлев Игнатия
Опять ругнул: «Дурак же ты! —
Чуть-чуть не подрались!»
Дьячок рыдал над Гришею:
«Создаст же бог головушку!
Недаром порывается
В Москву, в новорситет!»
А Влас его поглаживал:
— Дай бог тебе и серебра,

И золотца, дай умную,
Здоровую жену! —
«Не надо мне ни серебра,
Ни золота, а дай господь,
Чтоб землякам моим
И каждому крестьянину
Жилось вольготно-весело
На всей святой Руси!» —
Зардевшись, словно девушка,
Сказал из сердца самого
Григорий — и ушел.

—

Светает. Снаряжаются
Подводчики. — Эй, Влас Ильич!
Иди сюда, гляди, кто здесь! —
Сказал Игнатий Прохоров,
Взяв к бревнам приваленную
Дугу. Подходит Влас,
За ним бегом Клим Яковлев,
За Климом — наши странники
(Им дело до всего):
За бревнами, где нищие
Вповалку спали с вечера,
Лежал какой-то смученный,
Избитый человек;
На нем одежа новая,
Да только вся изорвана,
На шее красный, шелковый
Платок, рубаха красная,
Жилетка и часы.
Нагнулся Лавин к спящему,
Взглянул и с криком: «бей его!»
Пнул в зубы каблуком.
Вскочил детина, мутные
Протер глаза, а Влас его
Тем временем в скулу.
Как крыса прищемленная,
Детина пискнул жалобно —
И к лесу! Ноги длинные,
Бежит — земля дрожит!

Четыре парня бросились
В погоню за детиною,
Народ кричал им: «бей его!»
Пока в лесу не скрылися
И парни, и беглец.

«Что за мужчина? — старосту
Допытывали странники. —
За что его тузят?»

— Не знаем, так наказано
Нам из села из Тискова,
Что буде где покажется
Егорка Шутов — бить его!
И бьем. Подъедут тисковцы,
Расскажут. — Удоволили? —
Спросил старик вернувшихся
С погони молодцов.

«Догнали, удоволили!
Побег к Кузьмо-Демьянскому.
Там, видно, переправиться
За Волгу норовит».

— Чудно́й народ! бьют сонного,
За что, про что, не знаючи... —

«Коли всем миром велено:
Бей! — стало, есть за что! —
Прикрикнул Влас на странников: —
Не ветрогоны тисковцы,
Давно ли там десятого
Пороли?.. Ой, Егор!..
Ай служба — должность подлая!..
Гнусь-человек! Не бить его,
Так уж кого и бить?
Не нам одним наказано:
От Тискова по Волге-то
Тут деревень четырнадцать, —
Чай, через все четырнадцать
Прогнали, как сквозь строй!»

Притихли наши странники.
Узнать-то им желательно,
В чем штука? да прогневался
И так уж дядя Влас.

—

Совсем светло. Позавтракать
Мужьям хозяйки вынесли:
Ватрушки с творогом,
Гусятина (прогнали тут
Гусей; три затомилися,
Мужик их нес подмышкою:
«Продай! помрут до городу!»
Купили ни за что).
Как пьет мужик, толковано
Немало, а не всякому
Известно, как он ест.
Жаднее на говядину,
Чем на вино, бросается;
Был тут непьющий каменщик,
Так опьянел с гусятины,
На что́ твое вино!
Чу! слышен крик: «Кто едет-то!
Кто едет-то!» Наклюнулось
Еще подспорье шумному
Веселью вахлаков.
Воз с сеном приближается,
Высоко на возу
Сидит солдат Овсянников,
Верст на двадцать в окружности
Знакомый мужикам,
И рядом с ним Устиньюшка,
Сироточка-племянница,
Поддержка старика.
Райком кормился дедушка,
Москву да Кремль показывал.
Вдруг инструмент испортился.
А капиталу нет!
Три желтенькие ложечки
Купил — так не приходятся
Заученные на́-твердо
Присловья к новой музыке,

Народа не смешат!
Хитер солдат! по времени
Слова придумал новые,
И ложки в ход пошли.
Обрадовались старому:
«Здорово, дедко! спрыгни-ка
Да выпей с нами рюмочку,
Да в ложечки ударь!»
— Забраться-то, забрался я,
А как сойду, не ведаю:
Ведет! — «Небось, до города
Опять за полной пенцией?
Да город-то сгорел!»
— Сгорел? И поделом ему!
Сгорел? Так я до Питера!
Там все мои товарищи
Гуляют с полной пенцией,
Там — дело разберут! —
«Чай, по чугунке тронешься?»
Служивый посвистал:
— Недолго послужила ты
Народу православному,
Чугунка бусурманская!
Была ты нам люба,
Как от Москвы до Питера
Возила за три рублика,
А коли семь-то рубликов
Платить, так чорт с тобой! —

«А ты ударь-ка в ложечки, —
Сказал солдату староста: —
Народу подгулявшего
Покуда тут достаточно,
Авось, дела поправятся.
Орудуй живо, Клим!
(Влас Клима недолюбливал,
А чуть делишко трудное,
Тотчас к нему: — «Орудуй, Клим!»
А Клим тому и рад.)

Спустили с возу дедушку.
Солдат был хрупок на ноги,

Высок и тощ до крайности;
На нем сюртук с медалями
Висел, как на шесте.
Нельзя сказать, чтоб доброе
Лицо имел, особенно,
Когда сводило старого —
Чорт чортом! Рот ощерится,
Глаза — что угольки! ..

Солдат ударил в ложечки,
Что́ было вплоть до берегу
Народу — всё сбегается.
Ударил — и запел:

Солдатская

Тошен свет,
Правды нет,
Жизнь тошна,
Боль сильна.
Пули немецкие,
Пули турецкие,
Пули французские,
Палочки русские!
Тошен свет,
Хлеба нет,
Крова нет,
Смерти нет.
Ну-тка, с редута-то с первого номеру,
Ну-тка, с Георгием — по́ миру, по́ миру!
У богатого,
У богатины̀,
Чуть не подняли
На рогатину.
Весь в гвоздях забор
Ощетинился,
А хозяин вор
Оскотинился.
Нет у бедного
Гроша медного:
Не взыщи, солдат!
— И не надо, брат!

Тошен свет,
Хлеба нет,
Крова нет,
Смерти нет.
Только трех Матрен
Да Луку с Петром
Помяну добром.
У Луки с Петром
Табачку нюхнем,
А у трех Матрен
Провиант найдем.
У первой Матрены
Груздочки ядрены,
Матрена вторая
Несет каравая,
У третьей водицы попью из ковша:
Вода ключевая, а мера — душа!
Тошен свет,
Правды нет,
Жизнь тошна,
Боль сильна.

Служивого задергало.
Опершись на Устиньюшку,
Он поднял ногу левую
И стал ее раскачивать,
Как гирю навесу;
Проделал то же с правою,
Ругнулся: «Жизнь проклятая!» —
И вдруг на обе стал.

«Орудуй, Клим!» По-питерски
Клим дело оборудовал:
По блюдцу деревянному
Дал дяде и племяннице,
Поставил их рядком,
А сам вскочил на бревнышко
И громко крикнул: «Слушайте!»
(Служивый не выдерживал
И часто в речь крестьянина
Вставлял словечко меткое
И в ложечки стучал).

Клим

Колода есть дубовая
У моего двора,
Лежит давно: измладости
Колю на ней дрова,
Так та не столь изранена,
Как господин служивенький.
Взгляните: в чем душа!

Солдат

Пули немецкие,
Пули турецкие,
Пули французские,
Палочки русские.

Клим

А пенциону полного
Не вышло, забракованы
Все раны старика;
Взглянул помощник лекаря,
Сказал: «Второразрядные!
По ним и пенцион».

Солдат

Полного выдать не велено:
Сердце насквозь не прострелено!

(Служивый всхлипнул; в ложечки
Хотел ударить, — скорчило!
Не будь при нем Устиньюшки,
Упал бы старина.)

Клим

Какое в нашем городе
Начальство? Поделом его
Пожар загнал в острог!
Солдат опять с прошением:
Вершками раны смеряли
И оценили каждую
Чуть-чуть не в медный грош.
Так мерит пристав следственный
Побои на подравшихся
На рынке мужиках:

«Под правым глазом ссадина,
Величиной с двугривенный,
В средине лба пробоина
В целковый. Итого:
На рубль пятнадцать с деньгою
Побоев»... Приравняем ли
К побоищу базарному
Войну под Севастополем,
Где лил солдатик кровь?

Солдат

Только горами не двигали.
А на редуты как прыгали!
Зайцами, белками, дикими кошками,
Там и простился я с ножками,
С адского грохоту, свисту оглох,
С русского голоду чуть не подох!

Клим

Ему бы в Питер надобно
До комитета раненых, —
Пеш до Москвы дотянется,
А дальше как? Чугунка-то
Кусаться начала!

Солдат

Важная барыня! гордая барыня!
Ходит, змеею шипит:
«Пусто вам! пусто вам! пусто вам!»
Русской деревне кричит;
В рожу крестьянину фыркает,
Давит, увечит, кувыркает,
Скоро весь русский народ
Чище метлы подметет.

Солдат слегка притопывал,
И слышалось, как стукалась
Сухая кость о кость,
А Клим молчал; уж двинулся
К служивому народ.
Все дали: по копеечке,
По грошу, на тарелочках
Рублишко набрался...

В замену спичей с песнями,
В подспорье речи с дракою,
Пир только к утру кончился.
Великий пир! .. Расходится
Народ. Уснув, осталися
Под ивой наши странники,
И тут же спал Ионушка,
Смиренный богомол.
Качаясь, Савва с Гришею
Вели домой родителя
И пели; в чистом воздухе
Над Волгой, как набатные,
Согласные и сильные,
Гремели голоса:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!

Мы же немного
Просим у бога:
Честное дело
Делать умело
Силы нам дай!

Жизнь трудовая —
Другу прямая
К сердцу дорога.
Прочь от порога,
Трус и лентяй!
То ли не рай?

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего! ..

—

Беднее захудалого
Последнего крестьянина
Жил Трифон. Две коморочки:
Одна с дымящей печкою,
Другая, в сажень — летняя,
И вся тут недолга;
Коровы нет, лошадки нет,
Была собака Зудушка,
Был кот — и те ушли.

Спать уложив родителя,
Взялся за книгу Саввушка,
А Грише не сиделося,
Ушел в поля, в луга.

У Гриши — кость широкая,
Но сильно исхудалое
Лицо — их недокармливал
Хапуга-эконом.
Григорий в семинарии
В час ночи просыпается
И уж потом до солнышка
Не спит — ждет жадно ситника,
Который выдавался им
Со сбитнем по утрам.
Как ни бедна вахлачина,
Они в ней отъедалися,
Спасибо Власу-крестному
И прочим мужикам!
Платили им молодчики,
По мере сил, работою,
По их делишкам хлопоты
Справляли в городу.

Дьячок хвалился детками,
А чем они питаются —
И думать позабыл.
Он сам был вечно голоден,
Весь тратился на поиски,
Где выпить, где поесть.
И был он нрава легкого,
А будь иного, вряд ли бы
И дожил до седин.

Его хозяйка Домнушка
Была куда заботлива,
Зато и долговечности
Бог не дал ей. Покойница
Всю жизнь о соли думала:
Нет хлеба — у кого-нибудь
Попросит, а за соль
Дать надо деньги чистые,
А их во всей вахлачине,
Сгоняемой на барщину,
Не густо! Благо хлебушком
Вахлак делился с Домною.
Давно в земле истлели бы
Ее родные деточки,
Не будь рука вахлацкая
Щедра, чем бог послал.

Батрачка безответная
На каждого, кто чем-нибудь
Помог ей в черный день,
Всю жизнь о соли думала,
О соли пела Домнушка,
Стирала ли, косила ли,
Баюкала ли Гришеньку,
Любимого сынка.
Как сжалось сердце мальчика,
Когда крестьянки вспомнили
И спели песню Домнину.
(Прозвал ее «Соленою»
Находчивый вахлак.)

Соленая

Никто как бог!
Не ест, не пьет
Меньшой сынок,
Гляди — умрет!

Дала кусок,
Дала другой —
Не ест, кричит:
«Посыпь сольцой!»

А соли нет,
Хоть бы щепоть!
«Посыпь мукой», —
Шепнул господь.

Раз-два куснул.
Скривил роток.
«Соли еще!» —
Кричит сынок.

Опять мукой...
А на кусок
Слеза рекой!
Поел сынок!

Хвалилась мать —
Сынка спасла...
Знать, солона
Слеза была!..

Запомнил Гриша песенку
И голосом молитвенным
Тихонько в семинарии,
Где было темно, холодно,
Угрюмо, строго, голодно,
Певал — тужил о матушке
И обо всей вахлачине,
Кормилице своей.
И скоро в сердце мальчика
С любовью к бедной матери
Любовь ко всей вахлачине
Слилась — и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка.

Довольно демон ярости
Летал с мечом карающим
Над русскою землей.
Довольно рабство тяжкое
Одни пути лукавые

Открытыми, влекущими
Держало на Руси!
Над Русью оживающей
Иная песня слышится:
То ангел милосердия,
Незримо пролетающий
Над нею, души сильные
Зовет на честный путь.

Средь мира дольного
Для сердца вольного
    Есть два пути.

Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую, —
    Каким итти?

Одна просторная
Дорога — торная.
    Страстей раба,

По ней громадная,
К соблазну жадная
    Идет толпа.

О жизни искренней,
О цели выспренней
    Там мысль смешна.

Кипит там вечная,
Бесчеловечная
    Вражда-война

За блага бренные...
Там души пленные
    Полны греха.

На вид блестящая
Там жизнь мертвящая
    К добру глуха.

Другая — тесная
Дорога, честная,
    По ней идут

Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд

За обойденного,
За угнетенного,
Стань в их ряды.

Иди к униженным,
Иди к обиженным,
Там нужен ты.

—

И ангел милосердия
Недаром песнь призывную
Поет над русским юношей —
Немало Русь уж выслала
Сынов своих, отмеченных
Печатью дара божьего,
На честные пути,
Немало их оплакала
(Пока звездой падучею
Проносятся они!).
Как ни темна вахлачина,
Как ни забита барщиной
И рабством — и она,
Благословясь, поставила
В Григорье Добросклонове
Такого посланца.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

—

Светило солнце ласково,
Дышало утро раннее
Прохладой, ароматами
Косимых всюду трав...

Григорий шел задумчиво
Сперва большой дорогою
(Старинная: с высокими

Курчавыми березами,
Прямая, как стрела).
Ему то было весело,
То грустно. Возбужденная
Вахлацкою пирушкою,
В нем сильно мысль работала
И в песне излилась:

«В минуту унынья, о родина-мать!
Я мыслью вперед улетаю.
Еще суждено тебе много страдать,
Но ты не погибнешь, я знаю.

Был гуще невежества мрак над тобой,
Удушливей сон непробудный,
Была ты глубоко-несчастной страной,
Подавленной, рабски-бессудной.

Давно ли народ твой игрушкой служил
Позорным страстям господина?
Потомок татар, как коня, выводил
На рынок раба-славянина,

И русскую деву влекли на позор,
Свирепствовал бич без боязни,
И ужас народа при слове «набор»
Подобен был ужасу казни?

Довольно! Окончен с прошедшим расчет,
Окончен расчет с господином!
Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином,

И ношу твою облегчила судьба,
Сопутница дней славянина!
Еще ты в семействе покуда — раба,
Но мать уже вольного сына!»

Сманила Гришу узкая,
Извилистая тропочка,
Через хлеба бегущая,
В широкий луг покошенный
Спустился он по ней.

В лугу траву сушившие
Крестьянки Гришу встретили
Его любимой песнею.
Взгрустнулось крепко юноше
По матери-страдалице,
А пуще злость брала.
Он в лес ушел. Аукаясь,
В лесу, как перепелочки
Во ржи — бродили малые
Ребята (а постарше-то
Ворочали сенцо).
Он с ними кузов рыжиков
Набрал. Уж жжется солнышко;
Ушел к реке. Купается, —
Три дня тому сгоревшего
Обугленного города
Картина перед ним:
Ни дома уцелевшего,
Одна тюрьма спасенная,
Недавно побеленная,
Как белая коровушка
На выгоне стоит.
Начальство там попряталось,
А жители под берегом,
Как войско, стали лагерем;
Всё спит еще, немногие
Проснулись: два подьячие,
Придерживая полочки
Халатов, пробираются
Между шкафами, стульями,
Узлами, экипажами
К палатке-кабаку;
Туда ж портняга скорченный
Аршин, утюг и ножницы
Несет — как лист дрожит.
Восстав от сна, с молитвою
Причесывает голову
И держит наотлет,
Как девка, косу длинную
Высокий и осанистый
Протоиерей Стефан.
По сонной Волге медленно

Плоты с дровами тянутся,
Стоят под правым берегом
Три барки нагруженные:
Вчера бурлаки с песнями
Сюда их привели.
А вот и он — измученный
Бурлак! походкой праздничной
Идет, рубаха чистая,
В кармане медь звенит.
Григорий шел, поглядывал
На бурлака довольного,
А с губ слова срывалися
То шопотом, то громкие,
Григорий думал вслух:

Бурлак

«Плечами, грудью и спиной
Тянул он барку бичевой,
Полдневный зной его палил,
И пот с него ручьями лил.
И падал он, и вновь вставал,
Хрипя, «дубинушку» стонал;
До места барку дотянул
И богатырским сном уснул,
И, в бане смыв поутру пот,
Беспечно пристанью идет.
Зашиты в пояс три рубля.
Остатком — медью — шевеля,
Подумал миг, зашел в кабак
И молча кинул на верстак
Трудом добытые гроши
И, выпив, крякнул от души,
Перекрестил на церковь грудь:
Пора и в путь! пора и в путь!
Он бодро шел, жевал калач,
В подарок нес жене кумач,
Сестре платок, а для детей
В сусальном золоте коней.
Он шел домой — не близкий путь,
Дай бог дойти и отдохнуть!»

—

С бурлака мысли Гришины
Ко всей Руси загадочной,
К народу перешли.
И долго Гриша берегом
Бродил, волнуясь, думая,
Покуда песней новою
Не утолил натруженной,
Горящей головы.

Русь

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

В рабстве спасенное
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

Сила народная,
Сила могучая —
Совесть спокойная,
Правда живучая!

Сила с неправдою
Не уживается,
Жертва неправдою
Не вызывается —

Русь не шелохнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая —

Встали — небужены,
Вышли — непрошены:
Жита по зернышку
Горы наношены!

Рать подымается —
Неисчислимая,
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!..

V

«Удалась мне песенка! — молвил Гриша прыгая: —
Горячо сказалася правда в ней великая!
Завтра же спою ее вахлачкам — не всё же им
Песни петь унылые... Помогай, о боже, им!
Как с игры да с беганья щеки разгораются,
Так с хорошей песенки духом поднимаются
Бедные, забитые...» Прочитав торжественно
Брату песню новую (брат сказал: «божественно!»),
Гриша спать попробовал. Спалося, не спалося,
Краше прежней песенка в полусне слагалася;
Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.
Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные,
Звуки лучезарные гимна благородного —
Пел он воплощение счастия народного!..



ПРИЛОЖЕНИЯ

I

1841

К NN

Мой бедненький цветок в красе благоуханной,
На радостной заре твоих весенних дней
Тебя, красавица, пришелец нежеланный
Сорвал по прихоти своей.

Расчетам суеты покорно уступая,
Ты грустно отреклась мечтаний молодых —
И вот тебя скует развалина живая
В своих объятьях ледяных.

Но ведь придет пора сердечного томленья,
Желанья закипят в взволнованной крови,
И жадно грудь твоя запросит наслажденья
В горячке огненной любви.

Мечта коварная твой жаркий бред обманет,
И к ложу твоему полночною порой
Прекрасный юноша невидимо предстанет
В разгаре силы молодой.

И вся отдашься ты могучему влеченью,
И обовьешь рукой созданье грез живых,
Но призрак сладостный исчезнет в то мгновенье...
И кто ж в объятиях твоих? —

Старик... холодный труп!.. Тебе упреком грянут:
«Зачем смущаешь ты бесчувственный покой?»
И как мучительно, убийственно обманут
Восторг души твоей больной!

1854

* * *

Зачем насмешливо ревнуешь,
Зачем, быть может, негодуешь,
Что Музу темную мою
Я прославляю и пою?

Не знаю я тесней союза,
Сходней желаний и страстей —
С тобой, моя вторая Муза,
У Музы юности моей!

Ты ей родная с колыбели. . .
Не так же ль в юные лета
И над тобою тяготели
Забота, скорбь и нищета?

Ты под своим родимым кровом
Врагов озлобленных нашла
И в отчуждении суровом
Печально детство провела.

Ты в жизнь невесело вступила. . .
Ценой страданья и борьбы,
Ценой кровавых слез купила
Ты каждый шаг свой у судьбы.

Ты много вынесла гонений,
Суровых бурь, враждебных встреч,
Чтобы святыню убеждений,
Свободу сердца уберечь.

Но устояв душою твердой,
Несокрушимая в борьбе,
Нашла ты в ненависти гордой
Опору прочную себе.

Ты так встречаешь испытанья,
Так презираешь ты людей,
Как будто люди и страданья
Слабее гордости твоей.

И говорят: ценою чувства,
Ценой душевной теплоты —
Презренья страшное искусство
И гордый смех купила ты.

Нет, грудь твоя полна участья! ..
Когда порой снимаешь ты
Личину гордого бесстрастья
Неумолимой красоты,

Когда скорбишь, когда рыдаешь
В величьи слабости твоей —
Я знаю, как ты проклинаешь,
Как ненавидишь ты людей!

В груди, трепещущей любовью,
Вражда бесплодно говорит,
И сердце, обливаясь кровью,
Чужою скорбию болит, —

Не дикий гнев, не жажда мщенья
В душе скорбящей разлита —
Святое слово всепрощенья
Лепечут слабые уста.

Так, помню, истощив напрасно
Все буйство скорби и страстей,
Смирилась кротко и прекрасно
Вдруг Муза юности моей:

Слезой увлажены ланиты,
Глаза поникнуты к земле,
И свежим тернием увитый
Венец страданья на челе...

1855

РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Напрасно быть толпе угодней
Ты хочешь, поблажая ей, —
Твое призванье благородней,
Писатель родины моей!

Ее ты знаешь: не угодник
Полезен ей. Пришла пора!
Ей нужен труженик-работник
На почве Мысли и Добра.

Служи не славе, не искусству, —
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви.

И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.

Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень...

ПРОЩАНЬЕ

Мы разошлись на полпути,
Мы разлучились до разлуки
И думали: не будет муки
В последнем роковом прости,
Но даже плакать нету силы.
Пиши — прошу я одного...
Мне эти письма будут милы
И святы, как цветы с могилы —
С могилы сердца моего!

* * *

О, пошлость и рутина — два гиганта,
Единственно бессмертные на свете,
Которые одолевают все —
И молодости честные порывы,
И опыта обдуманный расчет,
Насмешливо и нагло выжидая,
Когда придет их время. И оно
Приходит непременно.

* * *

Не знаю, как созданы люди другие, —
Мне любы и дороги блага земные.

Я милую землю, я солнце люблю,
Желаю, надеюсь, страстями киплю.

И жаден мой слух, и мой глаз любопытен,
И весь я в желаньях моих ненасытен...

Зачем же я вечно тоскую и плачу
И сердце на горе бесплодное трачу?

Зачем не иду по дороге большой
За благами жизни, за пестрой толпой?

* * *

Ты меня отослала далеко
От себя — говорила мне ты,
Что я буду спокоен глубоко,
Убежав городской суеты.

Это, друг мой, пустая химера —
И как поздно я понял ее.
Друг, во мне поколеблена вера
В благородное сердце твое.

1868

ИЗ ПЬЕСЫ «КАК УБИТЬ ВЕЧЕР»

Лесничий

Так, девять лет скитанья по лесам
Мне даром не прошли. Я одичал.
Не только не приятны, — мне противны
Все эти люди, шумною ордой
Нахлынувшие в наше захолустье
Стрелять медведей наших: на денек
Они собрались к нам, а притащили
Такой обоз, что можно круглый год
В степи бесплодной кочевать безбедно.

Ну, что ж? они богаты; нужны им
Удобства, роскошь — это все понятно;
Но отчего ж я духом возмущен?
Все эти утонченные затеи,
Кровати, умывальники, ковры,
Бутылок строй, сервизы, несессеры
И эти трехсаженные лакеи,
И повара в дурацких колпаках, —
Вся эта роскошь нарушает нагло
Привычный ход убогой этой жизни
И бедности святыню оскорбляет, —
Той бедности, которая одна
Здесь царствовать привычку вековую
Усвоила и грозных прав своих
Сопернице мишурной не уступит!
Жестка царица эта. Во сто крат
Она отмстит за сутки униженья,
Когда опять останется одна
И населенью бедному предстанет
В своей обычной строгой наготе.
Я знаю лес, я со скамейки школьной
Почти что прямо в лес попал; весной,
Снимая планы, составляя опись,
В такую глубь лесов я заходил,
Что иногда по месяцу случалось
Живого человека не встречать. . .
. . . . Так что же
Мудреного, что изучил я лес?
Я в нем провел почти две трети жизни.
Скажи, когда тебя я не видал,
Дремучий лес! Весенней ли порою,
Иль в летний зной, иль осенью сырою,
Когда ты так богато населен,
Когда твое убранство так роскошно
И так непрочно? и заводишь ты
Утрат и скорби роковую песню?
Или когда, совсем уж обнажен,
Тоскливо ждешь ты зимнего покрова,
Шатаясь весь, точь в точь как человек,
Желающий согреться на морозе?
Или тогда, когда посеребрен,
Разубран снегом, при сияньи лунном,

Стоишь ты бодро в мертвой тишине, —
В той тишине морозной русской ночи,
Когда я, помню, думать был готов,
Что даже звуки замерзать способны.
Такой невероятной тишины
Зимой в лесу я помню впечатленье:
Стоишь, — уйти не хочется, сознанье
Теряется, что властен ты уйти, —
В соседстве величавых, неподвижных
Дубов и сосен; легкий звук, движенье
Казаться начинают святотатством,
И если вдруг, увидя страшный сон,
Взмахнет крылом проснувшаяся птица
И на другой опустится сучок,
Или береза скрипнет, как старуха,
Что кашляет впросонье на печи, —
Я вздрагивал, как будто услыхал
Живые речи на глухом кладбище...
Я знаю лес, но общества не знаю,
Не знаю жизни, — потому, конечно,
Мне дико поведение господ,
Приехавших сегодня на охоту.
Да! да! Я совершенно одичал:
Иной причины нет и быть не может!
А все же странно, что они так грубо
С народом обращаются; так явно
Презрение свое, высокомерье
Показывают бедным мужикам!
С чего, пред кем кичиться? Или тут
Умышленного нет высокомерья?
Тем хуже, если так, — гораздо хуже!
Да, умысла тут никакого нет!
Им здесь народ необходим: медведя
Он им нашел, он обложил его,
Он им его в морозы караулил,
Он им к нему дорогу протоптал
И на своих голодных лошаденках
Сюда привез их и теперь пошел
В жестокий холод по снегам глубоким
Медведя выставлять на них, и он же
Поможет им отсюдова убраться.
(Ведь надобно сознаться, что уйди

Теперь народ, так этим господам
Самим и до деревни не добраться:
Замерзнут, как подстреленные волки.)
Да, им народ здесь нужен. А меж тем
Они его трактуют так надменно
И норовят на гривну обсчитать.
И жмутся от него, как от собаки,
Когда она, в болоте побывав,
Желанье отряхнуться обнаружит...

1844

ЧИНОВНИК

Как человек разумной середины,
Он многого в сей жизни не желал:
Перед обедом пил настойку из рябины
И чихирем обед свой запивал.
У Кинчерфа[1] заказывал одежду
И с давних пор (простительная страсть!)
Питал в душе далекую надежду
В коллежские асессоры попасть, —
Затем что был он крови не боярской
И не хотел, чтоб в жизни кто-нибудь
Детей его породой семинарской
Осмелился надменно попрекнуть.
Был с виду прост, держал себя сутуло,
Смиренно все судьбе предоставлял,
Пред старшими подскакивал со стула
И в робость безотчетную впадал.
С начальником ни по каким причинам —
Где б ни было — не вмешивался в спор,
И было в нем все соразмерно с чином —
Походка, взгляд, усмешка, разговор.
Внимательным, уступчиво-смиренным
Был при родных, при теще, при жене,
Но поддержать умел пред подчиненным
Достоинство чиновника вполне;
Мог и распечь при случае (распечь-то
Мы, впрочем, все большие мастера),

[1] Тогдашний портной средней руки.

Имел даже значительное нечто
В бровях...
Теперь тяжелая пора!
С тех дней, как стал пытливостью рассудка
Тревожно-беспокойного наш век
Задерживать развитие желудка,
Уже не тот и русский человек.
Выводятся раскормленные туши,
Как ни едим геройски, как ни пьем,
И хоть теперь мы так же бьем баклуши,
Но в толщину от них уже нейдем.
И в наши дни, читатель мой любезный,
Лишь где-нибудь в коснеющей глуши
Найдете вы, по благости небесной,
Приличное вместилище души.

Но мой герой — хоть он и шел за веком —
Больных влияний века избежал
И был таким, как должно, человеком:
Ни тощ, ни толст. Торжественно лежал
Мясистый, двухэтажный подбородок
В воротничках, — но промежуток был
Меж головой и грудью так короток,
Что паралич — увы! — ему грозил.
Спина была — уж сказано — горбата,
И на ногах (шепну вам на ушко —
Кривых немножко, — нянька виновата!)
Качалося солидное брюшко...

Сирот и вдов он не был благодетель,
Но нищим иногда давал гроши
И называл святую добродетель
Первейшим украшением души.
О ней твердил в семействе беспрерывно,
Но не во всем ей следовал подчас
И извинял грешки свои наивно
Женой, детьми, как многие из нас.
По службе вел дела свои примерно
И не бывал за взятки под судом,
Но (на жену, как водится) в Галерной
Купил давно пятиэтажный дом.
И радовал родительскую душу

Сей прочный дом — спокойствия залог.
И на Фому, Ванюшу и Феклушу
Без сладких слез он посмотреть не мог...

Вид нищеты, разительного блеска
Смущал его — приличье он любил.
От всяких слов, произносимых резко,
Он вздрагивал и тотчас уходил.
К писателям враждой — не беспричинной —
Пылал... бледнел и трясся сам не свой,
Когда из них какой-нибудь бесчинный
Ласкаем был чиновною рукой.
За лишнее считал их в мире бремя,
Звал книги побасенками: «Читать —
Не то ли же, что праздно тратить время?
А праздность всех пороков наших мать», —
Так говорил ко благу подчиненных
(Мысль глубока, хоть и весьма стара)
И изо всех открытий современных
Знал только *консоляцию*...

Пора
Мне вам сказать, что, как чиновник дельный
И совершенно русский человек,
Он заражен был страстью той смертельно,
Которой все заражены в наш век,
Которая пустить успела корни
В обширном русском царстве глубоко
С тех пор, как вист в потеху нашей дворни
Мы отдали... «Приятно и легко
Бегут часы за преферансом; право,
Кто выдумал — был малый с головой!» —
Так иногда, прищурившись лукаво,
Говаривал почтенный наш герой.
И выше он не ведал наслаждений...
Как он играл?.. Серьезная статья!
Решить вопрос сумел бы разве гений,
Но, так и быть, попробую и я.

Когда обед оканчивался чинный,
Крестясь, гостям хозяин руки жал
И, приказав поставить стол в гостиной,

С улыбкой добродушной замечал:
«Что, господа, сразиться бы не дурно?
Жизнь коротка, а нам не десять лет!»
Над ним неслось тогда дыханье бурно
И — вдохновен — он забывал весь свет,
Жену, детей; единой предан страсти,
Молчал как жрец, бровями шевеля,
И для него тогда в четыре масти
Сливалось все — и небо, и земля!

Вне карт не знал, не слышал и не видел
Он ничего, — но помнил каждый приз. . .
Прижимистых и робких ненавидел,
Но к храбрецам, готовым на ремиз,
Исполнен был глубокого почтенья.
При трех тузах, при даме сам-четверт
Козырной — в вист ходил без опасенья.
В несчастьи был, как многие, нетверд, —
Ощипанной подобен куропатке,
Угрюм, сердит, ворчал, повеся нос;
А в счастии любил при каждой взятке
Пристукивать и говорил: «А что-с?»

Острил, как все острят или острили,
И замечал при выходе с бубен:
«Ну, Петр Кузьмич! не даром вы служили
Пятнадцать лет — вы знаете закон!»
Валетов, дам красивых, но холодных
Пушил слегка, как все; но никогда
Насчет тузов и прочих карт почетных
Не говорил ни слова. . .

Господа!

Быть может, здесь надменно вы зевнете
И повесть благонравную мою
В подробностях излишних упрекнете. . .
Ответ готов: не пустяки пою!
Пою, что Русь и тешит, и чарует,
Что наши дни — как в средние века
Крестовые походы — знаменует,
Чем наша жизнь полна и глубока;
(Я не шучу — смотрите в оба глаза)

Чем от «Москвы родной» до Иртыша,
От «финских скал» до «грозного Кавказа»
Волнуется славянская душа!!.

Притом я сам страсть эту уважаю, —
Я ею сам восторженно киплю,
И хоть весьма несчастно прикупаю,
Но вечеров без карт я не терплю
И, где их нет, постыдно засыпаю...

Что ж делать нам?.. Блаженные отцы
И деды наши пировать любили,
Весной садили лук да огурцы,
Волков и зайцев осенью травили;
Их увлекал, их страсти шевелил
Паратый пес, статистый иноходец;
Их за столом и трогал, и смешил
Какой-нибудь наряженный уродец.
Они сидеть любили за столом,
И было им и любо, и доступно
Перепивать друг друга, и потом,
Повздоривши по-русски, дружелюбно.
Вдруг утихать и засыпать рядком.
Но мы забав отцов не понимаем
(Хоть мало — все ж мы их переросли),
Что ж делать нам?.. играть!.. и мы играем,
И благо, что занятие нашли, —
Сидеть грешно и вредно сложа руки...

В неделю раз, пресытившись игрой,
В театр Александринский, ради скуки,
Являлся наш почтеннейший герой.
Удвоенной ценой за бенефисы
Отечественный гений поощрял,
Но звание актера и актрисы
Постыдным, по преданию, считал.
Любил пальбу, кровавые сюжеты,
Где при конце карается порок...
И, слушая скоромные куплеты,
Толкал жену легонько под бочок.

Любил шепнуть в антракте плотной даме
(Всему научит хитрый Петербург),

Что страсти и движенье нужны в драме
И что Шекспир — великий драматург, —
Но, впрочем, не был твердо в том уверен
И через час другое подтверждал, —
По службе быв всегда благонамерен,
Он прочее другим предоставлял.
Зато, когда являлася сатира,
Где автор — тунеядец и нахал —
Честь общества и украшенье мира,
Чиновников, за взятки порицал, —
Свирепствовал он, не жалея груди,
Дивился, как допущена в печать,
И как благонамеренные люди
Не совестятся видеть и читать.
С досады пил (сильна была досада!)
В удвоенном количестве чихирь
И говорил, что авторов бы надо
За дерзости подобные — в Сибирь!

ОТРЫВОК

Родился я в губернии
Далекой и степной
И прямо встретил тернии
В юдоли сей земной.
Мне будущность счастливую
Отец приготовлял,
Но жизнь трудолюбивую
Сам в бедности скончал:
Немытый, неприглаженный,
Бежал я босиком,
Как в церковь гроб некрашеный
Везли большим селом;
Я слезы непритворные
Руками утирал,
И волосенки черные
Мне ветер развевал. . .
Запомнил я сердитую
Улыбку мертвеца
И мать мою, убитую
Кончиною отца.

Я помню, как шепталися,
Как в церковь гроб несли;
Как с мертвым целовалися,
Как бросили земли;
Как сами мы лопатушкой
Сравняли бугорок...
Нам дядя с бедной матушкой
Дал в доме уголок.
К настойке страсть великую
Сей человек питал,
Имел наружность дикую
И мне не потакал...
Он часто, как страшилище,
Пугал меня собой
И порешил в училище
Отправить с рук долой.
Мать плакала, томилася,
Не ела по три дня,
Вздыхала и молилася,
Просила за меня,
Пешком итти до Киева
Хотела, но слегла
И с просьбой: «Не губи его!»
В могилу перешла.
Мир праху добродетельной!
Старик потосковал;
Но тщетно благодетельной
Я перемены ждал:
Не изменил решение!
Изрядно куликнул,
Дал мне благословение,
Полтинник в руку ткнул,
Влепил с немым рыданием
В уста мне поцелуй:
«Учися с прилежанием,
Не шляйся! не балуй!» —
Сердечно, наставительно
Сказал в последний раз,
Махнул рукой решительно —
И кляча поплелась...

. . . .

1845

* * *

Стишки! стишки! давно ль и я был гений?
Мечтал.. не спал... пописывал стишки?
О вы, источник стольких наслаждений,
Мои литературные грешки!
Как дельно, как благоразумно-мило
На вас я годы лучшие убил!
В моей душе не много силы было,
А я и ту бесплодно расточил!
Увы!.. стихов слагатели младые,
С кем я делил и труд мой, и досуг,
Вы, люди милые, поэты преплохие,
Вам изменил ваш недостойный друг!..
И вы... как много вас уж — слава богу! — сгибло...
Того хандра, того жена зашибла,
Тот сам колотит бедную жену,
И спину гнет другой... а встарину?
Как гордо мы на будущность смотрели!
Как ревностно бездействовали мы!
«Избранники небес», мы пели, пели,
И песнями пересоздать умы,
Перевернуть действительность хотели,
И мнилось нам, что труд наш не пустой,
Не детский бред, что с нами сам всевышний,
И близок час блаженно-роковой,
Когда наш труд благословит наш ближний!
А между тем действительность была
Попрежнему безвыходно пошла,
Не убыло ни горя, ни пороков —
Смешон и дик был петушиный бой
Непонимающих толпы пророков
С невнемлющей пророчествам толпой!
И «ближний наш» все тем же глазом видел,
Все так же близоруко понимал,
Любил корыстно, пошло ненавидел,
Бесславно и бессмысленно страдал;
Пустых страстей пустой и праздный грохот
Попрежнему движенье заменял,

И не смолкал тот сатанинский хохот,
Который в сень холодную могил
Отцов и дедов наших проводил!

ЖЕНЩИНА, КАКИХ МНОГО

Она росла среди перин, подушек,
Дворовых девок, мамок и старушек,
Подобострастных, битых и босых...
Ее поддерживали с уваженьем,
Ей ножки целовали с восхищеньем —
В избытке чувств почтительно-немых.

И вот подрос ребенок несравненный.
Ее родитель, человек степенный,
В деревне прожил ровно двадцать лет.
Сложилась барышня, потом созрела...
И стала на свободе жить без дела,
Невыразимо презирая свет.

Она слыла девицей идеальной;
Имела взгляд глубокий и печальный;
Сидела под окошком по ночам
И на луну глядела неотвязно,
Болтала лихорадочно, несвязно...
Торжественно молчала по часам.

Въедалася в немецкие книжонки,
Влюблялася в прекрасные душонки —
И тотчас отрекалась... навсегда...
Благословляла, плакала, вздыхала,
Пророчила, страдала... все страдала!!!
И пела так фальшиво, что беда.

И вдруг пошла за барина простого,
За русака дебелого, степного...
. . . .
На мужа негодуя благородно,
Ему детей рожала ежегодно
И двойней разрешилась наконец.

Печальная, чувствительная Текла
Своих людей не без отрады секла;

Играла в карточки до петухов,
Гусями занималась да скотиной —
И было в ней перед ее кончиной
Без малого — четырнадцать пудов.

1851

МОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Говорят, что счастье наше скользко, —
Сам, увы! я то же испытал!
На границе Юрьевец-Повольска
В собственном селе я проживал.
Недостаток внешнего движенья
Заменив работой головы,
Приминал я в лето без сомненья
Десятин до двадцати травы;
Я лежал с утра до поздней ночи
При волшебном плеске ручейка
И мечтал, поднявши к небу очи,
Созерцая гордо облака.
Вереницей чудной и беспечной
Предо мной толпился ряд идей
И витал я в сфере бесконечной,
Презирая мелкий труд людей.
Я лежал, гнушаясь их тревогой,
Не нуждаясь, к счастию, ни в чем,
Но зато широкою дорогой
В сфере мысли шел богатырем;
Гордый дух мой рос и расширялся,
Много тайн я совмещал в груди
И поведать миру собирался,
Но любовь сказала: погоди!
Я давно в созданье идеала
Погружен был страстною душой:
Я желал, чтоб женщина предстала
В виде мудрой Клии предо мной,
Чтоб и свет, и танцы, и наряды.
И балы не нужны были ей,
Чтоб она на все бросала взгляды,
Добытые мыслию своей;
Чтоб она не плакала напрасно,

Не смеялась втуне никогда,
Говоря восторженно и страстно,
Вдохновенно действуя всегда;
Чтоб она не в рюмки и подносы,
Не в дела презренной суеты, —
Чтоб она в великие вопросы
Погружала мысли и мечты...
И нашел, казалось, я такую.
Молода она еще была
И свою натуру молодую
Радостно развитью предала.
Я читал ей Гегеля, Жан-Поля,
Демосфена, Галича, Руссо,
Глинку, Ричардсона, Декандоля,
Во́лтера, Шекспира, Шамиссо,
Байрона, Мильтона, Соутэя,
Шеллинга, Клопштока, Дидеро...
В ком жила великая идея,
Кто любил науку и добро,
Всех она, казалось, понимала,
Слушала без скуки и тоски,
И сама уж на ночь начинала
Тацита читать, надев очки.
Правда, легче два десятка кегель
Разом сбить ей было, чем понять,
Как велик и плодотворен Гегель;
Но умел я вразумлять и ждать!
Видел я: не пропадет терпенье —
Даже мать красавицы моей,
Бросивши варенье и соленье,
Философских набралась идей.
Так мы шли в развитьи нашем дружно,
О высоком вечно говоря...
Но не то ей в жизни было нужно!
Раз, увы! в начале сентября
Прискакал я поутру к невесте.
Нет ее ни в зале, ни в саду.
Где ж она? «Оне на кухне вместе
С маменькой» — и я туда иду.
Тут предстала страшная картина...
Разом столько горя и тоски!
Растерзав на клочья Ламартина,

На бумагу клала пирожки
И сажала в печь моя невеста!!
Я смотреть без ужаса не мог,
Как она рукой месила тесто,
Как потом отведала пирог.
Я не верил зрению и слуху,
Думал я, не перестать ли жить?
А у ней еще достало духу
Мне пирог проклятый предложить.
Вот они — великие идеи!
Вот они — развития плоды!
Где же вы, поэзии затеи?
Что из вас, усилья и труды?
Я рыдал. Сконфузилися обе.
Видимо, перепугались вдруг;
Я ушел в невыразимой злобе,
Объявив, что больше им не друг.
С той поры, я верю: счастье скользко,
Я без слез не проживаю дня;
От Москвы до Юрьевец-Повольска
Нет лица несчастнее меня!

1860

ПЕРВЫЙ ШАГ В ЕВРОПУ

Как дядю моего, Ивана Ильича,
Нечаянно сразил удар паралича,
В его наследственном имении Корсунском —
Я памятник ему воздвигнул сгоряча,
А души заложил в совете опекунском.

Мои домашние, особенно жена,
Пристали: «Жизнь для нас на родине скучна!»
Кто: «ангел!», кто: «злодей! вези нас за границу!»
Я крикнул старосту Ивана Кузьмина,
Именье сдал ему и — укатил в столицу.

В столице, получив немедленно паспорт,
Я сел на пароход и уронил за борт
Горячую слезу, невольный дар отчизне...
«Утешься, — прошептал нас увлекавший чорт, —
Отраду ты найдешь в немецкой дешевизне». —

И я утешился... И тут уж недолга
Развязка мрачная: минули мы брега
Священной родины, минули Свинемюнде,
Приехали в Берлин — и обрели врага
В Луизе-Августе-Фернанде-Кунигунде.

Так горничная тварь в гостинице звалась.
Но я предупредить обязан прежде вас,
Что Лидия — моя дражайшая супруга —
Ужасно горяча: как будто родилась
Под небом Африки; в ней дышат страсти юга!

В отечестве она не знала им узды:
Покорно ей вручив правления бразды,
Я скоро подчинил ей волю и рассудок
(В сочельник крошки в рот не брал я до звезды,
Хоть голоду терпеть не может мой желудок),

И всяк за мною вслед во всем ей потакал,
Противоречием никто не раздражал
Из опасенья слез, трагических истерик...
В гостинице, едва я умываться стал,
Вдруг слышу: Лидия бушует, словно Терек.

Я бросился туда. Вот что случилось с ней...
О ужас! о позор! В небрежности своей
Луиза, Лидию с дороги раздевая,
Царапнула слегка булавкой шею ей,
А Лидия моя, недолго размышляя...

Но что тут говорить? Тут нужны не слова,
Тут громы нужны бы... Недвижна, чуть жива
Стояла Лидия в какой-то думе новой.
Растрепана коса, поникла голова:
«На натиск пламенный ей был отпор суровый!..»

Слова моей жены: «О друг, Иван Ильич!»
Мне вспомнились тогда: «Здесь грубость, мрак и дичь,
Здесь жить я не могу — вези меня в Европу!»
Ах, лучше б, душечка, в деревне девок стричь,
Да надирать виски безгласному холопу!

1875

ИЗ «СОВРЕМЕННИКОВ»

ЛИТЕРАТОР

Заглянул я в залу эту
И прижался у дверей.
Седовласому поэту
Здесь справляли юбилей.
Семь речей ему сказали,
Все заслуги перечли,
И к Шекспиру приравняли,
И Гомером нарекли...
Что же вышло? Друг искусства
Как-то холодно внимал:
«Ваши речи полны чувства,
Полны искренних похвал,
Их довольно, чтоб прославить
Мой художественный дар,
Но... позвольте мне прибавить...» —
Скромно молвил юбиляр
И затем себе восьмую
Речь сказал любимец муз
С жаром, чувством... да такую,
Что льстецы пришли в конфуз!
Пошлость их речей бездарных
Стала каждому ясна:
Вместо фраз высокопарных
Речь его была полна
Поэтических сравнений,
Поэтических картин,
Блеск и сила!.. Точно: гений,
Да притом — и века сын:
Что за радость быть педантом,
Скромность вечную хранить?
Всем служить своим талантом,
А себе не послужить?..

Корней Чуковский

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕКРАСОВА

(ПО ЕГО ЧЕРНОВЫМ РУКОПИСЯМ)

I

«...У него есть талант, и он непременно будет хорошим поэтом, если будет строго работать и овладеет вполне формою, без которой нет поэта».

Некрасов о начинающем авторе (письмо от 30 января 1874 г.)

Черновики Некрасова свидетельствуют раньше всего, что он, как и всякий великий поэт, с неистощимым упорством работал над своими стихами. Множество раз переделывал он один и тот же неудававшийся стих, настойчиво стараясь придать ему, путем долгой и кропотливой работы, наибольшую выразительность, точность и звучность.

Читатели его стихов и не представляют себе, что иной малозаметный и, казалось бы, совершенно заурядный эпитет, который, именно в силу своей заурядности, никогда не привлекал их внимания, есть результат такого большого труда.

Например, в стихотворении «Ночлеги», изображая деревенского старца, который сидит у костра, Некрасов в первом варианте написал о нем так:

Патриархом библейских времен
Он глядел, *драпируясь* рогожей.

Но французское «драпируясь» не шло к этому новгородскому жителю, и потому во втором варианте читаем:

Патриархом библейских времен
Он глядел, *облаченный* в рогожу.

Но старославянское «облаченный», должно быть, показалось поэту напыщенным, и потому в третьем варианте читаем:

Патриархом библейских времен
Он глядел, *завернувшись* в рогожу.

«Завернуться» — повседневное, простое, незаметное, разговорное слово, но и оно пришло к Некрасову не сразу.

Иногда эти поиски правдивого и точного слова кажутся слишком уж долгими. Самая обыкновенная строчка в его стихотворении «Памяти Асенковой»:

Твой голос *ласково* звучал, —

и та, судя по черновым его рукописям, досталась ему после многократных исканий.

Первый вариант был такой:

Твой голос *чудно* так звучал.

Второй вариант:

Твой голос *нежно* так звучал.

Третий:

Твой голос *весело* звучал.

И лишь четвертый вариант перешел наконец в перебеленную рукопись.

Я нарочно выбираю для примеров самые безыскусственные, ординарные, нейтральные строки, которые могли быть написаны всяким другим стихотворцем. Ибо для некрасовского трудолюбия чрезвычайно характерно, что он подолгу шлифовал и совершенствовал даже такие малозаметные строки.

Если же мы вникнем, например, в сохранившиеся черновики его поэмы «Саша», мы убедимся, что каждая строка этой гениальной поэмы была написана им, по крайней мере, в десяти вариантах, прежде чем он внес ее в окончательный текст. К черновикам ее второй части вполне применимы слова, сказанные Сергеем Бонди об одной из пушкинских рукописей: «драгоценный документ, зафиксировавший все стадии его творческого процесса, сохранивший всю его последовательность, все постепенные наслоения, как разрез древесного ствола сохраняет всю историю роста дерева».[1]

Вот, например, в последовательном порядке ряд вариантов одной единственной строфы «Русских женщин»:

1

Но все ж я боялась тебя до венца...
Бог дал нам Алешу весною,
И я полюбила тебя как отца
Малютки, рожденного мною...

---

[1] С. М. Бонди. Новые страницы Пушкина. М., 1931, стр. 11.

2

Навеки твоей я пришла от венца.
Бог сына послал нам весною,
И я полюбила тебя как отца
Малютки, рожденного мною...

3

Навеки твоей я пришла от венца...
Болела в разлуке с тобою;[1]
Я страстно в тебе полюбила отца
Малютки, рожденного мною...

4

Уехал он скоро, почти от венца...
Бог сына послал мне весною,
И я полюбила его как отца
Малютки, рожденного мною...

5

Позднее я в нем полюбила отца
Малютки, рожденного мною;
Мы скоро расстались, почти от венца,
Но были уж близки душою.

6

Позднее я в нем полюбила отца
Малютки, рожденного мною;
Мы скоро расстались, почти от венца...
Он твердо стоял под грозою.

И лишь после этих шести вариантов поэт пришел к седьмому — окончательному:

Позднее я в нем полюбила отца
Малютки, рожденного мною.
Разлука тянулась меж тем без конца.
Он твердо стоял под грозою.

Три первые варианта непосредственно обращены к С. Волконскому («твоей», «тебя», «в тебе»). Остальные говорят о нем в третьем лице («он», «его», «в нем»). Эти колебания между третьим лицом и вторым в рукописях Некрасова наблюдаются часто, ибо форма вто-

---

[1] Поправка: «Поздкее — в разлуке с тобою».

рого лица, являющаяся чрезвычайно типичной для его песенного и декламационного стиля, была органически свойственна его стиховому мышлению.

Любопытно, что в первом варианте Некрасов пытался наметить иную характеристику отношений героини к Волконскому:

Но все ж я боялась тебя до венца,

но уничтожил ее в самом начале и больше не возвращался к ней ни в одном варианте, потому что она нарушала тот принцип строгого отбора деталей, которого, как мы попытаемся показать на дальнейших страницах, он придерживался при создании этой поэмы.

Работая над четверостишием о жестоком стяжателе Шкурине, который добывал для продажи щетину, выдирая ее из пасущихся в поле свиней, Некрасов на первых порах написал следующие четыре стиха:

Стадо свиное ревет.
Боров иной и ударит.
Были бы деньги — пройдет.
Матушка в бане попарит.

Второй вариант был таков:

Бесится стадо, ревет,
Боров иной и ударит.
Мальчик щетину дерет,
Матка сортирует, парит.

Третий вариант:

Бесится стадо, ревет,
Боров боднуть его ладит.
Мальчик щетину дерет,
Мать его вечером гладит.

Четвертый и пятый варианты — карандашом на отдельном листке — так сильно истерлись, что не поддаются прочтению, но в обоих можно прочитать слово «мамка». Лишь после того, как Некрасов испробовал все наиболее распространенные формы этого слова (и «матушка», и «матка», и «мамка», и «мать»), он увидел, что этот образ ненужен и решил отказаться от него совершенно.

И тогда получилась такая — шестая по счету — строфа:

Мечется стадо, ревет,
Знамо: живая скотина!
Мальчик не трусит — дерет,
Первого сорту щетина.

Вышеприведенные черновые наброски кажутся очень слабыми по сравнению с этим окончательным текстом. Строфа стала полновесной и емкой. Ее сатирический смысл выступил здесь во всей своей силе. Появилось новое напоминание о том, что свиньи, из хребта которых этот юный злодей драл щетину, были живы и, значит, испытывали страшную боль. Появилось сообщение о том, что Шкурин не только не стыдился своего жестокого поступка, но похвалялся им, как доблестным подвигом (*«Мальчик не трусит* — дерет»). Появилось указание на то, что, согласно моральному кодексу Шкурина, вся эта жестокость казалась ему совершенно оправданной высокою ценою добытого товара:

Первого сорту щетина.

Ничего этого не было в первоначальных набросках, но зато были совершенно ненужные строки о матери, как соучастнице всего предприятия, — не говоря о том, что только в окончательном тексте дана разговорная интонация речи:

Знамо: живая скотина!

Окончательный текст, в сущности, далеко не всегда был для Некрасова окончательным. Уже напечатав в четырех разных изданиях свои стихи о Белинском, где, между прочим, было такое двустишие:

И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам ветреное племя, —

он через восемнадцать лет изменил это двустишие так:

И о тебе не скажет ничего
Твоим потомкам *сдавленное* племя.

Но, очевидно, не удовлетворился и этим эпитетом, так как еще через несколько лет, для посмертного издания своих книг, внес в то же самое двустишие новый эпитет:

И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам *сдержанное* племя.

А свое старое стихотворение «Письма», которое уже печаталось им в разных изданиях не меньше двенадцати раз, он счел необходимым исправить через двадцать два года после его появления в печати! (См. стихотворение «Горящие письма».)

В вышеприведенном примере каждый новый эпитет существенно изменял смысловое содержание стиха. В первом варианте поэт обвинял свое поколение в том, что оно забыло Белинского по непростительной ветрености. Во втором варианте вина с этого поколения снималась, виноватым оказался тот жестокий режим, который душил в нем все живое и доброе. Чего и требовать от сдавленного племени! Сдержанное племя — это опять-таки новое качество, свидетельствующее о коренной переоценке того же явления.

Ниже мы увидим, что такие смысловые перемены стиха в рукописях Некрасова бывали нередки. Вот один из множества примеров.

Характеристика мятежно-влюбленных людей, данная в его известных стихах:

Мы с тобой бестолковые люди —

в первом своем варианте не включала в себе ничего осудительного, напротив — в ней звучало оправдание ссорам и распрям:

Мы с тобой *не бескровные* люди.

Не бескровные люди — то есть живые и страстные, — которые по пылкости своего темперамента, естественно, не могут не относиться друг к другу с самой горячей запальчивостью. Но хотя Некрасов любил эти отрицания, выражающиеся словами *не без* (ср. «*Не без* добрых душ на свете»; «Конечно, *не без* воли бога»; «Верь, я внимал *не без* участья:»; «Ты *не без* счастия, ты *не без* ласки живешь»), — слово «*не бескровные*» звучало так неуклюже и вычурно, что в следующем варианте поэт заменил его словом «капризные», которое сразу меняло все его отношение к предмету:

Мы с тобою *капризные* люди.

Недавно в новонайденной тетради обнаружен еще один из вариантов этой же самой строки:

Мы с тобою *престранные* люди.

И лишь после того, как поэтом было написано и окончательно отделано все стихотворение, он нашел эпитет: *бестолковые.*

II

С такой же суровой требовательностью Некрасов относился не только к черновым, но и к беловым своим рукописям, — к тем, которые он считал окончательными. Поражает его постоянная готовность безжалостно уничтожать уже законченный текст, вполне отделанный

им для печати, и писать уже написанное, готовое стихотворение сызнова.

С этим некрасовским методом, требовавшим от поэта двойного, а иногда и тройного расхода литературной энергии, читатели могли познакомиться еще в пятидесятых годах, когда в Москве вышла его первая книга: «Стихотворения Н. Некрасова».

В книге было напечатано небольшое стихотворение «Буря», полное самой простодушной веселости, которая так и брызжет из каждой строки. Это — одно из наиболее радостных стихотворений Некрасова. Его тема — счастье молодого любовника, одержавшего неожиданную победу над женщиной, которая долго не сдавалась ему:

Долго не сдавалась Любушка-соседка,
Наконец шепнула: есть в саду беседка. .

Вся лаконическая, стройная, монументальная форма этих стихов так неразрывно связана с их содержанием, что читателю даже трудно представить себе эту самую тему в каком-нибудь ином воплощении. А между тем за шесть лет до появления книги Некрасовым было обнародовано другое стихотворение под тем же заглавием, написанное так многословно и дрябло, что вся его тема казалась непоправимо испорченной. Эта первоначальная «Буря» была напечатана в «Современнике» 1850 года и начиналась такими стихами:

Не любил я ни грому, ни бури
И боялся, когда по лазури,
Разрушенье и гибель тая,
Пробежит золотая змея.
Да вчера молодая соседка
Мне сказала: «В саду есть беседка —
Как стемнеет, туда приходи!»
Расходилося сердце в груди.

Как будто молния когда-нибудь пробегает по лазурному небу! Описав столь же вялым анапестом внезапно разразившуюся бурю, автор вяло говорит о соседке:

Ведь она и робка, и *ленива*,
В бурю выйти ей из дому в диво,
И не верит, что счастье мое —
Целый мир исходить для нее.

Таких строк было сорок девять, и, конечно, каждый согласится, что это было одно из наименее удачных творений Некрасова. Даже синтаксис был в нем непозволительно шаткий («ей в диво, и не ве-

рит»). И, конечно, нет ничего удивительного, что оно было вскоре же высмеяно в ядовитой журнальной пародии («Москвитянин», 1851).

Очевидно, Некрасов и сам ощутил, что эта многословная и вялая «Буря» ниже его дарования. Через три года он написал то же самое стихотворение сызнова, и оно стало одним из его бессмертных шедевров. Девяносто лет прошло со времени появления этой исправленной и переработанной «Бури» в печати, а она все так же свежа, заразительно весела и прекрасна, словно написана нынче. Радость любовного счастья так и трубит во все трубы. В этой гениальной переработке стихов Некрасов наглядно обнаружил перед читательской массой великую силу своего мастерства и непогрешимость своего литературного вкуса, а также ту беспощадную суровость к себе, к своему творчеству, к своему дарованию, без которой он не был бы великим поэтом.

История издания окончательной версии «Бури» известна читателям с пятидесятых годов, ибо, как мы видели, и тот и другой варианты появились в тогдашней печати. Но едва ли кому известно, что таких случаев было немало, что существует несколько стихотворений Некрасова, написанных им дважды и трижды.

Например, его стихотворению «Свадьба» предшествовало вполне законченное стихотворение «Встреча», написанное тем же размером и разрабатывающее тот же сюжет — о гибели женской души. Оба стихотворения начинаются описанием церкви. В первом стихотворении читаем:

В сумерки в церковь вхожу я случайно,
Полно все в ней полумраком и тайной!
Две-три лампады, убого блестя,
Темные ризы икон золотя, —
Слабых лучей не доносят высоко.
Робко поднявшись, пугливое око
Клонится долу. Хромой инвалид
Ходит с тарелкой и медью стучит.
Шопотом внятным и медленным нищий
Просит у бога покрова и пищи.
Тут же склоняется низко без слов
Пара старушечьих дряхлых голов...

Некрасов не удовлетворился этим, первым наброском, тем более, что двустишие о нищем не могло не ощущаться как слишком явный отголосок такого же двустишия Жуковского:

Рвутся толпой и голодный, и нищий
В двери епископа, требуя пищи.

Закончив все это стихотворение и переписав его набело, Некрасов отложил его в сторону и принялся за ту же тему опять, причем, кроме первой строки, все остальное зазвучало теперь по-другому:

В сумерки в церковь вхожу. Малолюдно.
Светят лампады печально и скудно,
Темны просторного храма углы;
Длинные окна, то полные мглы,
То озаренные беглым мерцаньем,
Тихо колеблются с робким бряцаньем.
В куполе темень такая висит,
Что поглядеть туда — дрожь пробежит!
С каменных плит и со стен полутемных
Сыростью веет: на петлях огромных,
Словно заплакана, темная дверь.

Сличив оба текста, мы видим, что второй нисколько не зависит от первого. Это два параллельные стихотворения, и ни одно из них не является черновым вариантом другого. В каждом — своя система образов: во втором уже нет ни инвалида, ни нищего, ни дряхлых старух; вся живопись этого второго отрывка сосредоточена на разных градациях тьмы, наполняющей малолюдную церковь: «полутемные стены»; «темные углы»; «мгла» длинных окон; «черная темень» купола. Образы даны не безразличные (как в первом тексте), а либо грустные, либо пугающие: лампады светят «печально»; дверь «словно заплакана»; купол: «поглядеть туда — дрожь пробежит!»

Еще более различны дальнейшие тексты обоих стихотворений. В первом — встреча автора со своей прежней возлюбленной; он неожиданно увидел ее в обществе дряхлых старух:

А между ними — ужель не ошибка? —
Бледны ланиты, исчезла улыбка.
Бедная, бедная! скоро же ты
Чудной лишилась своей красоты!

<и т. д.>

А во втором тексте он тут же, в этой сумрачной церкви, видит незнакомую женщину, которая венчается с разгульным детиной:

Нет богомольцев, не служба теперь —
Свадьба. Венчаются люди простые.
Вот у налоя стоят молодые:
Парень-ремесленник фертом глядит,
Красен с лица и с затылка подбрит —
Видно: разгульного сорта детина!
Рядом невеста: такая кручина
В бледном лице, что смотреть тяжело

<и т. д.>

Но в самом существенном оба текста сближаются: и та, и другая женщина оказываются жертвами мужского разгула.

В первом варианте читаем:

Вижу я: стан твой немного полнее.
Вижу: украдкой, стыдливо краснея
И нагибаясь горящим лицом,
Хочешь ты скрыть его жалким платком.

Во втором тексте дана вариация этих же строк:

Вижу я, стан твой немного полнее,
Чем бы... Я понял! Стыдливо краснея
И нагибаясь, свой длинный платок
Ты на него потянула...

Но только про это четверостишие и можно сказать, что оно относится к предыдущему тексту, как беловой вариант к черновому. Во всем остальном оба стихотворения совершенно различны. Оба написаны порознь, и каждое является законченным целым.

Некрасов не раз проделывал такую двойную работу, добиваясь наиболее полноценного текста. Например, поэма «Саша» (за исключением первой главы) дошла до нас в таком количестве разнообразных набросков, что из них, повторяю, можно было бы сконструировать несколько параллельных поэм, лишь отдаленно схожих меж собою. Почти каждый эпизод этой поэмы писался Некрасовым заново по нескольку раз.

До нас дошли далеко не все черновики стихотворения «Извозчик». Но почти каждый отрывок, который мы могли изучить, написан Некрасовым опять-таки по нескольку раз. Один из этих отрывков, например, начинается так:

Правда, с ним случилось *что-то.*

Другой:

Правда, с ним случилось *чудо.*

Третий:

Правда, с ним случилось *диво.*

И в каждом из этих трех вариантов — совершенно другая структура стиха. Например, первый вариант читается так:

Правда, с ним случилось *что-то*
Уж тому лет пять,

Как ходила за ворота
    Груша постоять.
Он проведал: эта Груша
    Горничной была.
Выбирала где посуше,
    Осторожно шла.
Вся была легка как птичка,
    Весела всегда.
Щебетала как синичка,
    Не была горда.

Второй вариант был такой:

Правда, с ним случилось *чудо*
    Год тому назад.
Ел он мало, спал он худо,
    Жизни был не рад
                    <и т. д.>

Третий дан в окончательном тексте:

Правда, с ним случилось *диво*,
    Как в Грязной стоял.
Ел он мало и лениво,
    По ночам не спал
                    <и т. д.>

Таким же образом — по нескольку раз — излагались и другие эпизоды «Извозчика». Для того чтобы создать, например, четыре строки:

Скоро лето наступило.
С барыней своей
Таня в Тулу укатила.
Ванька стал умней, —

Некрасов делал такие наброски:

1

Переехала Танюша
С барыней в Москву.
Скоро перестал Ванюша
Бредить на яву...

2

Скоро лето наступило.
Таня с госпожой
Жить в деревню укатила

8

Переехала Танюша
С барыней своей.
С той поры лишь раз Ванюша
Повстречался с ней.
Поклонилась — он не пикнул,
Потемнел как ночь,
На лошадку только крикнул
И поехал прочь.

Набросок «Карета» сохранился в четырех вариантах, причем три из них до такой степени различны по своему словарю и по стилю, что их опять-таки нельзя не признать тремя отдельными произведениями Некрасова, написанными независимо одно от другого.

Вот первоначальный набросок:

Хотелось бы кой-что сказать и тем,
Которые о ближнем хл[опотали],
А ездят в экипаже, огражденном
Гвоздями сзади, чтоб старик усталый
Или шалун, оборванный мальчишка,
Впотьмах [дерзнув] забраться на запятки,
То поплатились бы [...] увечьем
За дерзость эту.

В более обработанном виде черновик этот читается так:

Хотелось бы и тем сказать словечко, [1]
Которые жалеют бедняков, [2]
А ездят с заостренными гвоздями,
Чтобы впотьмах усталый пешеход
Или шалун, оборванный мальчишка, [3]
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За их каретой...

Вместо того чтобы заняться окончательной отделкой этого восьмистишия, Некрасов бракует его и пишет то же самое стихотворение заново, уже не белыми стихами, а рифмованными:

О, филантропы русские! Бог с вами.
Вы непритворно любите народ,
А ездите с огромными гвоздями,
Чтобы впотьмах усталый пешеход
Или шалун мальчишка, кто случится,

---

[1] Было: «Хотелось бы сказать словцо и тем».
[2] Было: «Которые о ближнем сожалеют».
[3] Было: «Или бедняк, мальчишка шаловливый».

Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За вашим экипажем.

Но и это восьмистишие не удовлетворяет поэта, и в конце концов он сводит всю тему к двум строкам в стихотворении «Сумерки»:

Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок.

Таким образом, для того чтобы создать это двустишие, Некрасову пришлось написать двадцать четыре строки, тематически связанные с предшествующими вариантами.

В семидесятых годах Некрасов прибегал к такому методу значительно реже, но все же не отказался от него окончательно.

Так, например, сатира «Над чем мы смеемся», имеющая в окончательном тексте характер куплетов водевильного стиля, завершающихся одинаковым рефреном («Ха-ха-ха! хоть пулю в лоб!»), первоначально была написана в виде длинного рассуждения о «поверхностной глупой насмешке».

Поверхностная глупая насмешка,
К которой так наклонно наше племя,
Бич чувству в юном сердце. И над чем
Смеемся мы? Обыкновенной темой
Насмешек наших всякая черта
В характере, которая выходит
Из уровня обычного. Попробуй
На улице покинуть экипаж,
В котором ты, здоровый, ехал праздно,
И предложить его хромому. Не смешно ли?
Однажды я припрегся к водовозу,
Который на бугор свои салазки
С двумя бочонками воды по скользкой
Промерзшей мостовой втащить не мог, —
Приятели доныне помнят это
И не дают прохода: филантроп!
<и т. д.>

Написав пятистопным ямбом шестьдесят строк этого резонерского монолога, Некрасов, вместо того чтобы положить его в основу дальнейшей работы над текстом, написал другое стихотворение на тот же сюжет, причем заменил пятистопный ямб — четырехстопным хореем и белый стих — рифмованным стихом:

Водовоз воды бочонок
В гололедицу тащил;
Стар и слаб, как щепка тонок,
Бедный выбился из сил
<и т. д.>

III

Теперь, когда мы составили себе некоторое представление о том, сколько тяжелой работы вкладывал Некрасов в свое стихотворство, постараемся установить в самых общих чертах, каковы были принципы, руководившие им в этой работе, какова была та основная система, которую можно подметить во всей совокупности его черновых вариантов.

Изучающему эти варианты нетрудно увидеть, что они распадаются на определенные группы, в соответствии с тем творческим методом, которому был верен Некрасов в своем многообразном и многосложном труде. Раньше всего нам необходимо отметить одну основную тенденцию стилистического мышления Некрасова, которая проходит через все его творчество: стремление к предметности речи.

Если ему и случалось обмолвиться в первоначальном наброске какой-нибудь стихотворной новеллы несколькими общими фразами, за которыми не чувствовалось конкретного факта, он в дальнейшей работе над рукописью почти всегда уничтожал эти беспредметные фразы и писал вместо них такие, которые были насыщены осязаемыми и зримыми образами.

Пытаясь, например, изобразить Тарбагатайский поселок в одном из первых вариантов «Дедушки», он написал об этом поселке такую строку:

Всюду работа кипит.

Но, должно быть, она показалась ему слишком абстрактной, и, зачеркнув ее, он написал:

В кузнице молот стучит!

То есть, вместо некоей алгебраической формулы, поставил подлинные реальные образы: «кузницу», «молот», «стучит», — так что вся строка приобрела тот конкретный характер, в котором и заключается сущность реалистического стиля Некрасова.

Следующая строка той же поэмы была в первоначальном наброске столь же обща и безóбразна:

Все идет живо и споро.

И Некрасов опять-таки не удовлетворился отвлеченностью этой строки и вместо нее написал:

Мельницу выстроят скоро.

«Мельница» и «кузница» — к подобным реалиям стремилось художественное мышление Некрасова, отталкиваясь от таких неопределенных и расплывчато-общих фраз, как «всюду работа кипит» и «все идет живо и споро».

Следующая поправка, внесенная Некрасовым в поэму, обнаруживает еще более явственно те тенденции некрасовской поэтики, о которых мы сейчас говорили.

В первоначальном наброске у него было сказано так:

Всюду довольство, излишек, —

что опять-таки являлось алгебраической формулой, требующей заполнения конкретными фактами. «Излишек» и «довольство» — неопределенные термины, которые подлежат расшифровке, и Некрасов расшифровал их в великолепных стихах, заменив алгебру живописью:

Все принялось, раздобрело,
Сколько там, Саша, свиней!
Перед селением бело
На полверсты от гусей.

Здесь, особенно в последнем двустишии, великая победа фактичности и материальности некрасовской речи над беспредметными словами и речениями. «Перед селением бело на полверсты от гусей» — это в тысячу раз более яркий поэтический образ, чем такие общие фразы, как «всюду довольство, излишек», «все идет живо и споро» и т. д., и т. д., и т. д.

Стремление к конкретизации речи заставляло Некрасова браковать даже такие слова, как «пожитки», потому что даже такое, казалось бы, вполне определенное слово было для него слишком расплывчатым. Так, в первоначальном варианте поэмы «Кому на Руси жить хорошо» у него было сказано об управляющем Фогеле:

Поехал в город парочкой.
Глядим: везет оттудова
Пожиточки свои.

А в окончательном тексте читаем:

Поехал в город парочкой.
Глядим: везет из города
Коробки, тюфяки.

Таких случаев замены отвлеченных понятий реальными образами и расплывчатых терминов более точными в рукописях Некрасова множество.

В одном из первоначальных черновиков «Русских женщин» у него, например, было написано:

Тоска! навстречу ни души
По целым божьим дням.

Но, очевидно, вторая строка показалась Некрасову чересчур легковесной, так как, в сущности, она лишена какого бы то ни было конкретного образа, и он счел нужным переделать ее:

Темно! Навстречу ни души,
Ямщик на козлах спал.

Эта тяга к овеществлению настолько заметна в некрасовских рукописях, что нет нужды иллюстрировать ее дальнейшими примерами.

Так же бегло мы можем отметить и другую ярко выраженную склонность Некрасова — к лаконизации стиха, к максимальному сжатию его словесной фактуры. Каждое свое чувство старался он высказать так,

Чтобы словам было тесно,
Мыслям просторно,

а если это не сразу удавалось ему, он перечеркивал всю свою рукопись, лишь бы данную словесную массу довести до нужной ему густоты и компактности.

Когда в поэме «Кому на Руси жить хорошо» крестьяне, очутившись на ярмарке, стали толковать о портретах штатских и военных генералов и важных сановников, отдавая предпочтение осанистым и тучным перед тощими, они в первом варианте говорили купцу:

Сбыть хочется плюгавеньких?
Должно быть, залежалися, —
Охота их спустить?

Некрасов, очевидно, нашел, что их мысль выражена чересчур многословно, и свел три стиха к одному:

Дрянь, что ли, сбыть желательно?

то есть дал одному стиху такую же смысловую нагрузку, какая вначале лежала на трех.

В той же поэме (в «Прологе») сперва был такой вариант:

Лежит под теми соснами
Заветная коробочка,
Закопана в земле.

Но Некрасов счел и эту фразу слишком перегруженной словами и разгрузил ее так:

Под этими под соснами
Закопана коробочка.

Слова «лежит» и «в земле» действительно были излишними: если «закопано» — значит «в земле», если «в земле» — значит «лежит».

В «Сельской ярмонке» у пьяного крестьянина сломалась в телеге ось и весь воз с товаром опрокинулся. Починяя телегу, крестьянин

Топор сломал! Как вкопанный
Над топором стоит,
Про утварь деревянную,
Разбросанную по грязи,
Про ложечки, про чашечки,
Про ковшики забыл,
Над топором раздумался.

От всего этого многословного семистишия осталось в окончательном тексте:

Топор сломал. Раздумался
Мужик над топором.

Бывало и так, что какой-нибудь текст уложится у Некрасова, скажем, в четыре строки, но поэт чувствует, что для данной мысли или для данного образа вполне достаточно и трех стихов — и начинается длительное постепенное сжимание текста. Приведем один пример из очень многих: когда в поэме «Кому на Руси жить хорошо» атлет-каменотес обозвал свой тяжкий молот «счастием», странники сказали ему:

1. Ну, веско! — спорить нечего.
Да только с этим «счастием»
Не будет ли на старости
Носиться тяжело?

Поэт поставил перед собою задачу — сжать эту реплику до крайних пределов, и отсюда такие последовательные изменения текста:

2. Ну, веско! спорить нечего!
Одно, дружок: не будет ли
Носиться с ним на старости
Надсадно? Выпивай!

3. Ну, веско! Спорить нечего!
Одно, дружок: не будет ли
Носиться с этим счастием
Под старость тяжело?

И наконец:

4. Ну, веско! А не будет ли
Носиться с этим счастием
Под старость тяжело?

Каким путем он достигал лаконизма, наиболее отчетливо видно по его долгой работе над теми знаменитыми стихами, где изображается восстание декабристов.

Один из первых вариантов был такой:

Какой-то храбрый генерал
Влетел в каре, увещевал,

Просил, — один солдат,
Прицелясь, смерть ему послал:
С коня валится генерал,
Из раны брызжет кровь.
Другой приблизился к рядам:
«Прощение даруем вам!» —
Развязка та же вновь.

Дальнейшая работа заключалась именно в том, чтобы убрать из этой строфы все лишнее. А лишнего здесь оказалось немало: ведь и без слов было ясно, что стреляющий, перед тем как нажать свой курок, должен был непременно прицелиться; что из раны раненого брызнула кровь; что солдат, пристрелив генерала, тем самым послал ему смерть. И Некрасов устремил усилия к тому, чтобы все ненужное было изъято. И в конце концов из десяти строк сделал шесть лаконических, сжав свое повествование до предела:

Какой-то бравый генерал,
Влетев в каре, грозиться стал,
С коня снесли его.
Другой приблизился к рядам:
«Прощенье царь дарует вам» —
Убили и того.

Подобных примеров сотни. Но так как стремление к лаконизму стиха присуще не только Некрасову, а и всякому другому художнику слова, мы не будем распространяться и об этой черте его творчества. Укажем только, что он охотнее многих поэтов выбрасывал вполне законченные, уже готовые строфы, если приходил к убеждению, что может обойтись и без них. В гениальном стихотворении «Похороны» перед строфой о приезде суда были такие стихи, характеризующие отношение крестьян к самоубийце:

Где лежал, там его и оставили,
Лишь покрыли сердягу холстом.
Караул к нему строгий приставили
И послали скорей за судом.

Закопать-то статья немудреная,
Да ведь нужно по-божьи судить:
Как ни умер, душа-то крещеная,
Положили мы гроб сколотить.

О самом самоубийце даже в беловом автографе были такие стихи:

Ты любил их [1], гостинцу им нашивал,
Ты на спрос отвечать не скучал,

---

[1] Крестьянских детей.

Ты у нас про житье наше спрашивал,
Ро́вней с нами себя называл.

А лицо было словно дворянское —
Приносил ты нам много вестей
И про темное дело крестьянское,
И про войны заморских царей.

Эти стихи разжижали весь текст и вносили в него такие подробности, которые и без этих стихов угадывались сами собой.

После устранения шестнадцати строк стихотворение только выиграло в своей эмоциональной динамике.

Впрочем, одно из четверостиший осталось, но Некрасов в корне переделал его. Первоначально, как мы видели, он хотел представить «молодого стрелка» дворянином, ушедшим в народ, чем-то вроде Павла Веретенникова:

Ты у нас про житье наше спрашивал,
Ровней с нами себя называл.

Но потом зачеркнул эти строки и написал вместо них:

У тебя порошку я попрашивал,
И всегда ты не скупо давал

то есть выключил из своей темы идейную близость охотника к трудовому крестьянству и заменил ее личной его добротой...

Но энергия стиха заключается не только в его лаконизме. Многое зависит от эмоциональной окраски стиха. Бывают вялые и равнодушные строки, в которых регистрируются происходящие факты без всякого душевного участия в них. Мы видим по некрасовским рукописям, что поэту нередко случалось писать именно такие стихи, но он всякий раз перерабатывал их, придавая им другую структуру, всячески добиваясь того, чтобы в них зазвучала динамика живой речи.

В черновиках «Русских женщин» имеются, например, такие стихи:

Княгиня просит, чтоб живей
Перепрягали лошадей.

Это изложение голого факта не удовлетворило Некрасова, и он внес в те же стихи интонацию нетерпеливой настойчивости, причем косвенная речь у его героини заменилась прямой:

Выходит путница: «Скорей
Перепрягайте лошадей!»

Естественность и живость интонации, как мы видим из черновых его рукописей, стоила ему самых напряженных усилий. В черновике его фельетонной сатиры «Балет» было, например, такое шуточное обращение к сидящей в партере чиновнице:

Между тем расплатились бы с прачкой!

Интонация этого стиха, очевидно, показалась Некрасову неопределенной и смутной, потому что в следующем варианте он попытался сделать ее более четкой:

Право, лучше б разделаться с прачкой.

Но в этом втором варианте фразеология стала безличной. Пропал адресат стиха. Кроме того, слово «разделаться» не принято в бытовом разговоре об уплате за стирку белья. В новом варианте Некрасов устранил эти два недостатка, и тогда у него получилось:

Лучше вы расплатились бы с прачкой.

В лексическом отношении эта новая версия была удовлетворительнее двух предыдущих, но ее интонация все еще оставалась невнятной, и Некрасову пришлось долго искать нужную ему интонацию, пока наконец он не выработал такой вариант:

Рассчитайтесь, сударыня, с прачкой!

В этом окончательном тексте строка достигла наибольшей выразительности. Исчезло сослагательное бы, придававшее ей неопределенность и вялость, а прямое обращение «сударыня» усилило ее речевую энергию. Я уже не говорю о том, что по сравнению с предыдущими тремя вариантами в этом окончательном тексте анапестическое звучание стиха приобрело максимальную четкость. (В предыдущем варианте было едва ли желательно излишне сильное ударение на *вы.*)

Вообще интонации стихов он придавал огромное значение.

В самом конце первой части «Русских женщин» иркутский губернатор восклицал, обращаясь к героине поэмы:

1. Простите, я вас истерзал!

Грамматическая структура этого восклицания была слишком уж правильной и могла показаться, вследствие этого, книжной, — и вот в погоне за разговорным звучанием он подверг вышеприведенную строку таким изменениям:

2. Простите, я измучил вас...
3. Я вас измучил, боже мой...

4. Я, как палач, измучил вас...
5. Да, как палач, я мучил вас...
6. Простите, да, я мучил вас!..

Интонация шестого варианта отличается наибольшей естественностью, потому что восклицание «да», поставленное в середине строки, придает ей живую прерывистость устной речи и разрушает тот книжный оттенок, который слышался во всех предыдущих конструкциях.

IV

Пытаясь определить по некрасовским рукописям основные принципы, которыми руководился поэт при выработке окончательных текстов, мы приходим к выводу, что никакого общего правила здесь подметить нельзя, так как Некрасов был чрезвычайно разнообразным поэтом и в разных случаях работал над своими черновиками по-разному, в зависимости от темы, которая вставала перед ним в том или другом стихотворении. Каждая тема определяла собою характер отбора тех или иных вариантов. Изучая эти варианты, начинаешь видеть, как безнадежны попытки некоторых критиков охарактеризовать его стиль какой-нибудь одной формулой.

Приведем элементарный пример. Мы только что установили, что в ряде своих стихотворений Некрасов всемерно стремился к предметности, к материальности речи, систематически заменяя вещами отвлеченные фразы об этих вещах. Но это совсем не значит, что он обнаруживал такую тенденцию во всех своих стихах без исключения, независимо от их сюжета и жанра. Есть у него целый цикл стихов, в которых проявляются стремления противоположного рода. Правда, таких стихов у него значительно меньше, и не в них его главная сила, но диапазон его творчества так необъятно широк, что чуть только подметишь в его работе над рукописями какую-нибудь одну характерную особенность его творческого метода, тотчас же бросается в глаза и другая, противоположная ей.

Тяга к воплощению в слове «предметов предметного мира», осязаемых, зримых, материальных вещей, проявляется у Некрасова, главным образом, в трех основных его жанрах: 1) в песнях фольклорного типа, 2) в стихотворных новеллах, 3) в сатирах.

Однако Некрасов не был бы революционным трибуном, обличителем ненавистного строя, если бы он не владел еще одним поэтическим жанром: ораторской, витийственной речью. В арсенале тех форм поэзии, которые были необходимы ему для его боевой агитационной работы, далеко не последнее место занимал высокий

патетический стиль, в котором Некрасов создал такие стихи, как «Родина», «Муза», «Элегия», «Страшный год», «Смолкли честные» и др.

Для этого цикла стихов ему нужна была ораторская поэтика, совершенно противоположная той, которой он пользовался для других своих жанров, — поэтика отвлеченных понятий, иносказаний, метафор.

Без этого цикла литературное наследие Некрасова было бы гораздо беднее. Конечно, для его реалистически-трезвого, ясного и точного ума, чуждого какой бы то ни было мистики, питающегося исключительно фактами реальной действительности, даже отвлеченные понятия, которыми он иногда оперировал, были в сущности чрезвычайно конкретны. Но все же здесь полный отход от предметности, и метод мышления здесь совершенно иной, чем, например, в «Извозчике», «Филантропе» и «Свадьбе».

Когда Некрасов восклицал о своей демократической музе:

Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела, —

здесь было такое скопление отвлеченных понятий, какого не найти в его стихах, принадлежащих к другим поэтическим жанрам.

Он подчеркивал их обобщенный характер и тем, что писал каждое их название заглавными буквами («Насилие», «Зло», «Труд», «Голод»), и тем, что подчинял их традиционной метафоре «бездны»:

Чрез бездны темные Насилия и Зла.

Те же отвлеченности (тоже заглавными буквами) даны в его стихотворении «Поэту»:

Любовь и Труд под грудами развалин...

И в другом стихотворении (под тем же заглавием):

В твоей груди, гонимый жрец искусства,
Трон истины, любви и красоты.

Чтобы сказать, что в *груди* какого-нибудь человека находится *трон*, нужно отвлечься от реального значения этих слов и придать им характер возвышенных символов. В бытовых стихотворениях у Некрасова этого нет и в помине, но здесь, в цикле ораторских декламационных стихов, он находит такое отношение к слову совершенно уместным и пишет, например, о голодном труде:

Алчбы и жажды бледное дитя.

Здесь понятие «дитя» опять-таки утрачивает свой обычный, реальный характер и становится такой же отвлеченностью, как архаическое слово «алчба».

Эти примеры приводятся для того, чтобы подкрепить утверждение, что творческие методы Некрасова были гораздо разнообразнее, чем принято думать; что он отнюдь не придерживался какого-нибудь единого принципа в работе над своими стихами и что критики, которые пытались определить все его многообразное творчество какой-нибудь краткой формулой, просто закрывали глаза на те из его творений, которые шли наперекор этой формуле и никак не могли в ней вместиться.

Правда, стремление к пышной декламации, к витийственной речи наблюдается у Некрасова значительно реже, чем, например, его тяготение к песне, к стихотворной новелле, к простонародному говорному стиху, но все же игнорировать эту тенденцию никак невозможно, тем более, что и в некрасовских рукописях, как будет указано ниже, можно заметить немало попыток приблизиться к «высокому» стилю.

Конечно, никто не отрицает того, что Некрасов, как поэт, противопоставивший дворянской романтике — трезвое, лишенное всяких иллюзий миропонимание трудящихся масс, прикованных к суровым реальностям повседневного быта, не мог не снизить во многих стихах высокой и высокопарной поэзии своих дворянских предшественников. Но разве революционно-демократическому поэту не может быть свойственна патетика самого высокого стиля, какой только существует на языке человеческом? Разве не было у той демократии, идеи и чувства которой так полно воплотились в стихотворениях Некрасова, своих заветных святынь, своих великих могил, своих героев и мучеников, о которых подобало говорить лишь самыми высокими словами, какие доступны поэтам? До Некрасова эти высокие слова служили, главным образом, церковной и официозной патетике самодержавно-крепостнического строя, это были слова манифестов, рескриптов и проповедей, и в данном случае задача Некрасова, которую он вполне сознавал, заключалась отнюдь не в том, чтобы снизить эту высокую лексику или вытравить ее из поэзии, а в том, чтобы, отняв ее у самодержавного государства и церкви, наполнить ее иным содержанием, драгоценным для революционно-демократических масс.

Когда он восклицал об умершем собрате:

Какой светильник разума угас!

здесь была метафора высокого стиля, не чуждая библейской традиции. Вся новаторская сила Некрасова сказалась здесь именно в том,

что эту высокую лексику он применил к Добролюбову и тем самым канонизировал его как борца за народное счастье, как одного из героев революционно-демократических масс. Та же стилистика в его гимнах Белинскому и в его «Гимне» народу (1866), которым он пытался заменить официозный гимн Жуковского — Львова: «Боже, царя храни!»

Господь, твори добро народу,
Благослови народный труд.

Ни о каком снижении нет и не может быть речи в таких стихотворениях, как «Родина», «Русь», «Мать», «Средь мира дольнего», «Муза», «Баюшки-баю», «Размышления у парадного подъезда» и т. д. Изучая его рукописи, видишь, что он во множестве случаев стремился повысить, облагородить, условно говоря, «поднять» стилистику своих стихотворений, относящихся к этому циклу, и всячески пресекал их уклоны в бытовой прозаический стиль, особенно если дело шло о героике, которую хотел он прославить.

Все это совершенно зависело от стоявшей перед Некрасовым темой: если тема была мелкобытовая, житейская, отражавшая будничный мир подневольного труженика, Некрасов воссоздавал этот мир в его неприкрашенной сущности, систематически срывая с него все орнаменты дворянской эстетики.

Здесь у него действительно не трудно найти великое множество сниженных, антипоэтических слов, разрушающих «высокую» лексику, свойственную поэтам-романтикам.

Но не дико ли думать, что служение революционно-демократическим массам могло ограничить поэзию Некрасова житейскими, повседневными темами, требующими для своей разработки одних лишь в е щ е с т в е н н ы х слов? Мы видели, что это не так. Революционная демократия не обеднила, не сузила поэзии Некрасова, не ограничила ее мелкобытовыми реалиями, а, напротив, предоставила величайший простор его могучей и пышной патетике. Она, как мы ниже увидим, дала ему силу создать монументальный эпический стиль, недоступный никакому другому поэту его поколения.

И уже то, что русская революционная демократия сороковых, шестидесятых, семидесятых годов могла вырастить в своих недрах такого всеобъемлющего мастера, владеющего такими разнообразными стилями, вмещающего в своем творчестве такое изобилие поэтических жанров, свидетельствовало о неисчерпаемых силах этой молодой демократии. Стоит только сопоставить Некрасова с другими «гражданскими поэтами» той же эпохи, такими, как, например, Гервег, Фрейлиграт, Розенгейм и т. д., или, например, с такими его предше-

ственниками, как Рылеев, чтобы понять ту особенность его дарования, о которой мы говорили сейчас: многостильность, богатство жанров.

В черновиках Некрасова имеется немало стихотворных набросков, где сказалось даже его тяготение к тому метафорическому стилю, который, в представлении многих читателей, совершенно противоположен некрасовскому. Мне посчастливилось отыскать в свое время рукопись его недоконченной пьесы, где, например, в одном из монологов оказались такие стихи:

Вся эта роскошь нарушает нагло
Привычный ход убогой этой жизни
И бедности святыню оскорбляет,
Той бедности, которая одна
Здесь царствовать привычку вековую
Усвоила и грозных прав своих
Сопернице мишурной не уступит!
Жестка царица эта. Во сто крат
Она отмстит за сутки униженья...

В подчеркнутых нами словах та метафоричность отвлеченных понятий, которая гораздо более была свойственна мышлению Некрасова, чем это было принято думать.

Когда, лет 15 назад, мною был обнародован другой подобный отрывок из некрасовских рукописей, многие не хотели верить, что это стихи Некрасова, до такой степени стиль этих стихов казался им несоответствующим стилю Некрасова. Здесь опять-таки олицетворение отвлеченных понятий:

О, пошлость и рутина — два гиганта,
Единственно бессмертные на свете,
Которые одолевают всё —
И молодости честные порывы,
И опыта обдуманный расчет,
Насмешливо и нагло ожидая,
Когда придет их время. И оно
Приходит непременно.

Характерно, что в то время как в песенных стихотворениях Некрасова преобладают трехдольные ритмы, — амфибрахии, анапесты, дактили, — здесь, в этих медитативных отрывках, он чаще всего пользуется пятистопными и шестистопными ямбами, которые, очевидно, по его ощущению, лучше всего приспособлены для тематики этих стихов.

Правда, большинство его патетических стихотворений, написанных указанным размером, осталось под спудом и не вошло в окончательный текст, но, если бы он не владел этим стилем и не стремился к нему, он никогда не мог бы написать ни «Матери», ни «Родины», ни «Музы».

V

Конечно, его современникам бросалось в глаза раньше всего то «снижение» высокопарной романтической лексики, которое он производил с такой беспримерной смелостью в сатирах и стихотворных новеллах.

Здесь они видели главное существо его стиля. И, конечно, нельзя отрицать, что именно эта черта была в его творчестве наиболее заметной.

В самом деле: возьмем хотя бы слово *заря*. Каких только нарядных эпитетов ни прилагали в стихах к этому поэтическому слову! И только Некрасов в одной из своих ранних поэм неуважительно заметил о заре, что она — *полосатая*.

> А за долиной, слегка беловатой,
> Лес, освещенный зарей *полосатой*.

Эта *полосатая* заря совершенно подстать тому сравнению месяца с дыней, которое встречается в одном из ранних стихотворений Некрасова:

> А месяц, как дынная корка,
> На небе полночном висит.

При этом невозможно не вспомнить и другое, более позднее определение месяца в стихотворении «Ночлеги»:

> Он сказал мне: месяц в небе
> Словно *сайка* на столе.

Таково же его слово о снеге в гениальном цикле «О погоде»:

> Снег *лепешками* крупными валится...

И о реке подо льдом:

> Лед неокрепший на речке студеной
> Словно как *тающий сахар* лежит
>
> *(Железная дорога)*

Никак невозможно отрицать тяготение Некрасова к разрушению норм дворянской поэзии в стихах этого жанра, о которых мы сейчас говорили. Но его черновики часто обнаруживают другую тенденцию, о которой и не подозревали исследователи-формалисты, выдвинувшие тезис о том, что он будто бы опрозаил поэзию. Если бы этим исследователям были в то время доступны черновые варианты стихотворений Некрасова, они увидели бы, что Некрасов, напротив, то и дело вытравлял из своих стихов прозаизмы (в тех случаях, когда этих прозаизмов не требовала тема) и заменял их

такими словами, традиционная поэтичность которых не подлежала никакому сомнению.

Доказать это не так-то легко, ибо на первых порах прозаизмы его черновых вариантов слишком уж бросаются в глаза, поражая своей новаторской смелостью. Но все же мы попытаемся детально проанализировать их, и тогда, мы надеемся, вскроется прямо противоположный характер этих рукописных свидетельств.

В 1853 году Некрасов написал стихотворение «За городом», и первоначально там были такие стихи:

Нас тешит песнею задумчивой своей,
Как праздных юношей, *болтливый* соловей.

Кажется, никогда еще за тысячелетнюю историю поэзии ни один поэт не осмеливался обозвать соловья таким обидным эпитетом. Соловьиное пение спокон веку считалось одним из самых поэтических явлений природы, и нужна была неслыханная дерзость, чтобы нарушить эту многовековую традицию.

Высокий стиль, например, со времен Державина требовал, чтобы стерлядь называли *янтарной*, и только Некрасов дерзнул в 1874 году в черновой рукописи своей стихотворной новеллы «Горе старого Наума» присвоить этой рыбе один из самых непоэтичных эпитетов: *аршинная*, причем непоэтичность еще больше подчеркивалась высоким стилем предыдущей строки:

И Волги драгоценный дар —
Аршинную стерлядку.

«Высокая» эстетика считала в ту пору непозволительной грубостью введение в поэзию точных чисел и дат, определяемых календарем или часами.

Не потому ли в рукописи поэмы «Несчастные» в знаменитом описании Петербурга было вначале такое двустишие:

Ты некрасив, наш город мрачный,
С утра часов до десяти.

Начав девятую строфу своей элегии «Уныние» в высоко-поэтическом тоне:

...А ты, мечта больная,
Воспрянь и, мир бесстрашно облетая...

он в черновой своей рукописи уже через две строки свел эту поэтическую приподнятость к довольно приниженной прозе:

Иду к реке, любимице народной,
Перепелов *пугляя* по пути...

Его «Элегия» (1874), выдержанная в духе самой высокой поэзии, начиналась в рукописи таким фельетонно-разговорным двустишием:

Старо, неправда ли, печь хлебы из муки?
Однакож из песку, попробуй, — испеки!

Это двустишие было в резком противоречии с торжественным стилем традиционных элегий. Здесь чувствовались бытовые интонации затрапезной, домашней речи.

С такой же отчетливостью тяга к снижению высокого стиля ощущается в первоначальном наброске стихотворения «Суд». Написано оно в ритме «Мцыри» и «Шильонского узника», а между тем мы читаем в нем такие стихи:

Тошней всего, что сон был плох.
Ловил я в час до сотни блох
И тем досуг мой сокращал,
Но если б всех поймать желал,
Сидеть бы надо там года...

По мнению исследователей-формалистов роль некрасовского стиля заключалась в преодолении пушкинских и вообще классических канонов поэзии, в борьбе с литературными традициями так называемой «высокой поэтики». Как мне уже случалось доказывать, эта соблазнительно-четкая схема заключает в себе много полуправд, которые хуже неправды. Она вульгаризирует и до нищеты обедняет бесконечно сложный некрасовский стиль, не укладывающийся в такие тесные рамки.

Ибо стоит только всмотреться внимательнее в те стихи, которые мы сейчас прочитали, и вникнуть в их дальнейшую историю, как эта формалистская схема окажется разрушенной. Ведь нельзя же упускать из виду то обстоятельство, что все приведенные здесь строки Некрасова взяты из черновых его рукописей и отнюдь не представляют собою окончательной редакции текстов.

Это — забракованные им варианты.

Возьмите любое издание его сочинений, и вы не найдете там ни *болтливого* соловья, ни *аршинной* стерлядки, ни *сотни блох*, истребление которых сокращало для его героя невольный досуг.

Все эти «антипоэтичные» строки появлялись у Некрасова почти исключительно в начальной стадии его работы над стихами, и разве не характерно, что в дальнейшем процессе творчества он постоянно отбрасывал их и заменял их другими, гораздо более близкими к традиционной «высокой» эстетике.

Так, в его окончательном тексте «антипоэтический» эпитет стерлядки — *аршинная* — в конце концов заменился тем самым эпитетом, который издавна присвоен этой рыбе поэтами высокого стиля. В «Горе старого Наума» читаем:

И Волги драгоценный дар, —
Янтарная стерлядка.

Значит, выбирая между «высоким» и «низким» эпитетом, Некрасов в данном случае отдал предпочтение высокому.

То же самое произошло и с дерзновенной характеристикой соловьиного пения, как болтовни для бездельников.

В первоначальном варианте стихотворения «За городом» соловей действительно был назван *болтливым*, но, отдавая свое стихотворение в печать, Некрасов забраковал этот резкий эпитет, нарушающий многовековую традицию, и заменил его словом *вечерний:*

Как праздных юношей, *вечерний* соловей.

Так и печатается уже девяносто лет во всех собраниях его стихотворений, а сочетания «*болтливый* соловей» Некрасов не напечатал ни разу, то есть опять-таки, когда ему пришлось выбирать из двух разнородных эпитетов, он в конце концов выбросил тот, который относится к антипоэтическому, «низкому» стилю.

Его поэма «Несчастные» в своей урбанистической части перекликается с поэмой «Медный всадник». Тем прозаичнее кажутся на фоне ее торжественной лексики деловые «антипоэтические» строки Некрасова:

Ты некрасив, наш город мрачный,
С утра часов до десяти.

Но и это — первоначальная версия, тогда же забракованная им и погребенная в его черновиках. Возможно, что она выброшена им из поэмы именно вследствие своей прозаичности. По крайней мере, в том отрывке «Несчастных», который он напечатал в журнале, соответствующие строки читаются так:

В обломках оргии безумной,
Он некрасив, наш город шумный,
И лишь Нева, его душа,
В нем неизменно хороша.

Прозаическая дата была убрана и заменена лексикой более высокого стиля. Впрочем, впоследствии Некрасов выбросил все это место, и в окончательном тексте нет ни того, ни другого варианта.

И в элегии «Уныние» точно так же отсутствуют приведенные выше строки о перепелах, которых Некрасов «пудлял» по пути. Она заменена другой строкой, более соответствующей «благородному» стилю элегии:

С младенчества на этом мне пути
Знакомо все... Знакомой грусти полны
Ленивые, медлительные волны.

И в его «Элегии» 1874 года — в окончательном тексте — исчезло фельетонное двустишие о замене мукй песком.

Итак, сказать, что Некрасов всегда во всех случаях стремился к снижению высокой поэтики, значит сильно отклониться от истины. Против этой широко распространенной легенды вопиют все его рукописи, все черновики его стихов, где во множестве случаев можно заметить обратное стремление поэта от антипоэтического, «низкого» стиля к «высокому».

И такое стремление можно подметить не только в его черновых вариантах. В первом издании его стихотворного сборника были напечатаны такие стихи:

С *запасом* молчаливой скуки
Встречался мрачно я с тобой.

Но при повторном издании тех же стихов Некрасов выбросил это прозаическое слово *запас* и заменил его высокопоэтическим *игом:*

Под игом молчаливой скуки
Встречался мрачно я с тобой.

Вообще это слово было не чуждо его словарю: «*под игом* лет душа погнулась», — писал он в том же году в стихотворении «Поэт и гражданин» (ср. «Сломившийся *под игом* горя» («Тишина»), «Не то среды поддайся *игу*» («Несчастные»).

Итак, его мысль чаще всего облекалась в формы прозаического стиля лишь в самый ранний период работы, а в дальнейшем процессе творчества (и этого мы не должны забывать) он неоднократно стремился преодолеть свою прозу и заменял так называемые «низкие» формы — высокими, в тех случаях, когда этого требовала тематика его стихотворений.

Возьмем, например, черновики его «Трубецкой» и «Волконской», до сих пор еще никем не изученные. Стремясь в этой поэме обессмертить подвиг самоотверженных женщин, героические образы которых должны были служить идеалом для революционной молодежи 70-х годов, Некрасов истратил немало усилий, чтобы сделать свою лексику более торжественной, более соответствующей деяниям и

чувствам своих героинь. В следующей главе мы попытаемся показать, что то благоговение, которое внушали Некрасову эти деянья и чувства, полностью определило собою стилистику его знаменитых поэм.

VI

Вообще в его работе над «Русскими женщинами» можно отчетливо различать два этапа: на первом он не стеснял себя такими деталями, которые были свойственны более низким повествовательным жанрам, и охотно культивировал их, но сознание идейной значительности создаваемой им революционно-патриотической эпопеи заставило его отчетливо видеть эти свои отклонения от монументальной поэтики и систематически искоренять из рукописного текста такие стихи, которые не соответствовали в том или ином отношении высокой стилистической норме.

К этой борьбе с мелочным, тривиальным, натуралистическим стилем, снижавшим героическую поэму до уровня нравоописательной повести, и сводился второй этап его творческой работы над «Русскими женщинами».

Оба эти этапа легко проследить на всем протяжении рукописи.

Так, в первоначальном варианте «Княгини Волконской» были, например, такие слова, произнесенные от лица героини:

Совсем не умею я думать. Отец
Ошибся, — *я дура большая*

и нужно ли говорить, что эта грубая лексика, заодно с неуместной бытовой интонацией, была на втором этапе беспощадно уничтожена автором.

Такая же участь постигла и восклицание другой декабристки, относившееся к придворным красавицам:

Мазурку танцовать с царем
Все счастье этих дур!

Порочность данного двустишия заключалась опять-таки не только в его грубоватости, но и в той бытовой интонации, которая сильно снижала патетическую речь героини.

В первоначальном тексте Мария Волконская говорила о начальнике нерчинской тюрьмы:

Не знал по-французски упрямый *дурак*.

И, конечно, это последнее слово, подобно другим вульгаризмам, было уничтожено в окончательном тексте.

Вообще искоренять вульгаризмы Некрасову приходилось не раз. В рукописи Трубецкая, например, говорила:

Глухая ночь. Мороз крепчал
И ел глаза до слез,
И подрез по снегу визжал
Как *защемленный пес.*

Это четверостишие было зачеркнуто автором — не потому ли, что последняя строка — прекрасная сама по себе — не совсем соответствовала сложившемуся в представлении читателей стилю речей героини, и вместо нее им были написаны другие стихи, в которых уже не было пса.

Общая тенденция всех главнейших поправок Некрасова, вносимых им в эту прозу, очень наглядно сказалась в таком, например, мелком, но выразительном случае. Мария Волконская в одном из первых вариантов поэмы рассказывала о заключенных в тюрьму декабристах:

Остригли им головы, сняли кресты.

Очевидно, первая половина стиха показалась поэту чересчур прозаической, и он заменил ее такими словами:

Одели их в рубище...

«Рубище» — условно-романтический, чуть-чуть даже театрализованный образ, и нам кажется чрезвычайно характерным для всей системы поправок, внесенных Некрасовым в рукописные тексты поэмы, что, уничтожив натуралистическую подробность о стрижке арестантских голов, он заменил ее этим романтическим «рубищем», для которого, кстати сказать, подлинные «Записки» не дают никаких оснований. В подлинных «Записках» отчетливо сказано:

«Каждому из них дали куртку и штаны из грубого серого сукна».

Некрасов, как известно, питал большое пристрастие к числительным («Убил ты точно на веку *сто сорок два* медведя», «Вчерашний день *часу* в *шестом», «Впятером* им *четыреста* лет» и т. д.). Здесь же, в этой поэме, он, судя по черновым его рукописям, пытался преодолеть в себе и это пристрастие.

Так, вначале он писал о генерале Раевском:

4-го раненный, с пулей в груди,
6-го, 7-го сражался

и эти строки довольно долго держались в черновых и получерновых его рукописях, покуда он в конце концов не отказался от них и не заменил их такими стихами:

Под Лейпцигом раненный, с пулей в груди
Он вновь через сутки сражался.

В работе над этой поэмой Некрасову зачастую приходилось обуздывать даже свою неизменную любовь к просторечию. Это видно хотя бы из того варианта поэмы, где Трубецкая говорит о толпе, глядевшей на восставших декабристов:

Глядел на них, *как гусь на гром,*
Озябший русский люд.

Почему-то в течение довольно долгого времени поэт не хотел отказаться от этого сравнения, и оно неоднократно встречалось в дальнейших его вариантах:

Русак в неведеньи стоял,
Смотрел, *как гусь на гром.*

И снова:

Народ смотрел, *как гусь на гром,*
На шумные полки...
Чего хотят, шумят о чем,
Не знали русаки.

Эта деревенская поговорка, применяемая в крестьянском быту ко всяким простофилям и тупицам, была в конце концов зачеркнута поэтом, так как очень уж не вязалась с высокой лексикой его героини.

И не только крестьянские, а вообще разговорные, реалистически воспроизведенные речи с теми бытовыми интонациями, которые сам же Некрасов культивировал во многих стихах, здесь часто казались ему неуместными, и он считал себя вынужденным исключить их из текста поэмы.

Когда читаешь, например, в его рукописи, что Волконская восклицает о муже:

Ведь я же ему не чужая!

или говорит о родных:

Несносно! Уж лучше б бранились они,
А то все молчали и дулись.

или о своих докторах:

Лечили, лечили, — все хуже!

или пользуется таким бытовым оборотом:

Потом *я имела* с отцом разговор! —

можно было заранее сказать, что эти строки не дойдут до печатного текста именно в силу своей, слишком реалистически схваченной, домашней, разговорной структуры.

Таковы же поправки Некрасова, относящиеся к речам генерала Раевского. На страницах поэмы Раевский всегда в ореоле, ему присвоены на всем протяжении текста горделивые слова и величавые жесты, между тем в первоначальном варианте он неистово кричит своим детям:

Ура, пузыри, я вернулся живой!
Взяла, благодетели, наша!
Французики, чу! затрубили отбой!
Целуй меня, дурочка Маша!

То была, так сказать, фотография живой генеральской речи, характерной для бытового разговорного стиля эпохи, между тем Некрасов считал для себя обязательным представить в лице Раевского монументально-торжественный образ героя, достойного отца своей самоотверженной дочери. Поэтому он даже не стал переделывать эти стихи, а просто исключил их из текста,[1] ибо в этой поэме он меньше всего хлопотал о фотографическом воспроизведении происшествий и лиц. Ему было ясно, что, перенося в область поэзии группу исторических событий, писатель, как выразился один из позднейших исследователей, «подчиняет себя закону поэзии, закону внутренней логики фактов, а не случайности действительных событий. Пусть это грубая правда жизни, — для поэзии это неправда: следовало исправить действительность... Он [Некрасов] знал роль поэтического вымысла, исправляющего случайное течение действительности».[2] Пусть Раевский и вправду говорил со своей семьей в таком размашистом и ухарском стиле, здесь эта правда оказалась бы ложью, так как она разрушила бы то представление о величавости знаменитого воина, которое связано у русских людей с его именем:

Хладный вождь в грозе военной...
В дни спокойные — мудрец

(Жуковский)

---

[1] Существует, впрочем, и такой вариант:

Ура, пузыри, я вернулся домой!
Взяла, благодетели, наша.
А маршал Даву убежал чуть живой!
Целуй меня, дурочка Маша!

[2] А. Г. Горнфельд. О русских писателях. СПб., 1912, стр. 210.

Бойкий, залихватский жаргон («дурочка», «пузыри», «французики», «наша взяла») является для Раевского случайной чертой, нисколько не характеризующей основные его душевные качества, которые воспроизводятся в поэме. И оттого так много выиграла художественная правда поэмы, когда Некрасов зачеркнул эти строки.

Несомненно по той же причине была им изъята оттуда следующая подробность о поведении Раевского во время разговора с непокорной дочерью:

Зубами скрипел, негодуя,
Все время старик.

Вместо этой неприглядной подробности, в окончательном тексте читаем:

Старик поднялся, негодуя.

В печати неоднократно указывалось, что, работая над «Русскими женщинами», Некрасов в значительной мере использовал подлинные «Записки» Марии Волконской. Считается, что эти «Записки» сильно помогли ему в работе.

Это, конечно, верно, но необходимо отметить и то, что они нередко **мешали** ему, уводя его прочь от его торжественной темы, навязывая ему такие бытовые подробности, которых он хотел избежать. Эти бытовые подробности, эти мелкие житейские факты были вполне уместны в мемуарных «Записках», но оказывались мало пригодными для величавой поэмы.

Характерно, что Некрасов на первых порах всякий раз воспроизводил эти чуждые его замыслу посторонние мелочи, и лишь потом убеждался, что они являются ненужным балластом, и либо выбрасывал их из поэмы, либо до неузнаваемости переделывал их.

К числу таких мелких заимствований, в конце концов забракованных им, относится, например, сообщение о том, что Мария Волконская везла с собой много посылок и что, покидая Москву, она сочла необходимым (и возможным) принанять еще одну кибитку и взять с собою новую прислугу:

Мне утром родные далеких друзей
Так много посылок прислали,
Что не было места в кибитке моей.
Другую мы наскоро взяли.
И тут же людей я себе наняла.

Здесь точное воспроизведение текста «Записок» Марии Волконской:

«Родственники наших ссыльных приносили мне письма для них и столько посылок, что я должна была нанять вторую кибитку, чтобы везти их... Со мною ехали лишь один слуга и горничная, взятая накануне...»

Некрасов устранил эту подробность из текста, так как от великой героики она уводила в мелочной бытовизм — к нейтральным обстоятельствам, которых могло и не быть.

Обширная категория поправок объясняется именно тем, что Некрасов стремился не загромождать свою поэму бытовыми деталями, не способствующими прославлению его героинь и потому имеющими случайный характер. Так, в одном из первых вариантов «Княгини Волконской» он стал было рассказывать о том, как обрадовалась декабристка, когда увидала, что вместе с нею в Сибирь отправляется в ее обозе — рояль:

Пропала дорога санная.
Когда началася укладка вещей,
Узнала я, — радость большая! —
Что Зина со мной уложила рояль,
Укутав его осторожно.
Поехали дальше. Как было мне жаль,
Что тотчас играть невозможно!

Здесь Некрасов, как и во всей поэме, близко следовал за текстом «Записок» Марии Волконской: «Возвратившись к себе, — говорится в «Записках», — я была преисполнена восторгом и удивлением при виде клавикордов, которые тайком от меня моя милая Зинаида Волконская велела привязать к моей кибитке... Я принялась играть и петь и почувствовала себя менее одинокой...»

Конечно, этот эпизод не заключал в себе ничего унизительного для личности Марии Волконской, однако Некрасов счел нужным исключить его из окончательного текста, так как в образах своих декабристок он стремился подчеркнуть лишь трагическое, лишь высоко идейное, а этот случайный бытовой эпизод не только не отражал в себе подвига воспеваемой женщины, но, напротив, расхолаживал читателя, совершенно некстати напоминая о том, что она и в сибирском изгнании не лишится некоторой доли комфорта.[1]

---

[1] Впрочем, в приведенных стихах Некрасов все же хотел допустить кое-какие отступления от подлинника: Волконская писала не про р о я л ь, а про к л а в и к о р д ы (то есть сравнительно небольшой инструмент); соответственно тексту «Записок» она обнаружила этот драгоценный подарок не в пути, а уже приехав в Иркутск, и таким образом получила возможность тотчас же приняться за игру.

В литературе не раз сообщалось, будто изображение того, как рожала своего первого ребенка Волконская, Некрасов изъял из поэмы лишь по настоянию сына декабристки Михаила Сергеевича. Мы же, изучив основную тенденцию всех прочих исправлений, внесенных в поэму, приходим к непоколебимой уверенности, что эта акушерская сцена все равно была бы изъята Некрасовым, так как она обременяла поэму деталями, не соответствующими единственной цели поэта: возвеличить духовную красоту русской женщины:

Сцена была такова:

Роды́ мои как-то нежданно пришли,
До города было далеко:
Ни доктор, ни бабка поспеть не могли;
Я помню, страдая жестоко,
Я слышала ссору: отец мой кричал:
«На кресле пускай остается!
В походах я наших детей принимал, —
Ты помнишь сама, — где придется,
А разве дурной я был бабкой?..» А мать
Твердила: — Нет, нет, бога ради,
Голубчик, положим ее на кровать! —
«Не надо, не надо кровати!»
Да няня моя догадалась найти
В соседнем селе повитуху,
Но та не решалась ко мне подойти...
Я помню седую старуху;
Все время мучительной пытки моей
Шептала она у иконы:
«Владычица! будь ты помощницей ей»
И клала земные поклоны.

Это почти буквальный пересказ следующего отрывка из «Записок» Марии Волконской:

«Мои роды были очень тяжелы, без повивальной бабки (она приехала лишь на следующий день). Папа настаивал на том, чтобы я сидела в креслах, мама, со своей опытностью матери семейства, приказывала мне лечь в постель, боясь простуды. Они спорят, а я страдаю. Наконец, как всегда, воля мужчины одержала верх; меня поместили в большое кресло, где я и промучилась безо всякой медицинской помощи. Наш доктор находился у больного в 15-ти верстах от нас; пришла какая-то крестьянка, именовавшая себя повивальной бабкой, но, не смея приблизиться ко мне, она стояла в углу комнаты, молясь за меня».

Несомненно, вся эта сцена в конце концов показалась Некрасову таким же излишеством, как и другие отрывки, которые мы приводили сейчас, ибо, не создавая ореола для его героини, она, подобно вышеприведенным отрывкам, переводила поэму в план реалистиче-

ской повести, лишая ее того величаво-монументального стиля, который был организующей основой всех изображаемых в ней эпизодов.

Пытаясь избавить поэму от мелкого психологизма, могущего повредить ее монументальному стилю, он вычеркнул также и следующий рассказ декабристки о ее времяпрепровождении в пути:

Совсем я закрыла кибитку мою,
Не видела божьего света.
Что делать? Стихи вспоминаю, пою,
Забудешь словцо из куплета
И думаешь — думаешь — время идет.

Необходимо отметить, что в данном случае в подлинных записках Волконской нет этих мелко-бытовых интонаций. Там сказано лаконично и сдержанно:

«Так я ехала 15 дней, — то пела, то читала стихи... Кибитка была закрыта».

Иногда под влиянием стиля «Записок» Некрасов наполнял первоначальную рукопись мелкими обыденными фактами, уводившими читателя прочь от высокой сюжетной основы:

Собралась я скоро. Я в Киев к родным
Не съездила даже проститься.

И, конечно, заменил эту тривиальную бытовщину такими строками:

И ясно сознала, что с мужем моим
Недоброе что-то творится.

Близко следуя за стилем «Записок», он хотел было ввести даже такой, например, эпизод:

Я вышла к родным; вся семья собралась
За чаем, никто мне ни слова.

Потом, вместо этих мелочных одомашненных строк, написал:

Я встретила утро. Я вмиг собралась.
Сестру заклинала я снова
Быть матерью сыну. Сестра поклялась.

Так боролся он со своим материалом, преодолевая в нем те элементы, которые оказывались непригодны для патетической поэмы о подвигах.

Опасение, как бы не измельчить свою тему, не загромоздить ее дробными бытовыми деталями, сказывалось также в той части поэмы, которая посвящена «Трубецкой». Например, в знаменитой сцене, воспроизводящей разговор Трубецкой с губернатором, губернатор первоначально говорил декабристке:

Придется вам стирать белье,
Чтоб не ходить в грязи.

По всей вероятности, эта мелкая бытовая подробность заимствована Некрасовым из записок декабриста А. Е. Розена:

«Странным показалось бы, — писал декабрист, — если бы я вздумал подробно описать, как они сами стирали белье».

Но так как наряду с теми ужасами, с теми физическими и душевными пытками, которые изображаются на той же странице поэмы, стирка белья не могла показаться слишком уж тяжелым несчастьем (особенно демократическим читателям 70-х годов) и так как эта житейская мелочь нарушала тот высоко-патетический стиль, который выдержан во всем диалоге Трубецкой с губернатором, Некрасов и следа не оставил от этих первоначальных стихов.

И так велика была его забота о том, чтобы духовное в его поэме не заслонилось бы внешним, что он в той же самой сцене счел нужным вычеркнуть стихи о наружности его героини. Вначале в этих стихах говорилось:

С таким богатством и умом,
С такою красотой, —

но в окончательном тексте «красоту» заменила «душа»:

С богатством, с именем, с умом,
С *доверчивой душой.*

Даже этот неполный список главнейших поправок, внесенных Некрасовым в черновые варианты «Русских женщин», показывает, какая неправда заключается в распространенном утверждении о поэзии Некрасова, будто в ней сказывалось стремление к антипушкинской, прозаической лексике, к так называемому «низкому» стилю.

Все эти формалистские ереси лишь тогда имели какую-то видимость истины, когда исследователям были неведомы некрасовские рукописные фонды и у нас не было никаких материалов для установления принципов, лежавших в основе творческой работы поэта над своими первоначальными текстами.

Так как наша попытка осмыслить эту творческую работу Некрасова при помощи критического изучения его черновых вариантов

является, в сущности, первой, в ней, конечно, неизбежны ошибки и промахи, но все же бесспорным является тот чисто прагматический вывод изо всей массы объективно изученных фактов, который мы наметили в этой главе: что некрасовский стиль не является какою-то неподвижной, раз навсегда установленной сущностью, что он необычайно изменчив и гибок, ибо его всякий раз определяет тематика, разнообразие которой вполне соответствует разнообразию поэтических жанров, свойственных поэзии Некрасова.

Как велики были идейные требования, предъявляемые им к своим стихам, видно из одной характерной подробности, сохранившейся в черновиках «Русских женщин». Я имею в виду перечень почетных гостей, собравшихся в артистическом салоне Зинаиды Волконской приветствовать уезжавшую в Сибирь героиню. Казалось бы, этот перечень не мог представлять для поэта никаких колебаний, поскольку он был воспроизведением исторически установленных фактов, между тем Некрасов проделал над ним большую работу, чтобы идейная направленность его великой поэмы и здесь не потерпела ущерба.

В одном из черновиков мы читаем:

Тут были родные отправленных в даль,
Куда я мой путь направляла,
Тут были Одоевский, Вяземский, Даль
(Проститься со мной все желало).
Тут был и профессор поэт Мерзляков,
И Павлов, тогда знаменитый,
И автор написанных Зине стихов,
Так рано в могилу зарытый.

Последние четыре строки через несколько времени были изменены таким образом:

Тогдашняя слава Москвы Мерзляков,
В то время уж старец маститый,
Тут был Веневитинов, был Хомяков
И Павлов тогда знаменитый.

Этот текст подлежал коренным изменениям, так как, во-первых, длинный перечень московских гостей самой своей пестротой мог надолго отвлечь читателя от патетических чувств самой героини. А во-вторых, те читатели, к которым обращался со своей поэмой Некрасов, издавна привыкли относиться враждебно ко многим из перечисленных в этом списке имен. Так, автор «Трех повестей» Н. Ф. Павлов к тому времени успел уже сделаться публицистом реакционного лагеря, редактором полуофициозной газеты, и о нем главным образом помнили то, что в «Колоколе» Герцена он был уличен в самых неблаговидных поступках.

В. И. Даль тоже не пользовался тогда популярностью: за десять лет до того он вооружил против себя всю прогрессивную прессу своими выступлениями против широкого распространения грамотности.

Славянофила и схоласта А. С. Хомякова недаром подвергал осмеянию в некрасовском журнале Н. А. Добролюбов, изображавший его в виде Якова Хама: это был давний политический враг.

Что касается А. Ф. Мерзлякова, профессора устарелой эстетики, то, хотя его имя не заключало в себе ничего одиозного, тогдашний читатель с недоумением встретил бы строки о нем, называющие его «славой Москвы», и вряд ли уловил бы оттенок иронии, заключающейся в этих словах.

Окружить декабристку такими людьми значило бы вызвать в тогдашнем читателе не те ассоциации, какие были необходимы Некрасову для поэтического возвеличения его героини. Поэтому в окончательном тексте поэмы он вычеркнул из вышеприведенного списка и Мерзлякова, и Хомякова, и Даля, и Павлова, и оставил только троих: поэта Д. В. Веневитинова, поэта П. А. Вяземского, который в декабристскую эпоху еще славился вольнодумством, и гуманнейшего В. Ф. Одоевского, которого так высоко ценил в свое время Белинский.

И тогда получилась такая строфа:

Тут были Одоевский, Вяземский; был
Поэт вдохновенный и милый,
Поклонник кузины, что рано почил,
Безвременно взятый могилой.

Так две вялые строфы превратились в одну — лаконическую. Оставшиеся в тексте имена трех писателей лучше других гармонировали с пленительным образом славной жены и с тем величавым именем, которое Некрасову предстояло назвать в ближайшей строфе поэмы:

И Пушкин тут был...

В этом перечне остались только те из писателей, которые вместе с Пушкиным наиболее сочувствовали подвигу Марии Волконской. Вяземский писал Александру Тургеневу вскоре после свидания с нею: «Что за трогательное и возвышенное обречение! Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории». Известны те восторженные страницы о Марии Волконской, которые написал Веневитинов под впечатлением прощального вечера, проведенного с нею. «Прискорбно на нее смотреть и вместе завидно!» — восклицал молодой поэт.

Даже в этом отборе людей, встретившихся в тот вечер с декабристкой, вскрывается строгая требовательность, с которой Некрасов подходил к своему материалу, извлекая из него только то, что могло способствовать идейно-агитационным задачам поэмы.

Помимо других преимуществ, изменение первоначального списка гостей Зинаиды Волконской дало Некрасову возможность избежать одной очень неприятной погрешности, одного сочетания слов, которое прозвучало бы в этой строфе диссонансом: я говорю о каламбурной, юмористической рифме «в даль» и «Даль»:

Тут были родные отправленных *в даль*...
Тут были Одоевский, Вяземский, *Даль*.

Некрасов любил эти игривые каламбурные рифмы, и они удавались ему. За год до «Княгини Волконской» он писал в сатире «Недавнее время»:

Наши Фоксы и Роберты *Пили*
Здесь за благо отечества *пили*.

Но, конечно, подобные созвучья, пригодные для юмористических, фельетонно-водевильных стихов, были совершенно неуместны в стихах о бессмертном подвиге русских самоотверженных женщин. Стиль Некрасова и здесь оказался в самой тесной зависимости от сюжета и жанра стихов...

Вообще, в работе над «Русскими женщинами» Некрасов остался верен своей излюбленной заповеди:

важен в поэме
Стиль, отвечающий теме.—

Этой заповеди он не нарушал никогда: стиль каждого его произведения постоянно находился в зависимости от идейных задач, которые он ставил перед собою. Как всякому великому художнику слова, форма его произведений всегда была подсказана ему их содержанием.



ПРИМЕЧАНИЯ

1870

Дедушка. Печатается по Стих 1873, т. III, ч. V, стр. 171—195. Впервые — ОЗ 1870, № 9, стр. 241—254.

26 августа 1856 года Александром II был издан манифест об амнистии сосланных в Сибирь декабристов. Тридцать лет пробыли они в сибирской неволе, и ко времени издания манифеста их осталось всего 19 человек. Передовое русское общество радушно встретило возвращенных изгнанников. С особенно теплым чувством в обеих столицах приветствовали престарелого Сергея Волконского. «Возвращение его после амнистии в Россию, — вспоминает один из его современников,— и тот благоговейный почет, с каким всюду его встречали за вынесенные испытания, — все это как-то преобразило <его> и сделало духовный закат этой тревожной жизни необыкновенно ясным и привлекательным» (Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. М., 1897, стр. 37—38).

Есть основания думать, что С. Г. Волконский отчасти послужил прототипом для поэмы Некрасова. Поэт придал своему персонажу даже наружность Волконского, который, по единодушным свидетельствам знавших его, был в старости величаво красив. «Нельзя было, — читаем мы в названных выше записках, — пройти мимо него, не залюбовавшись этой библейской красотой».

В образе некрасовского «дедушки» воплощены также демократизм Волконского (его «влечение к простому народу», — как выразился его биограф), его склонность к земледелию и его привычка к ручному труду. (Ср. Записки С. Г. Волконского. СПб., 1902, стр. 479, а также С. М. Волконский. О декабристах. П., 1922, стр. 99.)

Но на этом и кончается сходство «дедушки» с Сергеем Волконским. Волконский, как писали о нем в год его смерти, вернулся в Россию «умудренным, примиренным, полным горячего сочувствия к реформам нынешнего царствования» (И. С. Аксаков. Некролог С. Г. Волконского. — «День», 1865, №№ 51 и 52). А некрасовский герой, — хотя в начале поэмы он и говорит о себе:

Днесь я со всем примирился,
Что претерпел на веку, —

в действительности чрезвычайно далек от смиренного непротивления злу. Все содержание поэмы именно в том и заключается, что старик-декабрист завещает любимому внуку — и тому поколению, к которому принадлежит его внук, — свою непримиримую ненависть

к самодержавному строю и призывает этих новых людей продолжать ту борьбу, которая была начата декабристами. В черновой рукописи «Дедушки» призыв декабриста к возобновлению революционной борьбы звучал еще более явственно:

Взрослые люди — не дети.
Трус — кто сторицей не мстит!
Помни, что нету на свете
Неотразимых обид.

Эти строки невозможно ввести в окончательный текст, ибо они представляют собою отдельный набросок, не связанный с основным изложением. Но мы считаем их ключом к пониманию поэмы. Некрасов в одном из недавно опубликованных писем указал, что, несмотря на свою кажущуюся примиренность и кротость, вернувшийся из ссылки декабрист остался до конца своих дней верен убеждениям юности. Письмо написано В. М. Лазаревскому, влиятельному члену совета главного управления по делам печати, и в нем приводится ряд аргументов, при помощи которых Лазаревскому предстояло, по просьбе Некрасова, защищать на ближайшем заседании совета первую часть «Русских женщин». В письме Некрасов предлагает сослаться, если нужно, на «Дедушку». «Этот дед, — пишет он с обычным своим лаконизмом, — в сущности резче <чем «Княгиня Трубецкая», «испакощенная» автоцензурой>, ибо является одним из действительных деятелей <революционной борьбы> и притом выведен нераскаявшимся, то есть таким же, как был, <когда участвовал в декабрьском восстании>» (Б. Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия. — ЛН, стр. 506).

Эти беглые строки написанного второпях делового письма кажутся нам в высшей степени важными для понимания поэмы Некрасова.

Выражение «неотразимые обиды» встречается также в письме Некрасова, относящемся к тому же 1870 году, когда был написан «Дедушка». Некрасов писал А. М. Жемчужникову, что близкое соприкосновение с русской действительностью вызывает у него тоскливое чувство «с примесью, конечно, злости по поводу тех неотразимых общественных обид, под игом которых нам, то есть нашему поколению, вероятно, суждено и в могилу сойти» (письмо от 26 февраля 1870 г. — ЛН 2, стр. 32).

Идея поэмы подчеркивается повествованием старика-декабриста о забайкальской деревне Тарбагатай. Факты для изображения этой необыкновенной деревни поэт заимствовал из «Записок декабриста» А. Е. Розена, вышедших незадолго до того в Лейпциге (1870). Рассказывая о благополучии тарбагатайских крестьян, Некрасов называет это благополучие «чудом», «дивом дивным», — до такой степени невероятной и невозможной казалась ему в тогдашних условиях счастливая крестьянская жизнь. Это чудо, по мысли Некрасова, произошло единственно оттого, что за дальностью расстояния от центров тарбагатайцы в своей «страшной глуши» были свободны от всяких административных воздействий или, по выражению Некрасова, обладали «волей и землей». Так как слова «земля и воля» были

программой революционеров 70-х годов, можно думать, что эти слова (хотя и в обратном порядке) вложены Некрасовым в уста декабриста не случайно: они указывали на сочувственное отношение патриархов революционной борьбы к боевым лозунгам их достойных преемников.

В ОЗ и в Стих 1873 был подзаголовок З-н-ч-е, то есть Зинаиде Николаевне, жене поэта (о ней см. ниже, стр. 587; о данном посвящении см. письмо А. А. Буткевич к С. И. Пономареву от 12 июля 1879 года. — ЛН 3).

Пел он о славном походе — о вступлении русских войск в Париж в 1815 году, в эпоху наполеоновских войн. В этом победоносном вступлении участвовал и С. Г. Волконский. Чита — село (ныне областной город), где в 1827 г. был выстроен острог для декабристов. Там они находились до осени 1830 года.

Стихотворения, посвященные русским детям

I. Дедушка Мазай и зайцы. Печатается по Стих 1873, т. III, ч. V, стр. 157—165. Впервые — ОЗ 1871, № 1, стр. 124—128.

Деревня Малые Вежи находится в той же Мисковской волости Костромской губернии, где Некрасов охотился с Гаврилой (см. примечание к «Коробейникам»). Малые Вежи действительно заросли хмелем, так как почти вся Мисковская волость занимается хмелеводством. Но, по словам тамошних жителей, избы этой деревни не стоят на высоких столбах, как описано у Некрасова. На столбах стоят только бани. Весенние воды, заливая окрестности и превращая каждое селение в остров, все же не доходят до изб («Костромской листок», 1902, № 140, подстрочное примечание к статье Мизенца «Об одном из костромских знакомых Н. А. Некрасова»).

По поводу «Дедушки Мазая и зайцев» М. Е. Салтыков-Щедрин писал Некрасову 17 июля 1870 года: «Стихи Ваши прелестны» (Н. Щедрин. Полное собрание сочинений. 1937, т. XVIII, стр. 228). 25 ноября того же года он писал о Некрасове поэту А. М. Жемчужникову: «Есть у него несколько готовых детских стихотворений (прелестных)...» (там же, стр. 230). (Возможно, что в данном случае Салтыков имел в виду, кроме «Дедушки Мазая», также и стихотворение «Накануне светлого праздника», которое, хотя и помечено в последней редакции 1873 годом, было написано несколько раньше.)

II. Соловьи. Печатается по Стих 1873, ч. V, стр. 166—169. Впервые — ОЗ 1870, № 10, стр. 444—446.

19 октября 1870 г. цензор Лебедев доносил в комитет: «Муза Некрасова, отличающаяся гражданскою скорбью о меньшой братии и старающаяся выставить напоказ больные места общественного строя, и в этом стихотворении не изменила себе... Здесь не отрицается обязательность податей и военной службы, но желательно было бы избежать сопоставления их с силками и сетями» («Голос Минувшего», 1918, № 4—6, стр. 86—87).

23 октября 1870 г. совет главного управления по делам печати обсуждал донесение петербургского цензурного комитета о 10-й книге «Отечественных Записок», где было напечатано стихотворение «Соловьи». Председатель совета М. Н. Лонгинов высказал мнение, что

«Соловьи», равно как и другие «статьи» этой книги, «ярко характеризуют вредное направление журнала» (Б. Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия. — ЛН, стр. 462).

1871

Недавнее время. Печатается по Стих 1873, ч. V, стр. 107—232. Имя Орлова в ст. 57 и ст. 73—84 восстановлено по автографу собрания К. И. Чуковского. Впервые — ОЗ 1871, № 10, стр. 265—284.

Приятель Некрасова инженер Александр Николаевич Ераков, которому посвящена эта сатира, был гражданским мужем его сестры Анны Алексеевны Буткевич. Он сотрудничал в «Отечественных Записках» и состоял в дружеских отношениях с Салтыковым-Щедриным и Плещеевым. Кроме «Недавнего времени», Некрасов посвятил ему «Элегию» (1874).

В «Недавнем времени» изображается петербургский Английский клуб, членом которого Некрасов состоял с 1854 г.

1 марта 1870 г. клуб торжественно праздновал столетие со дня своего основания. Сатира «Недавнее время» есть отклик на этот юбилей. В «Отечественных Записках» (в оглавлении) был подзаголовок: «Записки клубиста, издание Н. Н.».

Многие строки сатиры были написаны в 1865 г. (см. примечание к стихотворению «Газетная»).

Еще до появления «Недавнего времени» в журнале один из членов совета главного управления по делам печати Ф. М. Толстой советовал Некрасову не печатать этого стихотворения. Некрасов не внял совету. Едва «Недавнее время» вышло из печати, петербургский цензурный комитет нашел содержание этой сатиры «крайне предосудительным»: по мнению комитета, «поэт в самых непристойных и мрачных красках описывает время последних лет царствования императора Александра I... Он припоминает события об аресте Полевого... замечает о неблагодарности русских к героям, жертвовавшим собою на войне... Переходя затем к новому времени, то есть к нынешнему царствованию, поэт замечает, что надежда на него не сбылась, что оно не сдержало своих обетов, к удовольствию ретроградов и невежд...»

Начальник главного управления М. Р. Шидловский заявил, что «клуб здесь только маска, под прикрытием которой поэту удобнее порицать порядки недавнего прошлого».

К его мнению присоединились почти все члены совета.

Больше всего рассердила цензуру строфа, где упоминается генерал-адъютант:

> Впрочем, быть генерал-адъютантом
>
> <и т. д.>

Здесь увидели опасный намек на шефа цензурного ведомства, министра внутренних дел генерал-адъютанта С. Тимашева, ранее управлявшего III отделением (Б. Папковский и С. Макашин, Некрасов и литературная политика самодержавия. — ЛН, стр. 507—511).

Пропустивший это стихотворение член совета Феофил Толстой был вынужден подать в отставку (там же, стр. 471).

«Старый дедушка был у нас членом». — Баснописец И. А. Крылов сделался членом Английского клуба в 1817 г. В клубе была особая комната, которая называлась Крыловской; в этой комнате находился бюст баснописца, установленный над тем диваном, на котором он обычно сидел («Столетие СПб. Английского собрания». П., 1870, стр. 27, 92). *Покрытая лаком резолюция.* — Всякий автограф царя покрывали лаком для сохранности. *«Привезли из Москвы Полевого...»* — В 1834 г. знаменитый журналист Н. А. Полевой напечатал в своем «Московском Телеграфе» неодобрительный отзыв о ложно-патриотической драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». За это Николай I закрыл журнал и приказал привезти Полевого в Петербург на перекладных в сопровождении жандарма. *«У Цепного бессмертного моста».* — В Петербурге на Фонтанке у Цепного моста помещалось III отделение. *«Получив роковую повестку...»* — Некрасов рассказывает подлинный эпизод. Князь Орлов вызвал его и Панаева в III отделение в 1849 г. из-за смелой статьи, напечатанной ими в «Современнике» (М. Лемке. Николаевские жандармы и литература. СПб., 1908, стр. 201). *«Помню я Петрашевского дело».* — М. В. Петрашевский (1824—1866), стоявший во главе небольшого кружка, посвятившего себя разработке идей утопического социализма, был осужден на пожизненную каторгу в 1849 г. Вместе с ним суровым карам подверглись пятьдесят «петрашевцев». *«И декабрьским террором пахнуло».* — Некрасов разумеет террор, который свирепствовал в России после подавления Николаем I восстания декабристов. *«Наши Фоксы и Роберты Пили».* — Чарльз Джемс Фокс (1749—1806) и Роберт Пиль (1788—1850) — английские государственные деятели, отличавшиеся красноречием. *«Подкосила их «ликантропия».* — Слово *ликантропия* заимствовано Некрасовым у Байрона из двадцатой строфы девятой песни «Дон-Жуана». Перевод этой песни был напечатан в «Современнике», 1866, кн. I. Там же на стр. 264 дано разъяснение в сноске: «Ликантропия — помешательство, превращающее людей в бешеных животных». В данном случае Некрасов имел в виду знаменитого шефа жандармов князя А. Ф. Орлова, который к концу жизни «ползал на четвереньках и не хотел есть иначе как из корыта» (А. И. Вольф. Хроника русского театра. П., 1882, ч. III, стр. 112). *Кайен* — ценившийся гастрономами дорогой перец, который привозили из Кайены, французской колонии в Гвиане. *«Взволновался Париж беспокойный».* — Некрасов имеет в виду революцию 1848 г. *Доносчик Авдей* — Фаддей Булгарин, писавший доносы на всех неугодных ему литераторов, в том числе и на Некрасова (см. примечание к «Колыбельной песне»). *Колоссальный воришче* — А. Г. Политковский, тайный советник, близкий к Николаю I, растративший в пятидесятых годах три с половиной миллиона казенных денег. Состоял членом Английского клуба. *Князь* NN, славянофил-католик — несомненно князь Николай Иванович Трубецкой (1807—1874), придурковатый старик, перешедший в католичество, постоянно живший в Париже и в то же время искренне считавший себя славянофилом (см. Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы.

Л., 1929, стр. 73). *«Чу! наш друг, путешественник славный»* — генерал-майор Егор Петрович Ковалевский, у которого был слуга негр, вывезенный им из Абиссинии (см. А. А. Фет. Мои воспоминания. М., 1890, I, стр. 129). *«Юноша-гений»* — Добролюбов, постоянно издевавшийся над восторгами, которые возбуждали в либеральных кругах «реформы» шестидесятых годов. Так как излияния восторгов обычно начинались словами: «в настоящее время, когда...», Добролюбов всячески высмеивал эти слова. Его глубоко возмущали восторги либералов по поводу торжества «гласности» и «прогресса», якобы насаждаемых правительством Александра II.

Мораль, о которой пишет Некрасов, была читана поэту весной 1848 г., вскоре после февральских дней. Редакторы толстых журналов были вызваны в Третье отделение, и там им сообщили, что «государь император изволил признать, что журналы сии допускали в своих статьях мысли в высшей степени преступные, могущие поселить в нашем отечестве правила коммунизма... и вообще приготовить у нас те пагубные события, которыми ныне потрясены западные государства» («Голос Минувшего», 1913, № 3).

1871—1872

Русские женщины.

Часть первая. Княгиня Трубецкая. Печатается по Стих 1873, т. III, ч. V, стр. 235—278. По рукописи восстановлены цензурные пропуски в ст. 55—60, 271—286, 363—364, 367—368, 647—649, 667—678, 687—690 и доцензурные редакции ст. 40, 295, 301, 302, 326 и 332. Впервые — ОЗ 1872, № 4, стр. 577—600.

В 1826 г. закончилось следствие по делу декабристов, состоялась инсценировка суда над ними, и приговор был приведен в исполнение. Многие декабристы были сосланы в Сибирь. Вскоре за ними последовали их жены: М. Н. Волконская, Е. И. Трубецкая, А. И. Давыдова, А. В. Ентальцева, А. Г. Муравьева, Е. П. Нарышкина, М. К. Юшневская, А. В. Розен, Н. Д. Фонвизина. Поехали в Сибирь и две невесты декабристов: Полина Гебль, невеста И. А. Анненкова, и Камилла Ледантю, невеста В. П. Ивашева. Обе венчались в Петровском заводе.

Большинство этих самоотверженных женщин принадлежали к светскому обществу, были избалованы обеспеченной жизнью, некоторые вращались в придворном кругу. Все они добровольно отреклись от богатств и почестей, чтобы разделить со своими мужьями тяжелую жизнь на каторге, хотя закон и расторгал их брак с «преступниками». Николай I, опасаясь, что их подвиг усилит в русском обществе сочувствие к сосланным, принял жестокие меры, дабы помешать их намерению. В пути их обыскивали, на станциях им не давали лошадей, в Иркутске заставили подписать отречение от прав. Некоторых женщин царское правительство не пустило в Сибирь — многострадальная А. В. Якушкина (урожд. Шереметева) так и не могла преодолеть поставленных перед нею препятствий; невесту декабриста П. Муханова, княжну Шаховскую, тоже силою удержали на месте.

Царь, через сибирского генерал-губернатора Лавинского, строго предписывал местным властям воздействовать на жен декабристов:

«Местное начальство неукоснительно обязано вразумить их со всею тщательностью, с каким пожертвованием сопрягается таковое их преднамерение, и стараться сколько возможно от оного предотвратить.

Внушения могут состоять в том:

1) Что, следуя за своими мужьями и продолжая супружескую с ними связь, они естественно сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание, то есть будут уже признаваемы не иначе, как женами ссыльно-каторжных, а дети, которых приживут в Сибири, поступят в казенные крестьяне.

2) Что ни денежных сумм, ни вещей многоценных взять им с собою, как скоро отправятся в Нерчинский край, дозволено быть не может: ибо сие не только воспрещается существующими правилами, но необходимо и для собственной безопасности их, как отправляющихся в места, населенные людьми, на всякие преступления готовыми, и следственно могущих подвергнуться при провозе с собою денег и вещей опасным происшествиям.

3) Что с отбытием их в Нерчинск уничтожаются также и права их на крепостных людей, с ними прибывших.

С тем вместе должно обратиться к убеждениям, что переезд в осеннее время чрез Байкал чрезвычайно опасен и невозможен, и представить, хотя мнимо, недостаток транспортных казенных судов, безнадежность таковых, у торгующих людей состоящих, и прочие тому подобные учтивые отклонения; а чтобы успех в оных вернее был достигнут, то ваше превосходительство не оставите принять и в самом доме вашем, который, без сомнения, будут они посещать, такие меры, чтобы в частных с ними разговорах находили они утверждение таковых убеждений» (П. Е. Щеголев. О «Русских женщинах» Некрасова. Сборник «К свету». СПб., 1904, стр. 507).

Правительство считало возможным пустить в ход все способы — от «учтивых отклонений» до темных угроз, от официальных внушений до простого обмана.

Еще более циничные меры применяли, например, к Волконской, намекая на опасности, грозящие ее женской чести. В бумаге, подписанной ею, разъяснялось: «жена, следуя за мужем... будет признаваема не иначе, как женою ссыльно-каторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развращенного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущего равную с ними участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственными. Закоренелым злодеям не страшны наказания» (Княгиня М. Н. Волконская. Записки. Л., 1924, стр. 26).

Но «декабристки» не испугались угроз: на всю жизнь поселились в Сибири и вернулись оттуда старухами. Впрочем, вернулись не все: Муравьева, Ивашева и Трубецкая погибли.

Поэма «Трубецкая» написана Некрасовым через год после напечатания «Дедушки». Всю зиму 1871 г. поэт собирал материалы для нового труда о декабристах, а летом уехал работать в Карабиху, условившись с друзьями, чтобы они присылали ему материалы. Нет

сомнения, что Некрасову были известны «Донесения следственной комиссии», изданные в 1826 г., и книга бар. М. А. Корфа, вышедшая в 1857 г. третьим изданием, первым «для публики», как значится на ее титульном листе: первые два издания были предназначены для членов царской семьи (см. Барон М. А. Корф. «Восшествие на престол императора Николая I, составлено по Высочайшему повелению», СПб., 1857). Оба издания, «Донесения» и книга Корфа, содержат большой фактический материал, хотя и крайне искаженный казенной концепцией. Но, конечно, главным источником поэмы послужили Некрасову «Записки декабриста» барона А. Е. Розена, вышедшие в Лейпциге в феврале 1870 г. Это был тогда единственный обстоятельный и вполне достоверный труд о «преступлении и наказании» декабристов. Некрасов тщательно использовал этот источник. Особенно близки к тексту Розена оказались те места его поэмы, где изображаются восстание на Сенатской площади и борьба Трубецкой с губернатором.

Впрочем, как справедливо заметил современный исследователь, «следуя барону Розену в изложении событий, Некрасов в корне изменяет свое отношение к ним... Вместо заметного в «Записках» бар. Розена стремления реабилитировать митрополита, царя и осудить заговорщиков, Некрасов подчеркивает идейную твердость и смелость восставших и жестокость и вероломство царя» (Н. Степанов. Как писал стихи Некрасов. — «Литературная учеба», 1933, № 3—4, стр. 57).

Написал Некрасов «Трубецкую» очень быстро: 8 июля 1871 г. он сообщал Краевскому, что раньше августа ему поэмы не кончить (Собр. соч., т. V, стр. 480), но уже 23 июля были написаны последние строки, судя по дате на его автографе (ИЛИ). Правда, в первой редакции «Трубецкая» была гораздо короче. Строфы, посвященные Италии, были, в своей значительной части, введены в нее позднее, в январе 1873 г., хотя написаны они были еще в 1867 г. во Флоренции (Н. Некрасов. Тонкий человек. М., 1929, стр. 287).

Впервые печатая «Трубецкую» в «Отечественных Записках», Некрасов снабдил ее таким подстрочным примечанием:

«С издания манифеста Александра II, от 26-го августа 1856 года, в нашей литературе начали появляться время от времени (а в последние годы и довольно часто) материалы для изучения эпохи, к которой относится настоящий рассказ. Перечитывая эти материалы, автор постоянно с любовию останавливался на роли, выпавшей тогда на долю женщин и выполненной ими с изумительной твердостью. Если на самое событие можно смотреть с разных точек зрения, то нельзя не согласиться, что самоотвержение, выказанное ими, останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих русской женщине, и есть прямое достояние поэзии.

Вот причина, побудившая автора приняться за труд, часть которого представляется сейчас публике. Хотя минуло уже почти полвека со времени события, однако автор счел за лучшее вовсе не касаться его политической стороны, — да это и не входило в пределы задачи, как увидит читатель. Точки, вместо некоторых строф, поставлены самим автором, по его личным соображениям. Авт <ор>» (ОЗ, 1872, № 4, стр. 577).

Напечатать «Трубецкую» в подлинном виде было тогда немыслимо, потому что Некрасов во время ее написания словно забыл о цензуре и включил в поэму такие резкие строки, каких еще никогда не писал. Закончив поэму, он тотчас же начал «смягчать» ее, выбрасывая из нее нелегальные стихи, которых оказалось очень много. «Думаю, что в таком испакощенном виде цензура к ней придраться не могла бы», — писал он Краевскому в 1872 г. (Собр. соч., т. V, стр. 484). Действительно, «Трубецкая» была очень «испакощена»: от 6-й строфы осталось только первое двустишие; разговор княгини с мужем был напечатан так:

Скажи, что делать?
. . . .
Достанет мужества в груди,
Готовность горяча.
Просить ли надо?..» — ...
. . . .

В споре Трубецкой с губернатором после «Я силы дам ему» — 3 строки точек; после «За добрый ваш совет» — 12 строк точек; после «Тому, кто раз прозрел!» — 4 строки точек. Кроме того, Некрасов, по требованию Краевского, затушевал роль царя в усмирении декабрьского бунта.

Вместо:

Прощенье царь дарует вам!

Он написал:

Прощенье обещаем вам!

Вместо:

Сам царь скомандовал: па-ли!

Он написал:

Раздалось грозное: па-ли! .....

Вместо:

Падите пред царем!

Он написал:

Падите ниц челом!

Вместо:

Перед царем душа моя...

Он написал:

Перед судом душа моя...

Вместо:

И ты... о город роковой,
Гнездо царей... прощай!

Он написал:

И ты, о город роковой,
Гнездо всех бед... прощай!

Судя по черновому автографу «Княгини Трубецкой», поэту особенно трудно далось изображение декабристского восстания. Больше всего опасался Некрасов, что именно эти строфы будут уничтожены цензурой. Когда поэма должна была рассматриваться в главном управлении по делам печати, поэт обратился к члену этого управления В. М. Лазаревскому со следующим письмом:

«Я побаиваюсь за сцену на площади; но прошло 50 лет! да и все это есть у Корфа, которого книги во многих тысячах экземпляров в руках у публики, — картина чисто внешняя, не гнущая мысль читателя ни в которую сторону» (Б. Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия. — ЛН, стр. 506).

Некрасов писал это письмо для того, чтобы подсказать Лазаревскому аргументы для предстоящей защиты «Трубецкой» в совете главного управления. Но аргументы эти едва ли понадобились. Подвергнув свою поэму предварительной автоцензуре, он сам изъял из нее все наиболее «дерзкие» строки, кроме того ее всячески смягчали и урезывали, в порядке негласной домашней цензуры, издатель «Отечественных Записок» А. А. Краевский и сын декабриста М. С. Волконский, статс-секретарь государственного совета... Каждый из них внес в нее свою долю искажений (см. С. А. Рейсер. Некрасов в работе над «Русскими женщинами». — «Звезда», том VI, М.-Л., 1936, стр. 702—708).

«Трубецкая» (под заглавием «Княгиня Т***») была напечатана в апрельской книге «Отечественных Записок» за 1872 г. Передовые читатели встретили ее с горячим сочувствием. Ретроградные критики обвинили ее в искажении <!> исторической правды. Искажение заключалось, по их мнению, в том, что Некрасов придал аристократке двадцатых годов мысли и чувства революционерки позднейшего времени. Рецензенты не хотели понять, что это было сделано намеренно, так как под видом исторической повести Некрасов хотел отразить действительность, которая была для него современной. Он писал свою поэму не как объективный историк, а как публицист. Именно в семидесятых годах женщины стали впервые играть выдающуюся роль в революционном движении. Между «декабристками» и этими женщинами Некрасов устанавливал преемственную связь, что́, конечно, не могло не возмущать представителей консервативного лагеря. Когда, например, Некрасов показал рукопись своей «Трубецкой» сыну декабриста Волконскому (крупному бюрократу семидесятых годов), тот заметил ему, что на самом деле Трубецкая была не бунтарка, а «высокодобродетельная и кроткая сердцем женщина», что она не могла «бросить куском грязи» в только что покинутое ею высшее петербургское общество, к которому принадлежали ее родные и близкие друзья, «к которому она в действительности стремилась душою из далекой ссылки до конца своих дней» (Предисловие к «Запискам» М. Н. Волконской. СПб, 1904, стр. XIII—XV). Несмотря на возражения Волконского, Некрасов оставил в поэме эти «неверные» строки, так как видел здесь политически актуальную тему.

Готовя «Трубецкую» к печати, Некрасов написал для нее «Эпилог», который должен был служить ей одним из заслонов от «цензурного пугала». Здесь он указывал, что сюжет поэмы не зависит от положительной или отрицательной оценки восстания («как ни смотри на драму тех времен»), что не декабристы интересуют его, а только их самоотверженные жены, и что, стало быть, поэма далека от политики. Ввиду того, что вскоре после этого он, как указано выше, изложил те же ложные доводы в подстрочном примечании к поэме, надобность в этих строках «Эпилога» отпала. Дальнейшие строки тоже оказались излишними: в них поэт уведомляет читателя, что «Трубецкая» не является единственной героиней поэмы:

Быть может, мы, рассказ свой продолжая,
Когда-нибудь коснемся и других.

Надобность в этом предуведомлении исчезла, едва только появилась «Волконская». Нельзя было говорить «быть может» и «когда-нибудь» о том, что уже осуществилось на деле.

Дальше в «Эпилоге» было сказано, будто подвиг Трубецкой выше подвига остальных «декабристок»:

Но чьей судьбы теперь коснулись мы,
Та всех светлей сиять меж ними будет.

И эти строки тоже не могли остаться после того, как Некрасову стали более ясны образы других «русских женщин»: через год он уже называл «самым лучшим перлом» из всех «декабристок» А. Г. Муравьеву.

Таковы те причины, по которым, как мы полагаем, «Эпилог» был изъят Некрасовым из окончательного текста «Трубецкой».

Правда, в литературе указывалось на необходимость включить его в окончательный текст поэмы, так как Некрасов будто бы не печатал «Эпилога» лишь в силу цензурных условий, «во избежание неприятностей (С. Рейсер. Некрасов в работе над «Русскими женщинами». — «Звенья», М.-Л., 1936, т. VI, стр. 729). С этим мнением мы не можем согласиться. Никаких «неприятностей» не могло произойти оттого, что поэт назвал читинскую тюрьму «роковой», а декабристов — «изгнанниками», и что он высказал в этом «Эпилоге» желание продолжать свою поэму о подвиге женщин.

Точно так же мы считаем невозможным принять и другую поправку, предложенную тем же исследователем. Дело идет об одном варианте поэмы, где изображается маловероятная забава тюремщика Петропавловской крепости, который, ради жестокой потехи, притворяется, будто он забыл номер той камеры, где заключен Трубецкой, нарочно водит его жену по коридорам тюрьмы, хохоча при этом каким-то демоническим смехом:

Он засмеялся, страшен был
Злорадный, гордый <?> смех!

Очевидно, великий поэт-реалист ощутил всю фальшивость этой неестественной сцены: нравственные пытки, которые довелось пережить

«декабристкам», происходили отнюдь не от того, что сторожа Петропавловской крепости развлекались такими неправдоподобными шутками.

Не соглашаясь с вышеприведенными предложениями С. А. Рейсера, мы наряду с этим считаем другие его замечания имеющими несомненную ценность: в издании, о котором он пишет, заглавие «Русские женщины» было, на основании одной из некрасовских рукописей, заменено заглавием «Декабристки». Он доказал, что производить эту замену нельзя и что необходимо сохранить старое заглавие: «Русские женщины» (Цит. статья, стр. 730—733).

Точно так же необходимо признать правильность его указаний на неверное воспроизведение строфы, начинающейся стихом «Тогда-то пушки навели». В настоящем томе эта строфа печатается в той редакции, которая была предложена им.

Ровно пятьдесят лет (с 1872 г. по 1922 г.) во всех повторных изданиях эта поэма Некрасова печаталась в «испакощенном» виде. Никто даже не догадывался о подлинном содержании стихов, замененных в печати точками. Незнание цензурных условий, при которых печатались «Русские женщины», приводило исследователей к искаженным суждениям об этой поэме. Так, буржуазный критик А. Г. Горнфельд, посвятивший ей большую статью, счел возможным упрекнуть Некрасова за... слишком мягкое и благожелательное отношение к царю! «Образ императора Николая I, — писал критик, — соответствует старому ходячему представлению о высоких чертах «рыцаря на троне», подчас непреклонного до жестокости, но благородного <!> и умеющего оценить чужое благородство (А. Г. Горнфельд. «Русские женщины» Некрасова в новом освещении в книге «О русских писателях». СПб., 1912, стр. 19). Критик не написал бы этих чудовищных строк, если бы ему было известно, что именно в этой поэме Николай I был назван «мстительным трусом», «палачом», «мучителем». Он судил о поэме, не приняв во внимание имеющихся в ней многочисленных цензурных купюр. Лишь после Октябрьской революции, в 1922 году, впервые появилась возможность напечатать поэму полностью.

Часть вторая. Княгиня Волконская. Печатается по Стих 1873, т. III, ч. V, стр. 281—354. В заглавии и в ст. 108, 118 и 562 полностью восстановлены имена Волконского и Орловой, обозначенные Некрасовым сокращенно. Восстановлены цензурные пропуски в ст. 261—264, 869—873, 1405—1408; ст. 223, 1171 и 1433 даны в доцензурной редакции. Впервые — ОЗ 1873, № 1, стр. 213—252.

Вторая часть поэмы основана на документальных свидетельствах. Узнав от Волконского-сына, что у того хранятся записки его матери, М. Н. Волконской, поэт пожелал ознакомиться с ними. Так как он плохо понимал по-французски, Волконский переводил их на русский язык, а поэт быстро записывал перевод на клочках бумаги.

«Вспоминаю, — сообщает Волконский, — как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал и со словами «довольно, не могу» бежал к камину, садился к нему и, хватаясь руками за голову, плакал как ребенок. Тут я видел, насколько наш поэт жил нервами, и какое место они должны были занимать в его творчестве» («Записки кн. М. Н. Волконской». П., 1904, предисловие, стр. XV).

Записи Некрасова были такого рода:

«Серебрянка — костры среди деревни, возков 30—40. Надежда узнать что-нибудь от оф<ицера>.

— Я их не знаю, да и знать не хочу, был ответ.

Солдат: — Я их видел, здоровы, живут в Нерч<инске> в Благод<атском> руднике.

Раз лошади понесли с самой высокой горы Алтая, выскочила в глуб<окий> снег без вреда» и т. д.

Писал Некрасов «Княгиню М. Н. Волконскую» в Карабихе летом 1872 г. 10 июля он сообщал своему другу А. Н. Еракову: «Я затеял большую работу — и усердно писал; теперь начинаю видеть берег, — думаю, что недели через две кончу; вещь будет, кажется, недурная. Сюжет вертится все там же — около Сибири...» (Собр. соч., т. V, стр. 489).

Поэма была окончена 17 июля 1872 г.

Напечатана она была в январской книжке «Отечественных Записок» за 1873 г. Через месяц Некрасов сообщил своему брату Федору: «Моя поэма Кн. Волконская, которую я написал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний... Литературные шавки меня щиплют, а публика читает и раскупает». (Там же, стр. 498.)

«Литературными шавками», «щипавшими» поэта, были в данном случае ренегат В. П. Буренин и реакционный критик В. Г. Авсеенко, указывавшие, что в «Княгине М. Н. Волконской» сказалось «оскудение таланта» Некрасова, что стих в этой поэме «вялый, пошловатый, банальный», что вся она «деревянна, неряшлива и антипоэтична» («С.-Петербургские Ведомости», 1873, № 27; «Русский Мир», 1873, № 49). А. С. Суворин выступил в «Новом Времени» в защиту Некрасова, но и он признавал, что поэма растянута, что в ней «невыработанный, порой вульгарный стих» («Новое Время», 1873, № 37). Сам поэт склонен был недооценивать свое произведение. В беседе с одной журналисткой он горько жаловался, что его «талант идет на убыль». «Да ведь я сам знаю, что теперь поэтический талант ослабел во мне, что рифма моя стала скудна и стих иногда вульгарен. Лучше всех я понимаю, например, что не совладал с таким чудным сюжетом, как «Русские женщины», и что хотел я сказать многое, но у меня не вышло».

Его собеседница горячо перебила его:

«Не говорите никогда так о «Русских женщинах», Николай Алексеевич, мне больно слышать, как вы клевещете на себя. Нет, по-моему тот истинный поэт, у кого вылились такие дивные строки!..»

И она продекламировала отрывок поэмы, в котором изображается свидание Волконского с женой в руднике.

«Я кончила, захлебываясь от слез», — вспоминает она, и это так тронуло Некрасова, что он протянул ей обе руки и сказал:

«— Нет, вы правы, пока мои стихи будут вызывать такие чувства у людей, они будут истинной поэзией!» (Воспоминания А. Г. Степановой-Бородиной». — ЛН, стр. 587). Вообще, разночинная молодежь 70-х годов была от поэмы в восторге, так как услыхала в ней отзвуки своих собственных идей и стремлений: ею поэт устанавливал

живую связь между подвигом «декабристок» и тем революционным движением, которое охватило широкие массы в 70-х годах; этот восторг молодежи выразился в одной горячей статье «Новостей»: «Поэма гениального Некрасова составляет эпоху в современной словесности» («Новости», 1873, № 38).

29 марта 1873 г. Некрасов писал П. В. Анненкову, что если бы не «цензурное пугало, повелевающее касаться предмета только сторонкой», он работал бы и дальше над этими темами (Собр. соч., т. V, стр. 501).

«Волконская» не подверглась таким искажениям, как «Трубецкая», но все же внесенные в нее переделки были очень значительны: во второй главе выброшено четверостишие о мщении:

Подробностей ряд пропустила я тут...
Оставив следы роковые,
Доныне о мщеньи они вопиют.
Не знайте их лучше, родные.

В шестой главе отсутствует строфа:

Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О, мстительный трус и мучитель!)

Некрасов выбросил укор Николаю за то, что «просьбы до сердца его не дошли». Во всех дореволюционных изданиях это четверостишие было исключено; и вслед за стихом 344-м печаталось:

Но сделать они ничего не могли
. . . .
Я с мужем еще повидалась...
<и т. д.>

Некоторые приспособленные к цензуре стихи высказывали мысли, прямо противоположные тем, какие были в доцензурном тексте. Напр., в рукописи у Некрасова было сказано о декабристах:

Стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей

между тем как в журнале читаем:

Стояли они настороже,
Готовя *несчастье* <!> отчизне своей

В первоначальном тексте, в полном соответствии с текстом «Записок» М. Н. Волконской, были подробно описаны ее первые роды. Но Волконский-сын наложил на эту сцену свое вето: «...рассказ о том семейном событии, подробности которого я, самый близкий ему человек, не решусь передать другому близкому мне человеку, — переходит в публику! Сделайте одолжение, выпустите его совсем, т. е. присутствие отца, разговор с матерью, появление деревенской бабки» (письмо от 30 октября 1872 г.).

На том основании, что эта сцена была изъята Некрасовым по желанию М. С. Волконского, исследователь текстологической истории

«Русских женщин» настаивал на внесении этой сцены в канонический текст («Звенья», М.-Л., 1936, т. VI, стр. 734). Мы же остаемся в уверенности, что сцена родов изъята поэтом не только потому, что таково было желание Волконского, но и потому, что своими подробностями она отвлекала читателей от одухотворенного образа его героини и вносила в характеристику генерала Раевского черты крутого семейного деспота, разрушающие тот романтический образ величавого воина, который был воссоздан в поэме. На этих основаниях мы считаем невозможным включить в текст «Русских женщин» эти (исключенные Некрасовым) строки, тем более, что Некрасов далеко не всегда подчинялся требованиям М. С. Волконского. М. С. Волконский, например, указал, что, судя по «Запискам», героиня поэмы встретилась с мужем не в шахте, а в тюрьме, и настаивал на внесении соответствующих переделок. Но Некрасов возразил:

«Не все ли вам равно, с кем встретилась там княгиня: с мужем ли или с дядею Давыдовым; оба они работали под землею, а эта встреча у меня так красиво выходит!» (М. Н. Волконская. Записки. П., 1904, предисловие, стр. XVII).

Первоначально Некрасов имел намерение указать непосредственный источник своей поэмы; в черновике примечаний он писал: «Основанием второй главы и частично 3-ей послужили подлинные записки М. Н. В-ой, составляющие семейную драгоценность, и которые были прочтены автору М. С. Волконским, которому автор обязан глубокою благодарностью, так как без них не было бы этой поэмы».

Эти строки так и остались в черновике. Кроме того, имеются косвенные указания на то, что Некрасов одно время хотел процитировать в примечаниях к поэме известные строки о женах декабристов из пятой части романа И. А. Гончарова «Обрыв»: «С такою же силой скорби шли в заточение за нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул и унесшие с собой силу женской души» и т. д. (гл. седьмая). Узнав об этом желании Некрасова, автор «Обрыва» писал ему 31 января 1873 г.:

«Намек в нескольких строках моей книги на этих героинь такая ничтожная капля, что — ради бога — не упоминайте о ней. Я привел ее на память только как доказательство, что судьба этих женщин сильно действует на воображение... а вы избрали их судьбу и характеры сюжетом для целой поэмы». (ЛН2).

И. А. Гончаров очень высоко ценил «Русских женщин» и называл их «чудесной поэмой» (там же).

В критике снова раздались голоса, что образы «декабристок», созданные Некрасовым, не соответствуют исторической правде и что он в своей поэме исказил духовный облик аристократок двадцатых годов. Наиболее резко это мнение выразилось в письме к Некрасову либерала П. В. Анненкова от 20 марта 1873 года — тотчас же после появления «Русских женщин» отдельным изданием. «Этой картине, — писал Анненков, — недостает только одного мотива, чтобы сделать ее также и несомненно-верной исторической картиной, — именно — благородно аристократического <!>мотива, который двигал сердца этих женщин... Вы благоговеете перед ними и перед величостью их подвига — и это хорошо, справедливо и честно, но ничто не возбраняет

поэту показать и знание основных причин их доблести и поведения — гордости своим именем и обязанности быть оптиматами, высшей людской породой <!>, во всяком случае...» (ЛН2).

Но, конечно, в глазах Некрасова поступок и чувства Волконской, Трубецкой, Муравьевой не имели никакого отношения к «аристократической гордости». Из обширной эпистолярии, относящейся к декабристской эпохе, мы знаем, что эти женщины совершили свой подвиг *вопреки* своей «обязанности быть оптиматами», а не *благодаря* ей.

Анненков оказался вполне солидарен с той критикой «Русских женщин», которая исходила из великосветских кругов. Сестра «декабристки» Волконской, престарелая Софья Раевская, с возмущением писала о поэме: «Рассказ, который он <Некрасов> вкладывает в уста моей сестры, был бы вполне уместен в устах какой-нибудь мужички (d'une paysanne). В нем нет ни благородства, ни знания той роли, которую он <автор> заставляет ее играть» («Архив декабриста», т. I. П., 1918, стр. 15).

Разночинная интеллигенция хорошо понимала, что Некрасов стремился воспроизвести в «декабристках» такие черты, которые сближают их с нею и устанавливают идейную связь двух революционных поколений. А. М. Скабичевский писал: «Героини его <Некрасова> говорят и действуют совершенно подобно тому, как бы стали мыслить, говорить и действовать лучшие и образованнейшие женщины того же круга в наше время. А между тем в поэмах представляется прошлое, отстоящее от нашего времени на целое полстолетие. В это время общий колорит нравов, склад и умственных и нравственных качеств людей, захваченных струей цивилизации, успели значительно видоизмениться». Но именно это-то отклонение от натуралистического воспроизведения тех черт, которые были свойственны женщинам двадцатых годов, критик и считает заслугой поэта. «Я спрашиваю у вас, — пишет он, — неужели поэмы г. Некрасова выиграли бы, если бы он вздумал педантически соблюдать буквальную верность действительности?» (А. *Скабичевский*. Беседы о русской словесности. — «Отечественные Записки», 1877, № 3, стр. 13). Так как эта статья напечатана в журнале Некрасова, в ней до известной степени можно видеть отражение собственных взглядов поэта на роль так называемой исторической правды в его декабристских поэмах. Здесь дана краткая отповедь критикам правого лагеря, упрекавшим его в модернизации своих героинь. Впрочем, поэма была оценена положительно и некоторыми представителями правого лагеря, — теми из них, кто, не поняв ее скрытого революционного смысла, истолковали ее как попытку ослабить классовый антагонизм социальных верхов и низов! Именно такую иллюзию внушила поэма одному из влиятельнейших чиновников цензурного ведомства, графу Петру Капнисту, всегда отрицательно относившемуся к поэзии Некрасова. «В теперешнее время междусословной нашей розни, — писал он поэту 26 января 1873 г., — Вы нашли благодатное примирение, изобразив, как высшие и низшие слои общества сливаются <!> в бесконечной божественной любви». (ЛН2).

Подобные ошибочные толкования великой поэмы способствовали ее беспрепятственному появлению в печати, и, конечно, не в интересах Некрасова было рассеивать заблуждения цензоров.

1872

Кузнец. Печатается по ОЗ 1878, № 5, стр. 166, где опубликовано впервые.

Это стихотворение может быть охарактеризовано словами Ленина как «либерально-угоднический грех» Некрасова.

Н. А. Милютин — либеральный сановник при Александре II, с 1859 года товарищ министра внутренних дел, руководитель разработки крестьянской реформы 1861 г. Его смерть (1872) взволновала либеральные круги русского общества: говорили, что он умер от потрясений, причиненных ему кознями крепостников.

К концу жизни Некрасов переосмыслил политическую роль Николая Милютина и других деятелей реформы 1861 г.:

Не за Якова Ростовцева
Ты молись, не за Милютина —

написал он в свободных от цензуры стихах:

Ты молись
Обо всех, в казематах сгноенных,
О солдатах, в полках засеченных,
О повешенных ты молись.

(См. Полное собрание сочинений Н. А. Некрасова, т. II. М.-Л., 1948, стр. 526 и 792—793).

1873

Детство (Неоконченные записки). Печатается по Стих 1873, т. III, ч. VI, стр. 203—211. Впервые — ОЗ 1873, № 8, стр. 523—531.

Накануне светлого праздника. Печатается по сб. «Нашим детям. Иллюстрированный литературно-научный сборник. Издание А. Н. Якоби», СПб., 1873, стр. 206—264, где появилось впервые.

В стихотворении изображается Ростов Великий (Ярославской губернии), расположенный на берегу озера Неро.

Есть основания думать, что именно об этих стихах Некрасов писал 25 февраля (1873 г.) Александре Николаевне Якоби, составительнице детского сборника, обратившейся к поэту с просьбой о сотрудничестве: «Я нашел мое стихотворение, но оно в этом виде вовсе не годится в детский сборник. Я или напишу другое, или переделаю это» (Собр. соч., т. V, стр. 609).

Ни в одно из прижизненных изданий Некрасова эти стихи не входили, но перед смертью он распорядился ввести их в собрание своих стихотворений (Стих 1879, ч. IV, стр. XC).

—

Три элегии. Печатается по ПП, стр. 25—29. Впервые — сб. «Складчина», П., 1874, стр. 522—524.

В беловом автографе первоначального варианта третьей элегии после слов «седеет голова» были такие стихи:

Мой путь означен — волею железной
Вооружась, трудиться день денской,
Чтоб хоть остаток жизни бесполезной
Не опозорить праздностью тупой.

Стихотворение было прочтено Некрасовым в субботу 16 марта 1874 года в пользу Литературного фонда в зале Купеческого собрания в Петербурге под заглавием «Любовь и злость» (см. объявление в «СПб. Ведомостях» 15 и 16 марта 1874 г.; а также «Голос» от 15 марта 1874 г.).

1874

Утро. Печатается по ПП, стр. 34—36. Впервые — ОЗ 1874, № 2, стр. 379.

Над чем мы смеемся. Печатается по ОЗ 1874, № 5—6, стр. 292, где появилось впервые.

Страшный год. Печатается по ПП, стр. 30—31. Впервые — сб. «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины», П., 1876, стр. 73—74.

В последнее время в научной литературе появились указания на то, что это стихотворение является откликом Некрасова на франко-прусскую войну (1870) и на поражение Парижской коммуны (в мае 1871) (см. статью И. Власова, доработанную С. Макашиным. Некрасов и Парижская коммуна. — ЛН, стр. 397—428).

Уныние. Печатается по ПП, стр. 19—24. Впервые — ОЗ 1875, № 1, стр. 5—10.

В этом стихотворении сказалась высокая требовательность поэта к себе. Забывая об огромной роли, которую сыграла его поэзия (а также его многолетняя журнальная деятельность) в деле пробуждения революционной активности масс, поэт, вопреки очевидности, обращается к себе с обвинениями в недостаточно самоотверженном служении народу. И хотя в биографическом плане эти самообвинения не имели никаких оснований (за исключением единичных случаев, вроде оды М. Н. Муравьеву и О. И. Комиссарову), они воспитывали молодое поколение революционеров, научая их предъявлять к себе максимальные требования в борьбе за освобождение народа.

В «Унынии» описан пейзаж Грешнева, ярославского имения Некрасовых на Волге, но на самом деле стихи написаны в Чудовской Луке, Новгородской губернии, о чем свидетельствует дата автографа.

Черная лягавая *Кадо*, упоминаемая в этих стихах, была любимой собакой Некрасова (П. М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. П., 1912, стр. 292). Черный конь *Черкес*, привезенный с Кавказа, был действительно приучен к охоте еще отцом поэта («Архив села Карабихи», М., 1916, стр. 52).

«Но первые шаги не в нашей власти». Печатается по автографу ИЛИ. Впервые — «Русское Слово», 1913, № 285 от 11 декабря.

Судя по рукописи, поэт первоначально предполагал ввести эти строки в элегию «Уныние» после четвертой строфы.

Так как они органически связаны с темой и стилем «Уныния», мы печатаем их тотчас же после этой элегии, хотя ни в одно из прижизненных изданий стихотворений Некрасова они не входили.

Путешественник. Печатается по ОЗ 1874, № 11, стр. 181—190, где напечатано впервые.

С 10 по 15 июля 1874 г. в особом присутствии правительствующего сената слушалось дело Долгушина и других революционеров, обвинявшихся в распространении нелегальной литературы.

Возможно, что стихи Некрасова «Путешественник», написанные 13 июля, есть отклик на этот процесс. Посылая стихотворение в редакцию «Отечественных Записок» своему заместителю по редакционной работе А. М. Скабичевскому, он писал: «При сем стихи, вдохновленные новейшими событиями. Хорошо бы их напечатать, а еще лучше не печатать. Прочтите их и передайте Плещееву. Не надо их списывать и распространять. Я их со временем вклею в свою книгу, а если они походят по рукам, как опасный товар, тогда пропадут» (Собр. соч., т. V, стр. 535). Стихи не были напечатаны при жизни Некрасова, вероятно, по цензурным причинам.

Долгушин Александр Васильевич (1848—1885) — член революционного кружка нечаевцев. В 1870 г. был арестован по нечаевскому делу и заключен в Петропавловскую крепость. В 1872 г. основал в Петербурге кружок, имевший целью пропаганду восстания в крестьянских массах. В устроенной Долгушиным тайной типографии были отпечатаны прокламации для распространения среди крестьян: «Русскому народу», «Как должно жить по закону природы и правды».

Крестьяне, которым Долгушин вручил эти прокламации, действительно «натерпелись на тыщу рублей»: у них были произведены обыски, их подвергали допросам и пр.

Ночлеги. Печатается по ОЗ 1874, № 11, стр. 181—190, где появилось впервые.

В 1874 году Некрасов все лето, с июня по август, жил в Чудове (Новг. губ.) на своей охотничьей даче и скитался по окрестностям с ружьем (Собр. соч., т. V, стр. 533—538). Его скитания отразились в «Ночлегах». В первом стихотворении этого цикла Некрасов высмеивает молодых либералов, безуспешно пытавшихся после крестьянской реформы щегольнуть своими гуманными чувствами перед своими вчерашними крепостными крестьянами. В стихотворении «У Трофима» он (насколько это возможно по цензурным условиям) высказывает оптимистическую веру в близкое освобождение народа:

И твой внук отцу родному
Не поверит в свой черед.

Отъезжающему. Печатается по ОЗ 1878, № 1, стр. 309, где напечатано впервые.

Стихотворение обращено к Тургеневу, который, после краткого пребывания в России, уехал за границу летом 1874 г.

Оно не было напечатано при жизни Некрасова, а впоследствии сестра поэта включила его в число «Последних песен» и отнесла к 1877 г. Ее ошибка повторялась во всех дореволюционных изданиях стихотворений Некрасова и вела к неверному толкованию его тогдашнего отношения к Тургеневу.

На покосе. Печатается по тексту газеты «Новое Время», 1876, № 96 от 6 июня, где опубликовано впервые. Ст. 10—11 даны по автографу ИЛИ как измененные Некрасовым для газеты по цензурным причинам.

Примыкает к тем стихотворениям Некрасова, где выражается его отрицательное отношение к «освобождению» крестьян без земли.

Н. Г. Чернышевский (Пророк). Печатается по ПП, стр. 13; ст. 13—16 восстановлены по беловому автографу ИЛИ, ф. 203, № 38. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 280, без заглавия.

Когда Некрасов писал это стихотворение, великий революционный демократ Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889), приговоренный правительством Александра II к 7 годам каторжных работ и «поселению в Сибирь навсегда», находился в вилюйской тюрьме.

В журнале стихотворение было напечатано под заглавием «Пророк» и без последней строфы.

Не желая, чтобы цензура связала это стихотворение с русской действительностью, Некрасов решил выдать его за перевод и долго колебался, выбирая фиктивного автора. Сперва он хотел приписать его Байрону, потом Ларре и наконец остановился на Барбье.

В женевской «Правде» напечатаны «Воспоминания о Некрасове» революционера-народника П. Безобразова (Григорьева). П. Безобразов виделся с Некрасовым в мае 1875 г. Некрасов между прочим сказал ему:

«Вот вы говорите в ваших статьях о моих характеристиках Белинского, Добролюбова, Писарева. У меня есть еще портрет Чернышевского... Хотите, я вам прочту его?» Я просил. Он как-то по-детски встал, покачался на одном месте и прочел мне стихи:

«Не говори: «Забыл он осторожность! ..» <и т. д.>

Некрасов читал нараспев, заунывно и певуче. Я попросил у него позволения записать стихи» («Правда», 1883, № 16).

Недавно найден экземпляр сборника «Последние песни», подаренный поэтом художнику И. Н. Крамскому 3 апреля 1877 года. Некрасов зачеркнул заглавие «Пророк. (Из Барбье)» и написал: «Памяти Чер<нышев>ского». Но так как Чернышевский в ту пору был жив, Некрасов зачеркнул слово «памяти» и написал «В воспоминание о Чер<нышев>ском» (ЛН, стр. XXV).

Горе старого Наума. Печатается по ОЗ № 3, стр. 51—60, где появилось впервые. Глава III — ст. 74—92 — восстановлена по беловому автографу ИЛИ, ф. 203, № 5.

В этой стихотворной новелле Некрасов высказывает давнишнее свое убеждение, что крепостничеству отнюдь не положен конец так

называемым раскрепощением крестьян. Откровенная похвальба кулака:

Округа вся в горсти моей.
Казна — надежней цепи.
Уж нет помещичьих крепей,
Мои остались крепи. —

формулирует с полной отчетливостью подлинное положение вещей. Поэту и раньше случалось вскрывать антинародную сущность кулачества, — см., например, стихотворение «Влас», написанное еще до крестьянской реформы.

Но Влас в те времена был сравнительно редким явлением, а кулачество 70-х годов сделалось массовым бедствием. Свою кулацкую деятельность Влас осудил, как непрощаемый грех, а для кулака 70-х годов организованное им планомерное и систематическое ограбление крестьян служит источником гордости. Его хищничество не вызывает никакого протеста в окружающем обществе. В этом Некрасову видится величайшее зло, но многие либеральные критики, не замечая элементов суровой сатиры в его якобы благодушном отношении к Науму, неоднократно утверждали, вопреки очевидности, будто Некрасов любуется <!> своим старым Наумом и его хозяйственным гением. Через два года Некрасов опроверг это ложное мнение, выведя в сатире «Современники» такого же кулака-мироеда, наделенного такими же талантами хищника, и определив свое отношение к нему исполненными негодования стихами:

Вместо сердца грош фальшивый
У тебя в груди.

Характерно, что М. Е. Салтыков-Щедрин высоко оценил это стихотворение Некрасова. «Горе старого Наума» одна из прелестнейших Ваших вещей», — писал он поэту 1/13 апреля 1876 г. (Н. Щедрин (М. Салтыков). Полное собр. соч., т. XVIII, 1937, стр. 356).

В настоящее время паточный завод старого Наума разросся в огромное химическое и паточное производство «Красный Профинтерн». Старики на Профинтерне утверждают, что паточник Наум, паук трудолюбивый, — это тамошний богач Понизовкин. Он действительно в то время был старый холостяк, но потом женился и стал основателем рода известных миллионеров Понизовкиных, бывших хозяев завода («Красная Нива», 1928, № 1).

Николо-Бабаевский монастырь (по крестьянской терминологии Бабайки), основанный в XVI веке, находился в нескольких верстах от некрасовского имения Грешнево. На противоположном берегу Волги — посад *Большие Соли*, — посад, жители которого встарину занимались соляным промыслом. (Фотографический снимок посада в ЛН2).

Элегия. Печатается по ОЗ 1875, № 2, стр. 495—496, где появилось впервые. Ст. 7—8 восстановлены по беловому автографу ИЛИ, ф. 203, № 40.

29 августа 1874 г. Некрасов писал А. Н. Еракову: «Посылаю тебе стихи. Так как это самые мои задушевные и любимые из напи-

санных мною в последнее время, то посвящаю их тебе, самому дорогому моему другу» (Собр. соч., т. V, стр. 538).

К письму приложен беловой (карандашный) автограф «Элегии», где под заглавием написано в скобках: А. Н. Е-ву.

Ераков любил Некрасова и называл его в письмах: «теплота ты моя сердечная», «мой добрячина», «дружище ты мой» (ИЛИ).

О Еракове см. примечание к «Недавнему времени».

В стихах 1874 года Некрасов неоднократно указывает, что и после крестьянской реформы народ попрежнему остался в кабале («Ночлеги», «Горе старого Наума»). Эта же мысль воплощена им в «Элегии»:

Народ освобожден, но счастлив ли народ?

Встречающиеся в этой элегии строки: «пора идти вперед», «каждый в бой иди» — правильно воспринимались тогдашним читателем как призывы к революционному действию.

В черновой рукописи «Элегия» начиналась так:

Старо, не правда ли, печь хлебы из муки?
Однакож из песку, попробуй, испеки!

Эти два стиха являются точным пересказом прозаического афоризма Некрасова, высказанного им в «Заметках о журналах» за октябрь 1855 г.

«Очень однообразная вещь печь хлеб все из муки да из муки; он даже не всегда удается, — однакож никому не приходит в голову печь его из песку» («Заметки о журналах». Публикация А. Максимовича. — ЛН, стр. 230).

«В «Отечественных Записках» строки:

покорствуя бичам,
Как тощие стада по выжженным полям

были исключены цензурой.

Поэту (Памяти Шиллера). Печатается по ПП, стр. 32—33. Впервые — ОЗ 1874, № 9, стр. 231.

В «Отечественных Записках» подзаголовка «Памяти Шиллера» нет. Четвертая строка (о палаче, провозглашенном героем) заменена по цензурным условиям точками. Точно так же цензура не разрешила строки:

Вооружись небесными громами!

и Некрасову пришлось напечатать:

Воспрянь, поэт! вооружись громами.

1875

М. Е. Салтыкову. Печатается по беловым автографам ИЛИ, ф. 203, № 19, и ф. 203, № 28. Впервые — ОЗ 1878, № 4, стр. 417.

М. Е. Салтыков-Щедрин был товарищем Некрасова по журнальной работе; они оба редактировали «Отечественные Записки»; до

той поры Салтыков был ближайшим сотрудником некрасовского «Современника». В декабре 1874 г. он заболел, простудившись на похоронах своей матери. Болезнь затянулась надолго. 13 февраля 1875 г. Некрасов писал А. Н. Пыпину: «Салтыков был крайне опасен. Теперь ему несколько лучше, но все еще он слаб и не встает с постели» (Собр. соч., т. V, стр. 549).

Для поправления здоровья Салтыкову пришлось ехать за границу. 12 апреля он покинул Петербург. («Голос», 1875, № 103).

Некрасов устроил ему прощальный обед. Друзья Салтыкова и сотрудники «Отечественных Записок» получили от поэта визитную карточку: «Н. А. Некрасов на Литейном пр. д. № 38», на которой Некрасов приписал: «просит к себе обедать <в>субботу 5 ч. Проводы Салтыкова за границу» (Собр. соч., т. V, стр. 554).

Здоровье Салтыкова внушало Некрасову серьезные опасения. 27 апреля 1875 г. он писал П. В. Анненкову: «Нечего Вам говорить, как уничтожает меня мысль о возможности его смерти теперь, именно: у-ни-что-жа-ет. С доброй лошадью и надорванная прибавляет бегу, так было со мной в последние годы. Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко. Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним как могли... Не говоря уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему... Вот стихи, которые я сложил в день отъезда Салт<ыкова>. Прочтите их ему, когда ему будет полегче» (Собр. соч., т. V, стр. 555—556).

Вернулся Салтыков в Россию летом 1876 г.

Современники. Печатается по ПП, стр. 41—148.

По рукописи восстановлены собственные имена в стихах 41, 1098 и 1869 и пропуски (повидимому, цензурные) стихов 732—735, 1078—1081 и 1255—1258 и доцензурная редакция ст. 81—82. Первая часть впервые — ОЗ 1875, № 8, стр. 325—340; вторая часть — ОЗ 1876, № 1, стр. 1—52. Ряд «номеров» первой части сатиры был обнаружен лишь в советское время. Так как причины, по которым Некрасов не ввел их в первопечатный текст, носят, очевидно, цензурный характер (см. ниже, на стр. 584 отрывок из письма к Салтыкову), в настоящем издании они впервые вводятся в основной текст «Современников».

Часть первая. «Юбиляры и триумфаторы». По выражению Салтыкова-Щедрина, в середине семидесятых годов в России господствовала «мания праздновать всякие юбилеи» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч., 1937, т. XVIII, стр. 293). Например, в 1875 году, заодно с юбилеями артиста В. В. Самойлова, писателей А. Ф. Писемского и П. И. Мельникова-Печерского, в Москве был отпразднован с особенной пышностью юбилей никому неведомого третьестепенного переводчика Федора Миллера. Вслед за столетними юбилеями лейб-гвардии различных полков справили юбилей «какого-то ветхого деньми трубача» («Биржевые Ведомости», 1875, № 237 от 29 августа).

В той же августовской книге «Отечественных Записок», где напечатаны «Юбиляры и триумфаторы», появился «Сон в летнюю ночь» Щедрина. В форме фантастического сновидения там были изобра-

жены юбилеи мелкого чиновника и рядового крестьянина («Отечественные Записки», 1875, № 8, стр. 381—416).

Тогдашние критики утверждали в газетных статьях, будто и рассказ Щедрина, и стихотворение Некрасова направлены «против известного разряда юбилеев и торжеств». (См. «С.-Петербургские Ведомости», 1875, № 229 и «Биржевые Ведомости», 1875, № 237.)

Это ложное понимание обеих сатир вызвало гневную отповедь М. Е. Салтыкова. О рецензенте «Биржевых Ведомостей» Салтыков писал из Парижа Некрасову 16 сентября 1875 г.: «Он серьезно думает, что я против страсти к юбилеям протестую, — каков дурачина!.. Точно так же и Буренин, яко подлец, и вашим стихам <то есть «Юбилярам и триумфаторам»> придает ту же нелепую цель» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч., т. XVIII, 1937, стр. 456).

Действительно, «Юбиляры и триумфаторы» (как и «Сон в летнюю ночь») далеки от той «нелепой цели», которую приписали им газетно-журнальные критики. Поэт воспользовался формой юбилейных речей лишь для того, чтобы сильнее ударить по ненавистным ему явлениям и лицам.

«Зала № 1» едва ли изображает какую-нибудь определенную личность. Цель этого отрывка — показать, как низок был уровень нравственных требований, предъявлявшихся либеральной общественностью к государственным деятелям: «старца» (очевидно, генерал-губернатора) чествуют и благодарят лишь за то, что он не оказался казнокрадом и не разорил вверенное ему население.

«Зала № 2». По цензурным условиям личность «героя», которого чествуют здесь, обрисована недостаточно ясно. Не сомневаемся, что это — граф Д. А. Толстой (1823—1889), тогдашний министр народного просвещения, боровшийся крутыми полицейскими мерами с революционной учащейся молодежью 70-х годов. На эту мысль раньше всего наводят стихи:

Герою подносили
Магницкого портрет.

В журналистике того времени имя Толстого постоянно связывалось с именем известного изувера, ханжи и доносчика М. Л. Магницкого (1778—1844), который при Александре I, в должности попечителя казанского учебного округа, подверг полному разгрому Казанский университет (см., например, Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч., т. VIII, 1937, стр. 281—286, 486—496, а также т. XVIII, 1937, стр. 234). Двустишие Некрасова о лукавых крамольниках, которых нужно беспощадно «разить», метило опять-таки в Д. А. Толстого: 24 мая 1875 года последний разослал всем попечителям учебных округов секретную записку министра юстиции Палена, где сообщались «достоверные сведения» о «преступной пропаганде», обнаруженной в 37 губерниях Российской империи, и о мерах борьбы с нею. Препровождая эту записку своим подчиненным, Толстой в особом циркуляре указывал, что «революционеры избрали орудием своей гнусной пропаганды юношество и школу», и рекомендовал педагогам довести до сведения «наиболее

понятливых» школьников, что «несчастные политические фанатики, недоученные юноши, затевают провести в народ свои несбыточные фантазии, не гнушаясь при этом ни воровством, ни грабежом, ни даже убийством» («Журнал Министерства Народного просвещения», 1875, № 6, стр. 45—47).

«Зала № 3» посвящена тогдашнему увлечению театральными спектаклями легкого жанра. В 1870 г. на углу Александринской площади и Толмазова переулка в Петербурге открылся театр «Опера-Буфф». На певиц и танцовщиц «Буффа» действительно швырялись огромные деньги. В 1875 г. больше всего драгоценных подарков получила от своих почитателей гастролировавшая в этом театре французская каскадная актриса Жюдик («Голос», 1875, №№ 108 и 118). Из Петербурга она увезла около двухсот тысяч франков, «заработанных ею в течение нескольких месяцев» («Московские Ведомости», 1875, № 111).

Описывая в *«Зале № 5»* заседание ученых агрономов, Некрасов отразил в своей сатире катастрофическое положение крестьянского скотоводства, о котором в газетах 1875 года печатались тревожные известия с мест. (См., напр., «Отечественные Записки», 1875, № 5, стр. 155.)

Нам не удалось установить, кого чествуют в *«Зале № 6»*. Несомненно, что, изображая неудачливого изобретателя плохих броненосцев и негодных «смертоносных гранат», Некрасов имел в виду определенную реальную личность.

В *«Зале № 7»* изображается пир библиографов. *Зосим Терентьевич Ветхозаветный* — это, как мы полагаем, редактор-издатель «Русской Старины» Михаил Иванович Семевский (1837—1892), историк, собиратель историко-литературных реликвий, снабжавший их в своем журнале слащавыми предисловиями и примечаниями. Об отношении руководителей «Отечественных Записок» к М. И. Семевскому см. Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину. (М., 1935, стр. 51—56, 107). «Это ужасный холоп», — писал о нем Салтыков-Щедрин (Полное собр. соч., 1939, т. XIX, стр. 242). Возможно, что под именем *Тяпушкина* здесь выведен крестьянин-стихотворец Федор Никифорович Слепушкин (1783—1818). *«Миша»* — Михаил Николаевич Лонгинов (1823—1875), библиограф, в то время начальник цензурного ведомства, беспощадный гонитель прогрессивной печати. (Н. Некрасов. Тонкий человек. М., 1928, стр. 271). Петр Иванович *Бартенев* (1829—1912) — редактор «Русского Архива», историк. Петр Александрович *Ефремов* (1830—1907) — библиограф. Некрасов вообще отрицательно относился к крохоборству текстологов и библиографов, производивших мелочные раскопки в документах минувшей эпохи, лишенных внутренней связи с живой современностью (см. его пьесу «Как убить вечер», а также его анонимную статью в «Свистке» — «Господин Геннади, исправляющий Пушкина». — ЛН, стр. 330). *«Но заметку сам Тургенев в «Петербургских» поместит. . .»* — В 70-х годах Тургенев по всякому поводу помещал в газетах и журналах заметки в виде «писем в редакцию». Большинство этих заметок было напечатано в либеральных «С.-Петербургских Ведомостях» В. Ф. Корша (эти письма собраны в т. XII Сочинений Тургенева, М.-Л., 1933).

Зала № 9 — сатирический отклик на одну из модных затей того времени — устройство так наз. народных гуляний с благотворительной целью. «Приглядитесь к афишам, к объявлениям на улицах, — писал один из тогдашних обозревателей столичной жизни. — Почти не проходит недели, чтобы заборы и стены домов не украшались публикациями о народном празднике. Подкладка под этим народным праздником — лотерея, выигрыши которой рассчитаны на народ: это непременно тройка и непременно корова. Без тройки и коровы не обходится ни один народный праздник. Вы делаете сто тысяч билетиков, из которых девяносто девять тысяч пустых...» (Незнакомец (А. С. Суворин). Очерки и картинки. СПб., 1875, т. II, стр. 279—286). Пустые билеты бросались тут же на землю; отсюда четверостишие Некрасова:

И побелели
Дорожки сада,
Как будто в мае
Послал бог снегу.

Общество гастрономов, изображенное в *«Зале № 10»*, действительно существовало в Петербурге, и на собраниях этого общества ставились «баллы за кушанья и вина»... (А. М. Скабичевский. Литературные воспоминания. М.-Л., 1929, стр. 266).

В черновом автографе указано, что изречение, напечатанное в первой строфе:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей —

«принадлежит г-же Крестовской (псевдоним)». Некрасов имеет в виду беллетристку М. Д. Хвощинскую (1825—1889), сотрудницу «Отечественных Записок» и «Вестника Европы», подписывавшую свои произведения — В. Крестовский (псевдоним). За несколько месяцев до того, как была написана первая часть «Современников», в «Вестнике Европы» появился цикл ее рассказов «Альбом. (Группы и портреты)», где дана та мрачная оценка наступившей эпохи, которую суммирует Некрасов в приведенных стихах. Этим очеркам журнал Некрасова посвятил большую статью, где указывалось, что они «возбуждают мучительную тоску и ужас». О персонажах очерков автор статьи говорил: «Вам становится как-то жутко не только за всех этих людей, которым море по колено и у которых нет ничего в голове ни вчерашнего, ни завтрашнего, но и за все общество, наполненное этими людьми. В вас словно пробуждается совесть, и вы сознаете себя участниками в каком-то отвратительном преступлении» (А. Скабичевский. Наша современная беззаветность. 1875, № 10, стр. 153—193).

В тексте «Отечественных Записок» исключенные автором сцены были обозначены точками. Салтыков-Щедрин писал Некрасову тотчас же после появления сатиры: «Стихи отличные, только выпущенного жалко» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. XVIII, 1937, стр. 303). В настоящем издании это «выпущенное» восстановлено.

Часть вторая: «Герои времени». Вскоре после крестьянской реформы в России началась так называемая «железнодорожная горячка». Три четверти капитальных вложений в народное хозяйство стало итти на постройку железных дорог. В 1857 году вся железнодорожная сеть составляла всего 670 верст, а к 1876 году она составила 16 700 верст, то есть увеличилась почти в 25 раз. Качество новых дорог было низким, и их постройка наносила государственному бюджету огромный ущерб, так как правительство почти всегда гарантировало доход предприятия, сплошь и рядом крайне убыточного. Средства на постройку выдавались правительством в виде облигационных займов, отчего казна ежегодно терпела многомиллионный дефицит. «Отечественные Записки» Некрасова относились к этой «вакханалии концессионного предпринимательства» весьма отрицательно, ибо видели в ней одну из форм ограбления народа. «У нас свирепствует теперь железнодорожная горячка... — писал в 1875 г. Г. З. Елисеев. — Россия украсилась действительно нужными и совершенно ненужными железными дорогами по всем направлениям. Деньги на постройку железных дорог сыплются миллиардами. Все эти расходы сваливаются на мужика. Мужик зарабатывает и облигационный капитал, на который строятся железные дороги, и гарантии на облигации, и акции» (Г. З. Елисеев. Внутреннее обозрение. — «Отечественные Записки», 1875, № 6, стр. 263).

Биржевая спекуляция дошла до необычайных размеров и приняла эпидемический характер. Выдвинулся ряд «плутократов» (как называли тогда разбогатевших биржевых и железнодорожных дельцов): Губонин, Варшавский, Блиох, Поляков, фон Дервиз, фон Мекк и другие. «Дома Невского проспекта покрылись вывесками банкирских контор и акционерных обществ» (Н. К. Михайловский. Из дневника и переписки Ивана Непомнящего. — «Отечественные Записки», 1876, № 3, стр. 164). Для успешного осуществления своих махинаций «плутократы» привлекли к себе на службу интеллигенцию: инженеров, чиновников, адвокатов, профессоров, журналистов. Эти «купленные» интеллигенты ревностно служили своим новым хозяевам, получая от них огромные куши. Началось бешеное швыряние денег. «Какие, братец, у меня рысаки! Каких двух француженок содержу — пальцы оближешь! Кутим напропалую! Об обстановке и говорить нечего: отделка одного кабинета стоит 20 тысяч. Свой зимний сад завел!» — таковы были, судя по одной из статей Г. З. Елисеева, типические разговоры интеллигентов новейшей формации (Внутреннее обозрение. — «Отечественные Записки», 1875, № 4, стр. 308).

Дополнительной тяжестью на стоимость строительства железных дорог легли колоссальные взятки, которые платились «плутократами» различным представителям власти за получение выгодных концессий... Слова Ленина, сказанные о более поздней эпохе, вполне применимы и к тем временам, когда была написана сатира Некрасова: «В русском капитализме необъятно сильны еще черты азиатской примитивности, чиновничьего подкупа, проделок финансистов, которые делят свои монопольные доходы с сановниками» (В. И. Ленин. О русском управлении и о русских реформах. Полное собр. соч., изд. 3. М.-Л., 1936, т. XXX, стр. 216).

Не брезгали взятками даже представители царской фамилии. Шеф жандармов П. А. Шувалов рассказывал, как в 70-х годах брат царя Николай Николаевич старший, генерал-инспектор кавалерии, усиленно хлопотал об утверждении государственным советом железнодорожной концессии и при этом хвалился, что в случае удачи концессионеры дадут ему за его хлопоты двести тысяч рублей (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, стр. 311—312).

Крупнейшей взяточницей была фаворитка Александра II, княжна Екатерина Михайловна Долгорукая (1847—1922), ставшая впоследствии женою царя и получившая в 1880 г. титул светлейшей княгини Юрьевской. Как свидетельствует Витте, «через княжну Долгорукую устраивалось много различных дел, не только назначений, но прямо денежных дел довольно неопрятного свойства» (Граф С. Ю. Витте. Воспоминания. Л., 1924, т. III, стр. 258—259).

В мемуарной литературе есть сведения, что Долгорукая затребовала через посредство своих приближенных у железнодорожного дельца фон Мекка взятку в полтора миллиона рублей за хлопоты о предоставлении концессии на Конотопскую железную дорогу, причем выяснилось, что в борьбе дельцов из-за концессий принимает близкое участие сам Александр II. Возможно, что Некрасов, говоря об Эдуарде Гроше:

Он туда протиснет взятку,
Что руками разведешь!..

разумел именно Зимний дворец. Царь так близко принимал к сердцу аферы Долгорукой и ее приближенных, что, когда министр путей сообщения Бобринский сделал попытку противодействовать интригам этих лиц, царь отрешил его от должности министра (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, стр. 306—311).

Александр II заставлял своих министров отдавать концессии на постройку железных дорог тем подрядчикам, которые обещали миллионные взятки его фаворитке; жена, братья и сыновья Александра II входили в подобные сделки с железнодорожными дельцами; царь приказывал выдавать из народной казны содержание фавориткам его сыновей и, как сообщают, приказал отпечатать для него на огромную сумму ценных бумаг с фальшивыми номерами серий и старался выменять эти серии по их номинальной стоимости на действительные деньги! (С. Штрайх. Разоблаченная фальсификация. Предисловие к запискам А. И. Дельвига. Полвека русской жизни. Кн. 1. М.-Л., 1930, стр. 18).

Из приводимых цитат можно видеть, что в 1875 г. «Отечественные Записки», защищая интересы народа, вели объединенными силами всех своих постоянных сотрудников — Салтыкова, Елисеева, Головачева, Гл. Успенского, Михайловского — организованный поход против усилившейся тогда «плутократии» и что, включившись в этот поход своими «Героями времени», Некрасов выполнил боевую задачу журнала.

Реакционная критика предпочла использовать эту сатиру Некрасова не в политическом, а исключительно в нравственном плане: «Падение всяких нравственных идеалов, — писал один из публици-

стов славянофильствовавшего «Русского Мира», — купля и продажа всего на свете, циничная вакханалия торжествующего золота, — вот картина, рисуемая теперь большими и малыми нашими художниками... Автор выводит таких людей, заставляет их говорить такие речи, что читателю становится гадко; напрасно ищет он хоть в комнибудь из них признаков человеческого чувства — здесь все не люди, а хищные звери». (Всев. Соловьев. Современная литература. — «Русский Мир», 1875, № 31).

Между тем, сатира Некрасова написана отнюдь не для искоренения безнравственности, а для изобличения того социального строя, который мог поощрять такую организацию хищничества, направленного к ограблению народа. Недаром на этом роскошном пиру плутократов вдруг — на один миг — появляются жертвы их грабительской деятельности, замученные нуждою крестьяне, у которых

Хлебушка нет,
Валится дом,

и Некрасов устраивает изображаемой им шайке разбойников как бы очную ставку с их жертвами.

Литература всех лагерей не могла не отразить этого нового этапа в истории русской общественной жизни. П. Д. Боборыкин написал роман «Дельцы» (1872—1873), А. Ф. Писемский — драму «Ваал» (1873), где изображается оргия тогдашнего хищничества, а действующими лицами являются казнокрады, подрядчики, продажные адвокаты, акционеры. Ф. М. Достоевский в романе «Подросток» (1875) на первых же страницах заговорил о биржевиках и банкирах, а главного героя, «подростка», изобразил романтиком наживы.

Изображенные в «Современниках» лица в огромном своем большинстве взяты Некрасовым из тогдашней действительности. Критика тогда же отметила, что «поэма г. Некрасова, как фотографическое отражение жизни, понятна только для тех, кто хоть отчасти знаком с закулисною стороною делового мира, иначе намеки и уколы поэмы доставят мало удовольствия <?!> за отсутствием ключа к их разгадке» (В. М. <В. П. Буренин>. «С.-Петербургские Ведомости», 1876, № 31).

В своих комментариях к поэме мы попытались найти этот «ключ».

Под именем Федора *Шкурина* изображен, по нашему мнению, железнодорожный магнат Петр Ионыч Губонин, который любил повторять о себе, что он «вышел из недр народа», что он «русский мужик», «наш брат русак» и т. д. Очевидно, рассказ о том, как он дергал щетину из живых свиней, был основан на каких-то подлинных фактах, так как подобный же метод обогащения указан в трагедии А. Ф. Писемского «Просвещенное время» (1874), где выведен директор компании «по выщипке руна из живых овец». Губонин пользовался особым (и далеко не бескорыстным) покровительством Александра II. *Савва Антихристов*, «старец, прошедший сквозь медные трубы», — это бывший откупщик В. А. Кокорев (1817—1889), известный миллионер, учредитель Волжско-Камского банка, прикрывавший свои темные аферы либеральными

статьями и застольными спичами в похвалу «простого мужика». Его жестокое обращение с рабочими разоблачено в некрасовском журнале знаменитой статьей Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи» («Современник», 1860, № 5; «Свисток», № 5). В «Медвежьей охоте» Некрасов назвал его «кабачным гением». *Выступил новый оратор меняло — писклива была его речь.* Пискливость речи этого оратора объясняется тем, что менялами были в то время скопцы. «Меняло — гладкая бородка (скопец)», — говорится у Даля («Пословицы русского народа». М., 1862, стр. 582). *«Государственный неряха»,* которого бранит «первый голос», — адмирал К. Н. Посьет (1819—1899), назначенный в 1874 г. министром путей сообщения. Его предшественником на этом посту, о котором у Некрасова говорится, что он был «много лучше», был граф А. П. Бобринский. «В публике постоянно слышались неодобрительные отзывы о назначении Посьета, — говорит А. И. Дельвиг, — находили, что он неспособен управлять министерством, не зная технической части путей сообщения, и что он не имеет никакой опытности в администрации». (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. М.-Л., 1930, т. II, стр. 517). Указания Некрасова на то, что этот «государственный неряха» «сажал нас на мель в море», есть прямой намек на Посьета, который, как известно, командуя в Немецком море фрегатом, где находился великий князь Алексей Александрович, столкнулся с другим кораблем. «По закону его судили и признали до некоторой степени виновным» (С. Ю. Витте. Воспоминания. Л., 1924, т. III, стр. 204). Против Посьета в сатире Некрасова направлены также слова «коммерсанта»:

Погляди моряк на суше.

Четверостишие, начинающееся строкой «С ним теперь и смех, и горе», в досоветских изданиях заменялось точками, так как в нем заключалось слишком явное указание на министра. В одном из ранних вариантов отмечено, что Посьет был подкуплен дельцами, чтобы подать в государственном совете голос за нужного им человека:

Отложили на неделю:
Все испортил бегемот.
Вот господь послал Емелю:
Доложил наоборот.
Позабыл, что не за Цаха,
А за Врангеля стоит.
Государственный неряха:
Подавая голос, спит.

«Адепты севера и юга», спорящие о «пути до рудников», — сторонники двух разных направлений проектируемой Сибирской железной дороги. Сторонники южного направления отстаивали путь на Казань, сторонники северного — на Вятку. (См., например, «С.-Петербургские Ведомости», 1875. № 212). Полемика среди заинтересованных лиц велась несколько лет и дошла до крайнего напряжения на съезде «Общества для содействия русской торговле и промышленности» (26 марта — 19 апреля 1875 г.). В мае того же года комитет министров значительным большинством утвердил южное на-

правление Сибирской железной дороги. Салтыков-Щедрин еще в 1872 г. высмеивал эти проекты, видя в них раньше всего усиление сибирской ссылки и каторги: «Во сне мне видится железная дорога от Петербурга до самого устья Печоры. Локомотив, пыхтя и свистя, несется в необозримую даль; болотные трясины содрогаются, леса оглашаются бесконечным эхом, испуганные звери и птицы скрываются куда-то далеко в непроглядный мрак. На поезде сидит жандарм и какой-то партикулярный молодой человек <т. е. политический ссыльный>. И мчатся эти люди день и ночь, худо спят, наскоро закусывают, бегут, спешат, как будто и нивесть какие приятства ожидают их в устье Печоры». (Дневник провинциала в Петербурге. Полное собр. соч., 1936, т. X, стр. 291). Некрасов тоже говорит о Сибирской железной дороге как о «пути до рудников». *«Соломка», которую концессионерам «постлать не мешает»,* — это взятки, раздававшиеся разным влиятельным лицам: чиновникам министерства финансов и путей сообщения, а также всевозможным газетным «адептам» южного или северного направления Сибирской железной дороги.

В лице «Современного Митрофана» Некрасов вывел, по нашему мнению, Абрама Моисеевича Варшавского, крупного железнодорожного дельца, учредителя Скопинской железной дороги, которого Щедрин именовал «Мерзавским». (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Дневник провинциала в Петербурге. Полное собр. соч. 1936, т. X, стр. 287). О нем сохранилась собственноручная запись Некрасова (ИЛИ):

Варшавский всегда во фраке
в белом галстухе
всегда от министра
Почетный легион
Целуется
и сын его живет как царь
Глуп во всем
Постоянно лжет

Орденом Почетного легиона, по словам Михайловского, Варшавский был награжден за услуги, оказанные им французской промышленности заказами для русских железных дорог («Отечественные Записки», 1874, № 11, стр. 223).

В марте 1872 г. на Варшавского жаловалось земство Смоленской губернии за то, что он разоряет крестьян и морит голодом своих рабочих. Журнал Некрасова отнесся к этим жалобам с большим сочувствием (Н. А. Демерт. Наши общественные дела. — «Отечественные Записки», 1872, № 6, стр. 241—246). В том же 1872 г. «Государь император всемилостивейше соизволил пожаловать орден св. Станислава 2-й степени коммерции советнику Варшавскому» («С.-Петербургские Ведомости», 1872, № 141). *«Нахал, испеченный на французском масле»,* — это Иван Варгунин, видный член правления в Обществе взаимного кредита. В черновом автографе ИЛИ есть запись: «Варгунин — сальный, толстый, на фр<анцузском> масле, сд<еланном> из сала». Ефремов утверждал, что восьмистишие «Человека накачали» тоже относится к Варгунину («Доклады и отчеты Русского библиографического общества». СПб., 1908, стр. 11).

В четверостишии, начинающемся строкой:

Слыл умником и в ус себе не дул,

поэт имеет в виду гр. А. П. Бобринского (1826—1894), морского министра с 1871 г. по 1874 г. Это четверостишие, записанное в тетради Л. А. Еракова в виде отдельной эпиграммы, озаглавлено: «Алексею Павловичу Бобринскому» и подписано: «Экспромт Н. А. Некрасова 4 декаб<ря> 1875». (ИЛИ, ф. 134, № 412, л. 17 об. Сообщено С. А. Рейсером). (Об А. П. Бобринском см. А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. М.-Л., 1930, т. II, стр. 360—378). *«Авраам-изыскатель»* — Самуил Соломонович Поляков, строитель Козлово-Ростовской и Курско-Азовской дорог, учредитель Петербургско-Московского банка. Тот «продавец», которому в сатире Некрасова он дает своеобразную взятку, платя ему высокую цену за семьдесят семь десятин никуда негодного болота, был министр почт и телеграфов, граф Иван Матвеевич Толстой, брат Феофила Толстого. В благодарность за эту услугу Толстой оказал Полякову большую протекцию и таким образом помог ему нажить колоссальные деньги (Ср. С. Ю. Витте. Воспоминания. Л., 1924, т. III, стр. 97). Поляков и впоследствии давал взятки министру Толстому: за предоставление концессии Козлово-Воронежской железной дороги Толстой получил от Полякова акций на 500 000 рублей. (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. М.-Л., 1930, стр. 310—312).

В отрывке:

Слышны толки: «леность... пьянство...
Земство... волость... мужики...»

изображен съезд петербургских дворян, происходивший в марте 1875 г. На этом съезде высказались стремления крупного многоземельного дворянства к реставрации дореформенных порядков. Упомянутые здесь *Давыдов и Лобанов* — это граф В. П. Орлов-Давыдов и князь Н. Б. Лобанов-Ростовский. Они выступили на съезде с проектами «всесословной волости», требуя, чтобы полицейская опека над крестьянами снова была передана в руки помещиков. Этому совещанию журнал Некрасова посвятил особую статью «Поиски за гражданским идеалом» («Отечественные Записки», 1875, № 5). *Песня об «орошении»* тоже основана на злободневных фактах тогдашней действительности. В 1874 г., в связи с голодом в Самарской губернии, было выдвинуто несколько проектов орошения заволжских степей. Наиболее блестящие перспективы сулил проект заграничной фирмы Эрике и К°, который при ближайшем рассмотрении оказался беззастенчивой спекуляцией, не имеющей реальной основы. «Естественно, — писала одна из тогдашних газет, — что многие очень серьезное придали значение огульному орошению, якобы возможному в степях, а спекуляция... подоспела как раз с гигантским проектом орошения целой Новороссии, земли Войска Донского, всех степей Самарской губернии и тому подобных местностей». («Голос», 1875, № 32). «Таким образом, — замечал Г. З. Елисеев, — такое страшное бедствие, как самарский голод, дало толчок только спекуляции, которая в случае удачи произведет еще более разорений и опустоше-

ний, чем самый голод» («Отечественные Записки», 1875, № 5, стр. 157— 160). *Вот москвич — родоначальник этой фракции дельцов* — Иван Кондратьевич Бабст (1823—1881), ученик Грановского, экономист буржуазно-либерального направления, бывший сотрудник радикальных журналов, впоследствии — правая рука Самуила Полякова, управляющий Московским купеческим банком и редактор «Обзора Промышленности». *«Леонид»*, состоявший *«на посылках при Савве»* — Иван Алексеевич Вышнеградский (1831—1892), профессор, директор Технологического института, автор ученых трудов по механике, впоследствии министр финансов. Должно быть, к нему же относятся строки Некрасова о «новейшем философе»:

Ничего не будет нового,
Если завтра у него
На спине туза бубнового
Мы увидим... ничего!
<и т. д.>

Бубновый туз, вшитый в спину халата, — отличительный знак уголовного преступника. *Барон фон Клоппенгорст* — остзейский барон Герстдорф. Это указано в автографе (ИЛИ), где есть такие прозаические строки: «На Ревельской <железной дороге> все бароны, — кондукторы, начальники, — держат себя высоко: «исторической заслуги на лице печать». *«Петух»* — Рейтерн М. X. (1820—1890), министр финансов с 1862 г. Проводившаяся им политика покровительства железнодорожных концессий, «отдавшая постройку и эксплоатацию дорог на произвол кампаний, привела к обременению казны приплатами и разоряла Россию колоссальными заграничными заказами» (Русский биографический словарь, том Рейтерн-Рольдберг, СПб., 1913, стр. 21). Тяжелое состояние финансов сказывалось в неумеренном выпуске бумажных денег, на что намекает Некрасов, говоря:

Золото клюет —
Возвращает... ассигнации!

Кто такой *Эдуард Иваныч Грош* — установить не удалось. В черновиках «Современников» ему дана фамилия Матьяс, причем Некрасов указывает, что он — родственник министра Рейтерна. Там же такие строки, посвященные Грошу:

Услужить — его призванье
Той и этой стороне:
«Нужно вам мое вниманье,
Ваши деньги нужны мне».

Фон Руге — по нашему предположению, строитель Московско-Рязанской и Козловской дорог П. Г. фон Дервиз. Фон Дервиз, благодаря покровительству министра финансов Рейтерна, так нажился на постройке этих дорог, что удалился из России в Ниццу и там воздвиг себе целый дворец, знаменитую виллу Розу, превосходящую, по описанию газет, пышностью загородные дворцы прежних французских королей. «Отечественные Записки» с негодованием указывали, что «владелец Рязанско-Козловской железной дороги г. Дер-

виз получил возможность конкурировать в богатстве и роскоши с коронованными особами» и разъясняли, что в основе такого обогащения лежит ограбление крестьян (А. Головачев. Мысли вслух. — «Отечественные Записки», 1875, № 10, стр. 249). В сатире Некрасова вилла Роза названа виллой Мирт. Дервиз действительно «внимал» опере solo, не допуская никого в свой музыкальный зал. «Дервиз, — писал С. Ю. Витте, — от той роскоши и богатства, которыми он пользовался в Италии благодаря своему состоянию, совершенно сбрендил. Так, например, он держал большую оперу исключительно для самого себя и очень редко кого-нибудь приглашал, между тем как каждый день ему давали то или другое представление (С. Ю. Витте. Воспоминания. Л., 1924, т. III, стр. 98). *«Витии»*, именующие его *«великим мужем»*, — это купленные им журналисты, и раньше всего — М. Н. Катков, беззастенчиво твердивший, что если фон Дервиз нажил огромные деньги, «то этого и следовало желать в видах общей пользы!» («Московские Ведомости», 1875, № 61). *Ладьин, «сумасшедший или гений»*, строящий порт на Черной речке, — Николай Иванович Путилов, владелец знаменитого Путиловского завода (ныне Кировский завод). Этот завод удалось оборудовать благодаря огромным казенным заказам на рельсы и ружья, после чего Путилов проектировал построить на взморье близ Петербурга коммерческий порт для соединения морского, речного и железнодорожного транспорта («С.-Петербургские Ведомости», 1872, № 157; «Московские Ведомости», 1874, № 283). Некрасов точно перечисляет все главнейшие предприятия Путилова:

Я уж рельсы дал дорогам,
Я войскам оружье дал...
В новый путь иду я с богом...

«Новый путь» — это устройство порта, требовавшее двадцати двух миллионов рублей, которых у Путилова не было. Но он так твердо верил в осуществимость своего проекта, что скупал прибрежные земли, тратя на них казенные деньги, выдававшиеся ему в виде задатков за изготовление рельсов. Путилов «в разговорах представлял свои дела блестящими, тогда как отовсюду грозили подачею его векселей ко взысканию, и целые дни и часто ночи шнырял всюду, отыскивая денег, чтобы удовлетворить процентами своих кредиторов. Земли, купленные им для порта, были также заложены» (А. И. Дельвиг. Мои воспоминания. М., 1913, т. IV, стр. 363). *Миллионщик-мукомол*, советующий Зацепе устроить богадельню и засветить перед иконами лампадки, очевидно, купец Степан Овсянников, «король Калашниковской биржи», поставляющий муку войскам. В 1875 г. он поджег из корыстных целей арендуемую им паровую мельницу В. А. Кокорева и был присужден к ссылке в Сибирь. Отличался показным благочестием. *Ученый Швабс* — проф. Бабст, о котором сказано выше. Написав эти строки о Швабсе в черновике «Современников», Некрасов использовал их в виде отдельной эпиграммы, когда Бабста весною 1875 г. предложили в члены Литературного фонда.

Кроме этих вымышленных имен, во второй части «Современников» приводятся и подлинные имена тогдашних деятелей. *Евгений*

Исакович Утин (1843—1894) — адвокат и публицист. *Игуменья Митрофанья* — монахиня-аферистка, бывшая баронесса и фрейлина двора, присужденная в конце 1874 г. к тюремному заключению за подделку векселей и растрату; в мае 1875 г. ее дело пересматривалось в сенате. *Николай Тиблен* — издатель и книгопродавец, убежавший за границу с чужими деньгами во второй половине шестидесятых годов. *Вильгельм Генкель* — руководитель книжной фирмы «А. Смирдин и К°». *Эдуард Гоппе* — издатель-спекулянт, собравший у московских промышленников несколько тысяч рублей за рекламы о их предприятиях для помещения этих реклам в несуществующем фотоальбоме («С.-Петербургские Ведомости», 1875, № 217). *Максим Кузьмич Плотицын* — скопец-миллионер, глава секты. Имя скульптора Марка Матвеевича *Антокольского* часто упоминалось в тогдашних газетах в связи с его проектом памятника Пушкину. Проект был так расхвален В. В. Стасовым, что вызвал ряд нареканий в «Биржевых Ведомостях», «Голосе», «Гражданине» (См. «Московские Ведомости», 1875, №№ 66 и 76). *Монитор*, который *«шествовал в Россию»* — башенный броненосец США «Миантономо», прибывший в Кронштадт 25 июля 1866 г. вместе с другими судами американской эскадры приветствовать Александра II «по случаю избавления от руки убийцы» (Каракозова). Французские писатели Жюль *Мишле* и Эдгар *Кине*, которых Леонид противопоставляет Овсянникову, были незадолго до того сочувственно упомянуты в журнале Некрасова как борцы за республику, враги монархии и духовенства («Отечественные Записки», 1874, № 3, стр. 158; 1875, № 4, стр. 288—290). *Гасфер* в черновом автографе — Гинзбург; братья *Примы* — Гриммы; по поводу *Трубецкого* в черновике (ИЛИ) такая запись: «Трубецкой новоторжский ужасно много сделал для России — добился, что ниоткуда не выгоняют —

Построил ты дорогу в восемь верст.
Получил приличные...<?>

В своей сатире Некрасов неоднократно клеймит инженеров и присяжных поверенных, продававших «плутократам» свои таланты и знания. Это был один из очень распространенных мотивов журналистики 70-х годов. Незадолго до того либеральный литератор Евгений Марков напечатал в «Голосе» статью «Софисты XIX века», где называл адвокатов «брехунцами» и указывал, что они вносят растление в нравственную жизнь русского общества. Хотя «Отечественные Записки» отнеслись к статье Маркова резко отрицательно (см. статью Н. К. Михайловского. — «Отечественные Записки», 1875, № 6, стр. 300—311, а также «Отечественные Записки», 1875, № 10, стр. 258—262), в статьях Елисеева, Салтыкова-Щедрина и Михайловского такие адвокаты, как Спасович, Утин, Арсеньев, Герард и Потехин, были постоянно обличаемы в корыстной защите богатых преступников (см., напр., Внутреннее обозрение. — «Отечественные Записки», 1875, № 4, стр. 296 и след.). Их называли «прелюбодеями мысли».

Вскоре после появления «Героев времени» Салтыков-Щедрин писал Некрасову (12 февр. н. ст. 1876 г.):

«Поэма поразила меня своею силою и правдою, — например, картина Кокоревых, тянущих бичеву и с искренним трагизмом поющих бурлацкую песню (превосходно), производит поразительное действие. Описание оргии, спичи и лежащая на всем фоне угрюмость — все это отлично задумано и отлично выполнено... Мне кажется, Вы бы не худо сделали, если б Зацепу заставили застрелиться» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч., 1937, т. XVIII, стр. 338).

Интерес этого письма усугубляется тем, что «Герои времени» написаны под несомненным влиянием сатир Щедрина.

Критика тогда же указала, что в «Современниках» звучит та струна негодующей музы Некрасова, которая сближает его с Щедриным (Орест Миллер. Последние песни Некрасова. — «Свет», 1877, № 5).

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

Молодые лошади. Печатается по тексту газеты «Новое Время», 1876, № 55 от 25 апреля, где напечатано впервые.

В этих «вчерашних сценах» Некрасов клеймит обывателей, взиравших с притворным участием на революционные жертвы и подвиги молодежи 70-х годов.

Как празднуют трусу. Печатается по тексту журнала «Жизнь», 1898, № 1, стр. 3—4, где опубликовано впервые.

При жизни Некрасова не могло быть напечатано по цензурным условиям, так как здесь Некрасов с особой резкостью вскрывает свое отрицательное отношение к крестьянской реформе 1861 г.

К портрету*** («Твои права на славу очень хрупки»). Печатается по копии из бумаг А. А. Буткевич. — ИЛИ, ф. 203, № 45. Впервые — «Новое Время», 1876, № 96 от 6 июня.

Посылая эти стихи редактору «Нового Времени», Некрасов писал: «Многим годится, и мне в том числе» (Стих 1879, т. IV, стр. CXXXIV). Некоторые современники Некрасова ошибочно утверждали, что эти стихи — эпиграмма на Александра II, вследствие чего в изданиях 1927—1934 гг. стихи печатались под заглавием: «К портрету Александра II».

С. А. Рейсер убедительно доказал в своих «Заметках о Некрасове», что для такого заглавия нет оснований («Звенья». М.-Л., 1935, т. V, стр. 524—531).

Что нового? Печатается по копии из бумаг А. А. Буткевич. — ИЛИ, ф. 203, № 45, л. 6. Впервые — «Заветы», 1913, № 6, стр. 32.

Автору «Анны Карениной». Печатается по тексту газеты «Новое Время», 1876, № 22 от 1 марта, где напечатано впервые.

К портрету («Развенчан нами сей кумир»). Печатается по тексту корректур ИЛИ, ф. 134, оп. 11, № 3. Корректура была читана Некрасовым: ряд стихотворений, оттиснутых на том же листе, правлен его рукою. Впервые — «Новое Время», 1878, № 662 от 1 января.

Праздному юноше. Печатается по тексту корректур ИЛИ, ф. 134, оп. 11, № 3. Корректура была читана Некрасовым: ряд стихотворений, оттиснутых на том же листе, правлен его рукою.

Ст. 1—9 впервые опубликованы в газете «Новое Время», 1878, № 662 от 1 января. Ст. 10—12 впервые — «Заветы», 1913, № 6, стр. 35.

Эпитафия. Печатается по рукописи А. А. Буткевич, из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Впервые — ОЗ 1878, № 5, стр. 401.

В своих заметках о Некрасове сестра поэта А. А. Буткевич пишет:

«Одно стихотворение, о котором брат сожалел, что не написал его, это эпитафии. С одним из своих друзей, охотником, он однажды переходил кладбище. Гаврила рассказывал ему о покойниках, могилы которых обращали на себя внимание брата. Я помню только эпитафию, произнесенную Гаврилой помещику:

Зимой играл в картишки
<и проч.>

(«Автобиографии Некрасова», «Из дневников и воспоминаний А. А. Буткевич». — ЛН, стр. 178).

«Ни стыда, ни состраданья». Печатается по тексту, сообщенному в письме А. А. Буткевич к С. И. Пономареву от 14 июля 1878 г. (ЛН 3). Впервые — Стих 1879, т. IV, стр. 126.

«За желанье свободы народу». Печатается по тексту, сообщенному («конечно, не для печати») в письме А. А. Буткевич к С. И. Пономареву от 14 июля 1878 г. (ЛН 3). Впервые — «Заветы», 1913, № 2, стр. 137.

«Но, любя, свое сердце готовь». Печатается по автографу ИЛИ, фонд 203, № 25. Впервые — «Заветы», 1913, № 2, стр. 137.

«Он не был злобен и коварен». Печатается по ОЗ 1878, № 6, стр. 402, где опубликовано впервые.

«Спрашивал я у людей». Печатается по автографу ИЛИ, фонд 203, № 25. Впервые — ОЗ, 1879, № 1, стр. 65.

Подражание Шиллеру. I. Сущность. II. Форма. Печатается по ОЗ 1879, № 1, стр. 63, где опубликовано впервые.

Критика реакционного лагеря часто внушала читателям, будто Некрасов не проявляет заботы о художественной форме стиха. Лучшим опровержением этой упорно распространявшейся лжи служат черновые рукописи стихотворений Некрасова, где он постоянно осуществляет девиз, изложенный им в стихотворении «Форма»:

Чтобы словам было тесно,
Мыслям просторно,

В этом же стихотворении утверждается тезис о полной зависимости художественной формы от того, что у Некрасова называется «сущностью», — то есть от содержания и смысла стихов:

важен в поэме
Стиль, отвечающий теме.

Тема же полностью зависит от мировоззрения поэта, от «типов добра и любви».

1876—1877

ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ

Вступление к песням 1876—1877 годов. Печатается по ПП, стр. 7—8. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 277—278.

Вернувшись из ссылки, Н. Г. Чернышевский говорил о Некрасове одному молодому поэту: «На-днях я перечитал его от доски до доски... Неотразим! Взять хотя бы «Последние песни». Он ведь только о себе, о своих страданьях поет, но какая сила, какой огонь! Ему больно, вместе с ним и нам тоже. Если помните его вступление к «Последним песням», прочтите, пожалуйста». («Записи двух бесед с Н. Г. Чернышевским о Некрасове». — ЛН, стр. 602.)

«Дни идут... Все так же воздух душен». Печатается по ПП, стр. 15. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 280.

Сеятелям. Печатается по ПП, стр. 9. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 278.

Либеральная критика не раз использовала эти стихи как призыв к мирной культурно-просветительной деятельности среди «темных» крестьянских масс. Между тем, по терминологии Некрасова, «сеятель» — революционный пропагандист, агитатор. Ср. в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Такая почва добрая
Душа народа русского,
О *сеятель!* приди!

Молебен. Печатается по ПП, стр. 10—11. Ст. 19—20 восстановлены на основании поправки на экз. ПП, сообщенной Ч. Ветринским, в статье «Крохи Н. А. Некрасова (из данных П. А. Ефремова)» («Литература, искусство, наука», приложение к № 354 газеты «День» <от 31 декабря 1913 г.>. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 279.

Друзьям. Печатается по ПП, стр. 16. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 282.

Зине («Ты еще на жизнь имеешь право»). Печатается по ПП, стр. 17, где появилось впервые. В заголовке восстановлено полностью имя Зины.

«Зина» — жена Некрасова. Настоящее ее имя Фекла Онисимовна Викторова. Она была женщина без образования, едва грамотная. 12 февраля 1874 г. Некрасов подарил ей книгу своих стихов с надписью «Милому и единственному моему другу Зине». Ей же посвятил он свое стихотворение «Дедушка». Когда он заболел, она так самоотверженно ухаживала за ним, что, по свидетельству П. М. Ковалевского, «по истечении этих двухсот дней и ночей из молодой, беленькой и краснощекой женщины превратилась в старуху, с желтым лицом, и такой осталась» (П. М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. П., 1912, стр. 297).

Некрасов обвенчался с ней уже в последний период своей предсмертной болезни. После его смерти она уехала из Петербурга. Умерла в Саратове в 1915 г., пережив Некрасова на 38 лет.

Музе. Печатается по ПП, стр. 18, где появилось впервые.

Скоро стану добычею тленья. Печатается по ПП, стр. 14. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 281.

Это стихотворение написано весною 1874 г. В первой редакции оно начиналось так:

Старый дом, позабытый с рожденья...
Я вернулся сюда — умереть.

И только впоследствии поэт переделал его в одну из «Последних песен».

Зине («Двести уж дней»). Печатается по ПП, стр. 12. Впервые — ОЗ 1877, № 1, стр. 279.

Приговор. Печатается по ПП, стр. 39. Впервые — ОЗ 1877, № 2, стр. 532.

Есть и Руси чем гордиться. Печатается по автографу ИЛИ, Personalia, разряд I, опись 20, № 7. Впервые опубликовано — «Заветы», 1912, № 9, декабрь, стр. 87.

Вестминстерское аббатство — старинная церковь в Лондоне, служит местом погребения знаменитых ученых, поэтов и государственных деятелей, где каждому из них воздвигнут памятник.

Дата стихотворения (23 января 1877 г.) указывает, что оно является откликом на рассматривавшееся тогда в сенате дело о демонстрации землевольцев, происходившей на Казанской площади в С.-Петербурге 6 декабря 1876 года.

Из двадцати одного подсудимого шестеро были приговорены к каторжным работам, двенадцать — к ссылке на поселение в Сибирь.

Вам, мой дар ценившим и любившим. Печатается по автографу научной библиотеки им. Горького Ленинградского государственного университета. Впервые (по этому же автографу, с ошибками в ст. 1 и 8) — «СПб. Ведомости», 1877, 20 декабря, № 351.

В январе 1877 г. у Некрасова возникло намерение издать новую книгу стихов под заглавием «В черные дни». На первой странице сборника поэт предполагал напечатать посвящение «Друзьям читателям»: «Вам, мой дар ценившим и любившим». Книга «В черные дни» не вышла. Вместо нее Некрасов напечатал книгу «Последние песни», куда это посвящение не было включено.

Когда в начале февраля к больному Некрасову явилась депутация студентов и поднесла ему приветственный адрес, поэт прочитал студентам свое посвящение и подарил им на память листок, на котором оно было написано. Отсюда и возникла ошибочная мысль, будто в этих стихах Некрасов обращается к студентам и будто сами стихи называются «В черные дни».

Об этой депутации сохранился рассказ очевидца — Г. З. Елисеева. «Когда, — пишет он, — я пришел предуведомить покойного, что к нему через час явятся три депутата от студентов с заявлением сочувствия к нему <...> он, видимо, очень обрадовался.

— Мне очень это приятно, — сказал он мне, — но я боюсь, чтобы это не было как-нибудь дурно истолковано для них, чтобы не вышло чего... Да и, ах, боже мой! Чем я их отблагодарю? Я бы хотел что-нибудь написать им. Но теперь я решительно не в состоянии, а готового ничего нет. Вот разве это дать им? — сказал он, вынимая из находившихся перед ним бумаг написанное вчерне предисловие к «Последним песням». — Предисловие обращено к читателю, но все равно, оно и к ним относится. Как вы думаете: будут они довольны? — обратился он ко мне.

Я успокоил его, сказав, что студенты желают одного только, чтобы он их принял... они будут довольны всем, что он даст им на память» («Отечественные Записки», 1878, № 1, «Внутреннее обозрение», вырезанное по распоряжению цензуры).

Листок был вставлен студентами в рамку и вывешен в университетской библиотеке. В 1898 г. проф. С. Ф. Ольденбург прислал точную копию этого стихотворения Н. К. Михайловскому, который опубликовал ее в четвертой книге «Русского Богатства» того же года (см. также «День», 1913, № 331; «Книга и революция», 1921, № 2 (14), стр. 51; «Некрасов по неизданным материалам Пушкинского дома», Л., 1932, стр. 130; см. также статью Т. А. Бесединой. По поводу автографа Н. А. Некрасова в библиотеке Ленинградского государственного университета. — «Научный бюллетень» того же университета, Л., 1947, № 16—17, стр. 63—66).

Смо́лкли честные, доблестно павшие. Печатается по автографу ИЛИ, ф. 203, № 37. Впервые — в газете «Земля и воля!», 1879, 8 апреля, № 5, стр. 5.

С 21 февраля по 14 марта 1877 г. в Петербурге происходил знаменитый «процесс пятидесяти», на котором двумя подсудимыми были произнесены пламенные революционные речи.

Вскоре после этого один из них, рабочий Петр Алексеев, приговоренный к каторжным работам, получил в петербургской тюрьме стихотворение Некрасова «Смолкли честные, доблестно павшие».

«Земля и воля!», печатая это стихотворение, указала, что оно «посвящается подсудимым процесса пятидесяти». («Земля и воля!» 1879, № 9). Таково же было мнение позднейших революционеров

(В. Богучарский. Активное народничество. М., 1912, стр. 301).

Между тем это стихотворение написано в 1874 г. Сохранился почтовый листок (ИЛИ), где поэт, перечисляя свои стихи, написанные в 1874 г., указывает и это стихотворение. Еще в мае 1875 г. поэт записал его для П. А. Ефремова («Литература, искусство, наука», приложение к № 354 газеты «День» за 1913 г.).

В марте 1882 г: эти стихи были перепечатаны в журнале «Общее дело» (№ 47) вместо передовицы, причем в заключительных строках было сказано: «Они (стихи) — последняя вспышка благородного гения поэта, осветившего ту безрассветную ночь, о которой говорится в них и среди которой мы живем теперь».

В черновом автографе (ИЛИ) стихам придано заглавие «Современная Франция» «(С французского)».

Как доказали И. Власов и С. Макашин в своей недавней статье «Некрасов и Парижская коммуна», стихи эти были посвящены разгрому Парижской коммуны в 1870 г.; под «доблестно павшими» поэт разумеет расстрелянных коммунаров. Строки:

Растворилися тюрьмы глубокие...
Смолкли, честное знамя державшие...

«не могут быть поняты иначе, как прямое указание Некрасова на известные факты из истории подавления Парижской коммуны — на массовые расстрелы пленных коммунаров в тюрьмах Ля Рокетт и Сатори» (ЛН, стр. 397—428).

«Устал я, устал я... мне время уснуть». Печатается по тексту, сообщенному в письме А. А. Буткевич к С. И. Пономареву от 14 июля 1878 г. ИЛИ, Собрание С. И. Пономарева. Впервые — Стих 1879, ч. IV, стр. 127.

Поэту. Печатается по ПП, стр. 37. Впервые — ОЗ 1877, № 2, стр. 531.

Скоро — приметы мои хороши. Печатается по Стих 1879, т. IV, стр. 127, где опубликовано впервые.

Горящие письма. Печатается по ПП, стр. 38. Впервые в настоящей редакции — ОЗ 1877, № 2, стр. 531.

Вариант стихотворения «Письма», написанного в 1855 г. По словам С. И. Пономарева, в экземпляре поэта был еще один вариант последней строфы:

Сгорело все — след страсти молодой...
Сгорело все — и радости, и пени...
И мы стоим на лестнице крутой,
Где сломаны середние ступени.

(Стих 1879, ч. IV, стр. XLIII)

Из поэмы «Мать». Печатается по ПП, стр. 151—166. Ст. 124, 170, 235 и 258 даны в окончательной редакции, указанной в письме А. А. Буткевич к С. И. Пономареву от 12 мая 1878 г. (ИЛИ); по

этому же письму восстановлены ст. 90—93 и 240—243 (но ст. 93 дан в редакции Стих 1879, т. III, стр. 381 — повидимому, более правильной). Впервые полностью (но без ст. 90—93 и 240—243) — ОЗ 1877, № 3, стр. 296—306.

Мать поэта, Елена Андреевна, урожденная Закревская, умерла в Грешневе 29 июля 1841 года. Некрасов посвятил ее памяти много благоговейных стихов (см., например, «Родина», «Рыцарь на час»). Кроме того, им с давнего времени была задумана большая поэма о матери: еще в 1861 г. в первой книге своих «Стихотворений» он напечатал «Начало поэмы», которое начиналось стихом:

В насмешливом и дерзком нашем веке

и завершалось стихами:

Твою любовь, твои святые муки,
Твою погибель, мать моя, пою...

Через восемь лет, в издании 1869 года, он обнародовал другой отрывок:

Та бледная рука, ласкавшая меня.

Отрывок заключал 17 строк и кончался стихом:

А вьюга в окна била и мела.

Но закончить поэму Некрасов не успел. Это мучило умирающего поэта, он хотел во что бы то ни стало исполнить свой нравственный долг, и, несмотря на жестокие физические страдания, снова принялся за работу. Но стройная композиция уже не давалась ему: гениальная поэма осталась в отрывках. Впоследствии он написал над заглавием поэмы:

«...Из страха и нерешительности и за потерею памяти я перед операцией испортил в поэме «Мать» много мест, заменив точками иные строки» («Отечественные Записки», 1878, № 6, стр. 403).

Незадолго до того, 3 апреля 1877 г., Некрасов подарил художнику И. Н. Крамскому свою книгу «Последние песни» и там на 151 странице над заглавием «Из поэмы: Мать» написал карандашом:

«Некоторые из отмеченных здесь точками мест можно восстановить только по корректурам, в некоторых же местах поставлены точки из-за недостатка связи в отрывках» (ЛН, стр. XXIII).

Из-за отрывочности поэмы многое осталось в ней неясным. Вследствие того, например, что цитируемое поэтом письмо было частично написано по-польски и послано из Варшавы, его биографы не раз утверждали, будто его мать была полькой. Между тем найдены документы, свидетельствующие, что она была из украинской семьи (см. Н. С. Ашукин. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М.-Л., 1935, стр. 20).

Е. О. Лихачева (1836—1904), которой Некрасов посвятил поэму «Мать», — автор книг и статей, посвященных женскому движению. В «Отечественных Записках» Некрасова она поместила статьи: «Но-

вости по женскому делу во Франции и Америке», «Женское движение у нас и за границей», «Женщина в современной войне».

Зине. («Пододвинь перо, бумагу, книги!»). Печатается по ПП, стр. 40. Впервые — ОЗ 1877, № 2, стр. 454.

Баюшки-баю. Печатается по ПП, стр. 167—169. Впервые — ОЗ 1877, № 3, стр. 267—268.

Некрасов продиктовал это стихотворение своей сестре в четверг 3 марта 1877 г. В тот же день (и в пятницу 4 марта) он, лежа в постели, читал эти стихи наизусть доктору Н. А. Белоголовому, проф. Е. Н. Богдановскому, А. Н. Пыпину и др. (см. «Воспоминания» Н. А. Белоголового. М., 1897, стр. 458; «Из записной книжки» А. Н. Пыпина. — «Современник», 1913, № 1, стр. 231).

После 3 марта в здоровьи поэта произошло такое резкое ухудшение, что он полгода не мог написать ни одного стиха. В начале этого периода он продиктовал своей сестре:

«Недуг меня одолел, но муза явилась ко мне беззубой дряхлой старухой, не было и следа прежней красоты и молодости, того образа породистой русской крестьянки, в каком она всего чаще являлась мне и в каком обрисована в поэме моей: «Мороз, Красный нос». Я пожалел, что я не выдержал:

Непобедимое страданье,
Невыносимая тоска...
Влечет как жертву на закланье
Недуга черная рука.
Спаси, о муза! <и т. д.>

(«Автобиографии Некрасова». — ЛН, стр. 167)

Летом на Черной речке он вспомнил о «Баюшки-баю» и записал у себя в дневнике:

«14-го июня. Буду писать, что приходит в голову, надо же убивать время... Сибиряки обнаружили особенную симпатию ко мне со времени моей болезни. Много получаю стихов, писем и телеграмм. Было две с двумя десятками подписей. Я хотел сделать на это намек в стихотворении «Баюшки-баю» — и было там четыре стиха:

И уж несет от дебрей снежных
На гроб твой лавры и венец
Друзей неведомых и нежных
Хранимый богом посланец, —

да побоялся, не глупо ли будет. А теперь этого вопроса решить не могу и подавно...» (там же, стр. 168).

Стихи о «людской злобе», нанесшей поэту обиду, относятся, вероятно, к цензуре, которая незадолго до того запретила напечатать его «Пир на весь мир».

Пускай чуть слышен голос твой. Печатается по копии А. А. Буткевич из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Впервые — ОЗ 1879, № 1, стр. 65.

«Черный день! как нищий просит хлеба». Печатается по ОЗ 1878, № 1, стр. 309, где появилось впервые.

В этом стихотворении отразились цензурные мытарства Некрасова. Он надеялся, что его книга «Последние песни» будет тотчас же рассмотрена цензурой и немедленно выйдет в свет. Но цензура, по случаю Пасхи, отложила рассмотрение книги. «Брат был очень расстроен, — вспоминает А. А. Буткевич (сестра поэта). — Выход книги отсрочивался на три недели. — «Для меня, — говорил он, — это целая вечность, когда каждый день может быть последним».

Чтобы ускорить выход книги, Некрасов решил обратиться к председателю петербургского цензурного комитета с письмом, где просил, невзирая на праздники, частным образом просмотреть и разрешить его «Песни».

Но, когда письмо было написано, он, по словам сестры, передумал посылать его. «Не хочу я у них ничего просить! — сказал он. — Пусть будет, как будет!» — На столе лежали только что записанные мною стихи «Черный день». Брат взглянул на них: «поправь, пожалуйста, там, напиши: друзей, врагов и ц е н з о р о в». («Автобиографии Некрасова». ЛН, стр. 172).

Эта запись дает нам возможность установить точную дату «Черного дня».

Отрывок («...Я сбросила мертвящие оковы»). Печатается по ОЗ 1877, № 1, стр. 278, где появилось впервые. Ст. 6 дан в редакции изд. Стих 1879, т. III, стр. 397.

Стихотворение выражает ту страстную жажду революционного подвига, которую с таким нетерпением высказывала в 70-х годах русская разночинная молодежь.

«Оплошными врагами» именуются здесь представители правительства Александра II.

Старость. Печатается по корректурному оттиску ИЛИ, ф. 134, оп. 11, № 3. Корректура правлена Некрасовым. Впервые — ОЗ 1878, № 4, стр. 418.

Ты не забыта... Печатается по ОЗ 1878, № 2, стр. 609, где публиковано впервые.

Нам не удалось выяснить, о какой женщине идет речь в этом стихотворении, но нельзя сомневаться, что она служила революционному делу и что именно поэтому Некрасов называет ее могилу великой.

Цензор Лебедев доносил в комитет, что Некрасов в этом стихотворении «желает освятить идею самоубийства, так как не только прощает девушке, покусившейся на свою жизнь, ее поступок, но видит в нем поучение другим и могилу ее называет великой, тогда как в живых людях не находит величия» («Книга и революция», 1921, № 2/14, стр. 47).

Осень. Печатается по ОЗ 1877, № 11, стр. 283, где появилось впервые.

Отклик умирающего Некрасова на русско-турецкую войну.

Стихотворение появилось в журнале без подписи автора. Это было последнее стихотворение, напечатанное при его жизни. Через месяц поэт скончался.

Муж и жена. Печатается по ОЗ 1878, стр. 43—44, где появилось впервые.

Сон. Печатается по ОЗ 1878, № 2, стр. 610, где опубликовано впервые.

Страдания Некрасова во время его предсмертной болезни были так велики, что приходилось ежедневно прибегать к наркозу. В марте 1877 г. Некрасов писал Краевскому: «Сейчас поставлю опий — и одурею. Внимание мое тупеет...» (Собр. соч., т. V, стр. 581—582).

Лишь на короткое время он чувствовал некоторое просветление и страстно стремился использовать это короткое время для писания стихов.

В стихотворении «Сон» есть несколько строк об одуряющем влиянии наркоза, которое мешает поэту творить:

Сниму с главы покров тумана
И сон с отяжелелых век...

В поэме «Мать» сказалась, по нашему мнению, такая же страстная жажда больного Некрасова освободить свое сознание от опия:

Хаос! мечусь в беспамятстве, в бреду!
Хаос! едва мерцает ум поэта...

«Великое чувство! у каждых дверей». Печатается по ОЗ 1878, № 4, стр. 417, где опубликовано впервые.

О Муза! я у двери гроба! Печатается по ОЗ 1878, № 1, стр. 310, где появилось впервые. Ст. 12 восстановлен на основании поправки, указанной Ч. Ветринским в статье «Крохи Н. А. Некрасова (из данных П А. Ефремова)» («Литература, искусство, наука», приложение к № 354 газеты «День» от 31 декабря 1913 г.).

По свидетельству сестры Некрасова, это стихотворение было последним, которое он написал (1879, ч. IV, стр. CV).

1868—1877

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Первая часть печатается по Стих 1873, т. III, ч. V, стр. 9—153; впервые — С 1866, № 1, стр. 5—12 и ОЗ 1869, № 1, стр. 197—220; 1869, № 11, стр. 567—690; 1870, № 2, стр. 563—582; «Крестьянка» печатается по Стих 1873—1874, т. III, часть VI, стр. 71—201; впервые — ОЗ 1874, № 1, стр. 5—74. «Последыш» печатается по Стих 1873, т. III, ч. VI, стр. 7—70 (впервые — ОЗ 1873, № 2, стр. 521—556); «Пир на весь мир» печатается по ОЗ, 1881, № 2, стр. 333—376, где опубликовано впервые. Цензурные искажения устранены по рукописям. Подзаголовки («из второй части», «из третьей части» и др.) прижизненных публикаций отдельных частей поэмы в настоящем издании не воспроизводятся. О последовательности расположения частей этой незавершенной Некрасо-

вым поэмы — см. подробно в Комментариях к т. III полного собрания сочинений Некрасова, М., 1949, стр. 640—645.

Великая поэма Некрасова, героем которой является русский народ, была начата вскоре после крестьянской реформы 1861 г.

Эта реформа, как известно, обманула ожидания крестьян и не только не принесла им обещанных благ, но, напротив, сделала их положение еще более бедственным. «Мало того, что у них, — писал Ленин, — отрезали землю, их заставили платить «выкуп» за оставленную им и всегда бывшую в их владении землю, и притом выкупная цена земли была назначена гораздо выше действительной ее цены... Крестьян заставили платить не только за свою землю, но и за свою свободу... Освобожденный от барщины крестьянин вышел из рук реформатора таким забитым, обобранным, приниженным, привязанным к своему наделу, что ему ничего не оставалось, как «добровольно» идти на барщину» (В. И. Ленин. Рабочая партия и крестьянство. Соч., изд. 4, т. IV, стр. 395).

Во многих местах России крестьяне пытались заявить свой протест против этой новой кабалы. Протест выразился в ряде волнений, которые правительство Александра II усмиряло войсками.

Даже такой типичный либерал, как П. В. Анненков, писал в июне 1861 года:

«Что касается до мужиков, то я нашел их мрачными после поветрия порки, обошедшего все уезды, смежные с Казанской и Пензенской губерниями и захватившего краем и внутренность нашей. Они смотрят как люди, которых обсчитали. Доверенности между миром <т. е. между крестьянами> и владетелем земли никакой: она улетела на небеса под грозными криками становых, исправников, посредников и оттуда, кажется, уже не сведешь ее, как мы об этом ни стараемся... Крестьяне уже составили убеждение себе, что воля должна вводиться... — с отпором на одной стороне, кнутом и экзекуцией на другой. Да так уж и держат себя». (Письма П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу. Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина. Вып. III. М., 1934, стр. 121).

Вот эту-то обманутую, обобранную реформой крестьянскую Русь и решил показать в своей поэме Некрасов. Открыто высказывать порицание реформе было невозможно по цензурным условиям; напротив, от литераторов требовалось, чтобы они прославляли ее, но Некрасов попытался и в этих условиях довести до читателя свою потаенную мысль: уже из первых строк его поэмы можно было понять, что странникам не удастся найти ни единого счастливца в этих печальных местах, самые названия которых говорят о беспросветной крестьянской нужде:

Заплатово, Дырявино,
Разутово, Знобишино,
Горелово, Неелово,
Неурожайка-тож.

Для того чтобы скрыть от цензуры, что подлинная задача поэмы заключается в разоблачении «великой реформы», Некрасов изобразил дело так, будто он и в самом деле стремится дознаться, счастливы ли в России министры, помещики, чиновники, попы и купцы. Правда, его странники очень озабочены этим вопросом, повторяют его чуть

не в каждой главе, но было бы величайшею ошибкою думать, будто Некрасов и сам ищет ответа на этот вопрос. Ответ уже давно был им найден: счастливы представители эксплоататорских классов; несчастны те, кто под угрозою голода вынужден работать на них:

Эй, счастие мужицкое!
Дырявое с заплатами,
Горбатое с мозолями,
Проваливай домой!

Некрасову незачем было допытываться, есть ли счастливцы на верхах дворянско-буржуазного общества, ибо еще в ранней молодости он пришел к убеждению, что благополучие этих верхов находится в обратной зависимости от благополучия трудящейся массы. «Я узнал, — писал он в одной из своих юношеских повестей, — что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы» («Жизнь и похождения Тихона Тростникова»).

Вообще, самое слово счастливец — для Некрасова часто синоним представителя привилегированных классов. («Но счастливые глухи к добру»... «Жилища счастливцев мира», и т. д.).

Счастье «сильных и сытых» было для него вне сомнения. Так что, задавая вопрос, «кому вольготно, весело живется на Руси?», он отнюдь не намеревался решать этот — давно для него решенный — вопрос, а воспользовался им для того, чтобы показать, как глубоко несчастен народ, «облагодетельствованный» пресловутой реформой.

Некрасов и сам говорил, что мысль о влиянии этой реформы на благосостояние народа преследует его неотступно:

Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы,
Ответа я ищу на тайные вопросы,
Кипящие в уме: «В последние года
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?
И рабству долгому пришедшая на смену
Свобода наконец внесла ли перемену
В народные судьбы? в напевы сельских дев?
Иль так же горестен нестройный их напев?»

(«Элегия», 1874)

Он называл эти вопросы тайными, так как в каждом вопросе был скрыт отрицательный, полный негодования и скорби ответ.

Здесь-то и заключается подлинный замысел эпопеи Некрасова, и только для маскировки этого тайного замысла автором была выдвинута проблема благополучия купцов, помещиков, священников и царских сановников, которая в действительности не имела отношения к сюжету. Даже когда (в одном из набросков поэмы) странники разбирают вопрос, счастлив ли встреченный ими исправник, вся их беседа приводит к тому, как мучительна жизнь крестьян, находящихся во власти исправника. Таковы же последствия их беседы с попом: поп для того и выведен таким гуманным и совестливым, жалеющим несчастных крестьян, чтобы в его взволнованных речах прозвучало свидетельство о крайней нищете его паствы.

В главе «Помещик» опять-таки наиболее существенным для подлинной некрасовской темы является убеждение крестьян, что распавшаяся цепь крепостничества ушибла не только дворян, но и их:

Распалась цепь великая,
Распалась, расскочилася:
Одним концом по барину
Другим по мужику.

Только однажды — на всем протяжении поэмы — странники находят возможность открыть истинную цель своих странствий:

Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошенной волости,
Избыткова села, —
(«Последыш»)

то есть признаются, что на самом-то деле их занимает вопрос о их собственном «мужицком» благоденствии. В черновике эта тема выдвигается еще более рельефно:

Ох, где же ты счастливое,
Избытково село?
Которая дороженька
Ведет к тебе?...

И уже то обстоятельство, что в своих долгих скитаниях странники не только не нашли этой местности, немыслимой в тогдашних условиях, но и не набрели на «дороженьку» к ней, является одним из показателей подлинного отношения Некрасова к последствиям пресловутой реформы. Недаром он в своей поэме подчеркивает, что в «раскрепощенной» России принцип распределения богатств остался в основе тот же. Яким Нагой в поэме говорит:

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди: стоят три дольщика —
Бог, царь и господин.

Последняя строка, неизвестная в досоветское время и обнаруженная в бесцензурной редакции, является верным ключом ко вступительным главам поэмы.

Изображая невыносимую жизнь крестьян, Некрасов указывал, что их долготерпение уже дошло до предела и что только революционным путем они могут завоевать свое счастье:

У каждого крестьянина
Душа что туча черная —
Гневна, грозна — и надо бы
Громам греметь оттуда,
Кровавым лить дождям.

Потому-то одним из главных героев поэмы является «Савелий, богатырь святорусский», человек титанических сил, выступающий в роли беспощадного народного мстителя. Чтобы образ Савелия мог появиться в легальной печати, Некрасову пришлось ограничиться одним-единственным эпизодом его участия в кровавой расправе с жестоким управителем Фогелем. Но, судя по некрасовским рукописям, поэт намеревался изобразить в тех же главах еще несколько подобных деяний «богатыря святорусского». Так, в одном из первоначальных набросков поэмы Савелий, рассказывая о своих скитаниях в безлюдной сибирской тайге, вспоминает между прочим такой эпизод:

А двери-то каменьями,
Корнями, всякой всячиной
Снаружи заложу,
Кругом избы валежнику
Понавалю дубового,
Зажгу со всех сторон,
Горите все, проклятые!
Не выскочишь, не выбежишь!
[Стучи, не достучишь!]
Кричи, не докричишь!
А сам взберусь на дерево
На самое высокое,
И стану я оттудова
Глядеть.

Очевидно, речь идет о сожжении живьем каких-то представителей власти.

Но хотя Некрасов глубоко сочувствовал этим одиноким взрывам стихийного народного гнева, в них он не видел пути к освобождению народа:

Лет двадцать строгой каторги,
Лет двадцать поселения —

вот и весь реальный результат грозных и мстительных подвигов богатыря святорусского.

Хотя эти подвиги были так же бесплодны, как и мирные реформы, «дарованные» царскою милостью, они свидетельствовали, какие могучие силы протеста и классовой ненависти уже успели накопиться в народе, — такова итоговая мысль трех первых частей поэмы.

Силы эти были слепы и тратились зря, что видно хотя бы на примере того же Савелия. Но к тому времени, как Некрасов принялся за работу над четвертою частью, к середине 70-х годов, в деревню хлынула широкими массами разночинная передовая молодежь для революционного служения народу.

Она-то и определила собою ту новую тему, которая наметилась в поэме Некрасова к середине 70-х годов. Некрасов пришел к убеждению, что деятельность этих народных заступников поможет народу завоевать свое счастье.

Эта новая тема легла в основание тех нескольких глав, которые в окончательном своем варианте носят название «Пир на весь мир». И так как, по мысли Некрасова, счастье каждой отдельной личности

заключается в служении народу, — эти заступники народные счастливы своей верой в народ и своей любовью к нему. Из множества лиц, изображенных в поэме, единственный счастливец — дьячковский сын Григорий Добросклонов, в сердце которого, как говорится в поэме,

С любовью к бедной матери
Любовь ко всей вахлачине
Слилась, и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка.

По цензурным условиям невозможно было высказать более отчетливо, в чем выражалась забота Григория о счастьи его «уголка», но в одном из черновиков говорится:

...лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Кому отдаст всю жизнь свою
И за кого умрет.

Дело шло именно о том, чтобы умереть за народ, дело шло о революционном служении народу, что подтверждается и другим стихотворным отрывком, обнаруженным в одной из некрасовских рукописей:

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Хотя в рукописи это четверостишие зачеркнуто, мы сочли необходимым ввести его в текст, так как в данном случае наличие автоцензуры было для нас несомненно.

Эти рукописные строки дают достаточно ясное представление о том, каково было подлинное служение Григория Добросклонова его любимой «вахлачине». Благодаря этим строкам приобретает многозначительный смысл восклицание Григория, сохранившееся и в подцензурном варианте поэмы:

Не надо мне ни серебра,
Ни золота, а дай господь,
Чтоб землякам моим
И каждому крестьянину
Жилось вольготно, весело
На всей святой Руси.

Это тот идеал, в осуществлении которого молодой разночинец Григорий видел единственную цель своей жизни, и хотя этот путь обрекал его на сибирскую каторгу и раннюю смерть, он, по мысли Некрасова, был обладателем наивысшего счастья, какое только было возможно в России для демократической интеллигенции 70-х годов.

Об этом счастии выразительно сказано в заключительной песне Григория, особенно в редакции чернового наброска:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знали-ведали, что творилось с Гришею
В это утро чудное: силы необъятные
Слышал он в груди своей; звуки благодатные
Наполняли грудь его — гимна благородного:
Пел он воплощение счастия народного.

Т. е. странники, давшие зарок не возвращаться в родные семейства, покуда не отыщут в России счастливого, могли бы вернуться домой, если бы увидели Гришу в то утро, когда он пел о будущем воплощении народного счастья, так как Гриша и был тот счастливец, которого они так долго искали.

Характерно, что, хотя при жизни Некрасова «Пир на весь мир» оставался неизвестен читателям, некоторые из них самостоятельно пришли к заключению, что тот ответ, который дан в более ранних частях, должен быть изменен и дополнен именно так, как это сделано в «Пире».

Уже во время предсмертной болезни Некрасова, 19 мая 1876 года, сельская учительница А. Малоземова написала ему, что по прочтении поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (тогда эта поэма еще кончалась «Крестьянкой») ей «пришло в голову, что, может быть, он и не верит в существование счастливых людей», а потому она решилась заявить о себе, как о «вполне счастливом человеке». «Я уже стара и очень некрасива, — писала она, — но очень счастлива. Сижу у окна в школе, любуюсь природой и наслаждаюсь сознанием своего счастья... В прошлом моем много горя, но я считаю его благом — счастьем, оно выучило меня жить, и без него я не знала бы наслаждения в жизни...»

Умирающий Некрасов ответил ей в кратком письме (от 2 апреля 1877 г.): «Счастие, о котором Вы говорите, составило бы предмет продолжения моей поэмы <т. е. «Пира на весь мир» и дальнейших частей>. Ей не суждено окончиться. Я пишу, чтоб, хотя поздно, поблагодарить Вас за прелестное письмо и пожелать, чтобы Вас, Ваших учеников и выученных уже Вами миновала и далее судьба, как это, повидимому, шло пока». (Собр. соч., т. V, стр. 583).

Последние строки письма к Малоземовой показывают, что Некрасов считал ее деятельность сопряженной с опасностями и что в ее служении народу он видел ту же героическую борьбу с существующим строем, какую вел в его поэме Добросклонов.

Правда, в силу стремления Некрасова во что бы то ни стало провести эту часть поэмы сквозь цензуру, он так затушевал свою подлинную мысль о служении народу, что порою создавалась иллюзия, будто под этим служением он разумеет мирную, культуртрегерскую просветительно-благотворительную работу народолюбивого интеллигента в деревне и что он зовет молодежь именно к этой работе:

Иди к униженным,
Иди к обиженным —
По их стопам,

Где трудно дышится,
Где горе слышится
Будь первый там.

Церковной фразеологией этой песни и послесловия к ней («грех», «бренные блага», «печать дара божьего», «соблазн», «ангел милосердия», «раб страсти», «демон ярости») еще усиливается ложное представление о том, будто дело идет о христианском милосердии к ближним. Но это, конечно, не так. Подлинный смысл того, что понимал Некрасов под словами «служение народу», вскрывается полностью в песне Григория «Русь»:

Русь не шелохнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая —

Встали — небужены,
Вышли — непрошены,
Жита по зернышку
Горы наношены!

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

Эта «неисчислимая рать» — миллионы восставших крестьян. Только в то счастье и верил Некрасов, которое будет завоевано ими. Именно об этом «воплощении счастия народного» говорится в последней строке, завершающей «Пир на весь мир».

Поэма не окончена, и едва ли можно сомневаться, что в ее дальнейших частях Григорию Добросклонову была бы предоставлена автором одна из ведущих ролей.

В литературе неоднократно указывалось, что в этот образ Некрасов внес некоторые черты Добролюбова (что подчеркивается сходством фамилий).

Идеолог крестьянской революции, «мужицкий демократ» Добролюбов требовал именно такого сближения с крестьянством, какое осуществлял Добросклонов (см. статьи Н. А. Добролюбова «О степени участия народности в развитии родной литературы», «Народное дело» и др. Полное собр. соч. М., 1934, т. I, стр. 237, и М., 1937, т. IV, стр. 139).

Атаман Кудеяр (в притче «О двух великих грешниках»), которому были прощены все грехи за то, что он расправился с народным тираном, был, по первоначальному замыслу поэта, таким же крестьянином, как и «Савелий, богатырь святорусский». Один из черновиков этой притчи начинается так:

Было во время далекое,
Жил человек удалой,
Маялся, маялся с пашнею
Да и ударил в разбой,

Но замечательно, что при всем своем крестьянском демократизме Некрасов уже начинал понимать, что поэма о русском народе будет неполным отражением тогдашней действительности, если он не введет в нее рабочего. Он и намеревался ввести его (еще в 1865 году) в третью главу первой части. Судя по рукописи, этот «фабричный из Бурмакина», выслушав обидные слова о крестьянах, сказанные Павлом Веретенниковым, должен был вступиться за крестьян, заявляя о своем единодушии с ними. Впрочем, он еще не оторвался от деревни, и законченных черт пролетария в его образе нет.

При создании своей эпопеи Некрасов в значительной мере использовал материал устного народного творчества, опубликованный в ряде книг и статей. Это долго оставалось незамеченным, так как в дореволюционный период ни один из фольклористов той эпохи не сделал ее предметом научного исследования.

О поэме судили только газетно-журнальные фельетонисты и критики, даже не подозревавшие о ее непосредственной близости к устному народному творчеству. Вследствие этого они постоянно усматривали авторские измышления там, где на самом-то деле были памятники народного творчества, использованные Некрасовым в тексте поэмы.

Так, например, процитировав строки «Крестьянки», посвященные ржи и пшенице, критик реакционного «Русского Мира» писал:

«Все это придумал для мужиков поэт; самим крестьянам такой вздор в голову не полезет»! («Русский Мир», 1874, № 57).

Между тем здесь воспроизводилась поэтом подлинная поговорка крестьян, незадолго до того напечатанная в сборнике В. И. Даля: «Матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору» («Пословицы русского народа». М., 1862, стр. XXXIII).

А когда критик В. Буренин прочел у Некрасова старинную песню:

Мой постылый муж
Подымается, —

он иронически воскликнул о ней: «чудесно и необыкновенно реально! так реально, что такого глубокого реализма не обнаружит сам народ <!> в своих безыскусственных песнях. На подобный атихудожественный реализм способны только искусственные поэты» (В. Буренин. Журналистика. — «СПб. Ведомости», 1874, № 26).

Между тем это была одна из наиболее распространенных в те годы народных песен. Во втором томе известного труда А. И. Соболевского приводится четырнадцать ее вариантов. Она записана и в Черниговской, и в Самарской, и в Калужской, и в Костромской, и в Псковской, и в Вологодской губерниях, причем первая ее запись относится к 1780 году (см. «Великорусские народные песни», издание А. И. Соболевского. СПб., 1896, том II, стр. 439—451). Имеется эта песня (частично) и в сборнике И. П. Сахарова «Песни русского народа» (СПб., 1838, стр. 47—48). Некрасов почти слово в слово воспроизвел один из ее поздних вариантов, напечатанный за несколько лет до того в «Современнике», в статье Вл. Александрова «Деревенское веселье в Вологодском краю» («Современник», 1864, № 7, стр. 189).

Считать эту народную песню кабинетным измышлением Некрасова, далеким от «безыскусственных песен народа», было возможно лишь при полном невежестве тогдашних литературоведов и критиков в области родного фольклора. Это невежество очень ярко сказалось, например, на страницах радикального «Дела», где по поводу той же песни «Мой постылый муж подымается» читателю внушалось убеждение, будто чуждый народу <!> Некрасов выдумал ее <!> исключительно в интересах своей журнальной программы. Мысль эта была выражена при помощи длинной пародии «Барин». Пародисту и в голову не приходило, что он высмеивает не стихотворение Некрасова, а подлинную народную песню, отразившую с исторической верностью бесправное положение русской крестьянки в семье! («Дело», 1875, № 1, стр. 153, фельетонный отдел «Восхититель»).

Должно было пройти пятьдесят с лишним лет, чтобы исследователи — уже в советское время — поставили на строго научную почву вопрос о связи поэмы Некрасова с фольклором.

В 1927 году появилась первая, весьма несовершенная попытка регистрации ее фольклорных источников (см. примеч. к «Кому на Руси жить хорошо» в полном собр. стих. Некрасова. М.-Л., 1927, стр. 483—484). Тогда же в журнале «Октябрь» была напечатана статья В. Еланской «О народно-песенных истоках творчества Некрасова», где в качестве «истоков» «Крестьянки» цитировались свадебные и похоронные песни, собранные главным образом в Олонецкой губернии Ф. Студитским, П. Рыбниковым и Е. Барсовым («Октябрь», 1927, № 12, стр. 113—126).

Вскоре после этой статьи появилась работа известного фольклориста Н. П. Андреева по поводу песни о Кудеяре, входящей в последнюю часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» («Пир на весь мир»). Статья была посвящена выявлению параллельных вариантов легенды, бытующих в фольклоре различных (главным образом, славянских) народов, причем особо были выделены те варианты, в которых, подобно некрасовской песне, наиболее резко выражен социальный протест (Н. П. Андреев. Легенда о двух великих грешниках. — «Известия Ленингр. госуд. педагогич. института им. А. И. Герцена», Л., 1928, вып. I, стр. 185—198).

К этим исследованиям примыкают: неизданная работа К. В. Коноваловой «Народно-поэтические элементы в творчестве Некрасова» и статья К. Рождественской «Элементы фольклора в поэзии Некрасова» («Штурм», 1934, № 11, Свердловск). В обеих статьях, первая из которых известна лишь по цитатам, приведенным в примечаниях к «Кому на Руси жить хорошо» (Стих 1937, т. II, стр. 910), указаны параллельные фольклорные тексты, ускользнувшие от внимания предыдущих исследователей.

Вопросу о влиянии фольклора на возникновение основного замысла эпопеи Некрасова посвящена статья Е. Базилевской «К творческой истории «Кому на Руси жить хорошо», пытавшейся установить генетическую связь поэмы с известной народной былиной «О птицах» — «Каково птицам жить на море» («Звенья», кн, пятая, 1935, М.-Л., стр. 449—475).

Этой статьей завершался первый этап научно-исследовательской работы над поэмой Некрасова: предварительный учет ее главнейших фольклорных источников.

Новый этап начался статьями Н. П. Андреева «Фольклор в поэзии Некрасова» («Литературная учеба», 1936, № 7, стр. 60—85) и Ю. Соколова «Некрасов и народное творчество» («Литературный критик», 1938, № 2, стр. 59—74), где наряду с привлечением дополнительных текстов, относящихся к теме, были сделаны попытки обобщить и осмыслить собранный за последние десять лет материал. В центре обеих статей — «Кому на Руси жить хорошо». Н. П. Андреев исходил из вполне правильной мысли, что отыскание первоисточников того или иного стихотворения Некрасова никоим образом не может служить окончательной целью исследователей. Гораздо важнее установить, каковы принципы творческой работы Некрасова над устной народной поэзией, какими методами пользовался великий писатель, вводя в поэму материалы фольклора и, главное, какие идейно-художественные задачи преследовал он в каждом случае.

Таково же было убеждение Ю. Соколова.

«Некрасов, — писал исследователь, — стремился через народное творчество постичь «чаяния и ожидания» народные (выражение В. И. Ленина о русском фольклоре), узнать ближе народную жизнь, народные горести и страдания, народные чувства, народный быт. В своем подходе к народному творчеству Некрасов был чрезвычайно близок к тому, чего искали в фольклоре и теоретики революционной демократии — Белинский, Добролюбов, Чернышевский (Ю. Соколов. Некрасов и народное творчество. — «Литературный критик», 1938, № 2, стр. 60—66).

О таком же подходе Некрасова к народному творчеству говорится и в статье И. Шаморикова «Некрасов и фольклор». («Труды МИФЛИ», т. III, М., 1939, стр. 88—117).

Много нового внесла в эту проблему статья К. Чистова «Некрасов и сказительница Ирина Федосова». Путем сопоставления отрывков поэмы с отдельными эпизодами автобиографии знаменитой сказительницы, находящимися в сборнике К. Барсова «Причитания Северного края», автор чрезвычайно наглядно вскрывает творческий метод Некрасова в обработке фольклорных источников. «Политическое и социальное сознание Некрасова, стоявшего на передовых позициях своего времени, не могло быть аналогичным сознанию неграмотной олонецкой вопленицы, — справедливо говорит К. Чистов. — Каждый факт, образ, сюжет, найденный у Федосовой, Некрасов оценил и осмыслил по-своему, сообщив ему логическую законченность, подняв его тем самым на огромную социальную высоту». («Научный бюллетень Ленинградского университета», № 16—17, Л., 1947, стр. 45).

В названных исследованиях были даны первые итоги научного изучения гениальной поэмы.

Но, выявляя встречающиеся в ней элементы устного народного творчества, некоторые исследователи склонны были иногда забывать, что Некрасов и сам был одним из величайших фольклористов России, с детства изучавший речь народа в живом и непосредственном общении с ним. Уже в «Петербургских углах» (1844) сказывается глубокое знание народного говора, почерпнутое не из книжных источников. В «Тонком человеке» (1855) Некрасов подвергает анализу

целую категорию слов, услышанных им во Владимирской губернии. Как сообщил Глеб Успенский, он двадцать лет «по словечку» собирал в народе нужный ему материал для поэмы («Пчела», 1878. Приложение к № 2).

Известно, что «Орина мать солдатская» является воспроизведением подлинной речи крестьянки и что когда Некрасов писал это стихотворение, он, по его словам, посещал ее снова и снова, чтобы возможно точнее передать ее речь.

С уверенностью можно сказать, что многие из отдельных стихов и фрагментов, которые кажутся некоторым исследователям почерпнутыми в той или иной публикации, были еще до этих публикаций известны Некрасову из непосредственного общения с народом.

Между тем Е. Базилевская даже в тех отрывках «Пролога», где Некрасовым изображается птица (пеночка, ее птенец и сова), готова видеть реминисценцию народной былины «О птицах» (Е. Базилевская. К творческой истории «Кому на Руси жить хорошо». — «Звенья», М., 1935, т. V, стр. 465). И. Кубиков даже в образе злого попа, который в «Демушке» присутствует при вскрытии умершего мальчика, видит «параллель противоположного <!> свойства» к тому добряку священнику, который выведен в одном из плачей Ирины Федосовой (И. Кубиков. Комментарий к поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М., 1933, стр. 81—82), хотя ни малейшего сходства в этих двух образах нет. Тот же автор посвящает страницы своей во многих отношениях ценной работы перечислению заимствований, якобы сделанных Некрасовым из сборника Д. Н. Садовникова «Загадки русского народа», хотя первое издание книги Садовникова вышло уже после того, как Некрасовым были написаны соответствующие части поэмы (см. цит. соч., стр. 17, 18, 66).

В своей работе над русским фольклором Некрасов был не копиист, но творец. Методы, при помощи которых он перерабатывал материалы фольклора, остаются неизученными и до настоящего времени. Между тем ни в чем не сказался с такой очевидностью художественный гений великого мастера, ни в чем не проявился так наглядно его требовательный, безошибочный вкус, как в том сложном комплексе народных пословиц, причитаний, загадок и песен, властно подчиненных в его творчестве единому идейному замыслу, какой представляют собою некоторые страницы поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Наряду с этим необходимо отметить такие части и главы поэмы, где связь с фольклором почти прекращается. В «Последыше», например, количество фольклорных элементов весьма ограничено, так как, по существу, это — стихотворная повесть бытового характера.

В «Пире на весь мир» народно-песенный стиль сказывается лишь в отдельных отрывках; в основном же повествовании поэт отклоняется от этого стиля, принятого в предыдущих частях, и переходит на нейтральную интеллигентскую речь, причем порою даже те песни, которые вводятся в текст, лишены здесь фольклорного характера (напр., «В минуты унынья, о родина мать»).

Лишь «Крестьянка» почти вся, за исключением второй половины «Пролога», а также третьей главы («Савелий, богатырь святорусский»), построена на материалах фольклора. Большинство этих материалов подверглось творческой переработке Некрасова, и лишь не-

многие (как, например, песня «Ты скажи за что», «Спится мне, младешенькой, дремлется», «Мой постылый муж подымается») введены почти без изменений, в качестве документальных свидетельств о жизни крестьянской женщины. Здесь зависимость фольклорных элементов от идейных задач, от тематики представлена особенно наглядно. Именно стремление дать свод подлинных, неопровержимых свидетельств о безрадостной женской судьбе и заставило Некрасова построить эту обширнейшую часть своей поэмы почти исключительно на материалах тех песен, причитаний и плачей, которые в течение веков создавались крестьянскими женщинами. Чуждый стилизаторских целей, Некрасов и здесь, как везде, использовал устное народное творчество ради достижения идейных задач.

В первой главе («До замужества») поэтом использованы главным образом свадебные заплачки и причеты, записанные П. Н. Рыбниковым в Вытегре, Пудоже и других местностях Олонецкого края. «По избам обряжаются», «Спасибо жаркой баенке», «Чужая то сторонушка», «Обвеют ветры буйные», «Ах, что ты парень в девице», «Велел родимый батюшка», — все эти фрагменты «Крестьянки», отмеченные здесь начальными строчками, основаны на вышедших в 1861—1866 гг. сборниках Рыбникова. (См. издание «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», изд. 2, М., 1910, т. III, стр. 26—27, 33—34, 62—69, 79, 86, 90—93.)

Вторая глава «Крестьянки» («Песни») основана главным образом на сборниках Даля и Рыбникова, песня же «Мой постылый муж» взята Некрасовым из этнографических материалов Вл. Александрова «Деревенское веселье в Вологодском уезде» («Современник», 1864, № 7, стр. 189). Впрочем, песня могла быть известна ему из «Народных песен Вологодской и Олонецкой губерний», собранных Ф. Студитским (СПб., 1841, стр. 29), не говоря уже о том, что он мог слышать ее в крестьянской среде во Владимирской, Новгородской, Костромской или Ярославской губерниях. Для песни «У суда стоять» Некрасов использовал записи четырех фольклористов (См. указ. сборник Рыбникова, стр. 7 и 165; указ. сборник Даля, стр. 416; «Русские народные песни», собранные П. В. Шейном, М., 1870, стр. 333 и 334; сборник песен Самарского края, сост. В. Варенцовым, СПб., 1862). Ср. также отрывок поэмы, начинающийся строкой: «Как писаный был Дёмушка», с песней, записанной Рыбниковым в Петрозаводском уезде: «Как у этого млада сына отэцкого» (Рыбников. Т. III, стр. 38).

В прологе и в первых трех главах «Крестьянки» почти нет никаких отголосков замечательной книги Е. В. Барсова «Причитания Северного края», вышедшей незадолго до того, как поэт приступил к работе над «Крестьянкой». Этот замечательный сборник, составленный главным образом из похоронных, надгробных и надмогильных плачей знаменитой олонецкой вопленицы Ирины Федосовой, был событием тогдашней фольклористики. В журнале Некрасова его встретили очень сочувственно: в ноябрьской книге «Отечественных Записок» за 1872 г. появились «Литературные и журнальные заметки» Н. К. Михайловского, первые страницы которых были посвящены этим плачам. В статье приводились обширные выписки из сборника Барсова: «Как приедут дохтура да славны лекари», «Как наедет мировой когда посредничек», «Нету душеньки у них да во

белых грудях» и т. д. Характерно, что именно эти стихи были использованы Некрасовым в IV главе «Крестьянки» («Демушка»), наряду со многими другими, взятыми из того же источника. Они вполне соответствовали революционно-демократическому направлению поэзии Некрасова, в них он нашел те мотивы фольклора, которые теснее всего были связаны с проблематикой крестьянского протеста и гнева. И в «плаче о старосте» («Вы падите-тко, горючи мои слезушки»; «Как наедет мировой когда посредничек»; «Да ты чином-то своим не возвышайся-ка), и в «Плаче о попе, отце духовном» («Пришел староста теперь да со рассыльныим»), и в «Плаче по убитом громом-молнией» («Приедут как судьи неправосудные») Некрасов услышал крестьянские проклятья и жалобы, вызванные буйной жестокостью «злодийных» деревенских «начальников». Вся четвертая глава «Крестьянки» построена на этих обличительных народных стихах (см. Е. В. Барсов. Причитанья Северного края. М., 1872, т. I, стр. 249—250, 282—283, 285—287, 297).

Но не только плачи Ирины Федосовой внес в свою поэму Некрасов. В книге Барсова, в отделе «Сведения о вопленицах, от которых записаны причитания», имеется биография сказительницы, рассказанная ею самою. Из ее прозаической речи, богатой словесными орнаментами, Некрасов внес в повествование Матрены Корчагиной такие строки:

1

Я грамотой не грамотна
Да памятью я памятна[1]

2

Да не в лесу родилася,
Не пеньям я молилася

3

Как зыкнула, как рыкнула

(Ср. Барсов, стр. 314, 315 и 318). Впрочем, можно не сомневаться, что второй из приведенных отрывков был известен поэту и раньше (см., напр., Ф. И. Буслаев. «Русские пословицы и поговорки». — Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачевым, книга вторая, половина вторая. М., 1854), где имеется один из вариантов этой же крестьянской поговорки.

Недавно в научной литературе было высказано предположение, что некоторыми своими частями записанная Барсовым автобиография Ирины Федосовой легла в основу жизнеописания Матрены Корчагиной в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (К. В. Чистов. Некрасов и сказительница Ирина Федосова. — Научный бюллетень Ленинградск. университета, № 16—17, стр. 41—42).

Приведенные К. В. Чистовым сопоставления текстов Некрасова с соответствующими выдержками из автобиографии Ирины Федосовой не всегда подтверждают предположение исследователя, но одна указанная им параллель не вызывает сомнений:

---

[1] Это двустишие в окончательный текст не вошло.

Ирина Федосова
Бог ли понесет с воли да в подневолье, — ответила я. —
Нет уж, как хошь, надо идти,
мы такую даль ехали... Иди,
говорит, не обижу...
(Барсов, стр. 318)

Матрена Корчагина
«Я в подневолье с волюшки,
Бог видит, не пойду».
— Такую даль мы ехали!
Иди! — сказал Филиппушка. —
Не стану обижать! —
(Некрасов)

Однако, как указано выше, основным материалом, привлеченным Некрасовым для жизнеописания Корчагиной, явились многочисленные народные песни, рисующие тяжкую долю крестьянки. Можно сказать, что вся биография Корчагиной, за исключением двух-трех эпизодов, продиктована ему этими песнями, которые затем и воспроизводятся им, чтобы читатель вполне уяснил себе, что говорит сам народ о трагической судьбе русской женщины.

Для последней главы («Бабья притча») Некрасов собственноручно сделал следующую выписку из сборника Е. В. Барсова, сохранившуюся среди рукописей «Крестьянки»:

«Происхождение горя общественного. Случилось ловцам изловить в Океане рыбу — Хвост у рыбы будто лебединый; голова козлиная, распороли рыбу: множество песку ею проглочено, да еще были сглонуты ключи позолоченные: прилагали ключи к божиим церквам и к торговым лавочкам, но они приладились только к тюрьмам заключенных. Не поспели отпереть дверей, как

С подземелья злое горе разом бросилось,
Черным вороном в чисто поле слетело
И само тут, злодийно, выхвалялося,
Што тоска буде крес<тьянам> неудольная
Подъедать стало уд<алых> добрых молодцев.
Много прибрало семейных головушек,
Овдовило честных мужних молодыих жен,
Обсиротило сиротных малых детушек...
С того мор пошел на скотинушку,
Зябель на хлебушки
<Смуть и горе на добрых людей>

(Ср. Е. В. Барсов. Причитанья Северного края. Стр. 290—291).

Вообще следы тщательного изучения фольклора встречаются в черновиках этой части нередко. Воспроизводим по копии А. Я. Максимовича следующий автограф Некрасова на лл. 118—119 (на развороте «Крестьянки»):

Несчастье:

Впереди летит — ясным соколом,
Позади летит — черным вороном,
Впереди летит — не укатится,
Позади летит — не останется...

Дитя умерло — укатилося:

К красну солнышку — на пригревушку,
К ясну месяцу на придрокушку.

Смерть:

Дороженька бесповоротная,	[Он ушел в бесповоротную
Туда ветер не доносится —	Неизвестную дороженьку,
Лютый зверь не дорыскивает,	Куда ветер не доносится,
Птица не залетает.	Не дорыскивает зверь —]

Пролог. По мнению некоторых современных исследователей, сюжетная схема «Пролога» имеет много общего со сказкой о «Правде и кривде», находящейся в сборнике А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» (М., 1859—1863, вып. № 66). Предполагается, что скатерть-самобранку Некрасов заимствовал из сказки «Королевич и его дядька», напечатанной в том же сборнике (№ 67а). При этом не раз называют определенную сказку, из которой Некрасов будто бы заимствовал образ говорящей птицы и т. д., и т. д., и т. д. (см. И. Кубиков. Комментарии к поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М., 1933, стр. 14—16). Указывают, что самый вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?» Некрасов будто бы взял из былины «О птицах», опубликованной в «Песеннике» 1780 года, а также в «Песнях», собранных П. Н. Рыбниковым (М., 1861, т. I, стр. 485) (Е. Базилевская. Из творческой истории «Кому на Руси жить хорошо». — «Звенья». М.-Л., 1935, кн. V, стр. 451—466).

Все эти предположения кажутся нам недостаточно вескими. «Пролог» несомненно является синтезом многих сказочных мотивов великорусского народного творчества, с детства знакомых Некрасову, и выискивать в книжных источниках ту или иную деталь, соответствующую данному тексту «Пролога», значит недооценивать силы великого мастера, органически связанного с народной стихией.

Мы считаем совершенно ошибочным предположение о том, что, если бы Некрасов не познакомился со сказкой о «Кривде и Правде», напечатанной в афанасьевском сборнике, он не заставил бы героев поэмы путешествовать по русской земле, и что, если бы ему была неизвестна былина «О птицах», он не додумался бы до вопроса о том, «кому вольготно, весело живется на Руси». Тесно связанный с крестьянскими массами, Некрасов был таким знатоком народных образов, народного мышления, что когда, например, он вводил в свой «Пролог» фольклорную цифру семь («семь временно обязанных», «слеталося семь филинов», «с семи больших дерев»), это вовсе не значило, что он взял эту цифру из какой-то сказки, помещенной в таком-то издании.

Семь временно обязанных. — Крестьяне, которым в 1861 году была дарована «воля», были обязаны работать на своих прежних помещиков до 1863 года: в 1863 году были выработаны уставные грамоты, определяющие, какую плату за свой земельный надел должен платить государству каждый «освобожденный» крестьянин. Считалось, что после того, как крестьяне станут уплачивать этот налог, они из временно обязанных перейдут в разряд «крестьян собственников».

Первая часть.

Глава I. Поп. Священник, беседующий с крестьянами в этой главе, резко отличается от других представителей сельского духовенства, как их обычно изображал в своих стихотворениях Некрасов. Ср., напр., доцензурный вариант «Пьяной ночи»:

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Глядишь — стоят три дольщика:
Поп, царь и господин.

Священник, выведенный в этой главе, так гуманен и совестлив, что ему самому тяжела его роль паразита, благодаря чему Некрасов получает возможность изобразить его устами нужду и скорбь «освобожденной» деревни.

Когда же поэту понадобилось изобразить типичного деревенского «пастыря», он дал в главе «Демушка» отталкивающий образ корыстного и бездушного служителя церкви, вполне солидарного с теми чиновниками, которые творят свой неправедный суд над крестьянкой.

Строки о неуважительном отношении русского крестьянства к служителям культа, повидимому, тесно связаны с соответствующим местом знаменитого письма Белинского к Гоголю: «Неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете?» (В. Г. Белинский. Письма. СПб., 1914, т. III, стр. 233).

Ой, избы, избы новые, нарядны вы, да строит вас не лишняя копеечка, а кровная нужда. — Речь идет об избах, построенных после пожара (см. ниже, гл. «Пьяная ночь»). *Какой ценой поповичем священство покупается.* — Окончивший семинарию попович мог получить место умершего или уволенного священника лишь в том случае, если женился на его дочери. *Законы, прежде строгие к раскольникам, смягчилися.* — Царское правительство строго преследовало так называемых раскольников — религиозную секту, отколовшуюся от государственной церкви. Дела о раскольниках были в ведении церковных властей. При Александре II этими делами стала ведать гражданская власть, предоставившая раскольникам некоторые права (в 1864 г.). *А с ними и поповскому доходу мат пришел.* — До 1864 г. раскольники давали православному духовенству обильные взятки за то, что оно в своих лживых отчетах начальству свидетельствовало, будто те выполняют обряды государственной церкви. *Воздухи* — вышитые платки, которыми в православных церквах покрываются «священные» сосуды. *Треба* — церковный обряд (крещение, венчание, отпевание и т. д.).

Глава II. Сельская ярмонка. Изображая пореформенную деревню 60-х годов, Некрасов счел необходимым отметить появление в ней новой категории людей, выходцев из интеллигентской среды, участливо изучающих крестьянскую жизнь. В «Сельской ярмонке» эти народолюбцы представлены в образе Павлуши Веретенникова, странствующего по деревням для собирания народных пословиц и песен:

Похвалит Павел песенку, —
Пять раз споют, записывай.
Понравится пословица —
Пословицу пиши!

Именно в те годы, когда писалась поэма, русская фольклористика выдвинула таких замечательных собирателей устных произведений народа, как А. Ф. Гильфердинг, П. Н. Рыбников, П. В. Шейн, Е. В. Барсов, П. И. Якушкин, И. Г. Прыжов, С. В. Максимов и др. Некрасов высоко ценил их труды. Судя по черновикам «Сельской ярмонки», в лице Павла Веретенникова он намеревался вывести одного из таких фольклористов, П. И. Якушкина, с которым был близко знаком:

Лицо его дворянское
(Лица не переделаешь)
Им, впрочем, примелькалося
На постоялых двориках.
В харчевнях, в кабаках
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддевочку суконную,
Смазные сапоги.

Портретность этого изображения несомненна. Якушкин действительно происходил из старинной дворянской семьи. Судя по воспоминаниям его друзей и знакомых, он действительно «ходил мужиком» — в кумачевой рубахе, в черной суконной поддевке и в худых крестьянских сапогах. Харчевни и кабаки были для него действительно излюбленным местом сближения с народом (см. воспоминания о нем Н. С. Лескова, Д. Д. Минаева, П. Д. Боборыкина, Н. С. Курочкина и друг., приложенные к книге: П. И. Якушкин. Сочинения. СПб., 1884). В черновиках «Сельской ярмонки» указана еще одна черта, сближающая Веретенникова с Павлом Якушкиным:

Лицо его корявое
Крестьянам примелькалося...

Собирая народные песни, Якушкин, как известно, заразился «в спопутной деревне» оспой, следы которой остались у него на лице (там же, стр. IX).

Некрасов дружески относился к Якушкину, заботился об улучшении его бытовой обстановки, печатал в «Современнике» его лучшие вещи, в том числе замечательный очерк «Велик бог земли русской», где дана резко отрицательная оценка крестьянской реформы.

Многие писали о Павле Якушкине, как о безидейном этнографе, чуждом политической борьбы 60-х годов (см., напр., воспоминания Н. С. Лескова и В. О. Португалова в той же книге, стр. XI—XII и XCIV). Но очерки, помещенные им в «Современнике», свидетельствуют о его близости к революционно-демократическому лагерю. Столь же близок к этому лагерю был другой этнограф 60-х годов, П. Н. Рыбников, собиравший песни и былины Онежского края. Поэт в одном из первых вариантов намеревался назвать своего героя фамилией исследователя:

Сказал тот барин Рыбников.

Тот отрывок из «Сельской ярмонки», где говорится о желанной поре, когда крестьянам станут доступны такие писатели, как Белин-

ский и Гоголь, был использован В. И. Лениным в статье «Еще один поход на демократию», направленной против либерала Щепотьева, который в кадетском журнале «Русская мысль» назвал 1905 год «тревожным и беспокойным», «сплошь запутанным». Возмущенный столь циничной оценкой этой великой эпохи, В. И. Ленин напомнил высказывание «одного из старых русских демократов», Некрасова: «Некрасов восклицал в давно-давно прошедшие времена:

... Придет ли времячко
(Приди, приди, желанное!),
Когда народ не Блюхера
И не милорда глупого, —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Желанное для одного из старых русских демократов «времячко» пришло. Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную торговлю — демократической дешевой брошюрой. Демократическая книжка стала базарным продуктом. Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси, — была пропитана сплошь эта новая базарная литература... Какое «беспокойство!» — воскликнула мнящая себя образованной, а на самом деле грязная, отвратительная, ожиревшая, самодовольная либеральная свинья, когда увидала на деле этот «народ», несущий с базара... письмо Белинского к Гоголю» (В. И. Ленин. Еще один поход на демократию. Сочинения. 3 изд., т. XVI, стр. 132).

Когда в 1918 году в Ленинграде молодая советская власть организовала в условиях блокады и гражданской войны Литературно-издательский отдел (при Народном Комиссариате по просвещению) для печатания и распространения в народе (кроме политической литературы) сочинений Гоголя, Белинского, Чернышевского, Льва Толстого, Тургенева, Чехова, на каждой книге, выпущенной этим первым советским издательством, был напечатан тот же отрывок из некрасовской «Сельской ярмонки», который цитировал Ленин в вышеприведенной статье.

Теперь среди некрасовских черновиков обнаружен другой вариант этих замечательных строк:

Эх, эх, придет ли времячко,
Когда (приди, желанное)...
Швырнув под печку Блюхера,
Милорда беспардонного
И подлого шута,
Крестьянин купит Пушкина,
Белинского и Гоголя —
На кровный купит грош...

Имя Пушкина — здесь не случайность. Некрасов оставался верен своему всегдашнему благоговению пред Пушкиным. «Поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину, — обращался он к молодежи в 1855 году, — и если бог дал вам талант,

идите по следам Пушкина, стараясь сравняться с ним, если не успехами, то бескорыстным рвением по мере сил и способностей к просвещению, благу и славе отечества!» (ЛН, стр. 263—264).

Никола Вешний — 22 мая (9 мая по стар. ст.). *Шлыки* — крестьянские шапки. *Штофные лавочки* — ларьки, торгующие водкой. *Ренсковый погреб* — подвальное помещение, где торгуют виноградными винами. *Подол на обручах* — модная женская одежда 60-х годов: «кринолин», широкая юбка на стальных обручах, придававших ей вид колокола. *Петров день* — 11 июля (29 июня по стар. ст.). *Косуля* — соха. *Изделья кимряков* — обувь, изготовленная кустарями-сапожниками в с. Кимры (бывш. Тверской губ., ныне Калининской обл.). *Офени* — странствующие торговцы. *С Лубянки — первый вор!* — Оптовая торговля лубочной литературой в Москве производилась главным образом на Лубянке (ныне площадь Дзержинского). *Блюхер* (1742—1819) — прусский фельдмаршал, участник битвы под Ватерлоо в 1813 году. *Архимандрит Фотий* (1792—1838) — монах-священник, воинствующий мракобес. *Сипко* — преступник, судившийся в 1860 г. за изготовление фальшивых ассигнаций. *Балакирев* — придворный шут Петра I. «Собрание анекдотов о Балакиреве» было популярной лубочной книжкой. *«Английский милорд»* — «Повесть о приключениях английского милорда Георга», сочинение Матвея Комарова. Впервые напечатано в 1792 году.

Глава III. Пьяная ночь. В центре этой главы — образ бедняка-крестьянина Якима Нагого и его страстная речь в защиту трудового крестьянства.

Как видно из черновых набросков, Некрасов первоначально намеревался изобразить в качестве этого защитника крестьян — фабричного рабочего:

Фабричный кудри русые
Встряхнул, окинул с валика
Очами соколиными
Шумящую толпу
И крикнул зычным голосом:
«Ой, царство ты мужицкое!
Гуляй, коли гуляется,
Шуми, шуми вольней!»

Далее в рукописи следовал тот дифирамб героическому труду «мужиков», который в окончательной редакции произносит Яким Нагой. Из слов этого фабричного явствовало, что он принадлежал к тому слою рабочих, который еще не оторвался от деревни и не отделяет свои интересы от интересов крестьян.

Плетюх — большая корзина.

Глава IV. Счастливые. Упоминаемый в этой главе праведный бурмистр Ермил Гирин был первоначально изображен Некрасовым в прозаической повести «Тонкий человек» (1853) под именем Потанина, мудро управляющего обширным имением. Имение в повести тоже называлось Адовщина. Сравнивая повесть с поэмой, мы находим в иных местах почти буквальные совпадения текста.

В поэме:

— Каким же колдовством
Мужик над всей округою
Такую силу взял?
— Не колдовством, а правдою!

В повести:

«— Что ж, он колдовство какое знает, по-твоему? Простой мужик... а получше немца управляет!.. Чем он вам так страшен?

— Чем страшен? Правдой страшен! — резко сказал ямщик. — Да правдой же и люб!»

В повести, как и в поэме, родственник бурмистра попадает по рекрутскому набору в солдаты, но в поэме бурмистр, при всей своей преданности интересам крестьян, кривит душой ради спасения родственника, а в повести он остается верен своему гражданскому долгу.

Слово *Адовщина* в повести толкуется так: «Вишь ты, раскольников у них много. Ну, спокон веку так и прозвали адовщина да адовщина немрущая». В подстрочном примечании к повести Некрасов сообщает, что праведный Потанин списан им с натуры: поэт видел такого бурмистра в одном из уездов Владимирской губернии (Н. Некрасов. Тонкий человек. М., 1929, стр. 67 и 78).

История с покупкой мельницы тоже основана на подлинном факте: в «Отчете о современном положении раскола» П. И. Мельников-Печерский еще в 1854 г. описал, как богатый нижегородский раскольник Петр Егорович Бугров, «многократный миллионер», за полчаса до переторжки о казенном подряде на перевозку соли из оптовых магазинов, «опрометью бросился на нижний базар и там, сказав торговцам: «Братцы, давайте денег скорее», снял перед ними свой малахай. Через четверть часа в малахай было накидано 20 000 рублей серебром, с которыми Бугров поспел на переторжку во-время, и поставка осталась за ним» (П. Усов. П. И. Мельников, его жизнь и литературная деятельность. Предисловие к I тому Полного собр. соч. П. И. Мельникова (Андрея Печерского). СПб.-М., 1897, стр. 154).

Впоследствии Мельников-Печерский изобразил Бугрова в романе «В лесах» под именем Потапа Чапурина и рассказал тот же случай в первой главе романа (Полное собр. соч. П. И. Мельникова (Андрея Печерского), т. II, СПб., 1909, стр. 8). Но между Гириным и Бугровым-Чапуриным огромная разница: один всю жизнь служил интересам народа, а другой — богатый кулак-спекулянт.

Рассказ о Ермиле Гирине заканчивается кратким упоминанием о бунте «раскрепощенных» крестьян:

Как взбунтовалась вотчина
Помещика Обрубкова,
Испуганной губернии,
Уезда Недыханьева,
Деревня Столбняки.

Крестьянские волнения после реформы 1861 г., обманувшей ожидания народа, приняли массовый характер. «Великая реформа, — говорит В. И. Ленин, — не могла быть приведена в исполнение без

помощи военных экзекуций и расстреливания крестьян, отказавшихся принимать уставные грамоты» (В. И. Ленин. Сочинения. 3-е изд., т. IV, стр. 101).

По официальным (сильно преуменьшенным) данным, за два года — 1861 и 1862 — было 1172 случая волнений и беспорядков, из них 797 случаев потребовали для усмирения военной силы. Волнениями было охвачено 2607 селений (А. Попельницкий. Как принято было Положение 19 февраля крестьянами. — «Современный Мир», 1911, № 2, стр. 223; см. также: И. Игнатович. Волнения помещичьих крестьян от 1854 по 1863 г. — «Минувшие Годы», 1908, № 7, стр. 81—92).

Возможно, что именно к одному из тогдашних крестьянских волнений относится тот эпизод, который записан Некрасовым на одном из черновых листов поэмы:

«Не давая пахать оттягиваемой земли, кр<естьяне> ложились в борозды, где должна была проходить соха».

Характерно, что Некрасов (несомненно под влиянием цензуры) оборвал на полуслове речь священника, рассказывающего в этой главе о восстании крестьян. К той же теме он вернулся в следующей главе («Помещик»), но опять-таки в немногочисленных беглых строках:

Да иногда пройдет
Команда. Догадаешься:
Должно быть, взбунтовалося
В избытке благодарности
Селенье где-нибудь!

Более подробно развить эту тему Некрасов в то время не мог. Лишь через тридцать лет после смерти поэта в печати могли появиться его стихи, изображающие жестокие методы, при помощи которых правительство Александра II обычно усмиряло крестьян (См. стих. «Бунт»).

Вертоград — сад, виноградник. Церковно-славянское выражение «вертоград Христов» означает рай. *Пеуны* — петухи. *Бургонское, токайское, венгерское* — дорогие сорта виноградных вин. *Трюфели* — редкие грибы. *Кострика* — древесина льна и конопли. *Губонин Петр Ионович* — железнодорожный делец, миллионер (о нем смотри примеч. на стр. 579). *Палата* — казенная палата, орган министерства финансов, ведавший государственным имуществом и строительной частью. *Лобанчики* — золотые монеты. *Ассигнации* — бумажные денежные знаки. *Гривна* — старинная медная монета. *Жандармский корпус* — особая войсковая часть, находившаяся в ведении тайной полиции. *Трешник* — копейка. *Семишник* — две копейки. *Кутейники* — прозвище служителей церкви. *Денник* — сарай.

Глава V. Помещик. *Венгерка с бранденбурами* — короткая куртка, расшитая шнурами. *Борзовщики* — охотники, стерегущие зверя с борзыми собаками. *Выжлятники* — старшие псари. *Варливаром гончие* — см. примеч. Некрасова в стих. «Псовая охота», том I наст. издания. *Двунадесятый праздник* — один из двенадцати главных церковных праздников. *Поляки пересыльные* — сосланные царским правительством в Сибирь за участие в польском восстании 1863 года. *Посредники* — мировые посредники, на которых возло-

жено было упорядочение отношений между «освобожденными» крестьянами и помещиками.

Крестьянка

Глава I. До замужества. *В день Симеона* — 14 сентября (1 сентября по стар. ст.). *Наян* — нахал. *Гарнитур* (правильно: гродетур) — плотная шелковая ткань.

Глава II. Песни. *Екатеринин день* — 7 декабря (24 ноября по стар. ст.). *Благовещенье* — 7 апреля (25 марта по стар. ст.). *«Казанская божья матерь»* — 21 июля (8 июля по стар. ст.) — церковный праздник.

Глава III. Савелий, богатырь святорусский. *Под Варною убит.* — Во время русско-турецкой войны 1828 года при взятии крепости Варна на берегу Черного моря.

Глава IV. Демушка. Решаемся высказать предположение, что весь эпизод с Демушкой возник у Некрасова на основе соответствующих причитаний Ирины Федосовой, у которой в «Плаче по убитом громом-молнией» изображается враждебное отношение крестьян к насильственному медицинскому вскрытию:

Приедут как судьи неправосудныи,
Будут патрошить надежную головушку,
По частям резать по мелкиим кусочикам;
Как распорют его грудь да эту белую,
Как повынут то сердечушко ретливое,
У тебя тут у печальной у головушки
Обмирать да стане зяблая утробушка,
Буде жаль тошно надежнои головушки.
Ты послушай же, спорядная суседушка:
Не жалий, бедна, любимоей покрутушки.
Заложи — снеси крестьянину богатому,
Ты проси да золотой казны по надобью,
Запродай свою любимую скотинушку,
Набери да золотой казны бессчетнои;
Как приедут дохтура да славны лекари,
Как со этого со города Петровского,
Попроси да, бедна, добрыих ты людушек,
Своих сельских проси, бедна, начальничков,
Писарев проси победна хитромудрыих,
Штоб вступились по победнои головушке,
Уговорили б дохтуров да оны лекарей,
Задарили б золотой казной бессчетнои,
Штоб надеженьку твою не патрошили,
Штобы белой его груди не пороли,
Штоб сердечушка его не вынимали,
Штоб назолушки тебе не надавали,
Штобы придали ко матушке сырой земле
Телеса-то бы его да без терзания.

(Е. В. Барсов. Причитанья Северного края. М., 1872, ч. I, стр. 249—250).

Глава V. Волчица. *В рот яблока до Спаса не беру.* — Спас — народное название церковного праздника («Преображения господня»,

19 августа (6 августа по стар. ст.). Есть яблоки до Спаса считалось грехом.

Глава VII. Губернаторша. *Чей памятник? «Сусанина».* — Памятник Ивану Сусанину в Костроме. *Шандал* — подсвечник.

Глава VIII. Бабья притча. *У гроба Иисусова молилась.* — Гроб Иисуса Христа, по христианским легендам, находится в Иерусалиме. *Гора Фавор и река Иордань (в Палестине)* — места, связанные с евангельскими легендами о жизни Иисуса Христа.

Последыш. Когда «Последыш» появился в печати, критики реакционного лагеря заявили в своих статьях и рецензиях, что Некрасов изобразил фантастический случай, ибо в России будто бы не было и быть не могло таких «бессмысленных <!> анекдотов» и «невозможнейших <!> фарсов». (А<всеенко>. Реальнейший поэт. — «Русский Вестник», 1874, № 7, стр. 440—441).

Между тем, если судить по мемуарам, относящимся к эпохе крестьянской реформы, сюжет «Последыша» весьма недалек от тогдашней действительности. Нечто подобное было, например, в селе Шуколове, Дмитровского уезда, Московской губернии. В 1861 г. владелица этого села долго скрывала от своего мужа, разбитого параличом, факт «освобождения» крестьян. Живший в той местности декабрист А. В. Поджио писал об этом случае так: «Во избежание вторичного, окончательного паралича, она <помещица> скрывает от него <своего мужа> случайную эмансипацию <т. е. освобождение крестьян>, и ежедневно счастливый еще помещик отдает попрежнему приказания старосте: «завтра — сгон, собрать баранов, баб не спускать» и пр. (Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. М., 1897, стр. 111).

Но, конечно, дело не в правдоподобии этого частного случая, а в точном изображении того общего факта, который нашел в нем свое воплощение, — той «вражды-войны» между «раскрепощенными» крестьянами и их господами, которая вскрыта в «Последыше». Чувства крестьян к помещику выразились здесь наиболее отчетливо в следующей крестьянской шутке:

«В кромешный ад провалимся, —
Так ждет и там крестьянина
Работа на господ!»
— Что ж там-то будет, Климушка? —
«А будет что назначено:
Они в котле кипеть,
А мы дрова подкладывать».

Рептильный журналист В. Г. Авсеенко, пресмыкавшийся перед крупным дворянством, в своей только что цитированной статье о Некрасове заявил по поводу этих стихов: «люди, мало-мальски знакомые с нашими крестьянами, позволят себе усомниться, чтобы их отношения к дворянам были до такой степени проникнуты злобною ненавистью, как это кажется г. Некрасову» (там же, стр. 450).

Между тем эти стихи воспроизводят подлинную поговорку крестьян, издавна существующую в русском фольклоре. Еще в 60-х годах среди народных пословиц, собранных В. И. Далем, была опу-

бликована следующая: «Мы и там служить будем на бар: они будут в котле кипеть, а мы будем дрова подкладывать» (Вл. Даль. Пословицы русского народа. М., 1862, стр. 789).

Таким образом, дело не в том, что Некрасов описал в «Последыше» якобы редкостный случай, а в том, что житейские отношения, на почве которых этот случай возник, были обыденными реальными фактами. После «великой реформы» взаимная ненависть крестьян и помещиков, вопреки надеждам либералов, дошла до крайнего ожесточения, и здесь заключается главная тема «Последыша». Именно поэтому цензурное ведомство отнеслось к «Последышу» с особенной строгостью: от цензуры не укрылось стремление Некрасова разоблачить тот обман, при помощи которого наследники старого князя, принадлежавшие к пореформенному поколению помещиков, ограбили «освобожденных» крестьян.

Петровки — Петров день — 11 июля (29 июня по стар. ст.). *Шапка белая высокая, с околышем из красного сукна* — общедворянская форменная фуражка. *Уставная грамота* — документ, определяющий отношения между помещиком и крестьянами, «освобожденными» манифестом 1861 г. *«Положение»* — «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», законодательные акты об «освобождении» крестьян. *Фалетур* — форейтор, верховой, правящий передней лошадью при запряжке цугом. *Хазовый* (казовый) — конец ткани, вытканный особенно чисто, оставляемый в куске сверху, напоказ. *Георгия победоносца крест* — давался в царской России в награду за военные подвиги. *Курьерская подорожная* — документ, дававший право военным курьерам получать лошадей на казенных почтовых станциях вне очереди.

Пир на весь мир. Некрасов писал «Пир на весь мир» во время предсмертной болезни, в 1876—1877 гг. Судя по рукописям этих стихов, он тогда же проектировал дальнейшее развитие сюжета и намечал новую часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо», которая должна была явиться продолжением «Пира на весь мир».

Так как, в соответствии с демократическим подъемом 70-х годов, «Пир на весь мир» отличается от прочих частей поэмы явно выраженной революционной направленностью, цензура отнеслась к нему более враждебно, чем ко всем предыдущим частям.

По словам цензора Н. Е. Лебедева, поэт выставил в своем произведении «в самых мрачных красках всевозможные страдания мужика, весь ужас прежнего рабского его положения, весь безграничный произвол помещичьего права...

Рисуемые поэтом картины страданий с одной стороны и произвола с другой превосходят всякую меру терпимости и не могут не возбудить негодования и ненависти между двумя сословиями» («Голос Минувшего», 1918, № 4—6, стр. 97).

Председатель цензурного комитета А. Г. Петров потребовал, чтобы та книга «Отечественных Записок», где печатался «Пир на весь мир», была немедленно подвергнута аресту. Спасая журнал, издатель А. А. Краевский еще до выхода в свет этой книги изъял из нее поэму Некрасова. Для поэта это было тяжелым ударом. По словам его сестры, он «послал за цензором Петровым и битых два часа доказывал ему всю несообразность таких на него нападков. Он

указывал на множество мест в предшествовавших частях той же поэмы, которые, с точки зрения цензоров, скорее могли бы были подвергнуться запрещению; разъяснял ему чуть не каждую строчку в новой поэме, то подсмеиваясь над ним ядовито, то жестоко пробирая и его и клику». Но «Петров пыхтел, сопел и отирал пот с лица, как после жаркой бани, и только по временам мычал отрывистые фразы: «да успокойтесь, Николай Алексеевич» или «вот, поправитесь, переделаете — тогда и пройдет» (Автобиографии Некрасова. — ЛН, стр. 174—175).

Через несколько дней Салтыков-Щедрин в письме к П. В. Анненкову сообщал о поэте (25 ноября 1876 года): «...Этот человек, повитый и воспитанный цензурой, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невыносимых болей написал поэму, которую цензура и не замедлила вырезать из 11-го №. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека. К сожалению, и хлопотать почти бесполезно: все так исполнено ненависти и угрозы, что трудно даже издали подступиться. А поэма замечательная: в большинстве довольно грубая, но с проблесками несомненной силы. Вот ежели бы был стыд, то этого бы не сделали хоть ради того, что человек тридцать лет служит литературе и имеет имя...» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч., М., 1939, т. XIX, стр. 82).

Доктор Белоголовый, лечивший в ту пору Некрасова, приводит в своих воспоминаниях следующие слова Некрасова о цензурных мытарствах «Пира на весь мир». «Вот оно, наше ремесло литератора! когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами; прошло с тех пор 37 лет, и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение и опять-таки сталкиваюсь с теми же ножницами!» Как ни старались успокоить его друзья, он очень горячился и несколько раз принимался за переделки поэмы, пользуясь короткими промежутками между страшными болями и записывая стихи на отдельных листах бумаги» (Н. А. Белоголовый. Воспоминания. М., 1897, стр. 451).

Переделав «Пир на весь мир» и устранив те места, против которых восставало цензурное ведомство, Некрасов сделал новую попытку напечатать поэму, причем в песню о «доле народа» вставил в угоду цензуре две строчки, прославляющие Александра II:

Славься, народу
Давший свободу!

Но поэма попрежнему оставалась «исполненной угрозы и ненависти», и цензура снова вырезала «Пир на весь мир» — из декабрьской книги журнала. Поэт снова пригласил к себе председателя цензурного комитета и продолжал настаивать, чтобы ему разрешили печатание «Пира». Петров, со своей стороны, умолял поэта пожалеть <!> цензоров, которые пострадают на службе, если разрешат его стихи:

— Не лишайте нас куска хлеба, — говорил он поэту, — мы люди семейные. Не водружайте свои стихи на развалинах нашего существования. Завершите свое поприще добрым <!>делом; отложите печатание этих стихов («Современник», 1913, № 1, стр. 229).

Получив от Ф. М. Достоевского ошибочную информацию, будто начальник главного управления по делам печати В. В. Григорьев считает возможным печатание «Пира на весь мир», Некрасов обратился к Григорьеву с письмом, где просил отменить запрещение цензора:

«Я, — говорил он в письме, — принес некоторые жертвы цензору Лебедеву, исключив солдата и две песни, но выкинуть историю о Якове, чего он требовал под угрозою ареста книги, не могу, — поэма лишится смысла... Уродливости, до которой доведено крепостное право, с тем и приведены, чтобы ярче выделить благодеяние отмены его. Неужели поэма подлежит искажению за то, что в ней есть мрачные песни и картины, относящиеся к крепостной эпохе? Но зато в ней есть и светлые перспективы. Решение зависит от вашего превосходительства. Я же, признаюсь, жалею и тех мест, на исключение которых согласился, — я сделал это против убеждения» (Собр. соч., т. V, стр. 579).

Григорьев не согласился с этим истолкованием поэмы, и «Пир на весь мир» остался под цензурным запретом.

Но в январе 1881 г., т. е. через три года после смерти Некрасова, Салтыков-Щедрин, воспользовавшись временным облегчением цензурного гнета, снова представил это стихотворение в цензуру. На посту начальника главного управления по делам печати находился сменивший Григорьева Н. С. Абаза, который и выразил Салтыкову готовность дать разрешение на печатание «Пира». «Пир» снова был представлен тому же цензору Лебедеву, и на этот раз Лебедев не возражал против опубликования тех же стихов, которые он сам запретил. «Пир» появился в февральской книге «Отечественных Записок» 1881 г. в сильно искаженном и урезанном виде, причем в тексте были сохранены указанные выше две строки, написанные поэтом против своей воли.

Сестра поэта, увидев эти строки в корректуре, сообщила Салтыкову, что они были написаны «покойным братом со скрежетом зубов, — лишь бы последнее дорогое ему детище увидело свет», и просила вычеркнуть их из журнала. Но Салтыков не мог исполнить ее просьбу: «во-первых, потому, что поэма уже отпечатана, а во-вторых, и потому, что она в этом виде была у Абазы» (Письмо М. Е. Салтыкова к Н. К. Михайловскому от 3 февраля 1881 г. — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч., М., XIX, стр. 190—191).

Из текста «Отечественных Записок» были исключены песни «Веселая», «Барщинная», «Солдатская» и большое количество отдельных стихов, причем в редакционном примечании, очевидно, по требованию цензуры, указывалось, будто их исключил сам поэт! В том же 1881 г. появилось в издании сестры поэта первое однотомное собрание «Стихотворений Некрасова», и туда вошел «Пир на весь мир» с теми же цензурными купюрами. «Слава» Александру II осталась и в этом издании.

Нужно ли говорить, что она находилась в резком противоречии со всем содержанием поэмы: недаром в знаменитой притче «О двух великих грешниках» тогдашняя революционная молодежь почуяла призыв к революции.

Обращаясь к начальнику главного управления по делам печати с просьбой о разрешении «Пира на весь мир», Некрасов, естественно, скрыл от него подлинную тенденцию этих стихов. Из тактических соображений он в своем письме указал, что стихи эти будто бы посвящены обличению недавно отмененного рабства и что, таким образом, их основная задача заключается будто бы в том, чтобы «ярче выделить благодеяние отмены его».

Но, конечно, подлинные цели были у Некрасова иные: под прикрытием показного сюжета таился другой сюжет — тот самый, который, по словам Щедрина, был исполнен «угрозы и ненависти». Начать с того, что крестьяне затеяли «Пир на весь мир» по ошибке: они были уверены, что их господа сдержат свое обещание и отдадут им заработанные ими луга:

Крестьяне не предвидели,
Что не луга поемные,
А тяжбу наживут, —

то есть «освобожденные» крестьяне не знали, что их «воля» сопряжена с безземельем. Едва только им стали ясны подлинные перспективы их жизни, —

Пропали люди гордые
С уверенной походкою,
Остались вахлаки,
Досыта не едавшие,
Несолоно хлебавшие,
Которых вместо барина
Драть будет волостной.

Хотя двух последних стихов не было в подцензурной редакции, но и без них было ясно, что после объявления «воли» эти люди остались такими же нищими,

К которым голод стукнуться
Грозит: засуха долгая...
Которым прасол выжига
Урезать цену хвалится
На их добычу трудную.

А если присоединить к этому мрачную «Солдатскую» песню и стихи о деревенском шпионе, из-за которого — уже после реформы — были выпороты десятки «свободных» крестьян, и притчу о Кудеяре, этот явный призыв к беспощадной расправе с насильниками, а также сочувственное изображение революционного агитатора Гриши — станет ясно, как далек подлинный сюжет этой части поэмы от ее внешнего, показного сюжета.

Яснее всего подлинный сюжет вскрывается в третьей главе («И старое, и новое»), из которой явствует, что деревня попрежнему бесправна («вместо барина драть будет волостной»); что она отдана в лапы кулачества («прасол выжига урезать цену хвалится»); что она делается всечасной жертвой правительственных репрессий (на-

меки на подавление восстаний) и что единственное ее спасение — в революционной борьбе, которая здесь воплощается в образе Гриши. (См. С. А. Червяковский. Творческая работа Некрасова над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». — «Труды Горьковского Гос. педагог. института», вып. VIII. Горький, 1940, стр. 29.)

Гениальная песня «Русь», завершающая IV главу «Пира на весь мир», в первоначальном варианте называлась «Песня Петина», потом — «Песня Гришина». Знаменитые слова этой песни:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

— были не раз использованы В. И. Лениным. В статье 1908 г. «Лев Толстой как зеркало русской революции» В. И. Ленин привел эту некрасовскую формулу, чтобы охарактеризовать противоречия русской жизни последней трети XIX века, равно как и противоречия в идеологии и творчестве Л. Н. Толстого (В. И. Ленин. Сочинения. 3-е изд., т. XII, стр. 332). В статье 1918 года «Главная задача наших дней» эти некрасовские слова взяты эпиграфом, и они же проходят через всю статью: «Добиться во что бы то ни стало того, — писал В. И. Ленин, — чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной. Она может стать таковой, ибо у нас все же достаточно осталось простора и природных богатств, чтобы снабдить всех и каждого, если не обильным, то достаточным количеством средств к жизни. У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно обильную и могучую Русь».

Тот же некрасовский образ появляется в конце статьи, где В. И. Ленин говорит о необходимости усвоить передовую технику и наладить высокую организацию труда: «Это как раз то, что требуется Российской советской социалистической республике, чтобы перестать быть убогой и бессильной, чтобы бесповоротно стать могучей и обильной» (В. И. Ленин. Сочинения. 3-е изд., т. XXII, стр. 375—378). Те же строки Некрасова использовал и товарищ И. В. Сталин в своей речи «О задачах хозяйственников» (И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, 1939, стр. 328).

Сергей Петрович Боткин — профессор медицины, знаменитый терапевт, лечивший Некрасова (1832—1889).

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

К NN. Печатается по «Пантеону русского и всех европейских театров», 1841, № 3, стр. 43—44, где появилось впервые.

Принадлежность этого стихотворения Некрасову недавно установлена ленинградским исследователем Д. А. Пахомовым, который высказал при этом вполне правдоподобную догадку, что стихотворение

обращено к сестре поэта Елизавете Алексеевне: она именно тогда выходила замуж за ярославского чиновника С. Г. Звягина, который был значительно старше ее. «Предчувствия поэта оправдались, — пишет Д. А. Пахомов. — Брак был неудачным. Об этом свидетельствуют... относящиеся к Елизавете Алексеевне строки Некрасова из стихотворения «Родина»:

Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...

(«Научный бюллетень Ленинградского университета», 1947, № 16—17, стр. 11).

«Зачем насмешливо ревнуешь». Печатается по автографу. Впервые опубликовано И. Н. Розановым по недостоверному списку в экземпляре Стих 1856, принадлежавшем П. Ефремову (ЛГ, 1938, № 1 от 5 января).

Стихи обращены к А. Я. Панаевой, которая, судя по ее автобиографической повести, действительно нашла под родительским кровом «озлобленных врагов» в лице ее ближайших родных (см. А. Я. Панаева. «Семейство Тальниковых». Л., 1928).

Русскому писателю. Печатается по беловому автографу Солд 2, стр. 114. Впервые — С 1855, № 6, стр. 219.

Одно из первых по времени стихотворений Некрасова, направленных против реакционной теории «искусства для искусства».

Через год после появления этих стихов в журнале Некрасов включил их (в измененном виде) в текст стихотворения «Поэт и гражданин» и вследствие этого никогда не перепечатывал в качестве отдельного произведения ни в одном из своих стихотворных сборников. Но ввиду принципиальной важности этих стихов мы помещаем их в нашем издании независимо от «Поэта и гражданина» — тем более, что в этой первоначальной редакции стихи имеют другую смысловую окраску и являются самостоятельным целым.

Судя по черновикам, стихи вначале входили в состав другого стихотворения Некрасова — «В. Г. Белинский». Великий критик обращался с ними в качестве своей предсмертной заповеди к молодому поколению писателей.

Сохранилось свидетельство Некрасова, что стихотворение «Русскому писателю», едва оно появилось на страницах «Современника», было сочувственно принято Т. Н. Грановским (письмо Некрасова к В. П. Боткину от 8 сентября 1855 г. — ЛН 2). Но другие сотрудники старого «Современника» — Тургенев, Боткин, Дружинин — отнеслись к нему с неприязнью. Тургенев даже заподозрил в них опечатку. (См. выше, стр. 527).

Прощанье. Печатается по автографу ЛБ, 5764, л. 48. Впервые — в журнале «30 дней», 1931, № 1, стр. 57.

Обращено к А. Я. Панаевой под влиянием временного разрыва с нею в феврале—марте 1855 г. (См. примечание к стихотворению «Прости»).

«О, пошлость и рутина — два гиганта». Печатается по черновому наброску в тетради ЛБ, 5763, л. 99. Впервые — в журнале «30 дней», 1931, № 1, стр. 57.

«Не знаю, как созданы люди другие». Печатается по неотделанным наброскам в тетради ЛБ, 5764, л. 14 и 15 об. Впервые — в журнале «30 дней», 1931, № 1, стр. 57.

Стихотворение дошло до нас в черновике. Оно так характерно для мировоззрения Некрасова и обладает такой поэтической силой, что мы сочли необходимым ввести его в настоящее издание.

Ты меня отослала далеко. Печатается по автографу ЛБ, 5764, л. 20 об. Впервые — в Стих 1934, т. I, стр. 540.

Обращено к А. Я. Панаевой и написано по тому же поводу, что и «Прощанье».

<Монолог лесничего>. Из пьесы «Как убить вечер». Печатается по автографу из собрания В. Е. Евгеньева-Максимова. Впервые — «Русское Слово», 1913, № 285 (от 11 декабря).

Неоконченная стихотворная пьеса Некрасова «Как убить вечер» тематически связана с его «Медвежьей охотой». В обеих пьесах изображается компания богачей и вельмож, приехавшая в глушь поохотиться. Они привезли с собою поваров и лакеев, целые возы всякой снеди, «бутылок строй, сервизы, несессеры». По поводу этой «шумной орды» лесничий произносит публикуемый нами монолог, который до сих пор не входил ни в одно собрание сочинений Некрасова.

II

Чиновник. Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 133—144. Впервые — сб. «Физиология Петербурга». СПб., 1845, ч. II, стр. 81—93.

Об этом стихотворении Белинский писал: «Чиновник» — пиеса в стихах г. Некрасова, есть одно из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, поражающая своей верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме, так что никакой, самый предприимчивый критик не зацепится ни за одну черту, которую мог бы он похулить. Пиеса эта написана в юмористическом духе и верно воспроизводит одно из самых типических лиц Петербурга — чиновника... Найдутся люди, которые, пожалуй, скажут: «что за предмет! и как можно восхищаться пиесою, которая изображает такой предмет!» Таких людей мы отсылаем к сочинениям Марлинского, которые изображают все предметы высокие и колоссальные... Эта пиеса — одно из лучших произведений русской литературы 1845 г.» («Отечественные Записки», 1845, № 5, стр. 16).

Паратый пес (вернее: поратый) — сильный, дюжий, быстроногий. *Автор — тунеядец и нахал.* — Для чиновника таким автором был Гоголь. Это явствует из иллюстрации, приложенной к первопечатному тексту (рисунок Коврыгина, гравюра Е. Бернардского), где чиновник указывает одной рукой на гоголевскую повесть «Шинель», другой — на картину с изображением Сибири («Физиология Петербурга». СПб., 1845, ч. II, стр. 85).

Отрывок. («Родился я в губернии»). Печатается по Стих 1873—1874, ч. VI, стр. 267—269. Впервые — С 1851, № 11, стр. 85—86.

Стишки! стишки! Давно ль и я был гений. Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 131—132. Впервые — ЛГ, 1845, № 2, стр. 31.

Женщина, каких много. Печатается по сб. ПА, 1846, стр. 129—130, где появилось впервые.

Отголосок стихотворения Тургенева «Человек, каких много»:

Он вырос в доме старой тетки
Без всяких бед,
Боялся смерти да чахотки
В пятнадцать лет
<и т. д.>

(«Отечественные Записки», 1843, № 11, стр. 191; И. С. Тургенев. Сочинения. Л., 1934, т. XI, стр. 205).

В «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» Некрасов поместил это тургеневское стихотворение в качестве эпиграфа ко 2-й главе третьей части.

Мое разочарование. Печатается по Стих 1873—1874, ч. VI, стр. 230—234. Впервые — С 1851, № 5, библиография, стр. 9, в рецензии на литературный сборник «Раут» (1851).

Пародия на одно из слабейших стихотворений Каролины Павловой «Рассказ Лизы» (отрывок из ненапечатанной поэмы «Кадриль»).

«Рассказ Лизы» был помещен в сборнике «Раут», который вызвал отрицательную оценку Некрасова. В лице «идеальной женщины», говорящей «восторженно и страстно», поэт изобразил в своей пародии самое Каролину Павлову (ср. «Собрание стихотворений Нового Поэта <Ивана Панаева>, где Каролина Павлова изображена такими же чертами. СПб., 1855, стр. 37—38).

Первый шаг в Европу. Печатается по Стих 1874, ч. VI, стр. 219—221. Впервые — С 1860, № 5, «Свисток», № 5, стр. 36—37, без подписи, с заглавием: «Первый шаг в Европу. Письмо первое».

В докладе главного управления цензуры о «Современнике» 1860 г. «Первый шаг в Европу» указан в числе произведений, характеризующих «вредное» направление журнала. «Свисток» за май, — говорилось в докладе, — представил еще первое письмо, имеющее целью уронить наших помещиков, но и оно замечательно... Здесь уже без всяких уловок, без всяких разысканий в чужой истории или законодательстве указывается на ненормальное положение нашего отечества» (В. Евгеньев-Максимов. «Современник» в 60-х годах. Л., 1936, стр. 431).

Литератор. Печатается по беловому автографу ЦГЛА (Автограф сатиры «Современники» вместо заглавия надписано «Зала № 2»). Впервые — Стих 1927, стр. 225.

Нам неизвестны причины, по которым Некрасов не внес в текст «Современников» эти вполне законченные строки, которые, судя по вышеприведенной надписи, предназначались им для включения в первую часть сатиры.

Существует указание (П. А. Ефремова), что Некрасов вывел в этих стихах И. А. Гончарова («Доклады и отчеты Русского библиологического общества», вып. I, II, 1908, стр. 11).

Поправка

Стихотворение «Смолкли честные, доблестно павшие» датировано в настоящем томе 1877 годом (см. стр. 226). Между тем в последнее время окончательно выяснилось, что оно должно быть отнесено к 1874 году (см. И. Власов и С. Макашин. «Некрасов и Парижская коммуна». — ЛН., стр. 397—428).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ[1]

---

[1] Римская цифра обозначает том; арабские: первая — страницу текста, вторая — страницу примечания.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ТОМ ВТОРОЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

1870

1871—1872

1873

1874

---

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая — страницу примечаний.

1875

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

1876—1877

ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Редакционная коллегия: И. А. Груздев, А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, А. М. Еголин, А. А. Прокофьев, В. М. Саянов, А. К. Тарасенков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов

Редактор С. Рейсер

Художник И. Серов. Технич. редактор А. Кирнарская. М 24208. Подписано к печати 6/VIII 1949 г. Печ. л. 40 1/4+5 вклеек. Уч.-изд. л. 46,01. А. л. 44,79. Тираж 10 000. Цена 26 р. Заказ № 396. Типография № 3 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
441	7 сн.	Казенными	Казненными
491	17 „	смертельно	смертельной
558	25 св.	„Звезда“	„Звенья“
568	5 сн.	О З № 3	ОЗ 1876, № 3
579	1 „	библиографического	библиологического
593	4 св.	ОЗ 1878	ОЗ 1878, № 3
622	13—14 св.	по автографу	по автографу Солд. Л Б.